

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2002

4

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2002 И В 2003 ГОДАХ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. *Гимназист* (повесть);
МИХАИЛ АРДОВ. *Книга о Шостаковиче*;
АНДРЕЙ БИТОВ. *Общество охраны героев* (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. *Класс «А»* (роман);
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. *«Ты человечество презрел»* (об одном классическом сюжете);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. *Самтредиа* (маленькая повесть);
МИХАИЛ БУТОВ. *Новая повесть*;
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. *Гость случайный* (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. *Орфография* (роман);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. *Мария из Магдалы* (повесть);
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. *Русский узел и Ален Безансон* (актуальные заметки);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. *Я помню*;
БОРИС ЕКИМОВ. *На хуторе* (повествование в рассказах);
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. *Свечка* (роман);
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ. *Лазурная полынья* (стихи);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. *Нежный театр* (шоковый роман);
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. *Помощник китайца* (повесть);
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. *Yesterday* (стихи);
МИХАИЛ КУРАЕВ. *Дом без адреса* (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. *Пейзаж из криков* (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. *Неадекватен*;
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. *Физиология духа* (роман в письмах);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. *Чума* (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. *Моншер* (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. *Чаровщина*;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. *Заморозки* (повесть);

(См. на обороте)

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Перед вторым пришествием (роман);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;
ТАТЬЯНА ПОЛЕТАЕВА. Скошенная трава (стихи);
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий (роман);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Третье дыхание (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман); **Призрак среди руин** (повествование в рассказах); **Прицел** (стихи);
ВЯЧЕСЛАВ РЕПИН. Адrenalин (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
РОМАН СЕНЧИН. Нубук (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. Игры на свежем воздухе (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;
ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. «Отдай мое» (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
АНТОН УТКИН. Новый роман;
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Ура! (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Питомник (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА**, **АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА**, **АНДРЕЯ ВОЛОСА**, **ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА**, стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК**, **СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ**, **ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА**; статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА**, **АЛЛЫ МАРЧЕНКО**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **МАРИИ РЕМИЗОВОЙ**, **ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА**, **ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2002 года — 330 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ — Другой художник, стихи	7
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Диверсант. Назидательный роман для юношей и девушек. Окончание	12
ЕЛЕНА ПУДОВКИНА — Собрание вод, стихи	89
ВЛАДИМИР ЛОРЧЕНКОВ — Дом с двумя куполами, рассказ	92
СВЕТЛАНА КЕКОВА — Тень тоски и торжества, стихи	100
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Течет река Волга, рассказы	104
ГРИГОРИЙ КОРИН — Хлебом и солью, стихи	111

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — Просуществует ли российское образование до 2004 года?	114
МАКСИМ КРОНГАУЗ — А был ли кризис?	123

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ИГОРЬ ЕФИМОВ — Краткое перемирие в вечной войне	130
---	-----

ОПЫТЫ

АЛЕКСЕЙ ПЛУЦЕР-САРНО — «У меня не в Мавзолее, не зале- жишься!» Политологические заметки о смерти	140
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР МЯСНИКОВ — Историческая беллетристика: спрос и пред- ложение	141
--	-----

По ходу текста

МАРИЯ РЕМИЗОВА — Вагинетика, или Женские стратегии в полу- чении грантов	156
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Сергей Костырко. Одиночество как образ жизни	162
Валерий Липневич. Волчья яма, или Стрелок в именном окопе	165
Василий Ковалев. Торжество тождеств	170
Сергей Шаргунов. «Проблема овцы» и ее разрешение	173
Ольга Канунникова. Художник и окрестности	175

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	179
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	186
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	192
WWW-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА ВИЗЕЛЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ	198

ХРОНИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — «Морская болезнь» Куприна и «Солнечный удар» Бунина как прототипы «Четвертого сна» Веры Павловой и «Похорон кузничика» Николая Кононова	210
СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — Служители русского эроса, или Мой спор с Никитой Елисеевым	213

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА — Имя Божие как орфографическая проблема	218
---	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	223
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	226
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

КАК ВЫ, ВЕРОЯТНО, УЖЕ ЗАМЕТИЛИ, С ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ «НОВОГО МИРА» ДЛЯ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ РАНЕЕ ИНСТИТУТОМ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» (ФОНДОМ СОРОСА).

У РЕДАКЦИИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТАКУЮ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ РАССЫЛКУ ДАЖЕ В БОЛЕЕ СКРОМНЫХ МАСШТАБАХ.

ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ПРОДЛИТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ, ПОСКОЛЬКУ У МНОГИХ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕЖИМИ НОМЕРАМИ ЖУРНАЛА, КРОМЕ КАК В БИБЛИОТЕКЕ.

ПОДПИСЫВАЯСЬ СЕГОДНЯ НА «НОВЫЙ МИР», ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ, КОТОРЫЙ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА САМ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ



ДРУГОЙ ХУДОЖНИК

Читателю

Книга-то еще и не издана
и тем более — для гаданья
пальчиками не перелистана...
А поэзия — это поющая истина.
Не навеки, так — на года.

Неужели это только с виршами
или может и другой художник
выразить произносимое свыше?
Думаю, что да, тоже.

Ежели сказал, не солгав его,
в слове будет и смысл, и цвет, и вес,
и конечно же вкус, а главное —
верная и о главном весть.

Вылепленное, оно — как пляска,
а в цвете — еще и певчее, вещее...
Сдобное, это же и есть пасха
для тебя, человеке.

Люди — всего лишь миры, не более...
У любого мозг — полярный ледник.
Сердце — солнце. Океаны болями
и наслаждениями плавают в них.

Вот им оно и надобно, бесполезное,
но почему-то позарез и вдруг:
это баловство со словом — поэзия,
млекопитающая, как грудь.

Июнь 2001

Федосья Федоровна Федотова
(1920 — 1998)

Свет Федоровна, мне тебя забыть ли?
Тырышкинская няня, ты была
для нас — душа домашнего события:
похода в лес, накрытия стола.

Ты знала верный час для самовара,
для пилки дров и для закупки впрок
кочней капустных — и меня, бывало,
гоняла не один втащить мешок.

Могла сослать на дедову могилу:
ограду красить, помянуть, прибрать...
Твои-то детки, не родясь, погибли.
Война им не позволила. Мой брат

да мы с сестрою сделались твоими
при матери красивой, занятой,
при отчине, которому за имя
я тоже благодарен. Но — не то...

Какая избяная да печная
была ты, Феничка; твой — строг уют.
А кто ко мне зашел, садись-ка с нами:
— Ешь, парень! Девка, ешь, пока дают!

И, разойдясь перед писакой, тоже
туда же сочиняла (кто — о чем)
получастушки и полуколлажи,
складушки-нескладушки, калачом:

*«Ведягино да Семеново
к лешему уведено,
Шишкино да Тырышкино
шишками запинано».*

То — все твои гулянки-посиделки
на Кéнозере. Там я побывал:
краса, но вся — на выдох, как и девки,
что хороводом — на лесоповал.

В семью пойти — кормежка даровая.
Ночлег. Из окон — липы. В бочке — груздь.
— Под кой и — выпить, вилкой поддевая!
Да не за кого... Вот какая грусть!

Свет Федоровна, где теперь ты? В всяях,
должно быть, трудноправедных, где — высь,
где также — низ и погреб, корень вепский
и староверский нарост — все сошлись...

Тырышкино, лесоповал, Таврига,
стряпня да стирка, окуни-лещи,
на даче — огород. И жизнь — как книга
в 2 — 3 страницы, сколько ни лиши...

Как ни ищи, не много выйдет смысла,
кто грамотен. А если не сильна...
А если был тот смысл, пятном размылся...
Но есть душа. И ты для нас — она.

Шампейн, Иллинойс.
8 августа 1998.

Счастливым человеком

Счастливым человеком поцеловал в уста
Венецию, куда вернулся позже.
Такая же! Касаниями рта
ко рту прильнула тепло-хладной кожей.

Приметы на местах. Лев-книгочей;
зелено-злат испод святого Марка,
а мозаичный пол извилист и ничей:
ни Прусту, никому отдать его не жалко.

Ни даже щастному, счастливому себе.
Или — тебе? Поедем «вапореттом»
и вверим путь лагуне и судьбе,
и дохлым крабиком дохнет она, и ветром.

По борту — остров мертвых отдален:
ряд белых мавзолеев. Кипарисы.
Средь них знакомец наш. Да тот ли он,
кто умирят гнев и капризы

гниением и вечностью? Салют!
Приспустим флаг и гюйс. И — скорчим рыла:
где море — там какой приют-уют?
Да там всегда ж рычало, рвало, выло!

Но не сейчас. И — слева особняк
на островке ремесленном, подтоплен...
Отсюда Казанова (и синяк
ему под глаз!) в тюрьму взят был во плен,

в плен, под залог, в узилище, в жерло —
он дожам недоплачивал с подвохов
по вексялям, и это не прошло...
И — через мост Пинков и Вздохов

препровожден был, проще говоря...
А мы, в парах от местного токаря,
глядели, как нешуточно заря
справляется в верхах с наброском Рая.

Она хватала желтое, толкла
зеленое и делала все рдяно
любительским из кружев и стекла,
а вышло, что воздушно-океанно,

бесстыдно, артистически, дичась...
 Весь небосвод — в цветных узорах, в цацках
 для нас. Для только здесь и для сейчас.
 В секретах — на весь свет — венецианских.
 Шампейн, Иллинойс.
 Май 2001.

На части

Разрывная рана, и — Нью-Йорк!
 Я бывал, где дырка от нее,

раньше, хоть и не часто:
 там вишенка из коктейля
 скушаться мне хотела
 на счастье.

Но лишь тут удача или чудо,
 что жив и вижу, как в экран
 вдруг Мухаммед влетает, ниоткуда,
 и — рвать на буквы город и Коран.

Смерть собственную — об другие!
 Рай выкрасать об Ад, о — страх...
 И мыслящие черепа
 перемолоть в погибель,
 в бетонную труху, в субстрат.

В стеклянную крупу, в железные лохмотья...

Откуда мне знаком руинный вид?
 А — в первый тот наезд в Манхэттен,
 в миг: — Ах, вот он! —
 с боков — некрополи стоячих плит
 и вывернутый взгляд
 на град
 с наоборотом.

Нас нет, а памятник уже стоит.
 Да гордый город был.
 В минуты сломан.
 На колени, словно слон,
 пал, которому вдруг ломом
 в лоб вlepили наповал,
 на слом.

Банк! И метит в мозг ему мечеть.
 Где ты, Супермен? В параличе...

Вот бы и мне кончаться,
 где вишенка из коктейля
 скушаться захотела.
 Так — в одночасье!

Здравствуй, тысячелетие
 и несчастье!

Цвет времени

Начинается тысячелетие желтым
лучом за облаком полуседым.
Гривны, стало быть, уступают золотым,
а секунды серебряные — золотым.

Наконец-то за ускользящим Завтра
погоня закончена. Оно — сейчас:
желтое в этой застежке рюкзачной,
козырьке, куртке, разрезе глаз.

Манго-банановая Пальмира,
зеленеющая в голубизне!
Ее, раскинувшуюся на полмира,
мыслимо ли разглядеть извне

до оранжевой сердцевины,
откуда розово истекает родник...
Видимо, кровушку, как они ни цивилизны,
будут пускать и при них.

Уже и при этих вот, ярколицах.
Кто она — афреянка? Он — америяп?
Невероятные — что ни случится,
выстоят, — каждый в костях не слаб.

Наше дело — помахать им ладонью:
— Вот вода и воздух — мол, садись, володей...
— Здравствуй, незнакомое, молодое
племя, похожее на людей.

Шампейн, Иллинойс.



АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ



ДИВЕРСАНТ

Назидательный роман для юношей и девушек

21

Береги честь смолоду. — К вопросу о правдах войны — штабной и окопной

Очень, очень нехорошие события случились с нами при переходе линии фронта! Самолет за нами не пришел, хотя и был обещан, и все потому, что задание было сдвоенным, и от Чеха, и от Костенецкого, а тот полагал, что обратную дорогу обеспечивают москвичи, те же надеялись на фронтовое наше начальство. Представленные самим себе, мы изворачивались угрями. Дороги забиты немцами, общаться с партизанами нам запретили, местного населения как такового не существовало... И все-таки мы вышли к своим и предстали перед начальником разведотдела... не нашего фронта, вот в чем еще одна беда, а Воронежского, если не изменяет память. После чего началась странная канитель.

Нас троих не то что арестовали, а расселили по разным воинским частям, везде поставив под надзор. Меня опекал капитан Локтев из оперативного отдела, изредка выпуская на прогулку во двор штаба, то есть школы, где этот штаб обосновался. «Ну, — говорил он, — иди разомни ноги под окном...» В штабную столовую меня не пускал, водил на какой-то склад, где меня считали дармоедом и нахлебником. Сокрушенно покачивая головой, Локтев сочувственно поглядывал на меня и вздыхал: «Да, дружок, влип ты основательно... Никто не позволит тебе защищать Родину, отлеживаясь в кустах!» Обкатанный приемчиками Любарки, помня наставления Чеха, я тоже сокрушенно покачивал головой и спрашивал, расстреляют ли меня одного или у края вырытой могилы будут стоять двое: он и я? От таких вопросов Локтев немел, бледнел, вздрагивал, оглядывался: никто не слышит? И начинал меня ругать. Из бессвязных его проклятий понималось все же, что в штабе этого фронта меня считают провокатором, подставной фигурой. Офицеры разведотдела с каждым днем, с каждым новыми докладами армейской разведки убеждаются в том, что хитроумный план немцев по дезинформации едва не увенчался успехом, и если бы не бдительность штаба, то последствия были бы ужасающими... Я, опять же наученный опытом общения с Любаркой, невинно спрашивал, как немцы пронюхали, разрабатывая план, о наличии капитана Локтева с его длинным языком.

Трое суток длились эти издевательства, но оказалось, главные испытания впереди. Мне сделали проверку, то есть изготовили карту вымышленного участка фронта, показали издали, убрали, а затем предложили воспроизвести ее на чистом листе ватмана. Результаты привели офицеров в сильное смущение, но они не сдавались и хором уверяли меня, что, возможно, немецкую карту запомнил я лишь отчасти, сказалось, мол, волне-

ние и спешка... Потом они перешли к другой тактике, вернувшись к высказанной Локтевым версии: карта, якобы увиденная нами, фальшивка, что было сущей нелепицей. Уж карт этих немецких я насмотрелся, отвелывал их с пылу и с жару, то есть свеженькими разворачивал их, сохраняющими тепло еще не окоченевших тел.

Они мне одно, я — другое. Они мягко, без нажима — и я ласково. Они с угрозами — и я тоже, причем мои оказывались повнушительнее: ведь начнись наше наступление, появишься вдруг на фронте те дивизии, номера которых я принес, — офицеров-операторов накажут.

Тогда они нанесли мне страшный удар. Они сказали, что капитан Калтыгин и младший лейтенант Бобриков признались в том, что ошиблись, вернее, что могли ошибиться, неся с собой в памяти карту.

Я был так оглушен, что не смог ничего возразить. Я молчал. Стоял понуриив голову. Но когда мне показали объяснительные записки предавших меня боевых друзей, когда предложили мне написать такую же, то есть отречься от карты, я предавать себя не пожелал.

С гневом и возмущением смотрели на меня офицеры штаба. Сказали, что на мне будет кровь наших солдат, и отправили под домашний арест, приказа о наказании не огласив по той, как они мне объяснили, причине, что он, приказ, послан полковнику Костенецкому.

Меня вывели из комнаты, где разбирался мой проступок. И отдали в руки полковнику Богатыреву Борису Петровичу, начальнику разведки артиллерийского корпуса.

22

...На хуторе, где самогон рекою лился. — Ужас, что они натворили! — Приезд всесильной делегации. — Позвольте представить: майор Филатов Леонид Михайлович

У него я должен был отбывать арест. А он сам после ранения отсиживался и отлеживался на хуторе в двадцати километрах от штаба. Негнувшаяся нога не мешала ему переобучивать разведчиков. Взвод инструментальной разведки — так точно называлось воинское подразделение на этой переподготовке, и с командиром его у меня сложились, как пишут в воспоминаниях генералы, хорошие отношения. Ни фамилии лейтенанта, ни имени его не помню. Но забыть Бориса Петровича Богатырева было бы грехом непростительным. Он стал моим очередным учителем.

(Очередным — потому что воспитателей у меня в ту пору жизни было хоть отбавляй, мною чрезвычайно интересовались люди, желавшие видеть во мне человека, в котором исполнятся их подавленные или подавляемые желания; каждому из этих людей казалось, что, доучив, довоспитав или перевоспитав меня, они наконец-то узрят нечто, примиряющее их с уходом времени в безвозвратность, с тщетой усилий по достижению идеалов. Чем-то судьба моя располагала людей к потребности исправить немедленно случайную ошибку моих слов или мыслей; многое во мне, включая и дело, которым я занимался, казалось им случайным, наносным, временным, не способствующим тому великому предназначению, ради которого я родился. Что-то общее связывало этих людей, какая-то светлая тоска сидела в них, вспугнуто проявляясь. Они вкладывали себя в жизнь мою, кирпичик к кирпичику выстраивая ступеньки, по которым я должен был пойти туда, наверх.

Но труды их постигла участь времени, эти люди так и не довоспитали меня, недоучили, иначе и не могло быть, потому что во мне они хотели видеть прежде всего преобразователя, а сами судьбами своими опровергали возможность изменения и улучшения. Раньше учителей, раньше меня

мама моя поняла это прекрасно, привязывая меня к себе, показывая место, где я обязан был жить, существовать, и я должен был остаться там, в Грузии, на земле и при земле, возделывая лежавший на планете слой почвы, соприкасаясь с древним благородством природы, дававшей человеку десять зерен взамен одного, брошенного в землю, каждый год возмещающая труды рук многократным повторением плодов своих. Если бы не война, я остался бы с мамой, жил бы, как дядя Гоги, пальцы мои мяли бы чайные листья, от меня и Этери пошли бы дети, каждое утро слышавшие свою «манану»; с каждым осенним сбором листьев опадали бы и мои желания, человеческие надежды, каждой весной возрождаясь вместе с листьями, и умер бы я без страха, потому что в ровных рядах чайных кустов я воссоздавался бы каждую весну, обретая бессмертие... Этери, бедная Этери!)

Бориса Петровича Богатырева лейтенант, имени которого я не помню, называл выдающимся, непревзойденным докою в искусстве артиллерийской разведки. Хорошо зная немцев как нацию, не хуже начальника разведотдела разбираясь в организации немецкой армии, Богатырев, ночь пролежав с биноклем в окопе переднего края, по вспышкам огня и звукам пулеметно-артиллерийских средств мог определить точно не только то, что за нейтральной держит оборону немецкий, к примеру, полк или усиленный батальон, а нанести на карту все орудийные стволы, упрятанные в тылу, вплоть до врытых в землю танков, даже если они и молчали в ту ночь.

Полковник Богатырев и рассказал мне, какое злодейство учинила наша группа, принеся руководству фронта самые свежие и точные данные о противнике. Растерзать нас за это мало! Расстрел — слишком мягкая форма наказания, ибо мы едва не опрокинули все стратегические замыслы товарища Сталина. Дело в том, поучал меня, оглушенного и растерянного, Богатырев, что на войне все зависит от человека при направляющей и указующей бумаге. Оперативное управление Генштаба условно разбито на направления по числу фронтов и флотов, иначе отделы, есть, следовательно, и Воронежское, так, скажем, направление, офицеры-операторы его получают регулярные донесения от таких же операторов армий, но у тех более узкие участки, и в штабе фронта есть офицеры, которым дела нет до немецкой передовой между двумя какими-то деревнями, каждый отвечает за свое, причем источники сведений строго определены. На штабных картах все выглядит безупречно, значок с одной карты перекочевывает на другую, московскую, и так далее. Полное взаимопонимание. И вдруг как снег на голову сваливаются три неизвестных штабу фронта офицера и доносят, что все их сведения о немцах — дерьмо, туфта, плоды тщательно организованной дезинформации, тем более что за точность доставленных сведений ручаются начальники этих трех офицеров. И представляется следующая картина. Капитан Локтев, на веру приняв донесение группы Калтыгина, наносит на карту относящиеся к его участку изменения в немецкой группировке, которые никак не соотносятся с картойю какого-то там капитана Филимонова. Последний идет за разъяснениями к начальнику оперативного отдела. Даже если Локтев и убедит сослуживцев в правильности принесенных сведений, ежесуточную оперативную сводку подписывает еще и начальник штаба фронта. Предположим (Богатырев попыхивал немецкими сигаретами «Юно»), сводка все-таки отправляется в Генштаб. Там ее читает начальник направления и приходит в тихую ярость, потому что из-за внезапных новостей с подведомственного ему фронта придется переделывать не только карту направления, но и всего фронта от Мурманска до Новороссийска. И это полбеда. Настоящая беда — от Верховного Главнокомандующего, который сразу обратит внимание на то, что 87-я или какая-то там еще немецкая пехотная дивизия, обретавшаяся во Франции, неожиданно возникла под самым носом, — а где была ранее разведка, чем вообще занимается командование, предположим, Воронежского фронта?

Разведка, докладывают, работала из рук вон плохо (войсковая, а не артиллерийская — поправлял себя Богатырев), командующий фронтом же и член Военного совета прикладывались к бутылочке и прозевали 87-ю дивизию...

— Дорогой мой мальчик, ты можешь представить себе такой разговор в кабинете Иосифа Виссарионовича?

Нет, конечно, не мог — о чем и сказал. А Борис Петрович Богатырев продолжал фантазировать. Скупно обрисовав недовольство товарища Сталина, он приписал ему вопрос: а откуда эти новые данные? В ответ на что начальник Генерального штаба со скрытой гордостью отвечает:

— Их героически добыла спецгруппа капитана Калтыгина, в которую входили помимо него еще два офицера — младшие лейтенанты Бобриков и Филатов!

Это уже было слишком... Разговор на эту тему можно было кончать, тем не менее я робко поинтересовался, а кого расстреляют, если в ходе наступления или контр наступления обнаружится, что сведения, которые принес младший лейтенант Филатов, верны, а пренебрежение ими стоило многих жизней?

— Тебя расстреляют, мой юный друг. А загубленные жизни входят в так называемые систематические ошибки. Приборная ошибка буссоля — столько-то градусов, бинокля — столько-то метров, и тут уж ничего не поделаешь. Вот и количество убитых всегда планируется...

Широкая дорога, шлях по-здешнему, обрывалась на совхозе, который когда-то был, наверное, богатым, в полукилометре — хутор, пять домишек, в самом лучшем квартировал Борис Петрович, фронтовыми трофеями пополнявший свою довоенную домашнюю библиотеку. У такого же чересчур знающего невоенные предметы немца Богатырев позаимствовал альбомы с красочными картинками, репродукциями и часами рассказывал мне о художниках прошлых веков, о вечности. А мир колыхался, стены готовы были вот-вот обрушиться, свербящий стон дрожал над Вселенной, достигая моих ушей, эпохи низвергались бурным водопадом, и эхо сотрясений волновало меня. Я убеждался: придет время — и будет это очень скоро, — я услышу «манану», речи Богатырева подсказывали мне, что не меня предали Калтыгин и Алеша, а способствовали обманом и предательством разгрому немцев, бесперебойной работе слаженного военно-штабного механизма.

Воспитывая несмышлениша, Борис Петрович не забывал о курсах, куда навещался раз в сутки, и с презрительным молчанием посматривал в сторону совхозного правления и рот раскрывал для того лишь, чтоб посягать меня в скверные дела еще одного воинского подразделения, не только нашего приют на территории курсов, но и пытавшегося выдать артиллеристов куда подальше. К совхозу (Борис Петрович осуждающе качал головой) примазался химвзвод, которым командовал сержант самой настоящей вузовской выделки, с хорошим теоретическим багажом, война же привила ему умение из любого дерьма делать что угодно. Бывший вузовец присмотрелся к котловану, напоминавшему лунный кратер, и установил, что заполнен он сахарной свеклой, так и не вывезенной на переработку из-за наступления немцев, что ее — пятьсот центнеров и что она сверху немного подгнила. Где добыл нужную аппаратуру сержант — полная неизвестность, но самогон, по мнению знатоков, отменный, вузовец творчески переработал консервативную технологию, в букете напиток чувствовалась цитрусовые добавки (Богатырев легонько попивал, но не при мне, стеснялся почему-то; он же уверял меня, что самогон — национальное достояние, символ, такой же атрибут, как самовар и нагайка, недаром все языки мира калькируют эти слова). Беда в том, продолжал сокращаться Богатырев, что на хутор зачастили комиссии. Распушат его для самооправдания, удалятся на совещания и призывают сержанта, после чего на-

пиваются. Никем эти комиссии не создаются, полностью они самозванные, сколачиваются самостийно, состоят из бездельников, каких всегда полно в любом штабе, и гонит их к самогону не столько страсть к выпивке, сколько желание удалиться от глаз трезвенников и вообще работающих офицеров, с еще большей силой впечатлиться величием момента, переживаемого народом, ощутить же такой момент можно, оказывается, только в сонном оцепенении эвакуированного совхоза, на берегу речушки, гладь которой расчерчивается плавниками красноперок. Зараза могла перекинуться на курсы переподготовки, Богатыреву умные головы предлагали давно уже написать бумагу на имя начальника штаба фронта, указать на опасное соседство, потребовать перевода химвзвода в другое место. Он и написал — сдуру, так признавался он, в полном затмении рассудка, ибо резолюция была наложена такая: химвзвод оставить на месте ввиду особой важности мероприятий, проводимых по планам Ставки, а курсы переподготовки — расформировать. Богатырев в панике бросился в штаб, прорвался к начальнику артиллерии Варенцову, тот резолюцию немного изменил, но о курсах пошла дурная слава, на хутор ездили по одному лишь поводу, и сержант — непонятно, что руководило им, но фамилию его вынужден привести, дабы он мог при случае подтвердить истинность происшедшего далее, — издали завидев штабную машину, на порог избы выставлял канистру с первоклассным пойлом. Иванов его фамилия.

А я будто не замечал пилигримов, как называл приезжавших полковник. Отбегав с утра неизменные десять километров, мысленно повращав себя вокруг воображаемой перекладины и плотно, по-настоящему позавтракав, приходил к Богатыреву и погружался в интересные разговоры. Я много и часто смеялся. Это был смех накануне плача.

Однажды на хутор пожаловала четверка: два генерала, порученец одного из них и полковник. Прикатили на «виллисе», за рулем сидел порученец, капитан. Возможно, я жестоко ошибаюсь — как и полковник Богатырев — в попытках рационально объяснить пьянки на хуторе. Достаточно носорогу, единожды продравшись сквозь джунгли, проложить дорогу к реке, как по неудобной и путаной тропе попрут все алчущие обитатели животного царства — лакать мутную воду, и под панцирем черепа ни у кого не возникнет желания попить водичку посветлее.

Порученец вручил полковнику пакет со свертком и трусцой побежал к избе, где уже началась дегустация. В гневе покусывая губы, Борис Петрович взломал печать, стряхнул с себя крошки сургуча, прочитал бумагу, протянул мне руку, поздравил и достал из сундучка коньяк, приберегаемый им для какого-либо праздничного случая. Бумага оповещала, что мне присвоено звание «лейтенант». Сверток прилагал к пакету погоны с уже пришпиленными звездочками. Сам приказ там, у непосредственного начальника, который по своим линиям связи известил местное руководство о повышении в чине офицера, ему подчиненного. Операторы, так и не придя к твердому мнению относительно карты, решили возложить на начальника штаба фронта принятие решения, для чего надо было подsunуть меня вместе с картой. По обстоятельствам дела генерал-лейтенант скорее поверил бы неизвестному ему лейтенанту, чем тому же капитану Локтеву. Для контактов подобного рода нужна вымеренная дистанция. Директор завода обоснованно сомневается в искренности начальника цеха, тот в свою очередь работяге доверяет больше, чем мастеру. И так далее. В таких нюансах путаются социологи, но отлично ориентируются практики.

Итак, я стал лейтенантом, и полагалось это важное в биографии воина событие увековечить в удостоверении личности, какого во меня не было, оно лежало в чьем-то сейфе. Лейтенант — это, конечно, звучало гордо, и думалось, не только Этери встречала бы меня после войны, но, пожалуй, все село высыпало бы на улицу.

Однако, как выяснилось позднее и о чем я, конечно, не догадывался, лейтенантом я стал всего на час.

Начинало темнеть, когда наши беседы с полковником прервал запыхавшийся не от быстрого шага порученец. Меня звали генералы.

Представ перед необходимостью быть по-уставному одетым, не имея офицерского ремня и фуражки, я пытался было объяснить порученцу эти сложности, но тот нервно предупредил: «Литер! Не брыкайся! Опоздаешь — разжалуют!»

В сенях генеральской избы я споткнулся о тела вповалку лежавших химиков. «Смелее, направо», — сказал порученец, икнув... Было темно и тихо. Мне показалось, что за дверью спят.

Спал только полковник, сидя за столом и носом к раскрытой банке тушенки. Генералы ковырялись в «телефункене». Оба были по-дурному пьяными, и если бы неподалеку проживали женщины, то порученец давно приволок бы их. За неимением таковых души генералов воспарились любовью к музыке. Оба что-то напевали и того же требовали от батарейного радиоприемника.

— Наладь-ка, братец, — сказал генерал, фамилия которого стала вскоре мне известна, однако, помня о том, что у них ныне есть и дети, и внуки, я ограничусь ориентировочным наименованием его. Скажем, так: Повыше Ростом.

— Ты в этом деле кумекаешь, — прибавил другой, тот, который Пониже Ростом.

Из «наладь» и «кумекаешь» понятно стало: генералы осведомлены о том, кто я и откуда. Занимаясь делом, я прислушивался к тому, что происходит за спиной, и старался не дышать, потому что продуктами распада самогона изба провоняла до последнего бревнышка, ибо была гостевой, гостиницей для пилигримов. От них я всегда держался подальше, на глаза не попадался, избегая расспросов, не сулящих мне добра, но химик из МГУ каждую споенную им генеральскую душу записывал в свой актив, душами этими похвалялся, и похвальба доходила до моих ушей.

Чем генералы занимались вне избы — я не знал, мог только предположить, что какое-то основательное отношение к трофейному имуществу они имели. Тогда уже ни удивления, ни радости не вызывали захваченные немецкие автомашины, норвежские сельди в плоских консервных банках, приемники и радиолы, надежные, как мой «северок», но очень и очень на глаз приятные. По-прежнему мы не разговаривали с Инной Гинзбург, но с подругами ее, которые при встречах со мной вскрикивали: «О, подлый насильник и совратитель!», я общался, замечал кое-какие обновки на них и приходил к выводу, что учет захваченных у немцев разных красивых вещей еще не налажен, и штабам доставалось то, что за ненадобностью или громоздкостью, как этот «телефункен», отвергалось фронтовыми частями — те и дарили переводчицам кое-какие безделушки.

Генерал Повыше Ростом частенько, видимо, бывал в окопах и первым врвался в немецкие офицерские блиндажи, потому что после того, как приемник заговорил, он, к царственным жестам не прибегая, просто снял с рук часы и протянул их мне. «Прекратите болтать!» — вдруг рявкнул трезвым голосом пробудившийся полковник, подняв голову и дико озираясь, чтобы вновь в изнеможении рухнуть на стол. Я постарался тихохонько выскользнуть.

У Богатырева я рассмотрел часы, — а понавидал я их много, очень много, но никогда, кстати, не снимал их с убитых. Это была чистая работа, Швейцария.

— Выбрось! — приказал Борис Петрович, предчувствуя дальнейшее. И я выбросил. Я увидел, выбрасывая их в окно, как порученец, спеша к нам, преодолевает последние до крылечка метры, и подумал: а не пора ли спрячься?

Но было уже поздно. Во исполнение приказа генералов я, придерживая порученца за туловище, приблизился к источнику тошнотворных запахов. Химики по-прежнему дрыхли в сенях, за дверью булькали голоса. Я вошел и поразился. Алкоголь накалил генералов до состояния, в котором можно принять решение о высадке лейтенанта Филатова в расположении Ставки Гитлера.

— Смир—ррр—на!.. — проревел Повыше Ростом.

Кому командовали — неизвестно. Полковник так и продолжал спать, даже не шевельнулся. Генералы не видели ни его, ни меня. Они смотрели в какую-то даль, ту, что за стенами, что за совхозом и фронтом вообще. Что, интересно, видели они, какие горизонты открывались их мокрым и строгим глазам?

— Лейтенант Филатов! Выйти из строя!

Все казалось мне происходящим где-то далеко-далеко и не со мной, однако отчетливо помню, как дико повел я, как странно.

Я топнул ногой, по-немецки, как представляющийся офицеру солдат, и не сходя с места. А затем пролаял грузинское ругательство, самое страшное. Порученец хихикнул.

— От имени и по поручению командующего фронтом... за мужество и героизм, проявленный при выполнении особого задания командования... вручаю вам орден Красной Звезды...

Порученец икнул и вложил в руку генерала орден, тут же перекочевавший в мою ладонь, иначе он упал бы в тарелку с мясом. Зараженный моей шкодливостью, порученец с быстротой иллюзиониста выхватил из планшетки заполненный в описательной части наградной лист и вкатал в него авторучкой мою фамилию. Вместе с листом я выстрелился вон и опрометью помчался к Богатыреву. Борис Петрович достал массивную лупу. Нацелил ее на орден, сравнил с наградным листом.

— Все тот же, — со вздохом произнес он. — Не выбрасывай. Ни в коем случае.

В третий раз посланный за мною порученец смог осилить только половину пути. Увидев посланца генералов, Богатырев хмыкнул и полез в чемодан, протянул мне новенькие погоны с двумя просветами.

— Рассчитывай на майора... или на подполковника. Какие они ни косяе, а помнят, что полковника можно присвоить только с санкции Главного управления кадров. Ступай. С орденом.

С ношей (порученцем) на плечах предстал я перед генералами, опустил капитана к ногам их. Громовым голосом от меня потребовали где угодно достать погоны старшего командного состава. Я выложил их на стол, у затылка полковника, внезапно проявившего признаки жизни, вскрикнувшего обычное «Прекратите болтать!» и захлебнувшегося от крика. Генералы казались чересчур деловитыми и трезвыми, они определенно спешили, какие-то неотложные дела звали их в неоглядные шири, и спешка укорачивала их языки и делала жесты рубящими; отрезвление, на них снизошедшее, могло измеряться только на шкале диапазона, лежавшего за пределами сознания. Суетясь и торопясь, запихивая что-то в портфели, они громовым голосом объявили, что Филатову Леониду Михайловичу присвоено внеочередное воинское звание «майор» — и в воздух взметнулась какая-то бумага, явно ко мне относящаяся, мною подобралась и сунулась в карман не глядя. Затем генералы толково, очень внятно разъяснили мне, к кому и как обратиться в штабе, чтоб номер приказа был вписан в удостоверение личности.

Порученец совсем скис, о полковнике и говорить нечего, генералы водить машину не умели. И мне приказано было сесть за руль, предварительно приладив к плечам погоны майора.

Путь к славе и позору. — «Манана! Манана!» — Арест, дознание, следствие и суд

«Виллис» вмещал пять человек, четыре человека не без моей помощи поместились, «телефункен» я поставил себе под ноги. Полковника я воткнул между генералами, порученец сел как-то неудобно, так и норовил пободать стекло или сползти вниз. Но до штаба всего восемнадцать километров, была надежда, что никто не вывалится и не расшибется. «Прекратите болтать!» — в последний раз возгласил полковник, и я, проезжая мимо избы с Богатыревым, сокрушенно помахал ему рукой.

А уже звезды проступили, разгораясь с каждой минутой. Луна светила недобро. Порученец выпростал ноги наружу, храп его я слышал в моменты, когда генералы набирали воздуха в легкие, чтобы с новой силой продолжить исполнение песни «Синенький скромный платочек». Потом они умолкли, намаявшись с куплетом, который никак не отлипал от их языков. Я сбросил скорость, чтоб они заснули, и тут произошло чудо. «Телефункен» издал птичий клекот, разбойничий свист, как бы призывавший всех к молчанию, я немедленно выключил, недоумевая, мотор и в некотором страхе понял, что из приемника льется та мелодия, которую я слышал только с патефонной пластинки у бригадира Никифора.

Да, всей пятываттной мощностью прекрасной немецкий прибор, называемый радиоприемником «телефункен», исполнял «манану» — всем многозвучием оркестра!

Есть все-таки разница между музыкой с эстрады в летнем парке и музыкой из горла патефона, мелодией из чрева радиолы и связным колыханием звуков в открытом поле. Она, эта музыка под небесами, для всех, не для двух пар ушей и не для двух сотен, она — со звезд и она же — из-под земли... А небо прочистилось, высвободилось от туч, как бы раздвигаясь, впуская меня под звезды; в грандиозном, как мироздание, зале я был один-единственный слушатель, и «манана» исторгалась и землей, и небом, «манана» омывала меня, частицу миллиардных толп, втянутых в войну и в войне пытавшихся найти ответы на детские вопросы. Я глянул на себя и поразился: шестнадцать, кажется, лет — и такой уже взрослый, умею убивать и брать женщин, учусь в самых жизненных университетах; нет, не слепая случайность соединила отца и мать, для чего-то великого и вечно-го рожден я, для каких-то величайших событий, которые произойти без меня не смогут.

Одно из этих величайших событий уже произошло и случилось: я услышал «манану», неизвестный мне человек в неизвестной мне точке земного шара содрогался теми же чувствами, что и я, и это его рука поднесла иглу к патефонной пластинке, чтоб над земными страданиями, сочувствуя им, неслась мелодия, касаясь листьев, травы, веток, скользя по телам людей и лишь кое-где достигая человеческих ушей.

Я жил! Я чувствовал! Я испытывал наслаждение от ощущений! Я знал и верил, что судьба обольет меня счастьем, как теплым дождиком в пересушенный жаркий день. О жизнь, время наших желаний!..

Как только последний звук «мананы» упал в приемник, я торопливо выключил его, я не хотел знать, какой город планеты осмелился огласить на весь мир мелодию, известную только мне — здесь, в степи, и только нескольким счастливым — на всем пространстве от Мурманска до Батуми.

Я этого знать не хотел. И мягким толчком тронул «виллис».

Штаб фронта второй месяц уже — с явного попустительства немецкой авиации, как острили офицеры, — занимал двухэтажное здание школы. На КПП при въезде не задали ни одного вопроса, глянули, кого я везу, и

притворились незрячими. Гаража как такового не было, машины стояли под тентом и маскировочной сетью. Мне бы остановиться где-нибудь пообочь, нырнуть в темноту да хорошо пробежать восемнадцать километров. Продрыхнут мои ездоки — и сами разберутся, где они и что им делать.

Я же пошел искать кого-либо из штабной obsługi, чтоб те помогли дотащить генералов до кроватей. Да кого найдешь: первый час ночи, узел связи попискивает и постукивает, к дежурному по узлу обращаться неудобно. В помещении комендантского взвода знакомый мне лейтенант как-то дико посмотрел на меня, подавив желание обратиться к нему за помощью. Стало понятно: без порученца, которого здесь всяк знает, мне никого не найти, и я пошел к «виллису».

Полковник уже исчез. Мне и раньше казалось, что он придуривается, симулирует глубокое опьянение, чтоб не оказаться свидетелем чего-либо неуставного, но столь явного подтверждения моей догадки я не ожидал. А генералы мирно посапывали. Порученец же курил. Не «Северную Пальмиру», коробки которой громоздились на столе гостевой избы, не «Беломор», а махорку, свернув «козью ножку» размером с телефонную трубку. Вот уж диво так диво. Нечто, выпирающее из привычного, полная необъяснимость — такая же, как жажда самогона при избытке спирта и водки. И никак не могло быть у порученца махорки, ему не из чего было вообще скручивать «козью ножку».

И тем не менее — скрутил, задымил, пока я бегал, а теперь — при затяжке — осветился и сам порученец. Из коряво скрученной «ноги» аж искры полетели. А рядом — бочки с бензином!

Нигде потом эта «козья ножка» не фигурировала, ни в одном протоколе допроса, существование ее старательно замалчивалось, упоминать о ней нельзя было.

Я выхватил «ногу» изо рта порученца и отбросил ее в сторону. Во мне сработал инстинкт самосохранения, принимавший подчас, как я успел заметить и о чем мне рассказывал Чех, странные формы, ибо инстинкт, более древний, чем человек, был все же очеловечен опытом, предрассудками, навыками, здравым смыслом наконец, — а какой, скажите, здравомыслящий и заботящийся в темноте о собственной шкуре человек потерпит рядом с собою светящийся предмет, видимый на большом расстоянии?

Поэтому я не затоптал сигарку, а отшвырнул ее подальше, намереваясь попасть в вазон, в декоративную чашу, смутно белевшую шагах в пятнадцати — двадцати. Земля под ногами все-таки промасленная, политая бензином. Кроме того...

Много таких резонов приводила моя безутешная голова — потом, когда я сидел в карцере. Но что толку?

Итак, я бросил. И раздался сдавленный вопль, перешедший в мат, осекшийся немедленно, а затем с удвоенным ревом продолжившийся и временами прерываемый обычным визгом.

Раскошегаренная порученцем сигарка, мною брошенная, шмякнулась не в вазон. То, что я в темноте принял за декоративную чашу, оказалось лысиной члена Военного совета фронта, по малой нужде вышедшего во двор. Не хочется уточнять, в какую часть тела попала искрометная «козья ножка», осмелюсь добавить, что процесс исполнения малой нужды был прерван. (Уже потом я осторожно пытался выяснить, не нанес ли ожог непоправимый ущерб мужским способностям раненого обладателя лысины, но, насколько понял, обошлось без тяжких для мужика последствий.)

Я бросился на помощь, поближе к визгу. Я еще не понимал, что сотворил. А уже прибежала охрана, меня потащили куда-то. Я молчал, ничего не понимая. Увидел себя наконец в коридоре первого этажа и налетавшего на меня коротышку в гимнастерке с фронтowymi генеральскими погонами, услышал его бессвязную речь. Я молчал. Я стоял. Коротенькие ручки генерала вцепились в мой погон на правом плече и с силой дерну-

ли его. Погон оторвался. (Мелькнула перекошенная физиономия командира комендантского взвода.) Второй погон не желал разделять участь первого. Генерал, однако, поднатужился, уперся коленом в мой живот и все-таки вырвал погон — да так, что по швам затрещала гимнастерка. Отойдя к свежепобеленной стене, я лопатками коснулся ее. И молчал. Я был податлив потому, что мысленно передал все свои чувства некоему стороннему наблюдателю, человеку редкостной выдержки, и человек этот, как-то сбоку на меня глядя, увидел юнца, глупого и чрезмерно честного, в буквальном смысле прижатого к стене стайей озверевших людей и приговоренного к расстрелу на месте, там же, у стены, и поскольку сторонний этот наблюдатель побывал на многих смертях, то я, удовлетворяя желания его, стал абсолютно машинально снимать с себя сапоги, не прибегая к помощи рук, не наклоняясь, а так — нога о ногу, носком сапога цепляясь за задник другого. (Да что еще иное придумает человек, на которого в упор направлены пять или шесть пистолетов и три автомата!)

Недостянутый сапог отрезвил, как ни странно, всех. Ор прекратился. И слюной брызгавший от злости генерал выпалил:

— Фамилия, мерзавец!

Я сказал.

И тогда последовал жест, взмах руки, целеуказание пальца, тыкающего куда-то вниз, повеление быть мне на уровне, который ниже пола коридора.

— Разжаловать в рядовые! В штрафбат!

Припадая на правую ногу из-за мешавшего сапога, я под конвоем спустился вниз, в подвал. Распахнулась дверь с решетчатым оконцем, выпустила меня и захлопнулась. Я оказался в камере. Дверь была единственным выходом из нее. На голых нарах — свернутое одеяло. Я сел на доски и стал приводить в порядок дыхание, основу правильных мыслей... Как только оно восстановилось, в камеру прыгнули, будто с потолка, два лейтенанта, по манерам, по повадкам — из тех органов, куда ездил на доклады Любарка. Назывались (с апреля) эти органы так: СМЕРШ. Пришлось позволить им вывернуть мои карманы. Лейтенанты обомлели от добычи и бросились докладывать, впопыхах забыв закрыть камеру, чем я, конечно, не воспользовался: все хитрости контрразведки я знал со слов Алеши, а Чех дал мне подробные инструкции на все случаи жизни.

Только утром, когда принесли завтрак, обнаружилось, что дверь — не закрыта на замок. Еще ранее я попросил меня выпустить на бег, отнюдь не рассчитывая на успех. Просто по совету Чеха я мелкими просьбами находил те логические запоры, которые предстояло преодолеть, и сущей находкой стало появление дознавателя (или следователя — попробуй разберись). С собой он принес фонарь, не довольствуясь лампой под потолком, которую, кстати, можно было вывернуть для использования в наступательных и оборонительных целях, о чем никто здесь не догадывался, хотя по первым же словам пришедшего я понял, что меня принимают за немецкого шпиона-диверсанта. Заполняя протокол с обязательными вопросами, он, водя пером по строчкам, дошел до «воинское звание» и положил на табуретку — комком — оба выданных майорских погона. «Ну что, гад, попался?» — примерно такая издевательская ухмылка сияла на его продолговатом лице.

При обыске в карманах моих так почему-то и не нашли приказа о присвоении мне воинского звания «майор». Его, мне сказали, вообще не было. Вот тогда-то я и рассказал о хуторе, о самогоне, о генералах, о порученце, о «телефункене» (он тоже куда-то запропастился), об ордене, о номере приказа, после которого я стал лейтенантом, о том, как нежданно-негаданно превратился я в майора, и о событиях во дворе штаба сразу после полночи. Я ни словечком не коснулся Бориса Петровича Богатырева, я

умолчал о нем, потому что не знал, поручится ли он за истинность того, что говорю я трем офицерам СМЕРШа и военной прокуратуры. В дополнение ко всему сказанному я собирался поставить в известность полковника Костенецкого о том, где я и в чем обвиняюсь.

И конечно же о «манане» никто из них не узнал.

Три офицера, начавшие было записывать говоримое мною, не только отложили ручки, но даже незаполненный лист бумаги уничтожили на моих глазах. Поднялись и ушли. По скрежету подкованных сапог стало понятно: охрана усилена. Одеядло отобрали. Множество звуков проникало в каменный мешок карцера, расшифровывать их было полезным занятием, и уже через несколько часов я знал о штабе много больше того командира комендантского взвода, которого я, известный ему младший лейтенант, страшно напугал, явившись ночью с погонями майора на плечах. Еще больше знаний давала мне кормежка. Видимо, СМЕРШ не жалел калорий на питание задержанного немецкого шпиона, зато военная прокуратура считала меня обыкновеннейшим мошенником и дезертиром, дело мое ходило по кругу, и если утром мне приносили кофе, то, считай, жди к обеду особиста. Самой же охране плевать было на то, какая птичка залетела в их гнездышко, охрана никак не могла согласовать вопрос о том, сколько человек будут сопровождать меня до уборной и обратно.

Никому не позволялось ни видеть меня, ни говорить. Но порядка, я давно заметил, нет ни в одном штабе — ни в советском, ни в немецком. Ко мне вдруг пришел Борис Петрович Богатырев, сопровождаемый начальником артиллерии фронта генералом Варенцовым. Генерал этот рта не раскрыл, он лишь присутствовал, Богатырев же сказал, что порученец уже «раскололся» и дал правдивые показания, в мою защиту вовлечены могучие силы, как московские, так и местные, включая разведотдел, однако человек, подпаленный мною, обладает не только влиянием, но и редкостной мстительностью, что вынуждает сочувствующим мне товарищам прибегать к мерам необычным, товарищи сколачивают некий альянс из недругов генерала — того самого, который вручал мне часы и присваивал внеочередное воинское звание. Генералу этому все задолжали, всех он одаривал приемниками, часами и напитками, и никто из одаренных портить карьеру ему не станет. Однако генерал недавно сильно погорел, умыкнув с соседнего Степного фронта обоз и оприходовав его как немецкий. И вообще многие его ненавидели. Так что — не пройдет и часу, как меня освободят.

Час этот длился неделю. По истечении семи дней генералом Повыше Ростом занялись вплотную, радостно потиравший руки Богатырев приходил ко мне каждый вечер и оповещал о событиях, а были они весьма удивительны. Генерал, когда к нему приставали с расспросами о хуторе, отвечал кратко и вразумительно: полная чепуха, как мог он присвоить звание майора тому, который уже был майором? К изумлению всех неверующих и всего штаба из Москвы пришел приказ о том, что еще за три недели до происшедшего на хуторе командующий Брянским фронтом присвоил младшему лейтенанту Филатову Л. М. внеочередное звание «майор».

Как только приказ этот отстучался на телеграфных аппаратах, мне принесли гимнастерку с погонями майора. И все-таки надо мной по-прежнему нависал суд, разжалование и штрафбат, который был пострашнее кровопролитного сражения наподобие того, какой был на речке Мелястой. Но Богатырев штрафбата не предвидел. Он решил меня повеселить, показав копии документов на меня — служебный отзыв, боевую характеристику и справку об аттестовании, подписанные неизвестными мне генералами. Со стыдом читал я о себе: «...будучи послан с особым заданием в глубокий тыл противника, он при возвращении вступил в неравный бой с превосходящими силами механизированной полуроты, в результате чего захватил сверхсекретный приказ фашистского командования, что позволило нашему командованию правильно организовать оборону...»

Какая это еще «механизированная полурота»? Нет у немцев такого воинского соединения, это даже Инна Гинзбург знает — так негодовал я. Из отрывистых высказываний следователя можно было заключить: Локтев все-таки поверил мне, и наступление наших войск на «его» участке фронта прошло успешно, с минимальными потерями, чего не скажешь о боях южнее и юго-западнее. То есть, боюсь в этом признаться, склоненные к вранью Калтыгин и Алеша повинны в гибели тысяч наших солдат. Ну а я-то, не совравший, — почему страдаю я, почему я виноват в том, что нагорожена куча вранья, что все меня касающиеся бумаги будто в чем-то вонючем и клейком? Неужели потому, что забыта заповедь Чеха: «Всегда соглашайся с большинством, потому что раз уж чаша истории качнулась именно в эту сторону, то никакие песчинки, на другую чашу брошенные, никогда не поднимут ее...»? Однако тот же Чех мысль эту завершал жестким указанием: «Но, поддаваясь оголтелому хору так называемого большинства, всегда выгадывай момент, когда ты волен будешь решение принять по-своему, не обращая внимания на вопли друзей, врагов и начальства...»

Следователем был Илья Владимирович Векшин. Его и позитивным негодяем нельзя было назвать. Он просто был при деле, и любое дело, доброе или злое, доводил до такого рационально-беспощадного конца, что и дело-то забывалось, конец помнился лишь.

— Где, когда и при каких обстоятельствах вы встретились 23 марта 1942 года в окопах под Великими Луками с лейтенантом Таранцевым Иваном Сергеевичем, который был убит накануне?

На такие вопросы, где идиотизм соседствует с гениальностью, обычно не отвечают.

Меня допрашивали на втором этаже штаба, оттуда я поглядывал на тот двор, где две недели назад «козья ножка» искрящейся дугой прочертила расстояние от «виллиса» до паха члена Военного совета. Днем во дворе царил суeta людей, которым отдавали сразу пять-шесть приказов и все о том же. Поглядывал — но и скашивал глаза на стол, начиная догадываться: кое-что на нем — для меня, чтоб я пополнял свои знания. Для самообразования. И уходя из комнаты, закрывая ее на ключ, следователь как бы разрешает мне знакомиться с некоторыми материалами.

И на десятые сутки рука моя будто случайно сбросила прямо на колени себе личное дело майора Филатова Леонида Михайловича, с фотографии на меня глянул незнакомый человек в командирской форме с лейтенантскими кубарями в петлицах, родившийся вовсе, конечно, не там, где я, то есть в Воронеже, а в Ленинграде 11 июля 1919 года... Я понимал: мне дается от силы десять минут на ознакомление с сорока тремя листами личного дела, и я уложился в срок, вернув личное дело на стол и теряясь в догадках, приходя к самой невероятной, подтвержденной вскоре.

Вернувшийся Векшин смотрел на меня так пусто, что отсутствие всякого выражения в глазах наводило на мысль о значимости пустоты. Поэтому я в лоб спросил, когда будет разжалование и смогу ли я, ознакомившись хотя бы на словах с обвинительным заключением, связаться с полковником Костенецким.

— Майор Филатов Леонид Михайлович, — сказал Векшин с пустотой в голосе, какая недавно была во взгляде, — будет несомненно разжалован и отправлен в штрафбат, чтобы кровью искупить свою вину перед Родиной.

Вслед за этим он поднялся и подошел к окну... Что сделал и я. Мы оба смотрели на двор, и я пытался увидеть то, что видел и хотел мне показать Векшин. С бронетранспортера соскочил офицер, руки черные, по пояс в грязи, скомандовал, солдаты покатили к нему бочку с бензином. Телефонистки, чистенькие, как носовой платок штабника, пробежали. Еще два офицера сошлись, обнялись, покосились на окна и пошли курить под навес. Писарь прошествовал, напуская важность. Что еще? Да много людей

прошло и простояло за десять минут. И все по делам, все по горло занятые. Совсем не к месту кто-то раскатывал катушку с проводом, немецкую, замерял, наверное, длину. Комендант штаба задрал голову, пересчитывал выбитые стекла. Еще какие-то солдаты, баба с мешком...

Ничего стоящего не увидел я, не узрел. А Векшин увидел, узрел.

— Запомни, — произнес он.

Из нижнего отделения громадного сейфа он достал комплект новенького обмундирования, свеженького, с ярлыком Яранской швейной фабрики. Солдат отвел меня вниз, в камеру, здесь я переоделся, на мне были погоны майора, да и как им не быть, когда пятью минутами позже Векшин выписал командировочное предписание на имя майора Филатова Леонида Михайловича, обязывающее его убыть в распоряжение в/ч 34233, то есть к Костенецкому.

— Счастливой дороги! — напутствовал меня Векшин.

И Богатырев, возвращая залежавшийся у него мой парабеллум, того же пожелал, потому что путь предстоял мне долгий и тяжкий: с тремя пересадками до Москвы.

Уже на полуторке, когда я трясся на пыльной дороге к станции, во мне вдруг всплыла картинка, глазами запечатленная, оттиснутая в памяти, но сознанием там, в комнате Векшина, не осмысленная. Я понял, на что намекал Илья Владимирович, когда рекомендовал «запомнить». Точнее — на кого намекал.

Именно: просторный двор за зданием школы, куда набились отделы штаба фронта, крытый «додж», откинутый тент кузова и два офицера, спрыгнувшие на землю. Один — майор в гимнастерке старого образца, с петлицами, но без знаков различия и с погонами, — в такой смешанной форме одежды ходили тогда многие офицеры до конца 1943 года. Второй — лейтенант, прыткий, хороший спортсмен: он прыгал на землю, мысленно представляя себе гимнастический снаряд, прыгал, согнувшись, приземлился легко, как на мат. Одет он был справно, по уставу и так, что никто в штабе не придерется. Майор быстро сориентировался и двинулся в нужном ему направлении, огибая встречавшиеся ему препятствия: бочку, кобылу под седлом, вильнувший «газик», а лейтенант шел не следом, не рядом, а ухитрялся всегда располагаться так, чтобы пресечь майору пути возможного отрыва от него. Он конвоировал майора — вот что он делал, и я, под следствием пребывавший, не нашел тогда — у окна — ничего необычного в этом способе совместного передвижения и, лишь несясь вольной птицей по дороге, смог правильно оценить картинку. Майора везли на подмену меня, майор был моим однофамильцем и полным тезкою — Филатовым Леонидом Михайловичем, 1919 года рождения. Да, велика Россия, одна из рот Преображенского полка (так уверял Алеша) была будто бы укомплектована близнецами из разных семейств, и добыть на фронте майора Филатова Леонида Михайловича труда особого не составляло.

Стыдно было, очень стыдно. Полуторка несла меня вскачь от штаба подальше, от грехов и скверны, от позора.

24

Мысль! Мысль! Что это такое? — Вновь маэстро

Мне повезло: в Валуйках я столкнулся с Кругловым, он и пристроил меня к генералам, три часа лету — и Москва.

С майорскими погонами чувствовал себя так, будто на мотоцикле вкатился в просвет немецкой колонны, впереди — открытый зад «бюссинга», последний ряд сидящих на скамье солдат, в упор смотрящих на меня, а сзади — бронетранспортер с наставленным в спину пулеметом. В зеркале туалета Белорусского вокзала глянул на себя — все то же мальчишеское

лицо, знакомое мне лицо, которое — так казалось — не могло выражать ни легкого полезного страха, ни задора, присущего парнишке, которому через два месяца будет шестнадцать, а может, и семнадцать — я уже начинаю путаться из-за обилия биографий. Бритва ни разу не касалась ни щек, ни подбородка, и вспоминался ранний весенний лужок, покрытый зеленым мягким пухом...

Но глаза! Глаза стали взрослыми, такими взрослыми, что я, своими глазами смотря в мои же глаза (не в чужие и не со стороны!), видел в них непонятную мне мысль, что-то вроде автоматного диска в арсенальной смазке. Я о чем-то задумался, и не на минутку. Я увидел страх перед собою, я боялся самого себя, мне почему-то было стыдно — и за погоны, и за ордена, и за пушок на щеках. За два года я вырос на семь сантиметров, не потому ли мыслю? И тут кто-то попросил подвинуться, кому-то надо было побриться, и я отошел. На миг во мне шевельнулось ощущение того утра, когда я сошел с ума, но оно покрылось вокзальной заботой военнослужащего, не имевшего ни литера, ни денег, и не знаю, как бы выкрутился, не вернись я под крылышко Круглова. Он повел меня к себе, занимал он целые апартаменты на улице Горького, в чужом жилище обитаю, признался он. Да и так видно: в квартире он не ориентировался, будто только что был сброшен сюда с самолета, телефон оказался неподключенным, но в прихожей — явно принадлежащие ему мешки с продуктами... Во мне еще трепетало недоумение от увиденной мною собственной мысли в собственных глазах, ответы мои — а Круглов пытался осторожно расспросить меня — были глупыми или путаными. Как-то всесторонне, что ли, оглядывая меня, пощупав даже материал гимнастерки, он деловито спросил, как у меня с документами, что меня поразило; успокаивающим жестом он дал понять, что ответа не требуется. Присовокупил: отныне он — в штабе фронта, здесь — командировка. Ушел звонить к соседям — и телефон заработал. Поразительно, но у него всюду были свои люди. Они дозвонились до штаба фронта и все разузнали. Костенецкий разрешил мне якобы задержаться в Москве, даже согласовав это с Разведуправлением, куда я пытался было проникнуть, но управление было разбито на разные подуправления в разных местах столицы, и офицер, который знал бы, кто я и откуда, так и не нашелся. Собрался было в кино, но Круглов предложил ресторан гостиницы «Москва», стал названивать, я слышал только малопонятные «верю... заметано...». Две девушки, вызванные телефонными паролями: «...договорились... давайте...», нашли нас в ресторане, были очень скромными и милыми, развязности — ни на грош, но мне почему-то захотелось Инны Гинзбург. Одна из девушек (имя ее забыл) сказала мне, что я напоминаю ее брата, до войны служившего в Киеве. Круглову при переаттестации дали майора, был у него орден Красной Звезды и три медали. На мне — чуть меньше. Девушка, имя которой забылось, шепнула: настоящая награда, мол, меня ждет, и не в наградном отделе Президиума Верховного Совета. «Спасибо», — таким же шепотом ответил я и в рассеянной по космосу звездной пыли уловил желание, которое не могло не совпадать с таким же у девушки. Наши пальцы сплелись у гардероба: девушки примчались в «Москву», взяв на всякий случай плащики. Ночевать поехали к ней, на Грузинский вал, от названия которого мне стало грустно. Мы оба поблагодарили космос, давший нам право лежать нагишом под одеялом. Девушка показалась мне совсем маленькой девочкой, когда притомилась и заснула, свернувшись калачиком. А я смотрел в потолок, я был в тягучей тоске, мне не очень-то нравилась такая вот доступность женщин, мне, наверное, хотелось поисков, страданий, поцелуев у калитки... Да где же она, эта калитка? Девушка проснулась, нас вновь увлекла горная река, подхватила и понесла, выбросила на отмель, девушка спросила, сколько у меня было женщин — до нее? Ответил: «По пальцам можно пересчитать...», а сам начал вдруг подсчитывать убитых немцев, что давно уже не делал, о

чем старался забыть; мне там, на Грузинском валу, пришла в голову мысль, которую я не могу назвать мыслью, настолько она была мелкой, ничтожной, но тем не менее вот она: немцев убил столько, что не пальцы считать, а волосинки на голове. Сказал я и о том, что невеста моя, Этери, отказалась почему-то от аттестата. Девушка одобрила это решение. Мне, сказала она, поднимаясь и закуривая, мне жених тоже прислал, а через месяц — похоронка. «Я как слышу по радио, что наши потери составили сто сорок семь бойцов, так сразу вспоминаю жениха...»

25

Горе-то, горе какое у Григория Ивановича... — Всплыли все старые грехи мушкетеров, кардинал о них пока не знает

Наконец я добрался до друзей, по пути отдав все документы и погоны Лукашину.

Алеша полулежал на топчане, фальшиво высвистывая авиационный марш. Григорий Иванович показался мне черным, как вчерашняя туча, рыхлым, безвольным, податливым, он сам чувствовал темень на себе, потому что пытался смахнуть ее с лица рукою. Он смотрел на меня, не узнавая, а когда узнал, то беззвучно пошевелил губами.

Григорий Иванович умоляюще попросил у меня водки, и я безропотно выдал ему московский гостинец. Григорий Иванович прошелся под окнами, скрылся за сараем.

— Мать у него умерла, — сказал Алеша.

Я ахнул. Мне стало так жалко Григория Ивановича, что еще минута — и я полез бы в окно, чтоб сесть рядом с командиром, присутствием своим напоминая про общую нашу судьбу.

— Не надо, — остановил Алеша. — Она умерла давно, пять лет назад. Гришка впервые в запое, не просыхает уже неделю.

— А как же?..

— А так же.

— Но ведь....

— Сопляк ты еще... Не понимаешь. Писать он ей не мог. И отцу тоже. Обоих сам раскулачил. Их и сослал. Вот и приходилось ему бить поклоны в письмах всем родственникам: может, кто знает, что с ними. Вот и узнал. Отец-то раньше умер, в тридцать третьем.

Вдруг я понял, прозрел, до меня дошел смысл святотатства, итог его: сын убил отца и мать! И сын страдает! Несильный в грамоте, он изощрается в письмах, выведывая про убиенных им.

Я растерянно огляделся: ну и гнусное же местечко! За окнами — сад с краснощежими яблоками. Но впечатление — дико, голо, неудобно. Рядом — разрушенное трамвайное депо, рельсы, уходящие в сожженный город, нас к чему-то готовят — это уж всякий догадался бы, потому что на отшибе живем, вдвали от посторонних, так сказать, глаз.

Привезли ужин в немецких кастрюлях. Когда поели, Григорий Иванович сказал то, что от него ждали:

— Вот что, хлопы... Нам надо быть вместе. Всегда вместе. Только так. Обратной дороги нам нет уже. На себя беру все. Вспомните все про себя — что делали и что наделали.

Стали вспоминать молча — и поняли, что если доберутся до нас те, к кому ездил на доклады Любарка, то всех расстрелять постесняются, этапируют в Москву, чтоб там уж с каждым разделаться за все. Что натворил до встречи с нами Калтыгин — того не знал даже Алеша, но наворотил Григорий Иванович предостаточно. И мы добавили в его кучу своего дерьма.

(Немаловажный штришок: Григорий Иванович не верил никому — ни отдельному человеку, ни какой-либо общественно-политической организации. Колхозников считал лодырями, однако же так называемую интеллигенцию бичевал за то, что она — на шее этих лодырей. Рабочий класс целиком состоял из прогульщиков и бракоделов, чему было множество доказательств: патрон заклинило — и Григорий Иванович мрачно изрекал хулу на пролетариат. Женщинам не доверял тем более, и сколько бы ими ни обладал, твердо знал: обманут при первой же возможности, а уж заявленьице напишут куда угодно. Особо ненавидел партийных работников, но мудро помалкивал.)

Однако же все меркло перед тем, что сотворено было позднее, в день, когда мы пересекли линию фронта — не буду уточнять где. Фронт в том месте распался, где свои, где немцы — не разберешь, что нам и требовалось, — как и рваные низкие облака, мелкий дождик, горящие танки, вроде бы шевелящиеся трупы, бегущие неизвестно куда красноармейцы — в панике, но в особой панике, сосредоточенной на трезвом расчете найти место понадежнее, чтоб остановиться, задержаться, отдышаться и там уж решать: бросать оружие или набивать магазин патронами? Бежали и поодиночке, и группками, да и бежали без прыти, хотя и оглядываясь. Мы же втроем шли степенно, мы уже были у своих, иные заботы висели над нами, мы несли с собою нечто важное, нас ожидали. Да и разобрались уже, что происходит вокруг, и догадались: до той линии обороны, где твердое командование, где есть связь со штабами, осталось всего ничего и можно потерпеть, пройти эти полтора километра и там уж опуститься на землю, прилечь и ждать, когда за нами придет машина.

Неторопливо шли, отмечая лишь раненых, на которых надо указать, когда появятся санитары. Одного, очень тяжелого, выволокли из воронки и положили на виду. Увидели, что уже кто-то из командиров ставит заслон убегающим, сколачивает боевую дружину. И нам приказал подойти к нему, а сам — ростом аж выше самого Григория Ивановича, старший лейтенант, от гнева кадык то прятался под гимнастерку, то выталкивался оттуда, глаза дурные, какие бывают у храбрых трусов, пистолет перепрыгивает из руки в руку, успевая касаться козырька фуражки: старший лейтенант как бы почесывал лоб. И голос — визгливый, как у поросенка, и почему-то топтался на месте — от нерешительности и боязни чего-то. Дружина состояла из семи бойцов, обрадованных тем, что кто-то из командиров сейчас возьмет на себя заботу о них и отправит в тыл, потому что — они это знали так же твердо, как и мы, — деревня в километре от нас и та самая, в сторону которой помахивал пистолетом старший лейтенант, деревня эта — уже у немцев и надо быть полным идиотом, чтоб силами полувзвода отбивать ее. Но подошедшее к старшему лейтенанту подкрепление из двух человек сразу придало ему веры в исполняемость любого приказа, пистолет прекратил трепыхаться и направился на деревню, указывая красноармейцам, в какую сторону теперь бежать с криком «ура». Предполагалось, что и мы тоже побежим, и когда этого не произошло, старший лейтенант наставил пистолет на нас, а точнее — на самого слабенького, как ему казалось, на меня. Подмога с интересом наблюдала — с не меньшим, но затаенным интересом рассматривали и мы эту парочку, готовясь к худшему. Подмога была хорошо обученной, в касках, в свеженькой форме, у одного автомат на плече, второй держал его у колена, в руке. И по тому, как держался ППШ, видно было: подкинуть его к бедру и пустить прицельную очередь — этот второй мог, да и первый мне тоже очень не нравился. Он напустился на Григория Ивановича как на дезертира или шпиона, но не совсем уверен был в себе, мешала независимая осанка Калтыгина и его манера держаться. Старший лейтенант же стал развивать тему: почему мы оставили деревню без приказа. Григорий Ива-

нович мог бы отбрехаться, да очень ему не нравилась парочка, готовая на полсекунды раньше нас открыть огонь...

(О, этот сладостный миг нетерпения, когда ожидаешь момента начала. Того мига, с которым ты как бы взлетишь над землей, будто немецкая противопехотная мина, на долю секунды раньше врага, и это опережение вливает в душу неизъяснимое блаженство: ты — лучше их. Выше. Честнее. Добрее!..)

...и Григорий Иванович начал отбрехиваться, пуская словечки, которые нас привели в боевую готовность. В таких вот моментах, когда оружие под руками и только ищется повод, чтоб пустить его в ход, ни глаза, ни уши не могут определить того мгновения, после которого ничего уже не решить: поздно! Первым стреляет тот, кто стреляет первым, остальное — придумывается в оправдание, если застрелили не того или не тех.

Калтыгину не пришлось оправдательно или успокоительно говорить о пакете, прибинтованном к его животу вместе с гранатой. Мы пошли дальше, задержать нас уже не мог никто, позади — трупы, а выстрелы кто услышит, если там и сям рвутся снаряды. Дотопали до своих — а свои, вот уж не повезет, хуже чужих: принять-то приняли, да стали расспрашивать, что за нами, где немцы, а когда мы сказали, что немцы уже в деревне, — сочли за паникеров, подлежащих расстрелу на месте, и лишь блатные повадки Алеши уняли сверхбдительных. Никто, конечно, следствия не вел по поводу десяти трупов, все списалось на немцев, не могло не списаться, но однако же, однако...

Мучили меня эти десять трупов, я временами пускался вновь в подсчеты, мысленно видел висящий ромбик с цифрами и гадал: эти десять — чьи? Понятно, они не в счет, но для равновесия не сбросить ли десять немцев как бы вне подсчета, исключить их? М-да, дикость, но — на себя брал эту десятку Григорий Иванович, потому что словцо сказал, а кто из нас первым из мига этого вырвался — поди просчитай.

26

Нет, не теми травами кормил Чех захворавшего недоросля. — Вновь сумасшествие? Ошибка? Преступление?

Нижеописанное событие произошло за неделю до того, как молодуха приволокла нам портфель со злополучной картой. Возвращаясь к своим, мы сделали привал в лесу. Время текло нудно, до ближайшего немецкого гарнизона двадцать четыре километра. Костер разжигай с дымом под самое небо, стреляй потехи ради — никто не подойдет. Алеша сделал на всякий случай обход, я прислушался и встал. Еще на курсах стал я присматриваться к поведению разных пташек, которыми никогда не интересовался, мелких и крупных зверюшек. Война, казалось мне, не могла не затронуть их. Обжитые гнезда пернатых гибли под огнем или ударными волнами артиллерии, барсучьи норы давились многотонными металлическими чудищами, муравьиные кучи вспыхивали с жалобным треском. Лишь мыши-полевки ничего не боялись, воробьи осваивали навоз, весело чирикавая, зато куры чуяли надвигающуюся смерть. Собаки стали походить на волков оскалом и мгновенными прыжками, но они же безошибочно терлись у ног людей, не помышлявших о шкуре их и мясе. Лес становился информатором, по птицам можно было судить, кто идет, с каким оружием, куда, соблюдает ли меры предосторожности.

Птичка, запевшая неподалеку, беды не сулила. Я упивался мелодией, обрывавшейся почему-то упорно на «си»; я пошел на эту мелодию, задрав голову, ища певунью, — и столкнулся с немцем. Как он сюда попал — полная загадка, появление его было столь неожиданно, что я не удивился,

не испугался, и владела мною досада: эх, Алеша, Алеша, где ж глаза и уши твои были?

Мы стояли друг против друга. Он смотрел на меня, я — на него. Немец как немец, много старше меня. Уставший немец, солдат, шнуровая полоска на погоне — кандидат, значит, в ефрейторы, — не поздновато ли, а? Обычная полевая куртка, пилотка, медалька за московскую кампанию — нерадивый солдат, значит, в армии по крайней мере с октября 1941-го, а даже креста нет, всего лишь значок за штурмовые атаки. Зато — везучий: не штабной, пороха нанюхался вдоволь, но — руки-ноги целы и подвижны, отмахал полверсты от дороги к лесу, нашивки за ранения отсутствуют. А ведь все его соратники либо под березовым крестом, либо инвалидами дома, либо в плену. Автомат на груди, универсальный котелок, легкая пехотная лопатка в чехле и весь прочий набор, нужный солдату при переброске из одного окопа в другой. Одеяло сверху приторочено, а для удобства он автомат, мой любимый «шмайссер» модели 38, на грудь перекинул. Гладкий немец, выбрит чисто, будто коменданту гарнизона идет представляться.

Это он свистел, а не птичка. Мастер сверххудожественного свиста, а я — без «шмайссера». А немец своим «шмайссером» прошил бы меня за секунду, если бы захотел. Но в правой руке — каска с подшлемным амортизатором, что совсем уж диковинно: это при пилотке-то — зачем она? И чувствовалось: ранец набит вкусеньким. Сумка с гранатами, заставлявшая спрашивать: куда ж ты, теленок безмозглый, направляешься? Краешек фляжки виднелся, вода там или спирт — все одно, пригодится. Шнурованные ботинки хороши, но размер не тот, разве что на обмен, на Калтыгина они точно не налезут. Обшитые кожей гетры ни к селу ни к городу, никому не подойдут.

Я смотрел, смотрел на медаль, а затем досадливо повел плечом, показывая солдату, что надо бы, братишка, автомат-то сбросить на землю. Он выронил каску, пригнулся, помогая рукам, и автомат аккуратно опустился на траву. Затем я показал олуху, что не мешало бы и от ремня-патронташа освободиться. И эта просьба была им удовлетворена. С фляжкой он тоже расстался. Штык я ему оставил, гранаты тоже: какой же солдат без оружия. Потребовал документы — жестом, я вообще ни одного слова не произнес. Конрад-Вильгельм Бауска, службу начинал в 31-м полку, солдат (ого!), а получает 60 марок в декаду (генералу Власову немцы давали 70 марок в месяц). Ранец набит подношениями, от которых млеют бабы. Пальцем указал немцу на дорогу: иди. Он еще не повернулся, а я передумал, ткнул на автомат и ранец: забирай, мол. Он наклонился, поднял и попятился. Тут только я на себя сам глянул, его глазами: советская гимнастерка довоенного образца, справные сапоги, головного убора нет, немые приказания могут понимать так: начнешь шуметь, то есть стрелять, моих ребят разбудишь. Ножа он не видел (его и не было), но место, куда ему вонзиться, уже определено было и мною, и им самим: чуть ниже левой скулы.

Ну а как он сюда попал — строй догадки. Самая верная — отпуск. Но перед родным германским домом захотелось побывать ему у любимой русской женщины, был, видимо, на постое у нее когда-то. Попутный грузовик добросил его до леса, а дальше — напрямик: спешил, как на первое свидание. Любовь.

27

Две монашки, благочестие и распутство. — Леонид Филатов не позволяет Калтыгину пропитаться религиозным дурманом

Однажды утром собрались без спеха, доехали до Смоленска во всем офицерском, взобрались на «студер» и укатили — на аэродром, на «ду-

глас». Киев уже взяли, с двумя пересадками сели на какой-то безымянной площадке 4-го Украинского фронта, где нас поджидал начальник СМЕРШа, который не знал ни слова из того, что приказано было нам, но потому и решил нас особо и почетно содержать — в домике на окраине крохотного городишка. Местность Алеше знакомая, не так далеко отсюда он проживал или пытался проживать, пока его не забрали в армию за два дня до войны. Связь с нами держали через танковый батальон, буянивший почти рядом. Предупредили: удаляться от дома только по одному, ну вдвоем, но кто-то обязательно должен быть на месте, потому что в любой момент прибегут из штаба батальона, позвонят к телефону. Готовилось наступление, рациям выходить в эфир запретили, вот мы и куковали, по очереди сматываясь в город или на рынок.

Танки — под навесами или покрыты сетками: чтоб удержать сотню человек в повиновении, офицеры устраивали строевые занятия. Кто в этом батальоне разложил танкистов — неизвестно, но служили в нем неисправимые бабники, все разговоры сводились к женщинам, мне один сержант показывал на наклонной плоскости передней брони Т-34 овальное пятно и утверждал, что оно — от сотен баб, которых употребляли именно на этом месте экипажи доблестного танка. Очень нехороший батальон, Калтыгин, всегда склонный побалакать насчет «этого самого», и тот как-то зарорал на приставшего к нему страдальца. Однажды пошел я на базар, любопытно было рассматривать продаваемые с рук вещи: тюки нижнего белья, нашего и немецкого, польские конфедератки, румынские кавалерийские брюки, каски, специально чуть помятые, чтоб не быть конфискованными как военное имущество, сапоги, парами нанизанные на веревку, как рыбыны через жабры (при копчении), сыр, масло, сало, мед. Быт прифронтовой полосы, уже сомкнувшейся с тылом, — все то, что должно быть на передовой или на армейских складах.

Молоденьких женщин почти нет, продававшие бабы же смотрели на обходивших торговые ряды мужчин так, словно винили их в чем-то, и были того возраста, который позволял им глядеть на меня как на мальчика, пришедшего в баню с матерью. (Сколько уже ни воевал я, скольких людей ни встречал, обогащаясь ими и взрослея от них, а все оставался нетленно юным. И, прочитав «Портрет Дориана Грея», — ни слову не поверил. Я мужал. Во мне уже было 57 килограммов веса, ростом я соответствовал этому измерению.) Я не засматривался на молоденьких, меня одолевали мысли о неистребимости жизни, потому что базар ломился изобилием еды и вещей, то есть всего того, чего не должно было быть, но тем не менее из каких-то таинственных пор просачивалось.

Стоило на полсотни метров отойти от рынка, как сразу же на глаза попались две женщины, настолько разные и такие притягательные, что не один я остановился. Этими женщинами были: Констанция Бонасье и леди Винтер, Миледи то есть.

Одеты они были во все длинное и серое, странно одетые, стояли рядышком, и одна из них разговаривала с танкистом. Одежда и платочки, повязанные почти по-медсестрински, неотличимость одной женщины от другой вселяли уверенность в том, что обе — из монастыря, который где-то за горой, как я слышал, километрах в пяти от города. Монашка говорила на русско-польско-украинской смеси, вставляя для понятливости немецкие словечки, и танкист, оторопело ее слушавший, время от времени давал протяжным хохлацким «гы!» понять, что смысл говоримого доходит до него в достаточном для разумения объеме. Речь же шла о божественном, о благодати, о каре за непослушание, о вере и безверии, о деснице Божьей и грехах человеческих, под которыми понимался танковый батальон, осуждаемый за учиненные им злодейства, выраженные в краже кур, гусей и поросят. Танкиста, человека с явно нетвердой душой, начинала сокрушать

тяжесть предъявляемых обвинений, его «гы!» становилось все более и более покорным, он начинал сдаваться, монашка же сулила отпущение грехов, если танкист покается с возвратом украденного...

Это-то и показалось мне сущим обманом: ни кур, ни гусей, ни поросят не воротишь ведь, и, намереваясь уже отойти, я глянул на вторую монашку и поразился страху, на нее напущенному говорливой подругой по вере. Она, вторая эта монашка, закатила глаза и дышала так болезненно неровно, словно легким ее недоставало воздуха. Рот ее приоткрылся, а бедра совершали странные колебания, движения вперед и назад, вправо и влево, будто кто-то прижигал ей сзади ягодицы, и монашка то стыдливо прикрывала ладошками свои задние полусферы, обожженные жаром, то воздевала руки к небу, как бы подавая сигналы кому-то, и я, поначалу замороженный видением болезненно-сладкого страдания, понял все же: монашка силою самовнушения пребывала в предконечной стадии полового акта, заодно его изображая, и руки ее убыстряли маятниковые движения мужского тела, призывая таз его все плотнее и плотнее вдавливаясь в ее лоно. Глядя на монашку эту, я начинал испытывать то же, что и она, — такова была власть желания, внезапно поднявшегося во мне. И мне стало стыдно, я стал противен самому себе, желание спало, меня отвращала женщина. Да, Женщина, потому что обе монашки как бы составляли образ Женщины; монашки, подумалось, — это же тактическая пара, нацеленная на овладение мужчинами, ведущая и ведомая, роли в этой паре распределяются по степеням выразительности абсолютных противоположностей, и чем более агрессивна одна, тем более податлива и нежна другая, вместе образуя «женщину», единое существо, два сообщающихся сосуда.

Как только монашки поняли, что я разгадал их игру, они мгновенно преобразились, и та, что корчила из себя наискромнейшую и богобоязненную, развязно, более того — нагло предложила мне (и танкисту заодно) прибыть к ним сегодня вечером в гости, в монастырь, мать настоятельница устраивает прием в честь доблестных воинов-освободителей. Нагловатыню монашку поддержала та, что только что дистанционно совокуплялась со мною. Покрывшись краскою стыда, она смиренно промолвила, что Бог в своей извечной милости не оставит воинов. «Гы!» — заявил танкист, полностью соглашаясь, и я согласился, волнуемый мыслями о религии. На прощание монашки по-мирски протянули нам руки: Марыся и Христина, обе причем чтили земные чины, потому что приглашение первым получил я, на плечах которого были погоны офицера, танкист же ходил в сержантах.

Впечатление от встречи было таким резким и полным, что по пути к дому и Алеше я уяснил себе, что такое вера, религия и Бог, с какой буквы его ни пиши. Наслаждение от мужчины и поношение его — вот что такое женщина, а грех и покаяние — общая доля всех живущих, которые в соизмерениях того и другого видят Бога.

Нечего делать мне в монастыре — так было решено, Алеша же бурно возрадовался приглашению. Один из его предков, вспомнил я, имел какие-то дела с церквами и даже написал труд о монашестве, вызвавший свирепую критику членов Синода. До шести вечера, а к такому часу ожидал воинов монастырь, не так уж много, гимнастерочки погладить бы, надо где-то найти еще машину или мотоцикл, не пешком же добираться. В разгар приготовлений явился Григорий Иванович, подозрительно оглядел нас: «Куда собираетесь, малявки?» Ответил Алеша: приглашены на свадьбу, жизнь ростком пробивается через асфальт войны.

— Это вы мамочкам рассказывайте!

Он покрутился у зеркала, полез в печь за горячей водой и не нашел ее, конечно. Тем не менее побрился, молча, чтоб не нарываться на проклятия Алеши: втроем мы не имели права покидать дом, кто-то обязан был ждать гонца из батальона. А кто — спрашивать сегодня не надо, Григорий Иванович наполнил ладошку одеколоном, растер им лицо.

— Сидеть и ждать! Я — в штабе полка! На совещании!

Приехавший за ним мотоцикл покати́л в гору, к монастырю. Получаса не прошло, как из батальона примчался замасленный солдат: «Кто тут Калтыгин?» Вместо командира пошли мы, услышали по телефону: немедленно собраться, до двадцати ноль-ноль за нами приедут!

Алеша бурно хохотал. На часах — без пяти шесть, и ни мотоцикла, ни машины не мог дать обруганный мною дежурный по батальону, не хотел и говорить, где проходит совещание. Я побежал к монастырю, в гору, постепенно набирая скорость, и с каждым километром спокойствие начинало входить в меня, как воздух в легкие; эту благодетельную власть физического напряжения я испытывал не раз, но в тот вечер с особенной остротой, и, подбежав к арочному входу монастыря, по запаху чего-то мясного и душистого определил, где собрался штаб полка. Какая-то старуха пыталась остановить меня, даже раскинула руки, но я вошел внутрь трапезной и смиренно замер.

За длинным узким столом сидели при свечах пятнадцать офицеров. Во главе же стола восседала мать настоятельница, женщина вовсе не пожилого возраста, как я предполагал, и негромко причитала, то есть заунывно произносила какие-то ритмические фразы, видимо, молитвы. На кумачовой скатерти — оплетенные бутылки с красным вином и настоящие бутылки шампанского, выражение «Стол ломился от яств» годилось вполне: жареные куры и гуси, кабаньих, судя по размерам, бок, еще что-то, источавшее дух мясовитый и пряный, из фруктов — яблоки и груши. Пятнадцать офицеров — это не только штабы батальона и полка, тут и из дивизии кое-кто прикатил. Мест за столом явно не хватало, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде, и в согласии с этой поговоркой люди за столом все-таки умещались, гостеприимные монашки уступили скамьи и стулья воинам-освободителям, а сами устроились на их коленях, что, конечно, было неудобно, чем иным можно объяснить то, что, пока я шептал Калтыгину о приказе, поднялись две или три парочки и куда-то пошли разминать затекшие мышцы. Остальные монашки продолжали благоговейно выслушивать речитатив матери настоятельница, закинув при этом руки на погоны. Кольхавшиеся язычки свечей придавали женским лицам какую-то странную молоджавость и в то же время — мертвенность.

Офицеры приняли меня за опоздавшего, начали было тесниться, но одна пара решила уступить мне место, почувствовав себя совсем неудобно, встала и пошла куда-то освежаться, наверное, потому что изнывавшая от жары и духоты монашка стала на ходу стягивать с себя что-то похожее на узкий балахон.

На коленки Калтыгину взгромоздилась объемистая монашка, она бросила на меня взгляд, призывающий к молитве, которой не суждено было произвестись, потому что время было уже 19.40. Я покинул — вслед за разгневанным Калтыгиным («Если обманул — пристрелю!») — трапезную, где происходило нечто непонятное. На совещание не похоже, молитвенное собрание тоже исключалось, на обычную пьянку тоже не походило. Правда, мне так редко приходилось участвовать в них, что могу ошибиться. Новый, 1943 год встречал я в госпитале, в коридоре поставили столы, пили спирт, но медсестры на колени не забирались, да и, учтите, было много раненых с травмами нижних конечностей и голеностопных суставов.

Бежать пять километров даже под гору Григорий Иванович отказался. Мы позаимствовали мотоцикл и умчались, появились как раз вовремя, прикатил бронетранспортер за нами, Алеша уже собрал то, что называл «вещичками», и мы поехали к штабу фронта, оттуда на аэродром, сбросили нас на юге генерал-губернаторства, за неделю мы все сделали, получив затем по ордену.

(Уже в штабе 4-го Украинского узнали мы, что все офицеры, которых потчевали монашки в монастыре, будто бы заразились триппером и что

танкисты в злобе, с фронта отведенные, послали три танка — расстрелять из пушек монастырь за нанесенный армии ущерб. Алеша припадочно хохотал, Калтыгин всего-то пожал плечами, лишь я отказывался верить, ибо видел и знал: танкисты, потеряв в жестоком бою верных товарищей, в отместку часто стреляли по первому попавшемуся строению...)

28

От немецкой пули не уйдешь! — Орел, взметающий Ленечку к мировой славе, или Старик Державин нас заметил и в гроб...

Четыре месяца спустя, обленившись и обнаглев, мы повторили классическую ошибку раннего Калтыгина: устроили ночлег под крышей стоявшего на отшибе сарайчика. Власть выпалилась, а утром оказались в кольце сотни немцев. В каждом бою наступает момент, когда один из противников начинает понимать: пора уходить, потому что товарищ справа не подает признаков жизни, товарищ слева споткнулся и лежит, выстрелы косят всех подряд.

Немцы ушли. Потом ушли мы, окровавленные, перебинтованные, оцарапанные пулями. А до наших — сорок километров.

Под крышей того едва не гибельного для нас сарая я принял мудрое решение. Буду писателем!

В том бою Григорий Иванович разделся до пояса, и я увидел то, на что обращались глаза мои сотни раз, так и не поняв великого художественного произведения на растатуированной груди его, — орла, умыкающего женщину. Алеша возился с правым бедром Калтыгина, я уже перевязал ему правую руку и отошел в свой сектор, оттуда любясь бесподобной картиной на груди Григория Ивановича.

«Кантулию» я не видел уже год. Без источника музыки я стал выискивать ее в себе, она мыча колыхалась во мне стихотворными строками, во мне набухало стремление выразиться словами, я задумывался об устройстве линзы в механизме слагателя слов, линзы, в которой собираются, группируются, впечатления и выходят из нее как-то особо скомпонованными партиями, картинками, образами. Как создать в себе такую линзу? Как фокусировать ее? Почему, кстати, первый создатель этой вот композиции «Орел и Женщина» не заставил хищника вцепиться когтями в спину добычи? Ведь Женщина, без сомнения, припадала, защищаясь, к земле, пряча в ней лицо, инстинктивно подставляя спину. Почему? Да потому, что интуиция художника верно предположила самую выгодную для восприятия неправдоподобность, которая более выпукло и укрупненно-обобщающе выразила идею, доходящую до зрителя ударно, всплеском эмоций. Орлу *надо* было схватить Женщину так, чтоб не оставалось сомнений: да, это женщина, это ее полные свисающие груди, это ее лицо, обнажать ноги не следовало, пожалуй, это уже перебор. Женщина, предмет поклонения и почитания, в когтях безжалостного хищника — это тоже впечатляло. Дуги крыльев, округлости некоторых деталей тела птицы, фигура женщины, провисшей, безвольной, страдающей, — все вместе составляло гармонический набор, находилось в, так сказать, эмоционально-геометрическом соответствии. Законченность этого шедевра выражалась, кроме прочего, в некоторой незавершенности, воображению давалась возможность сочинить предысторию то ли похищения, то ли еще чего-то мелодраматического, пробуждалось желание обнажить меч, натянуть лук, но спасти Женщину.

Миллионы орлов, уносящих желанную добычу, отштампованы были на коже миллионов мужчин, копии уже не будоражили воображение, однако следующий шаг — к еще большей абстракции — сделан не был,

препятствовало многое: фактура, престижно-символический характер всех европейских татуировок...

Заглядевшись, я едва не прозевал трех автоматчиков, снял их, так и не понявших, что судьба свела их с Великим Диверсантом. Зато я понял, что во мне родился Великий Писатель.

29

Вилли, но не Бредель. — Ватерклозет, с которого начнется новая Великая Германия. — Григорий Иванович

Нас готовили — к чему-то такому важному, что отбросили все причуды конспирации. Дом в недосоженной деревне, пишу готовили сами, ни одного инструктора, по утрам я наслаждался бегом.

Без настоящего немца нас за линию фронта не выбросят — об этом мы догадались. Немца ждали.

Наконец его привезли, он зычно поприветствовал (по-русски):

— Здорово, большевистские прихвостни и жидовские комиссары!..

Мы уже привыкли к провокациям разных инструкторов, которые в понятных целях честили-костили советскую власть, чтоб разозлить нас и вообще посмотреть, как мы реагируем. Поэтому очень вяло ответствовали человеку, который назвал нас еще и «бандитствующими ордынцами», считая, видимо, ордынцами тех, кто служил в татарской Золотой Орде...

К обеду, вспоминая, доставили. «На десерт!» — так он выразился. Гимнастерка без погон, шаровары, кирзачи. Что немец — можно было не спрашивать, в этом человеке было не определимое никакими словесными портретами свойство, знакомство его со всеми столицами Европы и умение пользоваться вещами, о назначении которых не ведал даже Алеша, четыре года живший в Берлине (о чем знал только я). Смотрел этот немец на нас так, будто мы сейчас начнем стрелять поверху его головы, по-русски говорил правильно, с акцентом, разумеется. Ко всему был готов, удивить его было нечем, что, конечно, Григорий Иванович оценил, назвав немца «фрицем». А тот мотнул коротко головой, уточняя: «Вилли... Вильгельм. Да, кстати, военнопленный, не коммунист, понятно? Повторяю: Вилли, но не Бредель». Достал из сапога завернутую в белую тряпицу ложку, похлебал ею щи из котелка, туда же смахнув кашу с мясом. Ел бесшумно, нас не замечая. Вымыл котелок, ложку, руки. Затем попросил лопату и вырыл как бы индивидуальную ячейку, предварительно узнав, где отхожее место. То есть личную уборную себе, рядом с общим, коллективным сортиром: немец не желал даже в кругу радиусом двадцать метров соседствовать с нашими фекалиями. Соорудил навес над траншейкой, громко сказав: «Только для немцев». На что Григорий Иванович отнюдь не миролюбиво спросил: «Тебе что — морду набить?» Вилли сокрушенно, дивясь на непонятливость, покачал головой:

— Немцы и русские — великие народы с общностью духа. Но последнее не означает, что экскременты обеих наций должны лежать в одной куче.

Раскрыл томик Гауптмана, я подсел, заговорили. Мелькнуло знакомое мне по беседам с Богатыревым слово «импрессионизм», пошла речь о немецкой культуре, Вилли не очень охотно отвечал, чуя, видимо, какой-то подвох, и наконец произнес:

— За что я вас, русских, люблю, так за то, что гнилую картошку из грязного чугунка вы берете позолоченной вилкой... Забыл вам всем сказать, что по приказу руководства вы обязаны говорить со мной только по-немецки.

На такие приказы Григорий Иванович с высокой колокольни плевал, говорить по-немецки отказался (он всегда за линией фронта играл роль дуролома полица).

Калтыгину немец не понравился. Немцы, уверял он нас однажды, сволочи от природы, спят и видят каждого русского на виселице. (Однажды я заговорил о немецком пролетариате и мировой революции, так Григорий Иванович обиделся: за кого ты меня принимаешь, хлопец, я тебе не Любарка, я не стукну, вот тебе мой сказ о мировой революции, она камнем висит на шее трудящегося народа, эта мировая революция, изволь всех обездоленных обеспечить счастьем, они же им, этим счастьем, подавятся.) Кое-как объясняться с Вилли он мог. Но из высоких соображений общался с ним только через Алешу. В волнении, вовсе не показном, поднялся, когда узнал, что Вилли ни разу не прыгал с парашютом. А тот высвистел в ответ что-то бравурное.

— Скажи ему, — сказал он Алеше, — что меня три раза расстреливали, причем свои — дважды. Так что прыгну.

— А свои — это кто?

— Скажи ему: сам еще не знаю.

Алеша подсел к Вилли, я тоже пристроился, повели речь о Берлине, который Вилли знал хорошо. Сам он из Гамбурга, но — Потсдамское училище и служба в столице. Ляйпцигерштрассе? Как же, приходилось бывать и там. Семья? Еще бы, полный комплект: жена, дочь, сын, дети еще маленькие, сыну одиннадцатый год пошел, дочери и того меньше. Сдался в плен сознательно, не каким-то там контуженым, а все взвесив, у него свои счета с Гитлером.

Сутки прошли — и Калтыгин, расспросив Алешу, вдруг изменил себе, признал в немце нечто, достойное уважения и доверия, поглядывал на Вилли так, словно тот изречет сейчас нечто повелительное, важное, ценное, полезное. В ответ на мои невысказанные вопросы друг Алеша сплюнул по-блатному и выразился кратко: наш Гришка хозяина почуял в немце, что не раз бывало в истории России, но что никак не исключает варианта, при котором русский человек Гриша пристрелит или придушит обожаемого немца.

На три часа приехал Чех. Походкою водолаза, бредущего по илистому дну океана, обошел сад. Поднятием мизинца дал понять, что ничего не знает о деталях задания. Тем же мизинцем подозвал меня в саду к себе. Мы стали друг против друга, вытянулись на носках, чтоб центрироваться. Зеркальным отображением Чеха смотрел я на него, он — на меня, мы корректировали себя собою же и наполнялись силой, я чувствовал, в какие узлы сплетаются какие мышцы, как шевелятся они, принуждаемые к расплетению мыслями о сплетении.

Уехал он, так и не подойдя к немцу.

А с Вилли мы подружились. Вместе ходили по лесу, он много рассказывал. О конце войны выразился так:

— Завершается цикл. Началась война летом — и кончится летом. В июне следующего года. Чем думаешь заняться после демобилизации?

— Я буду писателем! — твердо ответил я. — Знаменитым писателем.

И благодарно глянул на Григория Ивановича, который подвел меня к этому решению.

Через сутки прибыл полковник, явно грузин, сопровождаемый робким по виду майором, который и рассказал нам, что предстоит; и поскольку Вилли выполнит ответственную часть операции, к нему следует относиться с полным доверием. Грузин полковник смотрел как-то мимо нас, словно хотел, чтоб мы его не запомнили; он и слова даже не промолвил, но раз был выше звания, то он как бы придавал наказам майора больший вес, что ли. Очень он мне не понравился, чем — не знаю. Мы слушали как бы впрок, знали, что за час до вылета будет еще один инструктаж, самый важный, и предполетное дополнение мы присоединим к только что услышанному.

«Додж» прикатил. Двадцать минут до аэродрома, до заката — час еще, времени более чем достаточно. Вилли переделся во все немецкое, побрился, попрыскался одеколоном. Начал было высвистывать какую-то потсдамских времен мелодию, но Алеша издевательски расхохотался: «Рано пташечка запела...» Григорий Иванович достал заветную фляжку и отхлебнул, подтверждая то, что мы с Алешей уже чуяли: не полетим! Какой-то сбой, что-то где-то случилось, да и никто не сует нос в самолетный ящик, где мы расположились.

Но моторы уже заводились, рваный гул дрожал над аэродромом, который был для вынужденных посадок летящих с запада самолетов, подбитых или с каплей горючего в баках. Твердого, настоящего авиационного начальства над аэродромом не было, батальона обслуживания тоже, иначе Алеша высмотрел бы какую-нибудь Настенку, удобную по крайней мере для рифмы, смотался бы минут на пятнадцать к ней, как не раз бывало на других летных полях.

Солнце закатилось, а с ним и вылет отменился, попили кофе с бутербродами, Вилли похвалился сигаретами «Юно», для него припасли и «Мемфис» — египетские, наверное. Совсем стемнело. Завалились спать — все, я тоже, но не спалось, неудобно, в самолетном ящике умещалось три человека, не сгонять же Вилли, и я забрал телогрейку, устроился снаружи. К часу ночи наступила полная тишина, ни единого огонька, безветрие, звезды сияли ярко, во мне поднималась «манана», я заглушал ее, чтоб не расслабляться... Не спалось, я шел по полю неизвестно куда, просто шел, была жажда движения. И вбивал в себя образы того, что будет завтра или послезавтра, после приземления — сохранять эти образы надо было в темноте. Потускнели звезды, померцали, как перед загасанием, на них напозла дымка — где-то там, высоко, стало холодать, я повернул обратно, но «манана», вспышкой осветившая меня десять или пятнадцать минут назад, нарушила ориентировку, я направился было к блеснувшему вдали огоньку, но передумал и приблизился к немецкому танку. Он, танк, был целехоньким, лишь правая гусеница расползлась, ничем не примечательный танк, я залез в него, чтобы выдрать мягкое сиденье водителя: быть нам в ящике еще сутки, а там ни стула, ни матраца...

30

Юнга Хокинс сидит в бочке с яблоками и узнает о планах Сильвера, о тайнах мадридского двора

Так я и заснул там, в танке, хорошо спал, но, конечно, глаза мои и уши продолжали бодрствовать, я разлепил веки и привел себя в боевое состояние, когда уловил шаги двух мужчин, приближавшихся к танку. Шли они со стороны леса, немцами никак не могли быть, но я уже почуял что-то опасное.

Итак, они подошли к танку и сели рядом с ним. Оба курили, и кто они — я разнюхал в буквальном смысле. «Казбек» — это грузин, полковник, второй (ароматнейший трубочный табак) — однажды заезжал к нам, причем Вилли под каким-то предлогом отослал подальше. Тоже грузин, генерал. Он-то как раз и был самым осведомленным в этой парочке. Я сидел затаившись, дыша по методике Чеха — абсолютно беззвучно.

Полковник: А почему ты сегодня не вылетел с первой группой?

Генерал: Я полечу позднее, когда прояснится обстановка...

(Далее — какой-то бессодержательный треп о погоде.)

Полковник: Ты хоть раз при НЕМ демонстрировал свою трубку?

Генерал: Ты меня поражаешь... Нет, конечно. Я в наркомате ее оставлял, когда вызывали к НЕМУ. «Есть!», «Будет исполнено!», «Так точно, товарищ Сталин!». Невозможно предугадать реакцию НАШЕГО ВЕЛИЧАЙШЕГО.

— Непонятно... С такой чуткостью — и проморгать этого Халязина... Кстати, мне кажется, что нас подслушивают...

(Переходят на понятный мне грузинский язык.)

— Проморгал. Это меня тоже поражает... Повод дал сам Халязин, в сорочковом. Вызывают его на совещание, по итогам боевой подготовки. Кстати, наши руководители одиноко, в тиши кабинета, обсуждать ничего не могут, им обязательно нужны либо рукоплескания, либо иные знаки одобрения... Потому что по ночам они начинают понимать, какие они выдумщики, в каком искусственном мире существуют. Врут сами себе. Правда для них — яд, они руками и ногами отводят от себя ее. А Халязин этот никаких заметок для себя лично никогда не делал, все — на полях документов, которые тут же, на глазах всех, передавал наркомку. И сорвался однажды. Кто-то там бодро доложил о развертывании механизированных корпусов, что ли, о проведенных учениях, которые показали возросшее мастерство. Но все-то и сам ОН знали претотлично, что никаких учений не могло быть, потому что механиками-водителями укомплектованы корпуса на пять процентов. Два месяца назад бывших трактористов и комбайнеров срочно отослали обратно, в колхозы и совхозы. Все знали, все! Липа! Как и с горячим для танков и самолетов. Где-то на аэродромах чуть ли не по колено разлит бензин, а на большинстве — для полетов не хватает. Сумасшедший дом!

(Генерал раскипятился. Продолжал после небольшой паузы, раскуривал трубку.)

— Ужас какой-то... Собрание макак.

Полковник: А Халязин — что?

Генерал: А Халязин на клочке бумаги написал и передал Тимошенко, где, мол, спросил, механики-водители. А Сталин клочок перехватил, прочитал, протянул Тимошенко, кивнул. И все. Стало понятно, что разоблачены, что все они — психи и страна подводится ими к сумасшествию, если не подвелась...

Полковник: И его цапнули?

Генерал: Как бы не так... Установили слежку, НАШЕМУ ДОРОГОМУ чудилось: не первый это клочок бумажки, где-то что-то лежит, спрятано, некий сводный документик о проделках главврача психбольницы... Все перерыли. А тот втихую, всех обманув, рванул под Минск, оттуда еще западнее, при себе имея по памяти сделанные копии и комментарии. Спрятал где-то. Невинно возвращается в Москву, на охоте, мол, задержался — у него и впрямь отпуск был. Взяли, пятнадцать лет, Дальстрой, но в сорок втором вспомнили, дали документы, возвратился в Москву, отправка на фронт, плен — и до немцев доходит, кто у них кормит вшей. Из лагеря — в тюрьму, содержат хорошо, но смертный приговор они ему вынесли, не знаю, за что и как.

Полковник: Ну и пусть расстреливают!

Генерал: Нет, не понимаешь ты НАШЕГО ДОРОГОГО. Смерть от немецкой пули как бы обеляет Халязина. Только своя низводит его до предателя! Почему и приговор в Москве составлен, и как только Халязина выкрадут у немцев, его немедленно расстреляют наши же, та первая группа, что вылетела под ночь раньше всех. Надо спешить, как бы немцы не сделали то же.

Полковник: Действительно дурдом... Архаровцев этих жалко, троицу эту, тоже ведь под нож пойдут.

Генерал: Сами виноваты. Захотели на курсах выслужиться, запросились на станцию патрулям помогать — и помогли. Халязина они-то задержали, передали органам, но Москва прикрикнула, и...

Еще пять-шесть минут спасительного для нас разговора. Потом поднялись и ушли. Я, быстроногой газелью домчавшись до самолетного ящика, опередил их, конечно. Они походили вокруг и направились к зданию штаба...

Ничто не поразило меня в беседе двух сподвижников. Алеша прочитал мне полный курс русской истории, от варягов до коллективизации. Я давно понял, что Россия — центр каких-то ураганов, смерчей, штормов, что в тихую солнечную погоду русский человек жить не может. Он, обеспокоенный, выходит из избы, ладонь его, навозом и самогоном пропахшая, козырьком приставляется к высокому мыслительному лбу, а глаза шарят по горизонту в поисках хоть крохотной тучки. Россию постоянно сотрясают стихии, воздушные массы волнами бушуют у ее порога, срывая крыши, взметая людишек. Спасения нет, надо лишь изловчиться и оседлать тучу, на которой можно продержаться какое-то время.

Все было поведено Алеше, а затем Григорию Ивановичу. Тот обо всем догадывался уже третьи сутки, при нем пооткровенничали интенданты, нас в лицо не знавшие.

Такой разговор услышал Григорий Иванович:

— С этими-то — что?

— Похорошки уже заготовлены... С довольствия сними. Но умно. Паек на них отпускают генеральский.

31

Конец операции «Халязин». — Нет, не писатель он, не писатель! — Промелькнула фрейдистская оговорка, удостоверяющая: наш герой не по немецким тылам шастал, а всего-навсего кашеваром был! — Кланя, где ты? «Дыша дурами и туманами...»

Городишко, где мы обосновались после выброски, был настолько убог, безрадостен и уныл, что его, пожалуй, проклинали все в генерал-губернаторстве. Тюрьма, правда, внушала уважение — размерами и формой. Вилли держался молодцом, без карабина, правда, не обошлось, но и толчка в спину не понадобилось. Приземлился он нормально, над документами нашими хорошо потрудились в Москве, квартиру мы сняли просторную и приличную, Вилли (в немецкой офицерской форме, разумеется) отправился на разведку, и...

Нет, не получилось из меня писателя, потому что не смогу я бравадно и наигранно-трагедийно («чтоб дыхание захватывало») развернуть повествование о финале дешевой драмы с убийством или похищением Халязина, с уничтожением первой, ранее нас посланной группы и обоих грузин, полковника и генерала, возжелавших присутствовать при казни Халязина, опознанного двумя советскими гражданами, то есть мною и Алешей.

Не сумею, не смогу и не хочется, потому что руке надоело писать неправду, а правда сама по себе никому не нужна. Когда-то Лев Толстой испытывал мучения, потому что никак не мог описать полно, неприукрашенно и честно один день человека. Я его понимаю. Начни писать — и обнаружится, что весь прожитый человеком день состоит из абсолютно бессодержательных мыслей и поступков. Надо что-то отбрасывать, что-то выпячивать, где-то поливать красками полотно, где-то вычищать его. Заострять сюжет — иначе человеческое восприятие не отзовется.

Ведь все написанное на предыдущих страницах — сущее вранье, и кое у кого может возникнуть справедливое подозрение: «Диверсант» писан бывшим сыном полка, кашеваром, который чего только не наслушался. (Кстати, некоторые фронтовые разведчики к походной кухне подходили, увешав себя — из суеверия, что ли, — дырявыми от пуль котелками и касками...) И ко всему написанному и прочитанному надо относиться именно так: кашевар, на старости лет взявшийся за перо. Все было не так, как написано, если вообще было. Смерть давно стала для нас *неокончатальной*, мы не ее боялись, испытывая страх и страхи, а каких-то сиюминутных бед. Мы постоянно ошибались, буквально попадая в лужу, то есть либо в боло-

то, либо под невесть откуда взявшихся немцев, которые, впрочем, пуше всего боялись нас. В том сидении у шлагбаума, где мы поджидали штабной автобус с секретным портфелем, — да разве поблескивает хоть крупнца правды в главе о кровопролитном сражении у речки Мелястой? Меня ведь не два хлопчика из Вюрцбурга раздражали, не предстоящий бой, а комары да муравьи особой породы, красно-ржавые, кусачие, они, правда, выше десяти метров по стволу сосны не поднимались, чем я пользовался и спал на ветке, как доисторический предок; всю ненависть к комарам и муравьям вложил я в предстоящую гибель хлопчиков...

(Представляю себе визгливый смех редакций, куда какой-нибудь фронтовой повар принесет свои мемуары. «Воспоминания кашевара» — хорошо звучит! Десяток таких книг составили бы настоящую историю войны, потому что самоистребление людей невозможно без еды.)

И еще, и еще...

И — Кланя, святая и непорочная. О ней — особо.

Была она санитаркой в госпитале, мы полюбили друг друга мгновенно и, взявшись за руки, по узкой лестнице спустились в подвал, где Кланя в котлах выпаривала жесткие и провонявшие от запекшейся крови бинты, не раз уже побывавшие на перевязках, — в стране ничего не было в достатке. Там же, в подвале, мы, ни слова не произнося, разделись и занялись, как принято сейчас говорить, любовью, причем на время этой любви на мешках с кровавыми бинтами я не зажимал нос, не воротил его. Однако вскоре, безмерно любя Кланю, я возненавидел подвал с котлами, договорился с одной хозяйской, нам постелили в чистом доме, я привел туда на ночь мою любимую, и оказалось, что она не может даже ноженьки раздвинуть: подвал был ей нужен, мешки вонючие, душа ее женская тянулась к густо-красным бинтам с исколотых рук и ног, с располосованных туловищ, и только при спуске в подвал она — с каждой новой ступенькой — начинала дышать все глубже и радостнее... Жарко было здесь, в булькающих котлах выпаривались и кипятились бурые кальсоны и нательные рубахи, в углу — груда мешков, набитых только что принесенными бинтами, — и Кланя, все более возбуждаясь, валила меня на мешки...

Вот какая война была. И, вспоминая ее, я шепчу:

— Кланя, где ты?

32

Самоликвидация, или Спасайся, кто как может. — Мы — дезертиры, спасенные Кругловым

Вся эта операция под неблагозвучным названием «Халязин» завершилась бесславным и счастливым для нас (так по крайней мере казалось) финалом. Вилли навестил старого друга по училищу, ныне начальника гарнизона, оба осторожно навели справки. Да, Халязин был у немцев, но где он сейчас — неизвестно. Документы, то есть тайны Кремля, либо в Берлине, либо неизвестно где.

Но — внимание! — со слов сладкоречивого Вилли оба грузина дали Москве текст примерно такого содержания: в доставленном человеке опознавателями признан Халязин, место хранения документов уточнено, выемка их состоится завтра, свидетели уничтожены.

И молчок на бесконечные годы, ибо все, отряженные за Халязиным, в земле сырой. Такую благодатную весть внушили мы начальству.

А потом благополучно покинули унылый городишко этот, скитались по генерал-губернаторству, нигде не задерживаясь. Калтыгин мрачнел с каждым днем. Наконец Вилли произнес:

— Ну, пора расставаться. Мне — в родную страну. А вам я не рекомендую возвращаться в СССР.

Часом раньше он отвел меня в сторону:

— Война кончится через полгода, так я угадываю. Уверен, что ты останешься в живых. Запомни два моих адреса, берлинский и кёльнский. Это раз. Я запомнил.

— Во-вторых, где встретимся после войны? Какое место обязательно не будет разрушено? Мне понадобится три года, чтоб без опаски приехать в Москву. Предлагаю дату: 18 мая 1948 года. А где? Уверен, народ не перестанет любить футбол. Стадион «Динамо» даже Сталин не осмелится снести под строительство собственного памятника. А в самом стадионе есть — и я там бывал разок — ресторан. Понял?.. Итак, 18 мая 1948 года. Или двумя сутками позже. Я не смогу прибыть — так пришлю верного человека. В-третьих, забудем о том, что... Сам понимаешь.

Мы-то понимали. Вилли прикарманил немалые деньги в стойкой валюте, подсунув потсдамскому другу фальшивые фунты, а я узнал, где спрятан архив безвестно сгнувшего Халязина, и перепрятал все его бумаги.

Еще два или три месяца болтались мы в немецком тылу, пока неожиданно для себя оказались в прифронтовой полосе наступающих советских войск. Что ждет нас — знали доподлинно, точнее — догадывались с почти стопроцентной уверенностью. Правда, мы значились в нашей армии под дюжиной фамилий, причем самых распространенных, но в том-то и дело, что снабдили нас и самыми настоящими что ни на есть удостоверениями личности: капитан Калтыгин, старшие лейтенанты Бобриков и Филатов.

Пишу со стыдом, но от правды не уйти: мы оказались дезертирами. Наступила, к счастью, пора везения, удалось найти Круглова.

Он и включил нас в свою команду, поручив охранять имение — почти на границе с Восточной Пруссией.

33

Деревня, где скучал Евгений... — Как отомстить Берлину? — Ляйпцигерштрассе все ближе и ближе... — Жестокая расправа, трепеици, Германия!

Трехэтажный особняк, громадный сад (пора цветения вишен еще не настала), все бы хорошо, но — запах: уже до нас побывавшие в хоромах артиллеристы невзлюбили почему-то второй этаж, весь занятый библиотекой, и повадились со зла ходить туда по большой нужде. Возможно, они боялись, так я поначалу думал, ночью покидать дом и идти в сортир на дворе. Вскоре, однако, обнаружилось, что сортир как раз на том же, втором, этаже. Или они желудком маялись?

Прислуга давно разбежалась. Под конвоем привели из деревни несколько ахающих крестьянок, я заставил их выгрести экскременты артиллеристов, которые заодно умудрились часть библиотеки сжечь. Что делать с домом на Ляйпцигерштрассе — было нам известно, первым пунктом программы вписано было поголовное изнасилование, и поскольку это меня несколько шокировало, Алеша нашел мудрые сочинения, которые оправдывали газон перед домом и полуголых женщин, готовых отдаться; они лежат на траве, задрав ноги, и хором исполняют «Хорст Вессель» в ожидании своей очереди. Все первоисточники свидетельствовали: «Победителю принадлежит трофей!», повелось это с Древней Греции. Законное солдатское право насиловать культивировалось в Риме, в Столетней войне, при королях Эдуардах и Георге. Веселое оживление Алеши вызвали относящиеся к 1917 году строчки Арнольда Тойнби: «От Льежа до Лувэна немцы прорезали коридор террора. Дома были сожжены дотла, деревни разграблены, гражданское население заколото штыками, женщины изнасилованы».

— Так и надо! Так и будет! Коллективное сознательно-бессознательное Я!

Теперь, когда можно было в библиотеке не затыкать нос, я нашел и прочитал не попавшее в школьные программы сочинение о молодом Вер-

тере, что возбудило много интересных мыслей. Разве не сближены любовь и смерть? Разве тот самый половой акт, повелеваемый неземными силами, не есть подобие смерти?

Неспроста он для меня при первом же применении подобен был падению вниз, без парашюта. В той же библиотеке я нашел более точное подтверждение этой теории. Некий ученый (фамилию забыл) подвел итог многовековых наблюдений за некоторыми существами и установил: они погибают после того, как дали жизнь потомству. А то, что мужчина и женщина после полового акта все-таки продолжают жить, так это подлая проделка Природы. Но — Гёте. Я ведь напоролся на фолиант, посвященный ему, и узнал, к великому удивлению, о существовании города Вецлара на Лане, о приезде туда сто семьдесят три года назад молодого Иоганна Вольфганга, лицензиата права, падкого на женщин и склонного преувеличивать их достоинства. Здесь он познакомился с Шарлоттой Буфф и Иоганном Кристианом Кёстнером, который отличался не падкостью, а добропорядочностью. Мутный роман с Шарлоттой, мельтешение жениха и нравы города вылились в написание произведения, известного как «Страдания молодого Вертера».

Примерно так повествовал фолиант. А ведь я ранее думал, что «страдания молодого Вертера» — это что-то вроде немецкой прибаутки.

Хорошо жилось, дважды приезжал Круглов, вносил спокойствие в душу чем-то страдающего Калтыгина. Рояль был, аккордеон, почему-то не уворованный. Я музицировал, вместе с Алешей строя планы мести городу Берлину, кольцо вокруг которого уже сомкнулось. Два фронта, 4-й Белорусский и 1-й Украинский, пробивали нам с Алешей дорогу на Ляйпцигерштрассе.

Чем ближе становился момент краха Великой Германии, тем в большую неразбериху впадали штабы победителей. По телефону никого не найти, по дорогам не проехать, везде указатели — на Берлин! Однако куда какая дорога идет — ни словечка. Бомбить вроде бы некого, а в небе — самолетов рой. В восточную часть Германии хлынули несметные орды. От скрежета танков ломило голову. Имение мы покинули, передав его кругловским ребятам. Мы стали вольными стрелками, птицами без гнезда. Кругом свои, русские, родная армия, а нам казалось: мы лишние, бесприютные. Калтыгин к тому же — это было для нас удивительно — постарел, голова его от темени к затылку поседела, чуб не казался уже лихим, брови стали резко выделяться кустистостью и шириною, щеки впали, лицо осунулось, дух, конечно, был сломлен. Калтыгин без баб вообще впадал в уныние, и когда мелькнул в потоке машин «форд» со знакомой буфетчицей, торопливо простился с нами, что-то крикнув издали, и был таков. Все возвращались на родину, и не с пустыми руками, были и такие, что катили на легковушках, многие толкали перед собою тележки с приобретенным скарбом. (Григорий Иванович сплюнул бы: «Кулачье — оно и есть кулачье! Нет бы скорей за мирный труд...»)

Алеша приходил во все большее возбуждение: Ляйпцигерштрассе близились. Мы отобрали замызганный драндулет у вдребезги веселых и пьяных солдат, в разбитом немецком штабном автобусе нашли приемник и не слезали с Москвы, в Берлин решили въезжать со стороны Потсдама, местность была Алеше хорошо знакомой, ночь провели на оставленной в панике вилле близ Ванзее. Такого количества войск свет еще, наверное, не видывал, обленившиеся солдаты ни строем, ни кучками ходить не желали, цеплялись к «студебеккерам», залезали на танки, садились на передки артиллерийских установок. До мира оставалась неделя, может, чуть больше, все ждали дня и часа победы и боялись почему-то этого дня победы, никому не представлялся мир без войны.

Узнали: над рейхстагом красное знамя, с него начинался отсчет тех трех суток, что даются победителям, то есть мне и Алеше, на разгромление и разграбление города.

Зачитали приказ коменданта Берлина о капитуляции. Наступало время, когда стрелять немцам запрещалось, только мы имели право убивать. В последний раз такую вольность дал войскам Суворов, и повторить подвиги доблестных русских войск доверено было нам, Алеша подробно разъяснил, что надо делать и как. Почти четыре года вели мы волнующую дискуссию на тему «Почему только три дня выделяется на разграбление захваченного города?». Расспрашивали знающих людей, копались в библиотеке имения и пришли к интереснейшим выводам. Три дня — достаточное время, чтобы ворвавшиеся в осажденный город мужчины-завоеватели покрыли всех женщин, создавая новое поколение. Трое суток — минимальный срок для грабежа, ибо до всего спрятанного завоеватели не доберутся, нельзя же одновременно насиловать и шарить по сусекам. За тот же срок озверевшие воины повредить губительно выдающиеся архитектурные сооружения просто не смогут, силенок не хватит, красноармейцы, наконец, не варвары, захваченный город будет ими осваиваться. Некогда (в 1760 году, кажется) на Берлин наложили контрибуцию в полтора миллиона талеров, разрушили арсенал да монетный двор — что ж, по тем временам внушительно.

На последний штурм двинулись ранним утром 2 мая, путеводитель нам не требовался, я уже изучил город по карте, Алеша же помнил его. По пути несколько раз входили в дома, и Алеша звонил по ему известным телефонам, спрашивал то угодливо, то с бранью, как ведут себя русские. Как-то ему ответили: русские ворвались в квартиру и повалились спать, что делать? Не будить, ответил Алеша.

Подобие тишины воцарилось над Берлином. На улицах вповалку лежали солдаты, но не убитые, солдаты чересчур утомились. У вокзала Фридрихштрассе сделали короткий отдых. Перекусили. За два квартала до поворота на Ляйпцигерштрассе пустили контрольные очереди из автоматов и вскрыли ящик с гранатами.

Наверное, вид бредущих колонн с пленными придавал победителям чувство опустошенности. У некоторых домов выстраивались жители, ожидая приказаний нового начальства; я перехватил автомат, к которому потянулся Алеша, чтоб пустить очередь по мирному населению, которому кое-где уже нашли применение: разбирались руины, кирпичик прикладывался к кирпичику, плавно двигаясь из рук в руки...

У Министерства авиации — Ляйпцигерштрассе, дом 7 — долго стояли и смотрели: до дома 10 — сотня метров. Там пыталась спастись от гестапо совслужащая Бобрикова Анна Тимофеевна, которую с нетерпением ждали на Лубянке тоже; приют нашла было у оперной певицы, но та немедленно позвонила в местное отделение; да и все сорок две квартиры дружно подняли телефонные трубки.

Машина шла рывками, дорогу перегородило дерево, рухнувшее на середину, при попытке преодолеть его мотор заглох. Но и цель была перед глазами, пятиэтажный серый дом, все окна целы, кое-где свисали белые простыни, доказывая, что живые и послушные в доме есть. Подъезд закрыт. «Прикрой на всякий случай», — шепнул Алеша и веером пустил очередь по окнам, потом долбанул по двери сапогом.

Появилась дородная баба, рукава кофты закатаны до локтя, ни автомат, ни граната ее не испугали, что могло привести Алешу в полное бешенство, уж его-то я знал. «Где блокфюрер?!» — заорал он. Мужеподобная баба, похожая на эсэсовца с карикатур Кукрыниксов, не без гордости призналась, что именно она является уполномоченной партии по дому и кварталу. Алеша приказал ей выстроить всех женщин перед подъездом, предстоит экзекуция, всех по очереди изнасилуют.

Блокфюрерин пошла за женщинами, высказав готовность исполнять все приказания и надменно предложив акты насильования перенести под

крышу, то есть в квартиры. Но Алеша уперся: именно перед домом, на виду у всех! Ритуал изнасилования, пояснил он, разработан до нас, чуть ли не в Пунических войнах, и еще до отъема нажитого добра и извлечения ценностей из тайников и схронов надо явно, зримо показать всему дому (и городу тоже!), что Берлину уже не восстать из руин, что мужчины будут уведены на сельхозработы, а женщины лягут под русских и, если останутся живыми, понесут в себе семя ликующих освободителей. Трое суток, уверил немку Алеша, будет длиться тотальное изнасилование, трое — ибо это тот срок, который в состоянии выдержать настоящий мужчина, хапая и цапая, пристреливая мешающих ему обывателей и насилуя детей и женщин. «Зачем детей?» — изумилась блокфюрерин. И Алеша — на губах его уже вскипала желтая пена — выкрикнул: «Чтоб привыкали! Ни один немец уже к ним не прикоснется! Только мы!»

Восемь женщин вывела на заклятие блокфюрерин, одна из них не успела освободить волосы от каких-то приспособлений для прически. Всем было лет по сорок — сорок пять, что привело Алешу в бешенство:

— Кого ты нам подсунула? Разве они в состоянии дать начало немецко-русской расе? Они рожать не могут! Это же старухи! Они еще при Бисмарке на Александерплац фланировали!

У дома остановилась машина, три офицера спрашивали, что здесь происходит. «Вершу суд народов!» — огрызнулся Алеша, и машина удовлетворенно покатила дальше.

В бесстрашии блокфюрерин не откажешь, она храбро заявила, что иных у нее нет, что молодые все в гитлерюгенде, а кого забрали в фольксштурм, да и вообще вся молодежь либо полегла под гусеницами танков, либо уже в плену. Но сама она согласна стать прародительницей новой расы, если русский предъявит ей партийный билет, то есть докажет, что он — коммунист. Наконец, сказала она, ею окончен юридический факультет, и она уверена, что акт о капитуляции Берлина означает запрет на самовольные действия войск.

Нахальство слетело с нее мгновенно, когда Алеша заорал:

— А где дочери твои? Где Кристель и Лизхен? Час назад они были дома!

Блокфюрерин рухнула на колени, взывая к милости, но дочки уже выпорхнули из подъезда, стеноя и плача, тощие, коротковолосые, лет по шестнадцать каждой, в домашних платицах. Упали рядом с матерью, приняли ее позу, но безжалостный Алеша нанес последний удар:

— Ключи от седьмой квартиры гони, старая блядь! Там будем мы рассчитывать с национал-социализмом! Или ты не узнаешь меня?

— Узнаю, волчонок, — поднялась блокфюрерин. — Но ключей у меня нет!

Пришла моя очередь убеждать. Пуля срезала сережку дочери по правую руку твердокаменной мамыши, челка второй взвихрилась другой пулей. Мамаша капитулировала и пошла за ключами, Кристель и Лизхен растирали колени. Восемь женщин ожидали своей участи, образовав очередь на совокупления.

Эта седьмая квартира (на третьем этаже) открылась бы с одного выстрела в замок, но Алеша в Германии стал немножко мешанином, временами даже ровнял ногти и, прежде чем пристрелить кого-либо, извиняющимся тоном сетовал на тяготы войны. Человек все-таки проживал когда-то в Берлине, частенько бывал в седьмой квартире у оперной дамы, мать его втихую прирабатывала приходящей служанкой и брала его с собой.

— Вот я и вернулся в детство, — сказал виновато Алеша, войдя в квартиру, пахнущую на нас густым запахом вещей, имевших общее название — Запад.

— А ты проваливай! — скомандовал он блокфюрерин. — Дочерей оставь, ничего с ними не случится, в Германии мы еще никого не насило-

вали, то есть триппера у нас нет. Ступай! Никого из русских в дом не пускай, будут ломиться — ссылайся на нас... И сирени нам принеси, никогда не видел в Берлине столько сирени.

34

Начало крушения Берлинской стены. — Пляски народов СССР в квартире № 7. — Блокфюрерин получает драгоценности

Стыд гложет меня, когда вспоминаются эти милые, добрые германские девочки — Кристель и Луиза, — германские, а не немецкие, разница все-таки есть, и немалая. Они пылко полюбили нас, потому что не отделяли будущее Германии от СССР.

Конечно, военное лихолетье лишило их девственности, но они страстно уверяли нас, что все предыдущие мужчины — не случайность, не нравственная оплошность их, а духовное поражение, Сталинград, от которого можно оправиться только в плену, в Сибири, на лоне беспощадной русской тайги и бескрайней русской степи, и тайга вместе со степью — это мы, которым они будут верны до гроба. Не лишне добавить, что обе родили мальчиков, произошло это на исходе января следующего года, о чем я узнал много лет спустя.

Ну, одна из них (называть не буду) стала великой драматической актрисой, от второго брака имеет двух дочерей, которым ни слова не сказано о путешествии по бескрайним степям, о скрипучих снегах сибирской тайги. Сестра же ее обстоятельно и придирчиво выбрала мужа и стала тем, кого в России называют клухой, хотя очень, очень недурно пела, так мне казалось, на всю квартиру, а ведь в Берлинской опере была всего-то, как и сестра, хористкой, после зимы 1943-го увеселительные заведения Геббельс попривал, но на оперу, кажется, запрет не распространялся, хористок тем не менее мобилизовали на трудовой фронт, в доказательство чего они предьявили свои руки, с порезами и вздутиями. Оперную диву они ненавидели, месть норовили удовлетворять диковинными способами, спать с нами хотели только на кровати, такой широкой, что на ней уместился бы весь кордебалет. Шесть комнат, одна из них библиотечная, рояль, много нот, партитуры опер в сафьяновых переплетах, Гендель, Бах, Малер, восемнадцатый век отложился пылью на некоторых фолиантах, я чихал, это значило, что век двадцатый отзывается на ветхость веков минувших. За несколько дней Кристель и Луиза одолели дурь сентиментальных немочек прошлых столетий и ворвались в 1945 год необузданными в страсти женщинами. Несмотря на угрозы матери, а может быть, и с ее разрешения, они эту квартиру навещали уже не раз, знали, что где прячется; оперная дама, первое меццо-сопрано Германии, убралась из Берлина еще в феврале, бежала в панике; мы в вещмешках притаранили с собой консервы и бутылки, оказалось же — отнюдь не в потаенных местах квартиры нашлись вина, консервы не американские, а голландские и французские. (Алеша негодовал: «Голодали, мать их... Карточная система! Да тут на третью мировую хватит!») Я еще в Польше приучил организм сопротивляться алкоголю, употреблял, воспитывая вкус, тонкие напитки, Алеша не знал меры ни в чем, тут же приложился к запасам сбежавшей меццо-сопрано, пил херес из горлышка, сестрички следовали его примеру, очень забавно было смотреть на них, тем более что у обеих обнаружилась тяга к обнажению себя, голышом ходили по комнатам, маршируя (сказывалось все-таки военное воспитание, в Союзе немецких девушек приучали не только супы готовить). Ружейные приемы отработывали, вместо винтовок — «шмайссеры». Еще одной забавой стали офорты на стенах, хористки принялись колотить их прикладами, что восхитило Алешу: «Нет, вы не немки! Немки на такое не способны!» Сестрички подтвердили: да, у них сильная примесь

венгерской крови — для чего задрали ноги, у венгерок, мол, кое-что не так, как у всех. Мы хохотали по-пороссячи. Мы их жалели. Они так оголодали, что я однажды нашел под подушкой припрятанные Кристель две банки тушенки.

Нет, стыдиться не буду: да, День Победы был нами встречен здесь! Как и все в Берлине (и не только в Берлине!), мы палили из автоматов в воздух, ликуя и плача.

Счастливые часы, благодатное время! Давшее мне, выражаясь высокопарно, дорогу в жизнь, потому что кроме любви я занимался все дни эти музыкой. Великолепного звучания рояль, две прекрасные радиолы, набор пластинок, незнакомые имена англо-американцев (Рэй Нобл, Эдди Пибоди), я услышал оркестры Криша и Джеральдо, и если прибавить известные по Польше немецкие фокстроты (некоторые были украдены Утесовым), если присовокупить Кристель, обученную бегло работать на рояле, то можно смело заявить: за неделю я прошел курсы хорошей музыкальной подготовки, а когда однажды моя учительница заиграла в незнакомой мне фа-диез-мажорной тональности, я заплакал от предчувствия то ли всеобъемлющего счастья, то ли сокрушительной беды. Что-то открывалось мне, какие-то цвета различать я стал. Оставаясь верным своей «Кантулии», я не мог не попробовать «Вельтмайстер» и «Скандалли», когда Кристель отлипала от меня. Дурная привычка обнаружилась у нее: ей нравилось в четыре руки исполнять со мной на рояле трудную пьесу, одновременно занимаясь любовью. Можете смеяться. Но мне кажется, что возрождение Германии началось с этой квартиры № 7 в доме на Ляйпцигерштрассе.

Однажды Алеша заскучал по простой армейской пище и погнал сестричек к ближайшей солдатской кухне, снабдив их грозно написанным приказом от имени районного коменданта. Девушки уже наоблачались во все платья обширного гардероба хозяйки, но осторожности ради пошли на улицу одетыми под беженок. Приказано было набрать еды столько, чтоб досталось и блокфюрерин, которой Алеша выдал уже справку о том, что она — активная участница антифашистского движения. Хлопнула дверь — и Алеша преобразился.

— Быстро! — скомандовал он. — Ищи! Должен быть тайник!

Что предстоит нечто волнующее — я догадывался. Алеша между жратвой, коньяком и сестричками искал хозяйку квартиры, по телефону, который — вот они, чудеса оккупации! — не соединял Веддинг с Панковым, но сообщал Берлин с Цюрихом и Стокгольмом. Хозяйка квартиры № 7 погибла, это узнал Алеша, и с удвоенным старанием мы бросились искать тайник. Он мог быть там, где невозможно было заподозрить существование его, и после чуткого обхода всех комнат мы остановились на кухне, присмотрелись к мраморной столешнице с посудой, простукали ее, вскрыли.

Два несесера. В одном камешки, в другом — паспорта. Алешу интересовали только документы.

— Швейцарские, — оценил он. — И шведские. Чистенькие. Со штампом консульства. Без фотографий. Без визы. А ее нам поставить — что два пальца... Сиганем?

— Куда?

— Куда хочешь. Швеция, Швейцария. Сейчас открыты границы с Францией, Бельгией, Голландией. Бежим.

— Зачем?

Он говорил шепотом. Я почему-то тоже.

— Потому что нам уже житья не дадут. Я, кстати, в розыске. С 1938-го. Или даже раньше.

Я, расслабленный сытой житухой, выразил сомнение, в ответ услышав:

— Ты либо глупый, либо притворяешься... На трех московских хозяев работали, а они грызутся, сейчас начнут подсчитывать потери. Ты хоть за-

думывался, кого мы убирали? Ты что — забыл про танк, про Халязина? Он ведь живым объявится — и всем нам каюк.

— А Григорий Иванович? — как-то жалко спросил я, и Алеша сплюнул. Выгреб из несессера камни и кольца.

— Пока мы с тобой гужевали здесь, в Москве победу отпраздновали. Сегодня одиннадцатое мая. Хорошенького помаленьку. Повеселились — и будя! Засрали дом, сперли что надо, хозяйских барышень раком поставили — теперь пора делать то, что было во всех помещичьих имениях в 1917 году. То есть поджигать и разбежаться. Не мешало бы и рояль с третьего этажа на улицу выбросить. Да ладно уж.

Восстановили на кухне былой беспорядок и спустились на первый этаж.

Блокфюрерин встретила нас поклоном. Драгоценности ссыпались в ее подставленные ладони.

— Замуж не выходи. Сосредоточься на дочках. Дай им образование, воспитывай внуков. И запомни: в дом ворвались русские варвары, разграбили все, кто они и что унесли с собой — тебе неизвестно. А фрау Копецки из 7-й квартиры сюда уже не вернется. И вот что. Поговаривают о зонах оккупации. У тебя ведь сестра в Гамбурге, да? Уноси детей и ноги свои туда, и побыстрее, пока кордоны не выставлены. Камушки девочки на себе спрячут, они знают где... Прощай.

Блокфюрерин простилась с нами по-царски: открыла гараж и дала ключи от двух «опелей».

Мы разъехались. У Алеши свои дела, у меня — свои. Встретиться решили в пригороде, около Ванзее, 28 мая.

35

Визит к Вилли. — Еще один лишний человек

Напоминаю, еще при Вилли мы с Алешей стали старшими лейтенантами, а для пресловутых оперативных целей нам выдали новое обмундирование, то есть белье, бриджи, гимнастерку, погоны с тремя звездочками, фуражку, ремень и — завидуйте! завидуйте! — хромовые сапоги. Все подбиралось по росту, я уже дотянулся до 173 сантиметров, весил 61 килограмм, два ордена вручили — «Красной Звезды» и «Отечественной войны» 2-й степени и по четыре медали (без наградных удостоверений), — все та же дешевая конспирация, оформление гибели Халязина от рук советских офицеров.

Мне было почему-то грустно. Солнце в дымке, сам вид развалин связывался какими-то законами восприятия с грохотом артиллерийских залпов, с уханьем танковых пушек. Но вокруг была не тишина, а отсутствие громких звуков, люди двигались как-то замедленно. Никто не смотрел на мои звякающие медали и два привинченных ордена. Уже назначили коменданта города, приказ его расклеивался, читать я не хотел. Было, повторяю, грустно, с окончанием войны я лишился чего-то, и, пересекая Берлин с северо-востока на юго-запад, я часто останавливался и рылся по карманам, что-то искал, и гадалось: где же потерял я или, быть может, оставил там, у Лукошина... — что потерял, что оставил? Мне все казалось, что пистолет мой неработающий, собран, что ли, неправильно — или боек притупился? пружина вот-вот лопнет? Гадкое ощущение неприкрепленности к чему-либо. Вот: победитель я или побежденный? Отвечая на этот вопрос, пристрелил трех ворон из любимого парабеллума.

Кратчайшим маршрутом к Вилли никак не удавалось попасть, приходилось спрашивать, что это за улица, потому что все таблички были сметены. Ко мне прицепилась то ли рано постаревшая, то ли молодящаяся женщина, очень хотевшая курить, пачка папирос привела ее в возбуждение, в слезы, мы разговорились, курить просил умирающий отец ее, я дал немного денег. Еще одну немку завлекли мои медали, эта смотрела тоск-

ливо и задумчиво, оскорбилась, когда я не захотел идти к ней («Неужели я так стара, что...»); мои объяснения, очень лживые, встретила, однако, с пониманием и подарила пачку презервативов и адрес.

Шарлоттенбурга, к которому устремлялся, достиг только к вечеру. Дом Вилли стоял целехоньким. Можно подняться на второй этаж и потянуть шнур колокольчика, на что я имел право. Встреча — только после полного и окончательного разгрома — таков был наказ Вилли, и не через посредника!

В дом я вошел, трогать шнур не стал, поняв еще ранее, что Вилли нет, и оставил меловой знак: все в порядке, ресторан «Динамо», день и час те же.

Никто не переставлял часов на берлинское время, никто и часов не наблюдал, дни и ночи сливались, нескончаемой струей перетекая друг в друга; я не помню день, когда вышел из густой темноты и оказался за длинным шумным столом с бутылками, где орали что-то неразборчивое, но свое, потом запела девушка, младший сержант, голосочек тоненький, фальшивый. Я ушел. Я был, наверное, в парке. Иссеченные осколками дерева ночью казались неповрежденными, зеленеющими, пышными; миновал три квартала, я уткнулся в какую-то площадь, куда впадал бульвар, солдаты спали у машин и походных кухонь. Какая-то неволя гнала меня куда-то, меня лепило к сборищам людей, своих людей, в двухэтажном особняке, куда меня втащило, пили и плясали. Свои, все свои, но я начал корректировать себя, заслонялся фигурами людей. Потом исчез из особняка, через пять улиц наткнувшись на освещаемый изнутри «мерседес», где с каким-то офицером сидела Инна Гинзбург. Мы с ней так и не помирились, не могли подружиться: в 44-м наступление на нашем участке фронта шло так стремительно, что пленных надо было допрашивать горяченькими, сразу после боя, все ценное устаревало за те часы, пока его доставляли в штаб. Вот и образовались летучие отряды, переводчики свеженькими потрошили немцев, переводчиков не хватало, меня и прикрепили к такому отряду, и там-то Инна презрительно плюнула мне под ноги. А что обижаться-то: ураган войны смерчем закрутил нас в Ружегино, и мы попали в другую эпоху, перешагнули через какой-то барьер, нами же воздвигнутый.

Я не знал, что делать и кого бояться. Все были необозначенными врагами.

36

Великая Германия. — Истинный американец, тупой и незлобный

В мае 1945 года Германия впустила на постой миллионы вояк десятков национальностей. Землю Германии топтали новозеландские, американские, английские и французские ботинки, русские сапоги и босые ноги просто мужчин, женщин и детей. Со страхом и ожиданием смотрели немцы-хозяева на тех, кого надо было терпеть, пока незваные гости не утихомирятся, убедятся в невозможности уплотнения и начнут потихоньку уходить. За несколько месяцев этого 1945 года Европа пережила то, что происходило в течение десятилетий много веков назад: разные эпидемии, казни ведьм, нашествия орд с востока и запада, и я катил по этой взбаламученной стране, за бензин расплачиваясь банками тушенки да «Беломором», что подарили мне наши солдаты.

Однажды увидел, как около кафе из джипа деловито выбрались четыре солдата в белых шлемах, подошли к сидевшему за столиком посетителю, спросили что-то, ударили его по голове дубинкой и швырнули в машину. Все произошло быстро и точно, ребята были правильно обучены, сам я сидел в том же кафе за бутылкой воды и, наверное, видом своим выразил одобрение бравым парням, потому что сидевший неподалеку американец

заговорил со мной, быстро перейдя с английского на немецкий. Он был в форме, куртка расстегнута, фуражка на затылке. Это был человек со странностями, он пепел сигареты сбрасывал в подставленную ладошку левой руки, чтоб слнуть потом. Он вообще, показалось мне, был ненормальным, потому что так объяснил причину ареста: человек, что сидел в пяти метрах от меня в цивильном костюме, диверсант, немецкий диверсант, один из тех, кто не арестован и не судим еще военным трибуналом Первой американской армии. На вопрос, в чем обвиняется только что схваченный диверсант и его сотоварищи, последовал развернутый ответ. Оказывается, в декабре прошлого года переодетые в американскую военную форму и хорошо знавшие английский язык немцы произвели массовые диверсии в тылу отступающей Первой армии.

— Ну и что? — был я сильно удивлен. — Что тут такого, за что надо отдавать под суд после войны? Люди воевали, что с них спрашивать.

— Они носили американскую военную форму. Они обманывали.

— И правильно делали. А как иначе воевать.

— Ты, кажется, чего-то недопонимаешь... Если ты немецкий военно-служащий, то находиться тебе, по-американски одетому, на территории, занятой нами, американцами, нельзя, это нарушение законов войны. И немцы это понимали. Когда трюк с переодеванием стал известен, они по радио приказали своим диверсантам вновь переодеться, теперь уже в свою, немецкую, форму. Этот, которого арестовали, остался в американской. Его и расстреляют. Уже сто пятьдесят человек расстреляли — за нарушение правил ведения войны.

— Минутку... Вы, кажется, шестого июня высадились в Нормандии... О высадке — предупредили немцев?

— Ты что — стебанутый?

— А почему немцы обязаны предупреждать, в какой форме они будут резать телефонные линии и взрывать мосты?

Больше говорить с этим психом я не желал, тем более что он стал мне внушать сущую ересь: на оккупированной территории гражданскому населению нельзя нападать на оккупантов, а самим оккупантам нельзя стрелять в мирное население. Идиот, сущий идиот. Тоже мне союзнички.

Ночевал я, самовольно заняв квартиру, уже зная о порядках: бывшие активисты НСДАП могли быть выселены из своих жилищ. Предупредил нашего коменданта, каждое утро приходила хозяйка квартиры, предлагала что-либо сделать, гимнастерку выгладить хотя бы. Как догадывался, то, что я проживал здесь, было для нее спасением, квартира попадала в особый фонд коменданта города, хозяйке полагалось что-то, паек, наверное. На площади я познакомился с одним майором, знатоком средневековой архитектуры. Он водил меня вокруг собора, показывая его с разных сторон, в некоторых точках обзора восторженно замирал, привставая на цыпочки.

— Нет, ты подумай, ты думай!.. Всякое культовое сооружение тянется к небу, шпиль вообще — это рука, что-то молящая у звезд, у солнца, у Луны, — если взглядеться, то найдешь разницу, наше православное христианство многое взяло у язычества, мы солнцепоклонники... Господи, господи, прелесть-то какая!..

Меня другое заботило: орган. Не было в этом соборе органа, то есть его вроде бы демонтировали, но органные басы звучали во мне, едва я приближался к собору. Уж не само ли пространство вибрировало, колыхая своды, и невидимые глазу трепетания стен складывались в звучание медно-трубных гортаней? У бокового входа в собор попы поставили плетеное кресло, о назначении его говорила табличка: «Посиди, отдохни, погрузись в мысли...» Так я однажды и сел, так однажды и погрузился, судьбу свою решая...

Это говорилось и об этом мечталось 27 мая 1945 года... Я особо отмечая день этот, потому что с него началась моя эпопея, и что бы судьба ни

вытворяла с мушкетерами, какие бы напасти ни сваливались на юнга Джима Гокинса, то, что происходило в этот день и последующие дни, месяцы и годы, скорее напоминает странствия героев эпосов, и хочу предупредить читателя: нет, не ищите в дальнейшем ни лагерей, ни тюрем, ни злых козней следователей.

37

Арестовали. — Прощание с Алешей, который показался Лене Филатову кучкой дерьма

Убаюканный величием собора, я забыл о коменданте, да кто о нем и помнил, кроме разве немцев, которых нужда гнала к этому капитану с красными глазами непроставшегося штабника. Да и он меня, ручаюсь, из головы выкинул, едва я доложил ему о себе. Окна занятой мною квартиры выходили в парк с застывшими в марше каштанами, туда бы с утрачка податься, пробежаться по нему, броситься в реку, дважды переплыть ее. С того момента, как мы с Алешей покинули Ляйпцигерштрассе, и все дни, что разъезжал я по Германии, меня не оставляло гадкое ощущение сперва незавершенности чего-то, а затем вопиющей неправильности всего делаемого мною. Будто я помилован кем-то, выбрался на заминированную дорогу и потому еще жив и невредим, что суммой каких-то еще более глупых действий минеров все механизмы взрывателей испорчены. Я объехал половину Германии — и не смог бы в последовательности, нужной для отчета, перечислить города и людей, и в этой ненормальности крылась ошибка, способная подвести к гибельной черте, но что это за черта и почему я обязательно к ней подойду — нет, не знал, не гадал, но все же — предчувствовал, что ли.

И вот что... Помнил же о предостережениях Алеши, пытался свести их в некую систему по методу Чеха, но куда там, дорога манила, дорога влекла.

И на тебе — комендант, капитан, фуражка с прямым козырьком.

Третьим вошел он в комнату, первым — Костенецкий, за ним Лукашин. Раз в неделю брился я, чаще не позволяло отсутствие того, что надлежало срезать бритвой в щегольском футляре. Пришли эти гости как раз тогда, когда я уже не только побрился, но и оплескал лицо — для форса, по глупости — какой-то пахучей жидкостью. Полотенцем обмахивался, сдувая с кожи лица щипание, и Костенецкий пресек мое желание как-то по-военному, что ли, встретить начальство. И повел чудную по странности речь о недопустимости проживания в домах членов нацистской партии. «Я предупреждал...» — начал было то ли объясняться, то ли оправдываться комендант и умолк после досадливого жеста Костенецкого, а продолжением жеста было приказание показать мне удостоверение личности, что я и сделал, и удостоверение перекочевало в карман Костенецкого. «Предвидятся исправления», — так сказано было. «Ага», — беспечно ответил я, успев заметить, что и пистолет, видимо, нуждается в исправлении, потому что Лукашин забрал его себе, и кобура моя на офицерском ремне опустела (кобуру для парабеллума я носил по-немецки: спереди и чуть слева).

Он был — Костенецкий — почти втрое старше меня; когда-то он запросто послал меня на верную гибель, не менее опасными были и все получаемые от него задания; временами я ловил на себе его взгляды, он поглядывал на меня как на человека, которого почему-то не убивают, хотя в тех же взглядах распознавалось и желание положить мне руку на плечо и стоять так вот, вдвоем, радуясь друг другу. Но ни разу еще не держался он со мной так, будто я чужой, из разведки другого фронта, что ли. И угнетало молчание Лукашина. С полной незаинтересованностью поглядывал он на стены, на фотографии, на парк за окнами. А на меня вообще не смотрел, и подумалось: может, у него дома что-то случилось?

Назло коменданту и Костенецкому я вежливо распрощался с хозяйкой, донельзя напуганной, с перекошенным лицом наблюдавшей, как мы садимся в машину, без коменданта. За рулем — Лукашин, Костенецкий — рядом, я — сзади, — и оказалось, что рядом со мною — какой-то ленивый майор, и я стал внимательным, очень внимательным, то есть стал проявлять податливость, притворяясь тем глупым и розовощеким школьником, что прыгнул с полуторки в километре от зугдидского военкомата почти четыре года назад. Я слушал, что говорят впереди, я отвечал на вопросы восторженно, как и положено юнцу, которому взрослые прочат славное будущее... Ну а детали этого будущего обсудятся по дороге в Берлин. Шестьдесят километров до него, мир на земле, небеса чистые и высокие.

Обо мне спорили мои начальники, и получалось, что придется, черт возьми, оставлять мальчишку, меня то есть, в армии, а не демобилизовывать, потому что старший лейтенант Филатов Леонид Михайлович — как теленок в загоне: от вымени уже отучен, на ногах держится уверенно, да выпускать на волю нельзя — волков полно и должного воспитания не получил. Сами посудите, рассуждали начальники, девятнадцать лет, служить еще и служить, но в училище не примут. Ибо — звание уже офицерское, не топать же ему в строю курсантом, что-то надо находить такое, чтоб экстерном, что ли, получить диплом об окончании училища. И вопрос первый: какого училища? Не авиационного, конечно. Не танкового. Да и другие рода войск не примут в свои ряды старшего лейтенанта, не сдавшего минимума, необходимого командиру взвода. А в академию?..

Это совсем уж глупо, предположил Лукашин, и что глупо — это я про себя отметил; я многое, очень многое отмечал, я начинал понимать уже, к чему клонятся разговоры, но совсем непонятен стал маршрут, согласованный — это я отметил тоже! — с майором, что слева от меня. Костенецкий сказал полувопросительно: «Заедем?» — и майор кивнул, соглашаясь. Лукашин вел машину не прямоком в Берлин, а кругным путем, мы катили к северо-востоку и вдруг свернули в сторону. Остановились. Все молчали. Начальники вылезли из «виллиса», за ними и я.

Мы оказались на пригорке, под нами расстилался пустырь, обнесенный проволокой, вдоль которой похаживали автоматчики, само же околюченное пространство заполняли какие-то серенькие кучки, рассмотреть которые я не мог, потому что «виллис» был открытым, пыль подпортила мне зрение, да и солнышко светило прямо в глаза, и тем не менее я догадался, что это за кучки: это сидели или лежали люди в, кажется, советской военной форме, но без знаков различия.

Пожалуй, не лежали, а сидели на корточках, уткнув лицо в колени. Неподвижно сидели. Под слепящим мои глаза солнцем. Но Костенецкий и Лукашин что-то все-таки различали на этом поле, которое было будто в кучках коровяка. Они смотрели и недобро молчали. Молчал и я, не зная, что и сказать.

— Ну вот, — вздохнул Костенецкий. — Простились, значит.

Поехали дальше. «С кем простились?» — надо бы спросить, но я не спрашивал, потому что переваривал в себе ощущения от соседа, майора, от которого веяло опасностью. Майор никакого внимания не обращал ни на меня, ни на моих начальников, но, похоже, Лукашина принимал за своего шофера, а меня и Костенецкого — за незнакомых ему людей, временных, случайных попутчиков: знать их он не знает и забудет, когда они попросят остановить машину и выйдут, поблагодарив или просто хлопнув дверцей; на дорогах Германии таких голосующих было полно.

Поехали дальше — и разговор о моем будущем продолжился, причем ни в одном варианте этого будущего демобилизация не упоминалась. Дверь туда, к продолжению жизни рядом с матерью и Этери, захлопнута была перед носом, о такой жизни начальники мои и словечком не обмолвились. Зато всю толковали о службе, которая не может завершиться,

ибо назревает война с Японией, и быть бы мне на ней, войне этой, если бы... Нет, что-то начальники недоговаривали, они — мои уши были насто- роже — и фамилии моей будто не знали, говорили о безымянном старшем лейтенанте.

Вдруг Костенецкому пришла в голову ошеломляющая по простоте мысль:

— Слушай, как это я раньше не подумал... Высшие разведывательные курсы!

Лукашину это понравилось, но не настолько, чтоб безоговорочно под- держать полковника. Выразил сомнение: возраст! Скоро, конечно, два- дцать, но по виду — сущий младенец. С него сорви погоны, дай другую гимнастерку — и только что отобилизованный школьник, более того, боец народного ополчения!

Я боялся пошевелиться, настолько дико звучали слова вроде бы взрос- лого человека. Какой школьник? Какое народное ополчение? И вторая дверь захлопнулась!

Полковник не унимался, еще одна идея озарила его, еще одна калитка ему увиделась: военно-дипломатическая академия! Да, да, есть такая, в про- шлом году образована, условия приема вполне для молодого офицера подхо- дящие, особенно если он знает хоть один язык, в данном случае — немецкий.

Воротца эти захлопнул Лукашин. Среднее образование необходимо, напомнил он, оно, конечно, имеется, но свидетельство об окончании шко- лы утеряно, и пока его восстановишь, к началу сессии он не успеет.

— Успеет! — не поверил полковник. — Напишем в военкомат по мес- ту призыва, найдут школу, подтвердят...

— Не подтвердят, — сказал Лукашин. — Туда три похоронки на него пришли. В военкомате ни словечка о нем, а школа сгорела, и все докумен- ты в ней тоже.

— Но люди-то — остались?

— А помнят ли они о нем?.. Вот когда я работал на лесосплаве...

А в душе моей будто патрон заклинило. Или что-то при сборке в тем- ноте не согласовалось. Палец с предохранителя снялся, но — полное ощу- щение незащитности. Не первый раз испытывал я это чувство неуверен- ности в себе: каким-то неведомым образом волнение человека передается металлу, и в совершенно исправном пистолете заклинивает патрон.

А уши! Уши мои раздирались скрежетом фальши, кто-то перепиливал рояльные струны, похохатывая при этом.

Я расслабился еще более.

— Из Чехословакии что-нибудь прислали? — перешли к другой теме мои начальники. А я уже кое-что понимал, и скомканное безволие стало расpirаться, наполняться воздухом, вот-вот — и я поймаю воздушный по- ток. Много, много мне сказал лукашинский «лесосплав».

— Нет.

То есть они пытались вызвать Чеха, но найти его не смогли. Началь- ники знали, как между собой называем мы самого старшего инструктора.

Поэтому я молчал. Я думал. Что-то надо было делать, до штаба — ки- лометров семь-восемь.

Вдруг Костенецкий, несколько раз чиркавший зажигалкой и безуспеш- но пытавшийся прикурить, в гневе отшвырнул ее.

— Стоп, — сказал он. — А ну-ка смотайся к кому-нибудь, попроси за- жигалку. У всех полно их.

«Виллис» замер, я выскочил из него и двумя прыжками достиг стояв- ший на обочине «студер». Часами, авторучками и зажигалками были наби- ты карманы солдат и офицеров, зажигалку мне дали тут же, но я нырнул под соседний «студер», перемахнул через другой и растворился в Берлине.

Я мог теперь лететь в затяжном прыжке, воздушная стихия зашвырнет меня на безопасный клочок земли. Мне повезло, а вот Алеше уже каюк.

Значит, это он сидел на пустыре, это меня привезли попрощаться с ним перед расстрелом, наверное. И мне то же грозит, начальники весьма прозрачно намекнули мне на такой исход.

38

Попытка превратиться в немца. — Семья Бобриковых зовет в глубь России. — Бросок на Восток. — Благодородный Портос доносит горькую весть

Трое суток отводит традиция на грабеж захваченного города, но это не значит, что на четвертые сутки тишь и благодать воцарились в поверженном Берлине.

Грабили и насиловали, но все меньше и тише, а когда армия подустала, когда вывоз ценностей приобрел уставной порядок, за квартиры принялись местные мародеры, немцы грабили немцев, и кое-где сколотились отряды баб для самообороны, во главе их стояли испытанные временем блокфюрерины. Ночью я пробрался в дом Вилли мимо одной из таких блокфюрерин и поставил знак опасности, я как бы передал ему черную метку от руководства, чтоб хозяин квартиры принял меры предосторожности. Через квартал найден был подходящий дом, лестница могла обрушиться с минуты на минуту, на третьем этаже дверь поддалась нажиму, я сидел на диване в безмолвии покинутой квартиры. Здесь когда-то жили немцы, мне предстояло на какое-то время сойти за берлинца, что было рискованно, очень рискованно хотя бы потому, что как ни знай чужой язык, вместе с ним не усвоишь тысячелетнюю историю нации и всегда будешь в ней чужаком. Так говорил Вилли. Много оптимистичнее высказывался Чех, не вовремя пропавший.

Чужак. Лишний, ибо к земле этой не прицеплен корнями, и в немецкой квартире, полной немецких запахов, я вспоминал рассказы Алеши о его родне; только она имела право носить русские погоны, хранить офицерскую честь и не уходить в бега. Она страдала за Россию, но мне-то зачем? Мой дед — землемер, кто прадед — мне неизвестно, а вот сыновья Федора Бобрикова, того самого, которого заперли в Коллегию, поручив надзор за мануфактурами, вняли опыту отца и взор свой от моря отвращали. Старший из сыновей выглядел для себя службу в драгунах и к старости промотал отцовское состояние до последней деревеньки, младший умер от заразной болезни, после чего все последующие Бобриковы получили иммунитет от инфекций. Племя вымирало, род мог опаскудиться, доверив продолжение себя внукам, если б сам Федор на склоне лет не позаботился о притоке свежей крови, густота которой определяется не размерами и цветом эритроцитов, а вязкостью навозной жижи. Адмирал усыновил ребенка мужского пола, рожденного ему дочерью конюха. Зачатые вне брака Бобриковы обычно выше старост не поднимались, этот, усыновленный (что делает излишним описание конюховой дочери), был послан на учебу в Германию, где просто жил, особо не затрудняя себя университетскими занятиями. Романовскому греху и он подвержен был, женился все-таки на немочке, к счастью, вскоре скончавшейся. Будущий латифундист Артамон Федорович Бобриков тут же вернулся в Россию, на попечение немцам оставив сына, о котором немедленно забыли, который отлетел от дерева беспризорным семенем, неизвестно куда упавшим. У Артамона имелись веские причины не вспоминать о немецком прошлом своем, в Петербург он попал в начале 60-х годов, сблизился с офицерами, в подражание матушке императрице ругающими все немецкое на дурном русском языке. Кое-какие услуги матушке он оказал, в какие-то комиссии включен был, в какой-то химерический проект углубился было, да вовремя распознал ублюдочность всех благих начинаний матушки немки и, состоя при графе Кочубее, тугодумным молчанием на всех заседаниях заслужил себе отстав-

ку, пятьсот душ в семи деревеньках и орден неизвестно за что. С чем и убыл на Курщину, на дарованную ему землю, приумножать души и деревеньки (родовым именем стала Курбатовка), на призывы служить отчизне отвечая верноподданными отказами. Этот Бобриков догадался, насколько растлевающе действует на человека близость к власти, а венценосная она или конституционная — это уже излишняя детализация.

Дети законных сыновей усопшего Федора, люди без полушки в кармане, к деньгам и власти пробивались разнообразно. Об одном из них было известно, что состояние свое он сколотил за несколько часов, получив за труды от Екатерины перстень, обычную награду неимущим красавцам — за доказательство в постели своей преданности России. Перстень, проданный голландскому купцу, дал красавцу возможность основать на Урале медеплавильное дело. Потомки его, невзрачные и худые очкарики, дело отца не поддержали и смешались с толпой разночинцев, кое-кто, правда, громил свободомыслие с университетских кафедр. И все посматривали на тени предков, обладавших способностью освещать будущее. И теням тайно поклонялись, в завещаниях изредка писали: похоронить в Курбатовке.

(Не живописные подробности, лишь частично подтверждаемые документами, поражали меня в Алешиных рассказах, не извилистые пути семейства удивляла. Возмущал и восхищал сам факт, то именно, что уста одного поколения передавали ушам следующего имени, фамилии, даты, географические наименования и прочие реалии. Что-то заставляло всех Бобриковых сосредоточиваться на культе своих предков. Желание предотвратить возможные ошибки?) А кстати, в роду Филатовых были до меня диверсанты?

Я сидел смотрел и вслушивался в себя, в полутьму, в историю Бобриковых, в гул жизни, не покидавшей города, который был так набит дивизиями, полками и батальонами, что никакой комендантуре не проверить чьи бы то ни было документы, а старших лейтенантов с двумя орденами и четырьмя медалями — пруд пруди.

Но Чех, Чех! Великий, неповторимый, осторожный и мудрый — не как застывший в раздумьях змей, а как змея, лишенная слуха, но не потому ли бесшумно скользкая и выбирающая самый верный маршрут? Я верил ему, я затаился, я размышлял, я вбирал в себя запахи и звуки, сидя с закрытыми глазами. И принял решение: оборвать свои следы! Как у ручья или реки, из которых собаки меня не вынюхают. И не оставлять их там, где меня могут ожидать. То есть ни к Вилли, ни на Ляйпцигерштрассе, ни к Круглову, который еще пригодится, ой как пригодится, но позднее. Уцелеть! Сохранить жизнь и свободу, что поможет вытащить Алешу из-за проволоки.

Пришло время линять, стягивать с себя отсохшую кожу.

На исходе следующих суток я лежал на койке госпиталя. Много раз привлекали нас к фильтрации солдат, я знал, что кому говорить и как. Впервые имел я время думать, не ограничивая себя, и много чего передумано было на госпитальной койке, на лужайке, куда разрешали выходить на прогулку. Порядки и здесь я знал, издали посматривал на врачей, опасаясь увидеть знакомых по тому госпиталю, где лежали мои боевые друзья. Спасало то, что больных и раненых везли безостановочно, наиболее тяжелые отправлялись на восток, но госпиталь все пополнялся и пополнялся — и это в то время, когда симулировать было бессмысленно, а война с Японией представлялась бескровной.

Госпиталь обосновался в господском имении, посреди парка, где-то на задворках его разыгрывались, надо полагать, жуткие сцены, потому что тишину разваливали выстрелы и приданные госпиталю бойцы стремглав мчались утихомиривать драчунов и пальбунов, если можно так выразиться: во мне все-таки пробивалось зерно писательства, я начинал забавляться

словами. Хотелось уединиться, побыть в пустоте, которую заполнит прилетевший мотив «мананы», и великая песня ищущих однажды коснулась меня аккордеонным всхлипом. Я понял, что должно что-то произойти, и глянул на обувь: в чем бежать? И как жить без любимого парабеллума?

Документы и одежду я припрятал, ждал обоснованного случая. Часто, чересчур часто в госпиталь стали наезжать офицеры тревожащей манеры поведения. На больничных койках отлеживались дезертиры и власовцы, не исключалось, что и агенты разведок. Приезжали особы со списками, и чем длиннее были они, тем короче длились визиты. Помня о сваре, затеянной особистами госпиталя из-за не по правилам ампутированной руки, хорошего от них мне ожидать не приходилось. Наконец, меня могла опознать случайно та же роковая Инна Гинзбург, прикатившая бы в левый флигель навестить подорвавшегося на mine переводчика Костю.

Помощь пришла неожиданно.

По походке старшей медсестры догадался я, что грядут перемены. И потихоньку готовился к побегу, как вдруг какой-то врач остановился у моей койки.

— Как тебя, парень? Цветков, да? Ты как, осилишь выписку? Госпиталь переполнен.

«Манана» прошелестела надо мной, как ветер в высокой лесной гуще... И увяла. Деревья стояли не шелохнувшись. Я закрыл глаза.

Несколько часов спустя меня и еще трех излеченных привезли на сортировочно-пересыльный пункт, где я увидел Федю Бица, того самого тупого и мощного сержанта, которого я когда-то прозвал Портосом. Этот Федя ни с кем не мог поладить, Костенецкий его прогнал, Федю подобрал отдел разведки какой-то армии, но и там он продолжал пить и скандалить. Изредка мы встречались, и он никак не мог простить мне урок на лужайке, когда я его валил с ног несколько раз кряду. Теперь он ждал демобилизации и очень удивился, встретив меня. Покосившись на солдат рядом, он моргнул рыжими ресницами, призывая к разговору наедине, и мы уединились.

— Ну, — сказал он, — до тебя еще доберутся... Калтыгина-то — тютю... А Бобриков...

Из уст очевидца услышал я героическую сагу о гибели родимого отца командира.

Григорий Иванович славно завершил свой жизненный путь. 8 мая (мы с Алешей еще гужевали на Ляйпцигерштрассе) он в особнячке на окраине Берлина нежилась в объятьях очередной пышнотелой паскуды. Разбудил его Костенецкий: пора ехать, дела, дела. Григорий Иванович будто всю войну репетировал это пробуждение и все, что последует за ним. Дьявольски расхохотался, выбросил грудастую в окно. Заорал Костенецкому: «Яков, уходи живым, тебя пощажу! И Лукашина тоже! Остальных — в распыл!»

А Григорий Иванович не только прорепетировал, он еще и арсенал накопил изрядный. Он был грозно-весел. Особняк — одноэтажный, до ближайшего дома — метров семьдесят, шесть окон, два из них Калтыгин закрыл ставнями изнутри, он дрался за троих. Трупы смершевцев валились рядами. Григорий Иванович — к еще большему ужасу осаждавших — управлялся заодно и с маршалами.

— А где Федя? — грозно вопрошал он. — Где Федя Голиков, начальник разведупра, которому я приволок немца с планом наступления группы «Центр»?.. Нет Феде, — сокрушался он. — Федя народный герой, лысина его сверкает в залах Кремля!

Отбита очередная атака, фаустпатроном Григорий Иванович поджег «студер» с подкреплением.

— И Жукова почему-то не вижу, — сокрушался Калтыгин. — На никому не нужных Зееловских высотах сотню тысяч уложил. Ему бы возглавить операцию по задержанию капитана Калтыгина! Ему!

И так далее и тому подобное... Особо упирал на Еременко, любителя гуся с черносливом, генерала, который угробил не один ПО-2, гоня самолеты на юг за этим черносливом.

— Шестьсот тысяч положили русских парней, потому что побоялись поверить карте, которую мы принесли!

Всех маршалов перечислил, истекая кровью, и, когда полусотня волкодавов из СМЕРШа ворвалась наконец в особняк, двумя связками гранат подорвал всех. Лишь по татуировке на груди опознали его среди трупов...

(Как только я услышал про татуировку, я еще более утвердился в желании стать Великим Писателем.)

И ни словечка обо мне или Алеше не донеслось до смершевцев. Да, мы были его детьми, и детей он спасал. Он, возможно, учинил сражение это специально для того, чтоб до нас дошел сигнал об опасности. Возможно. Вечная память отцу командиру и человеку, который направил меня на писательский путь!

Про Алешу Федя знал самую малость: арестован. И его самого, Федю то есть, тоже захомутали, но попал он к лопухам, везли его в Потсдам на допрос, да по дороге те налакались, вот он и дал деру, закосил, отлежался в госпитале, теперь — в родные Бендеры, вот адресочек, не забудь...

39

Милый, милый Антон Павлович! — Первая получка. — Школьница задирает юбку, указывая путь

По красноармейской книжке, выданной мне, Цветкову то есть, аж в срок третьем году, родом был я из Арзамаса, там же надо было встать на учет в военкомате, но я не торопился. Женщина в цветастой юбке продолжала растирать своего цыганенка песком, то есть затыжной прыжок еще не прервался близостью оседлого клочка земли, ураган гнал меня на восток, где-то под Куйбышевом я соскочил с поезда и пошел наниматься на работу.

Самое уязвимое место — красноармейская книжка и справка, которую мог сварганить любой ушлый парень. Но они-то и вызвали почтение у начальника стройконторы. «Понимаю, браток, денежка требуется... С месяц-другой побегаешь, раствор потаскаешь, а там опять в путь-дорогу...» Записку дал, в общежитии показали пустую койку, вечером обещали матрац и постельное белье, кухня в конце коридора, душ и баня — в городе, пятнадцать минут ходу. Я так сладко заснул! Я был на пороге будущей жизни!

В бригаде — двенадцать человек, трудились на школе, достраивая третий этаж, мое дело — хватать ведро внизу и бежать с ним наверх. Поначалу выплескивалось, потом сообразил: раствор — это неразряженная противопехотная мина, и дело пошло веселее; из этих двенадцати — половина калек, все местные, в обед разворачивали свертки, кое-кто приносил замотанные в тряпье кастрюли. Я бегал быстрее всех, конечно, и калеки стали звать в обед меня к себе, подкармливали, я их очень уважал: однорукий дядя Вася умел ловко укладывать кирпичи, одноногий Федька на крыше сидел, как на КП, командуя правильно, а бригадир Андрющенко (без пальцев на правой руке) не только лихо сворачивал сигарку, но ухитрялся топориком помахивать, показывал бабам, как закреплять доски на опалубке. Таких людей Костенецкий быстренько приспособил бы к делу, они бы у него ковыляли по немецким тылам. Женщины же все были в возрасте, что никак не сказывалось на языке, матерком встречали и провожали, на все крики бригадира отвечали загадочно и дерзко: «Наплевать, наплевать, все под юбкой не видать». Однажды набросились на самую горластую, ко мне пристававшую: «Ты на мальчика не заглядывайся! Для другой он!» И обвинили в болезни, подхваченной горластой на станции.

Работали от зари до зари, спешили к 1 сентября, и елось хорошо, и спалось хорошо, рабочую карточку получил; еще в госпитале на меня временами накатывали по ночам страхи, здесь — пропали они.

Аванс был маленьким, но в получку у меня на руках оказалось почти семьсот рублей. Хранил я их в тумбочке, под газетой. И полез как-то за червонцем — а денег нет. В комнате — восемь человек, кто взял — допытываться не хотелось. На день-другой кое-какая мелочь сохранялась в кармане, о пропаже никому не сказал, в обед хотел было смотреть на базар за куском хлеба, но бригадир поманил, отрезал кусок сала, отломил горбушку.

— У тебя что-то случилось?

Я сказал.

Он полез в карман, достал мои деньги.

— Возьми. Не я, так другой стибрил бы. Мало ты еще жизнь знаешь. Давай-ка бери расчет и валяй куда подальше.

Но я решил побыть еще немного. Каждый вечер уходил в городскую библиотеку, читал полезные для будущей профессии книги. Лев Толстой привел меня в тихое негодование. Он оказался насильником, он заставлял читателей безоговорочно верить написанному им, он походил на следователя, который втискивает в арестованного нужную прокурору версию, а уж я-то под следствием побывал предостаточно. Зато Антон Павлович Чехов меня восхитил, он был скромным и грустным.

В получку вся бригада напилась, я рад был случаю уйти в общежитие, да и там шла пьянка, там гуляли мастерские при депо. Повезло: позвали из дома, что по соседству с общежитием, бабка просила помочь, внучка напоролась на гвоздь. Девчонке было лет тринадцать, бегала напропалую да наступила на доску с гвоздем. Тот насквозь прошел через большой палец, вздернув ноготь и загноив рану. Произошло это двое суток назад, отпустить внучку в поликлинику бабка не решалась, боялась, что та попадет под поезд. На таких ранениях я не мог набить себе руку, хотя и выполнял в группе обязанности санитаря, фельдшера и врача, — потому не мог, что такие мелочи, как гвоздь, никогда не вмешаются в операцию с возможным смертельным исходом, тут какой-то запрет природы.

Но тем не менее обучен был врачевать такие раны. Зашли в дом, девчонка села напротив, положив на мои колени ногу, бабка в роли медсестры поднесла свечку, на огне которой я подержал нож, склянку «Тройного» одеколона и еще кое-что бытовое и для хирургического вмешательства чрезвычайно полезное и мало кому известное. Единожды девчонка вскрикнула: «Ой, дяденька!..» Мышцы ноги были хорошо напряжены, отлично прощупывались, по методу Чеха определилось то упражнение, которое помогло бы мускулам быстро одолеть влияние постороннего тела, то есть раны от гвоздя.

Как и ожидал, гной изгнался, рана через день затянулась и, еще раз промытая, закрылась лоскутом бязи. Вытянутая нога пяткой упиралась в мой живот, я и другую ногу положил рядом для сравнения и тут обратил внимание: ноги-то не такие грязные, как раньше, на девчонке-то и платье лучше, и волосики она уплела в косу позатейливее, и смотрит она на меня, сморщив личико в горьком недоумении, предвещающем плач. «Что с тобой?» — спросил я, и в ответ она, как бы проглотив страх, заерзала попкой на табуретке и с отчаянным озорством глянула на меня счастливыми глазами. Я же смотрел на ножки ее, почему-то так и не загоревшие, хотя руки девчонки по локоть были в светло-коричневой смуглости. Ножки еще не расширились в притягательной конусности, линии их не поднимались боязливо от щиколоток к коленным чашечкам, чтоб там уж, вроде бы утвердившись, как бы даже замерев в округленности от испуга, вновь незаметно и тихо вознестись раскрывающимся зонтиком к основанию таза. Эти, девчоночьи, ножки только пытались обрести свое будущее

величие, мышцы только пробовали округляться, наращиваться, тренируясь в возможности раскидываться, помогая мужчине, чтоб потом, через девять месяцев, вновь раздаться и выдать плод, зачатый при первом раздвижении. Ноги созревали — и девочка мучилась в радостном принятии будущих изменений. Ноги вприпрыжку понесут девчонку по двору, ноги, придет время, еще закружатся в вальсе, встанут на цыпочки, а когда она потянется губами к юноше, ноги взвалят потом на себя тяжесть плодоносящего тела, научатся ступать так, чтоб будущая мать сохраняла устойчивость...

Все впереди у девчонки, все — и у меня тоже! Потому и задумался я, глаз и рук не отрывая от коленных чашек, пальцами разминая сухожилия и упругие мышцы.

Потом девчонка повела ножками, освобождаясь от рук моих, так бережно, словно боялась рукам причинить какой-то вред. В знак полного доверия ко мне и признательности она, уже встав, подняла платице, показывая трусики и спереди и сзади, и опустила его, быстро прошептав:

— Я мамке ничего не скажу...

В сильном смущении ушел я, наказав бабке сделать завтра перевязку внучке. Я шел к общежитию и подумывал о том, что пора уже в путь-дорогу, осень подгоняла, надо обосноваться где-то на зиму.

Взял расчет, трудовую книжку, для меня бесценную. На ходу вскочил в товарняк. До сих пор жалею, что не спросил у девчонки, как зовут ее. Такие имена надо помнить, как пронзившие тебя запахи детства.

40

Этери, Этери... — Благодетельное, жизнеутверждающее избиение. — Опознан! Опознан! Ибо — всесоюзный розыск. — Опять армия

Нет, нет, я не забыл ее, я даже держал в мыслях такой вариант: проникновение в Зугдиди и осторожная разведка. К счастью, такого не произошло.

Еще один паровозный дымок — и я уже далеко за Уралом, война с Японией кончилась. Чтоб не возбуждать любопытства, время своей пробежки я перенес на вечер и приобрел спортивную майку, но еще до возобновления десятикилометровок произошло нечто замечательное.

Наугад соскочив с поезда, я покинул станцию и шел по умилившим меня улицам скромного и чистого городка около Новосибирска. По вечерам уже холодало, где общежитие с ночевкой — мне сказали, я шел к нему, полный радужных надежд, и они меня не обманули. В каком-то переулке повстречалась мне компания молодых парней, кто-то из них попросил закурить, и когда я ответил, что не курю, тот же парень без всякого зловещего оттенка в голосе произнес:

— Ну иди сюда, фраер. Мы тебе дадим прикурить.

Было их человек пятнадцать, они стали меня бить, но из-за давки и скученности никто не мог правильно ударить, я же испытывал радость, я, уже лежащий на земле, правильно вращал себя, чтоб кулаки и ноги парней не повредили голову, грудь и пах. Конечно, я мог вскочить — и тогда по крайней мере десять трупов навели бы ужас на милицию и весь город. Но я испытывал блаженство от боли и позволил парням поиздеваться надо мной. Две старушки оборвали побоище, парни разошлись, очень довольные, а меня добрые женщины привели к себе, стали врачевать. Утром пришел участковый, кто бил — он знал, с войны еще в городе бесчинствовала банда малолеток, милиционер даже не поинтересовался, зачем я в этом городе, по какой нужде.

Ничто у меня не было повреждено, на четвертые сутки я пошел устраиваться на работу (подтаскивать песок к бетономешалкам) и получил койку в общежитии.

Очень интересно было наблюдать за образованием смеси, получившей красивое название «бетон». В общежитии (оно почти в центре городишка) полная армейская дисциплина, ни пьянок, ни драк, я и здесь ходил в читальный зал библиотеки, благо она рядом с общежитием, закрывалась она рано; по пути к себе услышал однажды музыку, баян, полуаккордеон, так и попал на танцплощадку. Музыка знакомая по войне, рядом скучала барышня, от танца (танго) не отказалась, мы потом покрутились в вальсе, и, так уж получилось, пошел провожать ее до дома. Наверное, так полагалось из-за обилия шпаны. Жила она далековато от танцплощадки, я взял ее под руку, я шел и чувствовал, что в руке ее, в голове бьется очень нехорошая для меня мысль. О себе она сказала кратко: «Мамаша есть, сестренка, а работаю в одном учреждении...»

Остановились около калитки, можно было обнять девушку и губами коснуться щеки. Что я и сделал, встретив слабое сопротивление и все гадая: да где ж я тебя, милая, видел?

О том же думала и она — вот что меня тревожило. Рядом со мною в человеческом существе ворочалась, как свинья в болоте, какая-то грязная мысль...

И вдруг я услышал вопрос, буду ли я завтра на танцах. Изобразив раздумье, с ответом помедлил и наконец сказал, что да, завтра обязательно. Она подставила губы. Шепнула: «Будь обязательно...»

Простились — и я нырнул в ночь, я не стал даже заходить в общежитие. Потому что знал, где встречалась мне девушка эта и чем объясняются ее раздумья. Три или четыре раза я видел ее входящей в управление МГБ, девушка, конечно, знакома со всеми ориентировками и опознала меня.

Все необходимое для побега носилось со мною, глухой ночью я вспрыгнул на подножку притормозившего поезда, и ветер понес меня к океану, до которого я так и не добрался, пытаюсь пристроиться в Благовещенске...

Пристроился было, да какие-то явления произошли в небесах, ураган сместился и потащил меня в другую даль. Примораживало, ноябрь все-таки. Снял угол у какой-то старушки, похаживал вокруг вокзала, и однажды мелькнула мысль: туда, на запад, здесь замерзну. На путях стоял воинский эшелон, армия отправляла уже отвоевавших воинов в центр России, я забрался в последний вагон, чтоб через час уже переодеться во все как бы армейское, кое-какой документик был прихвачен, без этого не обошлось. А эшелон неудержимо летел к Уралу...

41

Тени прошлого. — Крепостничество XX века. — Племенной бык в стаде беспородных коровушек, или Лизинг по-сибирски. — Средь шумного бала, случайно... — Закабаленный мужчина становится свободным

17 или 18 ноября все того же 1945 года приبلудным странником сидел я на перепутье, не зная, куда подаваться и кому я вообще нужен. Ветер жизни гнал меня на запад, но едва за хвостом поезда остался Байкал, как тоска навалилась на меня, я скатился с подножки на какой-то станции и без сожаления глянул вслед приютившему меня эшелону с ранеными и демобилизованными. Во мне что-то звенело, мне чудилась «манана» — и очень не вовремя, я еще не был готов к перемене воздушных потоков; едва я вошел в зал ожидания, как назревающая мелодия упорхнула, потому что я перенесся в военный 1942 год, передо мною мелькнула тень Халязина.

Может, я ошибся с призванием и не к вершинам литературного мастерства карабкаться надо бы, а к балаганному артистизму? Ведь в эшелоне этом, явно подражая Алеше, «земляка» я нашел из-под Караганды, обжил-ся, присмотрелся, прислушался, завязал полезные знакомства с такими же,

как я, бездомными, и будущее какое-то мыслилось. Но Россия — это сонм однообразий, и станция, оторвавшая меня от эшелона, была копией той, на которую Алешу и меня посылали в помощь милиции. Новая служба нас не тяготила, норму (восемь задержанных) мы выполняли, и однажды, сидя по обыкновению на втором этаже, заметил я вошедшего в зал командира, очень истощенного и озябшего. Найдя местечко потеплее, он сел на пол и вытянул ноги. Если бы у командира были какие-то неурядки с документами, он поступил бы иначе: прилег бы к краю лежавшей в зале роты, сошел бы за своего, проверенного. О чем я сказал Алеше и с чем тот согласился. Но норму мы еще не выполнили, вот я и пошел командира прошу-пывать, привел его в милицию, документы его внушили доверие, но в каком-то протоколе мы с Алешей все-таки расписались.

Халязиным был тот командир, Халязиным — вот когда и где вспомнил я повод, заставивший московское начальство — на собственное горе — включить нас в группу, бесследно пропавшую вместе с еще ранее сгинувшим Халязиным.

Стих ураган, я безвольно опустился на этой вот станции, сижу на скамье и думаю, что делать мне дальше в стране, занимающей одну шестую часть суши. Будто предвидя арест и невозможность встречи у Ванзее, Алеша воткнул в меня несколько адресов, все — на юге: Ростов, Киев, Одесса. Еще что-то сказано было, о чем надо вспомнить. Да жив ли он сам? За проволокой его не удержать, зато расстрельный взвод автоматчиков сделает Алешу неподвижным. По путаным цепям ассоциаций вспомнился мне совет Круглова: «А вы его покормите...» — и еще одна спасительная идея обосновалась во мне: Круглов, Москва. А пока (кожей, ресницами, волосенками я чувствовал приближение порыва следующего урагана) — нужна зимовка в тепле. Судьба велела: осесть в какой-нибудь глуши, оглядеться, убедиться, что горизонт — чистый, мачты правительственных фрегатов не торчат из-под воды, вырастая в высоту и грозя показать орудийные порты и спускающуюся шлюпку.

Поэтому я прислушался к увещаниям хитренького старикана, которому долго не пришлось меня уламывать. Подсобный рабочий в колхозе, мужик нужен, быстрые ноги, топорик в крепеньких руках, служба в армии позади, прокорм обеспечен, так соглашайся, парень!

За три часа лошаденка одолела шестьдесят километров, подвезла к дому председательши, в огонь полетела вся моя одежда с приобретенными бумагами, в выданной мне униформе ходила почти вся Россия: ватные брюки, нательное белье армейского образца, телогрейка, шапка и все прочее. Старик ввел меня в председательский дом — для показа.

Меня встретила хозяйка — высокая и бездушно красивая, то есть даже под мужиком не осознававшая себя женщиной. Назвалась Людмилой Степановной, сказала, что жить буду пока у нее — так нынешние граждане автомашину свою держат рядом с домом.

Уже давно смеркалось. Позвали к столу, жили тут богато, что меня удивило; в напитках я разбирался и признал: водка настоящая, московская. Людмила Степановна вытянула из меня вполне правдоподобную легенду. Сама она вышла замуж 16 июня 1941 года, и еще через три месяца муженек пропал без вести.

Спать здесь ложились, разумеется, рано. Хозяйка и не помышляла предоставлять себя подсобному рабочему (в колхозной ведомости я значился как-то иначе), не скрывала зевков. Нашлась какая-то теплая кле-тушка, почти конура. Я был счастлив.

Так и прижился я к этой деревушке, научился по-крестьянски запрягать лошадей. Хозяйка съездила в район, где потолковала с милицией, получив на меня какую-то справку, которую я поостерегся бы показывать в городе. По какому-то устному, видимо, договору МТС разрешила двум бабам-тракто-

ристкам держать дома вверенную им технику, вот этими тракторами и занимался я. Посыльным бегал от двора к двору, подменяя бригадиров. Из социализма я скакнул в феодализм, ничуть не пораженный: в Ружегине подземный толчок столкнул меня в еще более отдаленную эпоху. Уже январь прошел, февраль, как-то случилась неделя, когда снег до труб покрыл деревню. Одна мысль не оставляла меня: как сбегать и куда? К кому?

Преградой всем планам могла быть председательша, истинная блок-фюрерин, начавшая торговать мною, поскольку никаких мужиков в округе не было. Однажды приказала (у нее все формы просьб или предложений сводились к напористому требованию) побывать у Прасковьи Аверинной — пятый дом с краю, дверь разбухла, подтесать надо, работы на полчаса, но можешь не торопиться.

Ходики показывали три часа дня, работа заняла пятнадцать минут, какая-то невоинующая бражка поднесена была, а затем Прасковья (вдова, разумеется) подседа ко мне, начала расстегивать кофту. А когда я испуганно шарахнулся, припала ко мне с успокоительным признанием:

— Я твоей Людмиле за это уже заплатила, так потрудись, миленький...

На другой день вздыбилась половица у Веры Калашниковой, и пошло-поехало.

Время зимнее, на полях делать нечего, навоз развозить рано, да и посевного материала никак район не присылал, и я ходил от двора к двору, обогащая Людмилу Степановну, гуще все боясь, что ее телесно заинтересует, что хорошего получает баба от мужика, когда задирает юбку и раздвигает ляжки.

Не знаю, к какой форме повинности отнести то, что заставляла меня делать хозяйка. Оброк, что ли? Отхожий промысел? Нет, нет, как-то иначе. По-современному выражаясь, лизинг, что ли.

Но я не роптал! Я ходил от двора к двору и думал. Я был как Магомет в пустыне, туда удалившийся (или изгнанный), как Христос, шатавшийся по Галилее. Они — в одиночестве — думали. О чем думали? Неизвестно. И я думал ни о чем, как и они, мысли мои напоминали беспорядочные автоматные очереди, бесприцельные, но ведь — вдумайтесь! вдумайтесь! — одна из тысяч пуль все-таки убивает, о ней говорят: шальная. Вот так и я, ни о чем не думая и тем не менее размышляя, ждал, когда спасительная идея осенит меня, что напишется в небе какой-нибудь Авдотьей после того, как она рассупонится. Терпение! — взывал я к себе.

Терпение! А оно у меня было. Я как-то должен был в очень, очень узком секторе поймать на мушку одного гражданина из немецкой администрации, целился я с крыши противоположного дома, сектор, повторяю, узенький, чтоб казалось — выстрел произведен не снаружи, а внутри помещения. Так этот гражданин восемнадцать раз на доли секунды проскакивал сектор, но всегда со щитом, чья-то лысина заслоняла, какое-то могучее плечо обороняло. Пот заливал глаза, руки дрожали, но на девятнадцатый раз гражданин поймал мою пулю.

Ждать! Терпеть! Что-то должно было случиться! И председательша это чуяла.

— Забрыкаешься — отправлю в район, там тебя определят к хозяйну.

С моей помощью она ободрала почти всех женщин, те платили мясом, поросятами, мне ничего не перепало, ни в грош не ставилась культурно-физиологическая миссия, с коей я ходил по дворам. Бабы загодя готовили себя к предстоящему, учение шло им впрок, лишь одну избенку я обходил стороной, жила там припадавшая на ногу женщина лет тридцати, председательша ее отбраковала, хроменькой нечем было платить, но дважды или трижды женщина — ее звали Катей — с крылечка смотрела на меня, и я опустил голову: такой дивный синий свет излучали ее глаза.

И однажды (было темно уже) — зашел! Калекта эта по соседям не ходила, но тем не менее знала, что где происходит и с кем. Она плакала, обнимая меня и осыпая поцелуями, потому что я преодолел земное притяже-

ние, поднял ее ввысь, к материнству, ее ожидали хлопоты, пеленки, ребеночек, она достигала цели, о которой мечтала уже не один год.

Через несколько дней она с крыльца окатила меня сиянием синих глаз, руки скрестились на груди, губы немо вымолвили: «Да, все получится... И у тебя получится. Зайди завтра».

И вдруг забила тревогу Людмила Степановна, треща о моем вероломстве, о том, что вот пригрели сироту, а парень-то никудышный, с порчей!

Верили или не верили, но, думаю, у хозяйки объявился настоящий, законный муж, освобожденный из плена, получивший срок и подавший о себе весточку.

Было самое время бежать. Синеокая Катя-Катерина преподнесла подарок — полный набор документов студента, который жил у нее на практике весь июнь 1941 года, пока вдруг за ним не приехали и увезли неизвестно куда. И год рождения близок к моему повзрослевшему облику, и физиономия смахивает — нет, с документами еще надо поработать, но они есть, существуют!

Колхозное правление прямой связи с районом не имело, только через соседний. Что-то однажды случилось на линии, в полдень я на смирной лошадке поехал вдоль столбов, пока не добрался до укатанной дороги. Подцепился к борту грузовика, висел полтора часа, но еще через такое же время купил на толкучке нечто, смахивающее на городской костюм, чемодан, куда запихал свое колхозное одеяние, взял билет на московский поезд, шел по вагонам, выискивая компанию шумных ребят, чтоб пристроиться к ним, сойти за своего. Человек восемь набилось в купе, веселая публика, я глянул на полку — и обомлел.

Я увидел «Кантулию»!

42

Великий Диверсант и Племенной Бык становится лабухом. — Виктор Д. — поэт, музыкант, циркач и спаситель — вечная ему слава!

Конечно, это была не та почти новенькая «Кантулия», которую прятал от меня Любарка. Эта была и цветом пожиже, и позалапаннее. Но — аккордеон! Но музыка! Чемодан мой рухнул под ноги, глаза не отрывались от источника «мананы», от пощипывания души звуками небесной сферы...

Слезы подступали ко мне, слезы... Но они не помешали встретиться взглядом с человеком, который из глубины купе тоже со слезой посматривал на меня.

Прошли годы, время, не измеримое никакими календарями, но оживает память о человеке, который любил всех людей, хоть и видел их голенькими.

Витя! Дорогой Витя! Я не назову твою фамилию, когда-то гремевшую по всей стране и вне ее, пальцы мои уже отрываются от клавиш компьютера, чтоб ненароком не выдать тебя. Ты писал чудные песни и стихи для детей, и взрослые, услышав их, превращались в младенцев. Ты и в цирке потом работал, и на эстраде, но в начале 1945 года взвалил на себя обузу, принял прогоревших музыкантов, изловленных на левых концертах, обворожил какую-то московскую даму — и та разрешила музыкальным парням не умереть с голоду.

Он насквозь видел и даму, и своих лабухов, и все многомиллионное стадо, которое желало по вечерам в клубе слушать инструменты да толкаться в обнимку под увлекательные мотивы. Он и меня распознал с ходу, мою рубашку двумя номерами меньше, пиджачок покроя конца 20-х годов, пальтецо, которое стыдно было дарить нищим; он, уверен, и паспорт мой сквозь толщу одежд полистал и в задумчивости закрыл. Ведь студент,

призыву не подлежащий (отсрочка была), которого цапнули органы в конце июня 1941-го, — студент-то был немцем, жителем Поволжья; его командировали на практику в Новосибирск, а уж оттуда — в это село.

Все увидел добрый всечеловек Витя — и лабухи дали мне местечко и «Кантулию» на колени. Я глубоко вздохнул, я не стал беречь души опытных халтурщиков, как бы вскользь — для вступления — исполнил кое-что из немецкого классического репертуара (фокстроты типа «Kommt zu mir»), а затем наловленные мною в скитаниях по Германии песни союзников. Слушали меня очень внимательно, потом достали бутылку, а Витя с моим билетом пошел к бригадиру поезда, я был поселен рядом, со мной в купе — сам Витя и скрипач да какой-то радостно потеснившийся гражданин. Витя со своей бандой в разных городах именовался то джазом под управлением такого-то, то эстрадным оркестром, то еще как-то иначе; одно время совсем уж громко: биг-бэнд, тогда у них соединились две трубы, тромбон, три саксофона и ритм-группа. Певичка имелась, ей всегда брали при переездах билет в спальный вагон.

Невдалеке от Свердловска Витя поманил меня, вдвоем заперлись в туалете, мои документы были изучены; Витя спросил, что я вообще думаю, где добуду более стоящую ксиву?

Я этого не знал, теплая признательность окатывала меня, Мюллера Генриха Федоровича, Витя же паспорт взял себе, в карман. Еще раз оглядел меня:

— А настрадался ты, братец... Все поправимо.

В Свердловске все дружно бросились к багажному вагону, забрали свой инвентарь.

В тухлой и клоповной гостинице расположились на отдых, Витя полетел в горсовет, потом повел меня к еврею, от того я вышел, держа на руках концертный костюм. В закутке третьего этажа порепетировали, без боязни вышел я на сцену в клубе строителей, никому из людей Костенецкого, буде они в зале, в голову не пришло, что аккордеон — в руках Лени Филатова, таковы уж законы человеческого восприятия. Впервые я услышал (и умело подыграл) «Минуты жизни» Фомина и едва не бросился обнимать певичку Валечку... В десятом часу скакнули в грузовик — и перенеслись в другой клуб, левак оплатил и костюм, и гостиницу. Зарабатывать надо было ровно столько, сколько трудящийся средней квалификации. А совал нам в карманы Витя раза в три больше. В Липецке, кстати, к нам присоединились два саксофона, тенор и баритон. Оркестр зазвучал иначе.

А я ждал, когда Витя укажет пальцем на столицу. Побаиваясь Москвы, я строил кое-какие планы.

Мы прибыли в Москву, где никогда не было тесно от музыки. Оркестры Утесова, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Эдди Рознера, львовского Теаджаза — голова у меня пошла кругом, я стал подзабывать об истинном призвании своем, о литературе. Дали мне угол на Якиманке, у музыкальной старухи с записями Лаци Олаха, Козина, Лещенко, Юрьевой... Полуподпольно слушали американцев — Эллингтона, братьев Миллз, Рэя Нобла, Гарри Роя...

Я же искал себе аккордеон, надо было присматриваться и прицениваться, благо я в оркестре Вити обосновался крепко, поскольку они впервые услышали от меня блюз в фа-диез мажоре, то есть в незнакомой им тональности. Да не один я гонялся за инструментом, искали довоенные альт-саксофоны, баритон-саксы. Быстро освоил я жаргон, понял, что джаз любят в МГУ, Архитектурном, Медицинском. Все присматривались и прислушивались к басам моего аккордеона, удивляясь искусству раскоординировать руки. Да не мог же я им сказать, что уже с конца 1942-го умею од-

новременно стрелять из пистолета в левой руке и автомата — в правой. Репертуар наш разрастался, «парнос» (деньги за исполнение полузапрещенных мелодий) набивал наши карманы, делились по-братски.

Аккордеон же лично мне был необходим, ибо не везде были пианино и рояли, я присматривался и примеривался к настоящим мастерам, а таковыми стоустно считались Ян Френкель, Вадим Людвиковский, Юрий Саульский, Борис Фиготин, Александр Основиков... У кого-то из них услышал впервые «Звездную пыль» и, потрясенный, поплелся к себе на Якиманку.

Собирались к одиннадцати утра, репетировали часа два-три, получая от Вити целеуказание: сегодня — там-то. Сущее мучение играть на разбитых пианино, где не работали некоторые клавиши. Заранее приходя, изучали неполноценную клавиатуру, запоминали, у каких клавиш молоточки сломаны, чтоб не нажимать на них в дальнейшем... Усвоил я и субординацию; кафе, ресторанами и фойе в кинотеатрах заведовала организация под названием МОМА, Мосэстрада отвечала за другие площадки. Я уже научился играть с листа и стал полноценным музыкантом, а не каким-то там любителем, слухачом.

И что-то меня точило... К чему-то меня тянуло... Около трех часов дня, после репетиции, проходя в фойе мимо тира, я покрылся вдруг потом, ноги стали как-то странно заплетаться... Пятьдесят, кажется, копеек стоила пультка, взял я их на трояк и через две-три минуты вручил спешащей певичке Вале плитку шоколада, косолапый мишку, зайца и еще что-то. И еще через три дня повторил услаждающий душу концерт, а потом на дороге моей встал Витя, он охапкой держал все мои призы, повел меня к тиршику, отдал настрелянное мною и сказал извиняюще: «Батя, прости ты нас, артистов... Этот стрелок в цирке выступал, о чем ему надо было тебя предупредить...»

Слава о нас раскатилась по столице, однажды Тамара Церетели исполнила в концерте свой шедевр, романс «Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога, вам хочется смеяться и шутить. А мне возврата нет, я пережил так много, и больно, больно мне в последний раз любить...». А потом на «бис» — «Только раз бывает в жизни встреча», все того же Бориса Фомина...

Но хватит врать-то: не аккордеон искал я, а следы Алеши. Что тот на свободе — я в этом уже не сомневался. А Круглов обязан быть в Москве! Правда, показываться ему на глаза я остерегался: конец войны стал концом некогда щедрых людей, да и связываться с жуликом опасно. В квартире, где он хозяйничал, я заходить не стал из простейших соображений: очень уж видный дом, улица Горького, Центральный телеграф рядом. И крутиться вокруг него нельзя, тем не менее удалось выведать: в квартире проживает некто Волин, Председатель Верховного суда РСФСР, а может быть, и СССР. Соваться в адресное бюро не менее опасно.

А та девушка, которая в 1943-м наградила меня собою, пребывала неизвестно где, на Грузинском валу ее и не помнили.

Всей компанией мы возвращались однажды из театра «Эрмитаж», Вите так и не удалось уломать администратора, в концертах отказали. Был с нами и тромбонист Додик, настолько глупый, что шуточки его смех уже не вызывали. Лишь бормотали: «О, Додик все знает!..» Мне кажется, выражение это, ныне принятое, пошло именно от этого курчавого дебила. На ресторан в «Эрмитаже» денег у нас не было, а в животе постанывало. Вдруг Додик предложил зайти к своей знакомой, живет она рядом, и покорчиться. Зашли — и стояли в некотором испуге: настолько хороша была знакомая Додика! Потоптались в прихожей, были званы к столу, обилию закусок мог позавидовать Председатель Верховного суда. Хозяйка степенно дефилировала между кухней и обеденным столом. Когда она удалилась варить кофе, кто-то робко спросил Додика, какими такими милостями и подарками осыпал он эту чудесную женщину.

Ответ обескуражил всех. Отвратительную гнусную правду никто не хотел признавать.

— Да я ее бараю!

Я-то в Ружегине побывал, мимо ушей пропустил. А после кофе и ликеров стал рассматривать картины — и неожиданно увидел телефонную справочную книгу.

Да, в Москве такая книга была, довоенного издания, помнится. Ни одного Бобрикова там, все Костенецкие не те, Лукашиным пренебрегли, но Гинзбургов — навалом, всю родню строптивой еврейки я знал. Еще кое-какие номера и адреса запомнились. Спыхватился: куда лезу? Для всех я — мертвый, и Этери небось замуж вышла.

Однако стоило разворошить вповалку лежавшие фамилии, как они начали прыгивать со страниц телефонного справочника и попадаться мне на глаза. Я издали увидел на Малой Бронной Инну Гинзбург и понял, что московские дни мои сочтены. Меня уже влекло небо, но я не знал, какой порыв ветра более благоприятен. Москва попугивала, я уже сквозь дырочку в занавесе рассматривал публику, однажды увидел знакомого, начальника политотдела какого-то корпуса, что ли, но был убежден, что меня-то он не узнает. Звени я в каком-нибудь фронтовом ансамбле — политработник радостно зашевелился бы. Заветы Чеха жили во мне. Собака отлично видит, что кошка ей не враг, но мобилизует себя для атаки. Если ты плохо знаешь язык или жаргон — притворись, что у тебя физический изъян: прихрамывай, коси глазом, человек так устроен, что в комплексе хватает окружающее и вывернутой ногой объясняет акцент.

Кстати, я пробовал было отращивать усики — и произошло непредвиденное: в лице моем отчетливо проступили черты Лени Филатова, школьника и патриота, сопливого мальчишки.

И тянуло к оружию. Пальцы вздрагивали, мысленно охватывая рукоятку парабеллума, и я глубоко и радостно дышал. Дважды ходил я на «Динамо», предосторожности ради приглашая кого-либо из девушек. Уже больше года кантовался я у Вити, явственных признаков опасности не чуя, и даже когда во второй раз почти вплотную столкнулся с Инной — тревога во мне заиграла, конечно, но я не бросился к Вите, не исчез из Белокаменной.

43

Польза гастролей. — Недолго музыка играла. — Возвышение Круглова. — А Портос-то оказался умнее и дальновиднее нашего героя

Под вечер поезд замер на вокзале Ужгорода. Какое-то несогласование произошло с Киевом и Москвой, мест в гостиницах нам не нашлось, привезли нас, пятнадцать человек, в клуб, где утром мы дадим «левака»: по этой части — полное родство душ с местным руководством; на грузовике доставили нам матрацы и одеяла, и насчет съестного постарались, восемь кругов местной колбасы да три буханки хлеба. Притомившиеся лабухи повалились спать в фойе, под портретами передовиков, меня же потащило на свежий воздух.

Так и не заснул. Решил остороженько проверить инструмент, пианино, притронулся к клавише и по звучанию понял: какой-то стилига подложил под молоточки лист газетной бумаги. При игре создавался некий сумбур, весь оркестр будто бы ладно фальшивил, получалось внушительно, но минуты через три хотелось плюнуть да заткнуть уши.

Газету я извлек и на первом листе увидел Круглова.

Фотография — парадно-групповая, первомайская трибуна в центре города. На переднем плане, как положено, тузы: внушительные толстяки,

еще какие-то чинуши, и — Круглов между вторым и третьим начальником, поодаль.

Надо бы порадоваться возвышению жулика и официального мародера Ивана Сергеевича Круглова. Однако земля под ногами моими не затрепетала, мне хорошо было у Вити, и я надеялся прокантоваться лабухом до середины мая 1948 года; верилось: приезд Вилли повернет мою жизнь в сторону от музыки. И вот что главное: объявился Круглов — объявится и Алеша, а там и Григорий Иванович встанет из могилы.

Из Ужгорода переехали в Минск, арендовали клуб на окраине, жили в общежитии неподалеку, однажды опоздал к началу репетиций, влетаю в фойе, дожевывая купленный по дороге пирожок, и встречает меня Витя — глаза встревоженно-виноватые, боль и страдание на лице, а в руках какие-то бумажки.

Я все понял. Получил расчет, паспорт мужа певички Вали, ненужную мне трудовую и все деньги, что выгреб Витя из своих необъятных карманов. Где сам муж — Витя не знал и обреченно махнул рукой, когда я спросил о вреде, который нанесет мне внезапно возникший супруг, но тот, оказывается, поменял как-то хитроумно свою неблагозвучную фамилию на звонкую, артистическую, якобы потеряв паспорт.

Мы обнялись, мы оба расплакались, так тяжело далось обоим прощание.

Исчезнув из Минска, я скромненько отбыл в Кишинев. Уже через два часа узнал, где найти благодетеля своего. Командовал Круглов Управлением строительных работ (УСР-34), обнесся забором высотой с Калтыгина, ввел строжайшую дисциплину, на КПП — не мордovorоты сержанты, а интеллигентного вида старшие лейтенанты, ибо объект — секретный. Полистали мой паспорт, вежливо осведомились, как обо мне доложить начальнику. Название имения, где половину библиотеки сожгли братья артиллеристы, ничего им не сказало, но один из них пошел, доложил, вернулся, на лице — все та же сухая военно-штабная почтительность.

Нет, не обрадовался он мне, маэстро Круглов, что-то кисленькое морщило губы; он вздыхал, думал: да, очень не вовремя возник я, очень...

Наконец его осенило. Была вызвана машинистка, каллиграфическим почерком она заполнила пропуск, фамилию списав с моего паспорта, еще какие-то удостоверительные документы, о сомнительности которых судить было трудно: за два года знакомые мне реквизиты не могли не измениться. Пока фотографировался и ждал карточки, получил первое задание: скупить, не торгуясь, на местном рынке облигации внутреннего займа последних лет и по возможности этого года. Дело в том, что сбежал бухгалтер с ними, поднимать шум не стали, вот и решено пойти на такой вариант. Работать осторожно, отличая истинных барыг и алкашей от милицейских сексотов. Необходимая сумма (почти четверть миллиона) была выдана безо всякой расписки. Как и ключи от квартиры на Фестивальной улице, туда и будет заглядывать ко мне начальник УСР-34.

Несколько странноватое задание, потому я съездил в Бендеры, где на шумном торжище встретил Федю Бица. Глаза его повели меня за собой, мы нашли тихий шалманчик, мы обнялись, живу, сказал он, мелкими заработками на рынке, он ведь напополам молдаванин, это помогает. В моей просьбе (насчет облигаций) не услышал ничего особого, криминального или невыполнимого. Надо лишь скупать мелкими партиями, кое-что из купленного — продавать, так сойдешь за обычного спекулянта. Предосторожность весьма не лишняя, поскольку выданные Кругловым удостоверения и документы — откровенная липа. Город еще не очнулся от борьбы с националистами, МГБ шарит и шмонает. (Я решил на время забыть о своих десяти километрах по утрам: в ориентировке на меня они уж точно значатся. Зато до самого вечера сидел в библиотеке.)

А он, мятежный, не просит бури. — Прощай, Этери! — Проверка на лояльность. — Буриданов осел поет «манану»

Стих ураган, на развалинах разрушенного им города уже начинал зеленеть бурьян; я выбрался из-под обломков и грелся на солнцепеке, во мне была знакомая, но длаящая всего сутки или чуть более досада: вылет отменен, погода в месте высадки наисквернейшая, парашюты на склад, рекомендуется сон и чтение воспитательной литературы.

Теперь сон и чтение — не на день и не на два.

Двухкомнатная квартира (мебель казенная) — на Фестивальной, деревья скрадывают шум, чувствуется запад, в углу приткнулся ликербар, женщина, приставленная квартиру убирать, оказалась соседкой, принесла виноград, ушла — и я ощутил прелесть безопасного одиночества, не помешало бы иметь под рукой хотя бы «вальтер».

Один! Один на всем белом свете. Когда еще найду Алешу, а свидеться с Григорием Ивановичем уже не придется. Этери, конечно, выйдет замуж, и ничто не дрогнет во мне — вот каким мерзавцем стал, вот в чем ужас. Даже словечка упрека не найдется, да и можно ли осуждать девушку, трижды получавшую похоронку на жениха, на меня то есть.

И мать умерла, в 1944-м. А я живой.

Кое-кто находит изысканную прелесть в одиночестве посреди толпы. Можно бы согласиться, но толпа движется, толкается, матерится, тащит тебя неизвестно куда.

Мое одиночество — вечерние часы в пустой квартире на Фестивальной. Сажу на диване, открыта бутылка вина (отхлебнется не более полстакана), ни шороха в комнате, зато из-за стен пробиваются человеческие голоса, звуковое сопровождение того бытия, в какое погружены соседи справа, слева, сверху. Кто-то мордует Моцарта, на шестой минуте убеждаясь в собственном бессилии. Ребенок всплакивает. Супруги бранятся. Это уже стало потребностью и наслаждением — сидеть в квартире, не зажигая света и слыша соседей. Из тумана выплывали клочки, в белесой пелене проступало нечто, позволяющее установить, где сейчас Чех.

Но возвращаться к старому не хотелось. Знал примерно, где ныне Костенецкий, Лукашин, Богатырев, но никакого желания видеть их не испытывал.

Я разматывал катушку воспоминаний и раздражался, находя обрывы нитки, связывал узелочки, чтоб продлить путешествие вглубь времени... (Кстати, не в пустыне жил Чех, общался со многими людьми. Один из инструкторов рассказал мне удивительную историю. В 1936 году вся Франция знала о поезде № 77 Париж — Перпиньян, он увозил в Испанию интербригадовцев, и все они попадали под око властей. Зная это, Чех с поезда спрыгнул, границу перешел без проводника, пропадал целый месяц и нашелся в доме колдуньи, которая пичкала его своими космическими знаниями и наркотиками.)

Эти погружения в прошлое открыли мне многое в немце Вилли, «который не Бредель». Он одинаково ненавидел и фашизм, и коммунизм, и конечно же — он и есть тот «преданный советскому командованию товарищ», который давал нам сигналы смятыми пачками сигарет. А майора с портфелем решил-таки уберечь от русских.

Нет, доверять ему — опасно. А день встречи приближался, до 18 мая не так уж далеко.

Однажды меня — я выходил из библиотеки — робко окликнула некая женщина, в полутьме не разберешь, кто такая. Остановился. Она подошла. Фонарь неподалеку светил, женщине по виду лет тридцать пять, портфель,

грубоватая юбка, какой-то жакет, прически никакой. Сказала не без смущения: ей нужен мужчина, она истосковалась, всю войну без них, а занимается такой пост в городе, что спутайся с кем-нибудь — пересуды пойдут волнами. А врач — настаивает, все странности ее психики — от женского одиночества, уже и мужеподобные черты в облике появились... Глаза — умоляющие, страдающие, насмехающиеся над собой, и плечи вздрагивающие. Так стало жалко ее! А была суббота, ей некуда спешить, мне тоже, я сутками позже, на своем диване, воздал хвалу себе за верно выбранный стиль поведения и одежды. Скромный чистый парнишка, не таящий зла на людей и власть, к такому милиционер не прицепится, такому доверит-ся советская слушающая.

Чех однажды высмеял Алешины рассуждения о воле, свободе, осознанной необходимости. Чех привел в пример вековую загадку, трагедию буриданова осла, подыхающего с голоду при недостатке пищи. Осел страдал свободой выбора. Перед ним — две связки сена (два одинаковых диска к автоматке?!), осел умирает, поскольку не может отдать предпочтение ни одной связке, ибо мучительно гадают: какая связка лучше? Вырвешь клочок из правой — совершишь ошибку, в левой-то сена уже больше! Потянешься к левой — связки уравниются, вновь провоцируя проблему. Здесь, уверял Чех, загадка мироздания, и никто не решается приступить к ней. Свобода — это прежде всего возможность выбора, и никакой свободы нет, потому что любой выбор — бессмыслица, и если одна охапка сена больше отвергнутой, это уже следствие чего-то или кого-то, внешней силы...

Люди живут просто так! И я живу как придется. Почему-то не стал музыкантом, архитектором, писателем, строителем, шофером. Мой жизненный путь предопределен. Двадцать один год уже, а все один-одинешенек, уж не жениться ли на какой-либо студентке, тем самым привязав судьбу свою к рулю, которым правит пока еще незнакомая девушка?

Как жить? Что делать?.. Ни у кого спрашивать не надо, в этом было что-то сладостное.

До апреля 1948 года жил я так безвольно, безропотно, тихо, — я жил *читающе*. Надо бы употребить слово «рефлексия», но я так и не понял до сих пор, что оно означает. И не терял надежды, что однажды во мне возникнет строчка, удивительная по простоте и ясности, к ней не может не подцепиться такая же — и потечет сказовый речитатив. Наверное, я постарел, потому что все чаще вспоминалось детство; я находил много несуразностей в сталинградской жизни и начинал подозревать: не от болезни умер отец и не по своей воле мать подалась в Грузию.

45

Все тайное становится явным. — Варвары готовятся к штурму Рима

К пропуску Круглов добавил среди прочих еще один документ, сделал меня своим заместителем по общим вопросам. Для самоидентификации, что ли, покатался по командировкам. Управление работало без натуги, но добротное, при ремонте шахтного оборудования консультантом был московский профессор. Везде строжайший воинский порядок. Партийная организация. Профсоюзная. Собrania по разным поводам. Все честь по чести, но что-то мне не нравилось...

Думая о внешних силах, о судьбе, о мойре, не мог я не присмотреться к маэстро Круглову. Дурачок Портос за время скитаний поднабрался умразуму и заметил много странного в кругловской епархии (я ему подыскал работу в УСР). Да и я кое-что зацепил своим глазом. Ну, виданное ли это дело, чтоб на КПП жарились старшие лейтенанты? Игра на публику. И — облигации. Государственное учреждение, тем более воинское подразделе-

ние — от государства же и кормится. УСР собрало по подписке на заем столько-то — и должно получить через банк облигации на эту сумму. Сбежал бухгалтер — заводи уголовное дело. С лупой изучив все печати на так называемых «внутренних» документах УСР-34, я без особого труда определил: фальшивки! Видел издали штатного начальника контрразведки — нет, такого ни одна армия не стала бы содержать: криклив, два пистолета на ремне, полупьян, хотя самого Круглова — боится.

Что-то здесь не то, и Федя это чувствует, встречаемся мы с ним так, будто в городе немцы, а мы — партизанские связные.

Получку мне приносила раз в месяц женщина-соседка, ей же я отдавал докладные записки Круглову (с непременным условием: по прочтении — сжечь!). Писал чепуху. О том, что понятно обоим, ни слова, только вскользь, да и этого достаточно. УСР-34 гремело на всю республику и многие области, передовым опытом заинтересоваться бы Москве, но из столицы — ни одной комиссии, что укрепляло меня в подозрениях. Не было и случая, чтоб какой-нибудь главк или областной отдел выразил недовольство работой Круглова. А тот мрачнел с каждым днем, стал попивать. Что подвластное ему управление — отлично работающая фикция, что все документы — подложные, он уже не скрывал от меня, лишь однажды с горечью вымолвил:

— Хоть бы одно государственное предприятие работало так, как я... Ни одной рекламации, ни одной жалобы...

Он открыл счет в банке, лопатой греб деньги оттуда, но и возвращал с избытком. И люди у него ходили сытыми и все при деле.

Я же, нравственно падая, рассадил своих Любарок по всему городу, они-то и донесли мне сведения чрезвычайной важности. Желая во всем походить на госучреждение, Круглов вознамерился награждать путевками на юг своих сотрудников и скупил у воруги профорга одного завода эти самые путевки. Поднялся было скандал — а потом наступило затишье.

Но к УСР-34 уже подкатывались морские волны, и никакой забор не встанет перед ними дамбою.

В общезнанию техникума легкой промышленности готовились к наплыву детей, решено было открыть в мае летний городской пионерский лагерь. Но неожиданно на пустующих койках разлеглись парни военно-физкультурного вида. Спортобщество «Динамо» приняло на свое попечение сельских силачей, почему-то прибывших из глубинки не на подводах, а в девяти купе московского поезда. Что оружие у них есть или в скором времени будет — сомнений не было, кого-то сильно напугали автоматы ППС на КПП. У страха глаза велики. На все УСР-34 — 29 стволов, только для караульно-дежурной службы. Страх передался всем, проник через забор. «Пора», — написал я на клочке бумаги и отправил послание Круглову. «Куда?» — ответил он так же лаконично на мое предложение удариться в бег.

Вопрос этот тревожил и меня своей безысходностью и безответностью.

Со слов Феди штурм «антисоветского воинского формирования» начнется со дня на день, ждут подкрепления из Львова, поэтому я исчез, не заходя на Фестивальную. Да и вычислил я уже, где найти Алешу, если тот жив.

46

Жили два друга в нашем полку, пой песню, пой... — Мчаться в Англию за подвесками королевы. — «Нет лучшего места для встреч мушкетеров, чем известнейший кардиналу ресторан „Шестигранник“»

Под крышей Курбатовки нашли деловое пристанище десятки районных контор, Артамон Бобриков сплюнул бы, увидев милицейский пост в лакейской. Кладбище — в километре, все сучки на семейном древе мне известны, удивления не вызывало то, что на скромном камешке неумелый

и пьяный резец выдолбил «Халаичев Николай Федорович», на большее не хватило, под фамилией — даты смерти и рождения несмысливаемой краской, сей гражданин прославился хваткой и дальноточностью. В октябре 1917 года быстрехонько перекрасился в большевика, еще быстрее сообразил, что болтун и бездельник Лева Троцкий — обладатель третьего уха, человек, умевший в ультразвуковой полосе улавливать невысказанные подлости масс. С Левой этим он отправился в Брест-Литовск, своевременно узнал, что Москва обязуется золотом оплатить все финансовые обязательства (займы и прочее) царя, моментально скупил за бесценок на полмиллиарда грошовых векселей и облигаций, на чем был пойман самими немцами, по устному приказу Ленина расстрелян на плацу перед Петропавловским собором и брошен в яму. Племянник спекулянта выкупил тело и перевез его в урочище мертвых Бобриков. К счастью, строительства какого-либо комбината под Курбатовкой не намечалось, посему и кладбище сохранилось.

В этой-то милицейской комнате я и нашел Алешу. С ним за столом сидел сержант со значком отличника. Оба уже были в средней степени подпития.

— А вот и он, — сказал Алеша, меня увидев. — Водку на стол!

У сержанта нашлись какие-то дела, с глубоким вздохом разочарования он выдернул из милицейской сумки бутылку, вслед ему донеслось:

— Ключ на том же месте, мы рыбачить пойдем.

Так и произошла встреча. Расстались мы на Ляйпцигерштрассе, было это 11 мая 1945 года. А 27 мая Костенецкий показал мне серый холмик за проволокой; сегодня же — 8 мая 1948-го. И ничего не осталось от прежнего прибалтненного Алеши, он даже не рад был встрече, какую-то мелодию высвистал с разочарованием и насмешкой.

— Калтыгин... — начал было я, а он махнул рукой — знаю, мол.

— Опять в бегах?

— Свободный человек. Вольноотпущенник.

И такое случалось, как я слышал, такое и произошло. Сперва ему дали пятнадцать лет, потом отправили на шахту, где он сработал справку о полной инвалидности, а затем его сактировали, как это бывало с теми, кому лагерные врачи прочили смерть в ближайшие два-три месяца.

В 1941 году он был старше меня по крайней мере на три года. Сейчас ему, по прошествии семи лет, можно было дать тридцать пять. Пропали ужимочки, лицо разучилось корчиться, с походкой что-то не то и не так: то ли нога припадает, то ли со зрением что... Но самое страшное — руки! Пальцы были скрючены и вывернуты, не сделать уже Алеше ни одной печати, не подделать подпись.

Заметив мой взгляд, он отрицательно мотнул седенькой головой:

— Не беспокойся. Сумею.

Горько, горько спрашивать! Еще горше говорить о себе, не стало общих тайн, двумя девицами на Ляйпцигерштрассе завершилась наша война с Гитлером, немцами и начальством, в остатке — повзрослевший зугдидский школьник и постаревший бродяга. Выслушав меня (ни одного из живущих не упомянул я), он раскошелился на угрюмое признание:

— А ты — везунчик, потому что до сих пор глуп... Покажи ксиву.

Она ему не понравилась. Он задокументировал меня капитально, я вошел в семейство Бобриковых, имея при себе паспорт и прочие довески на отдаленного потомка Артамона, человека моих лет, не так давно захороненного; из особого изыска дворянский сын Алексей Бобриков повел меня на мою собственную могилу, где поменял фирменные, так сказать, приметы.

Совсем немного оставалось до встречи с Вилли, а я так и не решился рассказать Алеше о ней; прошли те времена, когда хвастливый школярский язык молот отсебятину. Да и времени уединиться, настроиться на

наисерьезнейший лад — не было. Непоправимая беда случилась с Алешей. Его, конечно, били, но не со сладострастием, как я, принимал он удары, что и отразилось в языке и на теле. Ни разу не услышал я от него традиционное: «...а вот когда я был у Хозяина...» А били его по-научному — ни единого следа побоев снаружи, кроме скрюченных пальцев, а уж что внутри, под телесной оболочкой... Что-то там бушевало, что-то прорывалось, а мне показалось было, что вся его страсть усохла на Ляйпцигерштрассе. Мы с Витей кочевали по Руси, но не в полете ощущал я себя, а сидящим перед пианино. И к Фестивальной начинал привыкать. Может, остановиться надолго в этой сельской благодати?

А время подпирало. Трижды я побывал в Москве, пообтерся в толпе, поймал кое-какие местные словечки, впервые увидел шахматную ленту по бортику такси. В назначенное время (с соблюдением всех правил конспирации, то есть и не пытаюсь их соблюсти, иначе на мне задержался бы недобрый глаз) подходил к ресторану «Динамо». Не помню уж, какая погода была в этот день, мне казалось тогда, что вскоре свистнет судья и начнется игра; отчетливо помню теннисные корты и тренировку волейболистов: так хотелось поразмяться мускулами, попрыгать. В Курбатовке я уходил с утра в лес, чтобы поиграть в какую-то китайскую игру, которой меня научил Чех, а потом бегал.

Нет, не пошел я в ресторан. Был еще резервный день встречи — на тот случай, если кто-либо — я или Вилли — опоздает. Я же так думал: если я ему истинно нужен, то потерпит пару дней.

20 мая показался я в ресторане, и вскоре ко мне подсел человек, правильно сказавший единственно верные слова. Он привез письмо от Вилли, которое передаст мне — но не сейчас, а там, где мне удобно. Я предложил «Шестигранник», сегодня, через три часа; посланец от Вилли был москвичом и местные порядки знал. В войну он работал с пленными немецкими офицерами, сколачивал какие-то союзы по возвращению и возрождению, там и Вилли обретался одно время. Благочестивый антифашистский энтузиазм, каким полон был этот москвич, не желал признавать конспирации в стране социализма.

«Шестигранник», напомним, — ресторан с танцплощадкой в Парке Горького. Через три часа посланец вручил мне плотный пакет, пригласил на танец какую-то девицу, а я удалился в туалет, чтобы вскрыть пакет.

«Если б ты знал, дорогой мой мальчик, — писал Вилли, — как рад я тому, что ты жив! И я горюю, потому что знаю о судьбе твоего командира и твоего друга, но последний, мне кажется, уже не в неволе... Тебе повезло, но хочу напомнить: тем, кто расправился с твоими друзьями, никогда не надоест ловить тебя. Тот человек, которого будто бы выменяли, уже — по слухам — за океаном, ему изменили, говорят, внешность. По разным каналам узнал я, что невеста твоя вышла замуж, с отличием кончила Тбилисский университет и родила девочку. Я же устроился в этой жизни неплохо, живу в Кёльне, член одной (не коммунистической!) партии, через год Западная Германия (уж поверь мне!) обретет государственную самостоятельность, и мое положение еще больше укрепитя. А вот как жить тебе? И долго ты намерен бегать по родной России, вздрагивая от каждого шороха? Ты каким-нибудь стоящим делом думаешь заняться? Не писательством, конечно: пациенты психбольницы станут гордо тыкать в тебя пальцем... Пойми, мой мальчик, советская власть вечна и неистребима. Жить тебе вольно никто не даст... Исход? Серая жизнь, заботы о хлебе насущном, причем хлеб — это та самая буханка, за которой надо стоять в очереди. Счастье первой любви? Да любить-то ты уже не в состоянии, для тебя женщина — это прежде всего агентесса. Я предлагаю другой вариант. Германию. Не советскую зону оккупации, а Западную. Передай Алеше, если встретишь: родственники его во Франции и Голландии — живы, здоровы и нищи, племянника двоюродного или троюродного они на время при-

ютят, конечно, но не более... У меня есть для тебя и Алеши очень заманчивое предложение. Очень. Германия только налаживает быт. В Кёльне на Шильдергатте девочки идут за пачку хороших сигарет. Так я вас обоих, тебя и Алешу, избавлю по прибытии в Кёльн от денежных тягот. Двести тысяч долларов кое-кто даст вам каждому, но денежки эти надо отработать, это очень, очень большие деньги, Леня. На толкучке в Германии единица измерения — сигарета, стоит она 12 марок, пачка американских сигарет — 250 марок, буханка хлеба — 80, бутылка дурной водки — 300, пара ботинок — 2 тысячи марок, мужской костюм — 5000. А доллар — это двести марок!..»

В пакете были наши деньги, послереформенные, 100 тысяч, разные карты, фотографии, инструкции, то есть все то, что поможет мне (и Алеше, возможно) заработать эти 200 тысяч долларов, помноженные на два.

Разорвав письмо, я спустил его в унитаз. Голова у меня пошла кругом. Мне (или нам) предлагалось, короче, вернуть королеве бриллиантовые подвески, выцарапав их у герцога Бекингемского. Но вся пылкость Дюма, все его фантазии увяли бы до унылой тяготины, услышав он то, что предстояло делать Алеше и мне. У Дюма, помнится, до Англии добрался только один д'Артаньян, трех его друзей и соратников убрала с пути. А нас — только двое. Кто-то ляжет костями, если не оба. Но — я прикидывал так и эдак — просьба осуществима, и Алеша не такой уж малахольный, каким кажется. И он очень гордый человек, он не повиснет на шее кисельных родичей Бобриковых, ему нужны деньги, большие деньги, а 200 тысяч долларов в нынешнее время — достояние и состояние. Он щедр и жаден, своего он не упустит. И — вот что страшило! — ничего русского, курбатовского в Алексее Петровиче Бобрикове не оставалось. По бои сделали его интернационалистом.

А я становился дельцом, что-то переняв у Круглова.

47

Запахло порохом, и два мушкетера принимают боевую стойку. — Рамочное соглашение на берегу курбатовского пруда. — Оружие! Оружие!

Неделя давалась нам на размышление, в конце месяца москвич возвратится в Берлин и передаст Вилли наш отказ или согласие. Но я-то и не собирался думать. Алеша вяжется в эту никчемную авантюру, тогда придется и мне впрягаться, только вдвоем осилим мы то, что даст нам вроде бы свободу и деньги. На конюшне, где некогда пороли крепостных, нашел я Алексея Бобрикова. Он слушал, жуя травинку, время от времени поднося к носу пересушенный клевер и наслаждаясь ароматом трав, по которым ступала нога Артамона.

— Родственнички... — прошипел он, подтверждая мою догадку о том, что, пока я любовался красотами архитектуры, Алеша наскаком побывал во Франции, Нидерландах и рейнских землях Германии — и везде родичи принимали его за агента НКВД, им это было выгодно, никому Алеша не был нужен, да и старые семейные распри задымилась. Наконец (это была моя догадка), кое у кого из Бобриковых в застывшем лежали деньги, в войну спрятанные, но как только появится в Германии своя, крепкая и на долгие времена, валюта — ценности из-под огородного куста переместятся в банк, а на часть их может претендовать Алеша, у которого кое-какие свидетельства принадлежности к фамилии должны быть (так безошибочно полагали сородичи).

Затем он продолжал:

— Когда-то преданные роялисты пытались вывезти Людовика Шестнадцатого из Парижа в Голландию, чем это кончилось — ты знаешь... Кто осведомлен о том, что писал Вилли?

Осведомлены многие, вот что настораживало, потому я и совершил до-полнительный вояж в Москву, к посланцу от Вилли, который хорошо знал комбинат, скупко описанный в присланных бумагах. Поспешил в Курбатовку, у пруда нашел Алешу. Было жарко, крупные рыбины хвостами колотили по рыби от прилетавшего ветерочка. Идиллия. Пересказал все услышанное.

— Кроме нас, никто больше в СССР такого не сделает. Чех неизвестно где, пока найдем его — время упустим. Ты прав, надо спешить. Хотя... много, слишком много странностей в этой операции.

Даже чересчур много — находил я, ибо ставилось еще и условие: полная бескровность, более того — никого из погони, если она настигнет нас, пальчиком не коснуться!

А у меня зудели руки, глаза неподвижно замирали на каком-нибудь предмете.

Я хотел стрелять! Я хотел мысль свою облечь в изящную форму быстролетящего меткого афоризма. Она должна пробить стену заскоруждого невежества и поразить цель. Я должен еще насладиться первыми судорогами неверующего, торжествующая мысль либо фонтанчиком взметнет кровь, либо многопудовой тяжестью подкосит коленки того, кто вздумал оспаривать меня.

И руки зудели. Когда я зашел в свою комнатенку, то насчитал по крайней мере четырнадцать предметов (бытового назначения), с помощью которых можно отразить атаку взвода автоматчиков.

48

Вилли есть Вилли, преданность и предательство. — Наследие великого Наполеона. — Благородной миссии канализационного люка не суждено сбыться

А потомок славного семейства Бобриковых рвался в бой, на все согласный, лишь бы приблизить Кёльн. Уже при первой встрече здесь, в Курбатовке, дохнуло на меня от Алеши ветром странствий и головокружительных взлетов на гребни волн. Он не желал умирать в родовом имени, он вообще хотел жить, но не так, как раньше. Он рвался — туда, в Европу, и спасательным кругом оказалось послание от Вилли. Ему опротивела эта жизнь. Законными ключами открыл он школу, принес оттуда карту Свердловской области. Правда, в странствиях своих по России Алеша страну свою знал не хуже Максима Горького.

План разработался вчерне, детали прибавит быстротекущее время.

Главное — ввязаться в драку! А там видно будет.

С этой наполеоновской фразой мы три месяца мотались по Руси, строя опорные пункты, подпольные хранилища пищи и одежды.

А меня по-прежнему угнетала собственная безоружность. Вернее, при мне было оружие — я сам. Но сколько ни убеждал я себя, какие бы слова Чеха о вреде материально-технического орудия смерти ни вспоминались, рука моя тосковала, глаз невольно прищуривался, тело напрягалось, как при отдаче автомата после выстрела, рука мысленно выхватывала парабеллум, этот самый краткий и самый убедительный философский словарь.

Вилли предлагал нам похитить двух «томящихся» в советском плену немецких офицеров, протащить их, русского языка не знающих, через половину страны — от Свердловска до Новороссийска — и там (адрес указывался) встретиться с теми, кто обеспечит нам безопасное путешествие до Афин, где нас ожидают четыре бразильских паспорта.

Офицеров, которые «томились», звали так: Томас Рудник и Гюнтер Шайдеман... 3 октября сего 1948 года они влезут в канализационный люк на территории комбината, проползут (схема прилагалась) пятьсот метров и окажутся у перерезанного нами проволочного ограждения. Затем мы их переодевает, возьмем на заранее снятую квартиру в Свердловске, а там уж

разными путями — в Новороссийск. Рудник и Шайдеман — сыновья очень, очень состоятельных мамаш и папаш, которые денег не пожалеют за спасение чад, ибо все законные пути их возвращения в лоно семей — отрезаны. Это союзникам надоело кормить плененных ими немцев, они попрिдержали эсэсовцев, а всех прочих распустили по домам. В СССР все пленные из вермахта, не говоря уж про СС или СД, признаны военными преступниками и будут отбывать свои сроки до неопределенного времени.

Весь Вилли был в этом плане вызволения соотечественников из неволи. Тот Вилли, который смятыми пачками сигарет указывал нам, когда штабной автобус повезет связника с портфелем, и который связника из автобуса заблаговременно высадил, снабдив портфель неработающим взрывающим устройством. Тот Вилли, который 10 тысяч английских фунтов подменил поддельными. Тот Вилли...

Нет, не поверили мы картам, схемам и расчетам.

Не поверили. Потому что вытащить обоих офицеров из лагеря и отправить их в Гамбург можно было просто — неофициально, конечно, — двумя-тремя телефонными звонками и за какие-то 300 — 400 долларов, если не меньше. Дело в том, что — по рассказу московского инженера — тот комбинат, куда по утрам доставляли военнопленных из лагеря, целиком находился в руках немецких специалистов и немецкой администрации, давно подкупившей и директора комбината, и начальника лагеря, и всех заместителей обоих. Каждые два-три месяца комбинат отправлял в Германию немецких специалистов за пополнением цехового оборудования, и те под видом станков и аппаратуры обогащали комбинат охотничьими ружьями, автомобилями, радиоприемниками, роялями и пианино, гобеленами и мебелью, а руководству все было мало. Стенгазеты фашистского толка вывешивали немцы — парторганизация комбината молчала. Рудник и Шайдеман давно бы не жили в лоне семьи, обмененные на два «мерседеса», не виси на них какой-то грешок, и весь план спасения их смахивает на провокацию. Либо нас, меня и Алешу, хотят прихватить на месте преступления, либо не накопили на немцев достаточного материала для более сурового приговора.

49

Опознание среди дюн под крики чаек. — Он или не он?.. — Рукопожатие по-койников не состоялось

Много лет спустя после военного совета в Курбатовке вознамерился я прокатиться по Прибалтике в самое удобное для путешественника время — осенью и везде находил клочок берега, с которого волнующе смотрится закат солнца, и находил номер в гостинице, но в Клайпеде попал впросак, не учел, здесь крупный порт все-таки, база торгового и рыбацкого флота. Для моряков возведена гостиница «Неринга», рыбаки в ресторане поднимают тосты за треску и сельдь. Отель «Виктория» набит клопами, в самом центре только что распахнул двери наисовременнейший приют для лиц с особыми правами и полномочиями, то есть VIP, говоря по-нынешнему. Еще какая-то гостиница (для точности — «Памарис»), прельщавшая тишиной и зеленью, которой обросли стены, прикрыв окна от октябрьского солнца. Здесь с улыбкой отказали. (Я ведь неспроста останавливаюсь на этих ничего не значащих деталях, плюнул бы на клопов в «Виктории» — и не произошла бы встреча, о которой речь пойдет.) Хотел было уже садиться в автобус до Паланги, но задержался на центральной улице у неприметного дома. С балкона его, так сказал мне случайный прохожий, в 1934 году выступал Гитлер, Клайпеда с тех пор стала называться Мемелем.

Но тот же прохожий указал верную дорогу к пристанищу у самого берега.

За десять копеек паром доставил меня на Куршскую косу, и еще с борта его увиделось трехэтажное здание туристической гостиницы. Да, пожалуйста, номер к вашим услугам, паспорт — и «заполните этот бланк». Заполнил: цель приезда — отдых, время пребывания в гостинице — неделя, семь суток.

Паспорт упрятался в стол, а бланк заставили переписать — на сутки, всего на сутки, таковы правила, здесь — погранзона. Дадут пограничники к завтрашнему вечеру разрешение — отдыхайте хоть месяц.

Только утром смог я оценить прелести этого заведения, где даже из закрытого до полудня кафе утром принесли мне кофе и булочки. К столовой привела свое полосатое семейство кабаниха, всех подкормили добрые литовские женщины. Благородный лось посматривал на гостиницу с пригорка, среди сосен. Сама Куршская коса — рядом, доплунуть можно, Балтийское море подалече, вечером широкая дорога привела меня к унесенным на зиму пляжным кабинкам, все киоски уже заколочены, белый песок от вымывания водой укреплен сооружением, напоминающим плетень. Спустился к морю и побрел вдоль бело-грязной полоски тихого прибоя. Разбитые ящики, связки водорослей — море выбрасывало на берег то, что не могло поглотить в глубине своей.

Рыжий и ржавый шар дневного светила выплыл из дымки, готовясь к медленному погружению. Это был святой для меня миг, приобщение к чему-то космическому, и судьба благоволила мне, сведя число зрителей до единицы. До меня то есть. Никого более на берегу. И по дороге сюда никто мне не встретился и никто не следовал моим маршрутом.

Я стоял, ожидая мига. Справа — уходящая на север гряда дюн, громадный валун, слева, в полукилометре, — спасстанция, бездействующая, надо полагать, купальный сезон давно кончился. Чуть далее к югу, на мысе — маяк.

Полное безлюдье. Можно с удобствами расположиться в первом ряду партера, не интересуясь, какое кресло принадлежит тебе по праву.

Никого.

И тут я заметил, как от спасстанции отделилась точка, ставшая через минуту-две человеком, и человек этот шел вдоль берега, направляясь ко мне. Удивила меня походка. Человек не праздно проводил время, человек шел не созерцательным шагом отдыхающего бездельника, а упруго, не глядя под ноги, не интересуясь ошметками моря.

Человек направлялся ко мне, не делая ни малейших попыток каким-либо образом оповестить о себе, показать жестом, что именно я ему нужен и что поэтому не следует мне уходить с того места, на котором стою.

Но что поражало — одежда! Человек — по мере приближения его — рассматривался мною (боковым зрением, не скашивая глаз); на пустынном пляже, в двух километрах от человеческого жилья был он — как нудист на центральной улице города. То есть совсем наоборот: одет он был под спешащего на прием западноевропейского богача. Темно-синий костюм в полоску, белая рубашка, красный галстук (я рассмотрел даже рубиновые запонки и галстучную булавку), черные полуботинки.

Когда ему оставалось до меня метров тридцать, я узнал его.

Это был Гюнтер Шайдеман, убитый мною много лет назад, в октябре 1948 года. Метил я в левое подглазье, туда и попал, проверять же точность выстрела еще одним, дополнительным не пристало диверсанту, потому что женщина не может на одной неделе дважды забеременеть. Я как стоял — так и продолжал стоять, заставив Гюнтера Шайдемана замочить черные полуботинки в пене прибоя.

А солнце как раз коснулось дымного горизонта и стало нехотя покидать освещаемый мир. Гюнтер Шайдеман дошел до валуна и повернул обратно. Я отступил на шаг, вежливо позволяя покойнику сохранить ноги сухими. Глянул ему вслед и мысленно измерил отпечаток полуботинок на песке. 42-й размер, все совпадает.

Он еще не дошел до спасстанции, а я пожелал солнцу вернуться к нам завтра, хотя бы с другой стороны, и через дюны пошел к дороге. Минут через пять меня догнал грузовичок: за рулем ефрейтор, пограничник, справа от него — капитан тех же бдительных войск. Кузов крытый, сзади — тент, и не по чьему-то злому или доброму умыслу ветер отпахнул тент, и я увидел Гюнтера Шайдемана. Он — в наручниках — сидел на задней скамейке, справа и слева сжатый офицерами.

Они не на паром спешили, грузовичок свернет сейчас вправо и покатит к Калининграду, Гюнтера надо привезти туда, куда его доставили самолетом. Значит, о моем присутствии пограничники узнали к концу предыдущих суток, все данные обо мне прокатили через свои архивы, на это ушло время, но его хватило, чтоб посреди улицы, где-нибудь в ГДР, схватить Гюнтера, сунуть в самолет до Калининграда, посадить в машину и пригнать ее к маяку (да, да, там же остановился пограннаряд; у них и времени не было переодеть Гюнтера; в Лиепае они сразу после заката оборонили побережье, создавая как бы контрольно-следовую полосу, но здесь я не заметил следов ее).

Он не узнал меня... Или узнал, но виду не подал. А кого, вообще говоря, опознавать надо? По всем архивным данным я четырежды убит, дважды застрелен при попытке к бегству и несчетное число раз пропал без вести. В октябре 1948 года никто иной, как я, идя вдоль борта сухогруза, выстрелил в Шайдемана из ТТ, не вынимая пистолета из кармана плаща, и собственными глазами видел, как он, уже поднимающийся по трапу, повалился на поручни, а лицо заливаается кровью.

Ну а сейчас он смотрится на загляденье хорошо, а старше меня лет на пять.

Рукопожатие покойников не состоялось. Вполне возможно, что тогда в Новороссийске я стрелял в подделанного под Шайдемана человека.

В гостинице я заполнил другой бланк, с более длительным сроком пребывания в этом чудном месте... Пограничники не сочли меня вредоносной личностью, полторы недели ходил любоваться закатом.

50

*«Мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога, которого тоже не боимся!» —
Вот они: Томас Рудник и Гюнтер Шайдеман*

Немчиков этих я сразу узнал и глазами показал Алеше: вот они, те same. Он сжал мою руку в знак того, что — заметано, схвачено, от нас не уйдут!

Впервые увидев Гюнтера, я безошибочно определил: сильный, ловкий, давно бы и сам убежал, да язык, по-русски — не то что говорить, но и московское радио, вещавшее по-немецки, презирал. Погоны, звание, кресты — это ему, как и всем офицерам, сохранили, в бараке он командовал дюжиной солдат. Привезенная на комбинат дюжина эта, как и многие другие, называлась уже бригадой. Но Гюнтер от бригадирства отказался. Около него вилял человечиска, очень милый, настоящий Михель в немецком понимании этого имени, добрый, чуть рыжеватый, близорукий — Томас Рудник; были они из одного города, но после гимназии не встречались, война соединила их.

Узкоколейку провести бы от комбината к железнодорожной станции, а не гонять продукцию (два цеха делали диваны, стулья, столы и шкафы) на «ЗИСах»; хорошо увязанные стулья и столы еще сохраняли товарный вид, все прочее — растрескивалось на безобразных дорогах. Шоферня материлась, у проходной объявления: «На временную работу требуются...» — и это-то при семи тысячах пленных! Меня (шофера) и Алешу (экспедитора)

приняли, даже не глянув в трудовые, и за неделю мы присмотрелись к порядкам в цехах, оценили издевательскую песню «Wir sind Moorsoldaten...», которую вслед за Гюнтером затягивали некоторые стойкие антисоветского толка пленные (песню эту сочинил, кажется, Вилли Бредель, пели ее антифашисты в немецких концлагерях).

В пятницу получили наряд на доставку в Свердловск четырнадцати шифоньеров (так здесь называли шкафы). Подогнали свой «зисок» к эстакаде, Алеша прошелся вдоль работяг немецкого происхождения, взял с собой Шайдемана и Рудника: «Нечего бездельничать, скоты, шкафы не закреплены...» Те полезли выравнивать шифоньеры да подтягивать тент: наклевывался дождь. В одном из шкафов мы их и закрыли и вывезли через ворота комбината. На 23-м километре помогли им обрести на земле дыхание, обоих мутило от ядовитого лака, каким пропитывалась мебель. Прогнали их через ручей и сунули в старую, но подготовленную нами землянку; сидеть приказали, не высовываться, ждать до ночи.

Умыкнули мы их сразу после обеда, хватиться беглецов могут только к ужину, а то и позже, всегда найдется остряк, который объяснит отсутствие углубленным изучением основ марксизма («ленинизм» как термин у них почему-то не прививался).

Ждать им пришлось до ночи, нам долго оформляли расчет, да и добраться до землянки времени стоило.

Оба вопросительно глянули на нас, принесших еду и водку.

— Куда нас везете?

— К папашам и мамашам. Строжайшее соблюдение дисциплины. Здесь вам не лагерь, здесь расстрел за неповиновение.

51

Die erste Kolonne marschiert... — Hände hoch! = 500 граммов хлеба. — Что делать? Что делать?

Итак, впереди еще сотни и сотни километров, и не прямая дорога проложена к Новороссийску, нам не помашут приветливо ручкой улыбающиеся милиционеры. По всем дорогам и станциям рассыпаны спецгруппы, имеющие на руках и фотографии беглецов, и особые приметы их, и, кто знает, целую фототеку на Филатова и Бобрикова.

Так нам представлялось, из этого исходили.

Тому, что мы говорили по-ихнему, Шайдемана и Рудника не удивляло, и вот вам психологический казус: знали ведь, что понимаем мы их, и тем не менее такие гадости выкладывали о себе, такие мерзости! Впервые они встретились в запасном полку, было это в конце 1942-го, на Сталинград их не бросили, околачивались под Брянском, пока в 1944-м не попали в плен. И такая тонкость: Рудник *добровольно* сдался в плен, сочтя поднятие рук актом спасения не столько себя, сколько всей Германии. Шайдеман же ранен был в обе руки, придать им вертикальное положение не смог и, следовательно, сражался до конца, пленила же его девушка, санитарструктор Маша. В полку они не очень уж ладили, нейтрально как-то поглядывали друг на друга, будучи в АПП (это — армейский пересыльный пункт), но попали в лагерь — и стали врагами, потому что Рудник получал на сто граммов хлеба больше, такова была цена поднятия рук. Думаю, что-то более глубокое и острое разделяло их, чего они не понимали и понимать не хотели. Женщина? Сомневаюсь. Вражда семейств? Монтекки и Капулетти? Но до войны они семьями не общались. И не уйдешь от подозрения, что какая-нибудь сушая мелочь могла сыграть предательскую роль, русский плюнул бы на эту чепуховину — и своей дорогой в пивную или к бабе. Хотя... большевики и меньшевики — арбузную корку не могли поделить.

Но так или иначе — сидели в разных углах землянки, с вежливым презрением посматривая друг на друга. Дальше — хуже. Вилли дал нам негод-

ные сведения о физических данных немчиков. Купленная на них одежда ни росту, ни полноте их не соответствовала. Брюки и рубашки одинаковые, как из сиротского дома, — мы одно время хотели выдавать их за глухонемых, перевозимых из дома инвалидов общего, так сказать, назначения, в специализированную клинику, которая вообще не существовала, но Алеша, в Курбатовке сжигая недосоженное, напоролся на труды какого-то Выготского и нашел там ссылку на оную клинику. Ну и ватники: октябрь уже. Тоже одного размера и чересчур новенькие.

Понимала немчура, однако, что подчиняться нам бог велит, тем более, что бог оказывал нам знаки уважения, бог подарил нам два мотоцикла (мы их заранее припрятали и замаскировали). В двух километрах — пересечение дорог, на ту, что ведет к югу, выбираться надо ночью. Но Алеша днем покатил один, на разведку, вернулся в сильном смущении.

Никто не искал немцев! Тем более нас. Разожгли костер, с пяти метров не видный. Немцев накормили и уложили спать. Через два часа их подняли, дали примерить шлемы, выкатили мотоциклы на дорогу, оба — я и Алеша — переделались во все милицейское. Если останоят, то объяснение готово: ищем убежавших немцев, а эти, что сзади сидят, опознаватели.

За ночь одолели четыреста километров, свернули в лес, нашли присмотренную ранее халупу, недостроенный лесником домик, крышей он все-таки прикрыв свое будущее жилище.

А утром оказалось, что мы сами себе устроили западню, что неспроста лесник не навевается сюда. Шайдеман, офицер образованный во всех смыслах, повел меня в глубь леса и показал на неестественно ярко-зеленые листья березы, на трухлявую пихту, ткнул пальцем на желто-зеленую лужу. Тут-то я и вспомнил, что в глубине леса — озеро, куда сливает отходы какой-то химкомбинат, вот почему ни единой пташки не видно.

Сутки прошли в бездействии. Что делать? Разбиться на пары, чтоб в любой из них бойко трещал по-русски кто-либо? Пересечь на мотоциклах отравленный лес?

А на дорогах (Алеша с биноклем забрался на высокую пихту) уже шевеление. Охрана спохватилась. Обыскали комбинат, убедились, что пропавшие вне его, но пока особого рвения не прилагали. Немцам же мы внушали поведением своим: НКВД — повсюду! Бдительность превыше всего!

52

Все-таки — игра! — Пир во время чумы: Ашхабад! — Портос — комендант новороссийской Бастилии. — Впервые вижу убийцу

И вдруг — неожиданно для нас и тем более немцев — той же ночью, когда уточнение планов спасения перенесли на утро, — вдруг нас всех четверых будто каленым железом тронули. Рудник похрапывал уже, как вдруг взвился Шайдеман, а за ним я и Алеша.

Где-то что-то случилось, произошло, где — неизвестно, однако бежать отсюда, стремительно, лбом рассекая все преграды, прочь отсюда, в полет, в спасительную неизвестность!

На немцев напялили мотоциклетные шлемы, половина одиннадцатого, ночь без признаков звезд или какого-либо прояснения. Выкатились на дорогу — и до семи утра мчались, мчались, подгоняемые нутряным страхом. Перед какой-то станцией, повинувшись тому же нутряному предостережению, сбросили мотоциклы с моста в реку и втиснулись в общий вагон поезда на Сталинград.

В поезде этом мы и узнали, что 6 октября землетрясение необычной для Средней Азии силы полностью уничтожило город Ашхабад и (пошептались мы с Алешей) сдвиги земной коры, волнами расходясь, струнули и подкорковые области человеческих мозгов. Какая-то форма массового сумасшествия прокатилась по областям и республикам, рядовым гражданам

и начальникам, коснувшись и милиции. Наши немчики тоже учуяли беду, но они же и понимали, что в великой мешанине человеческих бед никто на них и смотреть не станет. Шайдеман обнаглел до того, что громко (по-немецки!) потребовал в поезде жратвы. Билетов на Новороссийск в кассах не было, с рук ими не торговали; не знаю как, но ехали мы на открытой платформе, почему-то жарко светило солнце, мы спали на песке, а когда проснулись — идиотски хохотали. Оставалось несколько часов до домика в пригороде Новороссийска, где нас ждал Федя Бица.

(Кстати, годом спустя двое военнопленных, один из них генерал, совершат побег, пешком доберутся до Одессы, причем ни один из них не знал русского языка. Тем пленным было легче, к моменту их появления в Одессе уже провозгласилась Федеративная Республика Германии, какая-никакая, а защита.)

С наших немцев мы глаз не спускали, у них, очевидно, был свой план, свои сроки, свой маршрут и, возможно, другое сопровождение и другое место пребывания.

Домик принадлежал Фединой родственнице, ее он отправил в свои Бендеры вместе с детьми. Понял он нас не совсем правильно (при встрече еще поздним летом) и тюрьму делал не для выкраденных немцев; в хорошо оборудованном подвале, полагал он, будем жить мы, и провел туда свет, утеплил, поставил две кровати.

С водой в этом городе плохо было, но нанесли ее ведрами, заполнили два громадных чана, вымыли узников новороссийской Бастилии. К казенному (лагерному) нижнему белью они привыкли и не роптали, когда Федя с рынка принес им вполне приличные кальсоны и рубашки. На лице простодушного Рудника сияла радость: последнее, мол, унижение, скоро простимся с вами, господа русские большевики.

Назавтра я повел Шайдемана в город, он был в дырявом пальто, найденном на чердаке, черные очки делали его стариком. Ватники мы припрятали, Новороссийск — у моря, слишком много иностранных матросов, высокому Шайдеману очень подошла бы капитанская фуражка и морской реглан. То и другое нашли на рынке, толпа напугала немца, пора бы уже и домой, то есть к Феде, да вдруг Шайдеман остановился перед ларьком, на который я и внимания не обратил, и замер. Я взял его за руку, чтоб оттащить, но ощутил пульсирование горячей кисти и уже не отпускал ее от себя. С Шайдеманом что-то происходило, он будто музыку слушал, чуть подавшись вперед, я видел лицо его в профиль, но чувствовал: глазницы немца наполнены мрачным торжествующим светом.

А ларек торговал кухонными принадлежностями, среди них — ножи, но какие ножи! Из какого металла! Металл был не местным: легированная сталь особой закалки, не золингенская, нет, в Новороссийск, видимо, из Германии привезли полотна каких-то пилящих устройств, выкраденных со складов или официально доставленных; мастер, конечно, не осмелился делать из них боевые ножи, все, на продажу выставленное, было гражданского, так сказать, назначения, но с некоторыми приметам, намекавшими на возможность более широкого применения. Особо хороши были рукоятки — разноцветные, плексигласовые, костяные, деревянные. Ростовские рукоятки, и новороссийские тоже, славились на весь Союз, но не на них задержались липкие, ласкающие глаза Шайдемана. Не изменяя положения головы, чуть скривив рот, он попросил меня:

— Пусть покажет поближе третий нож в среднем ряду...

Не одни мы глазели на изделия невиданной красоты и мощи, я уже слышал предложение продать тот или иной нож, и всегда продавец, чем-то похожий на Шайдемана, отвечал, отрицательно качнув кудлатой головой:

— В комплекте, граждане, в комплекте... Вчера двум ресторанам продал... Да они как глянули на разделочный нож, так у них руки затряслись...

И у Шайдемана дрогнула рука, когда по моей просьбе ларечник снял со стенда третий нож из среднего ряда и протянул его нам.

Немец бережно принял нож и любовался им, лежащим на ладони, затем бросил на продавца взгляд — и отвел глаза; нож длиною превосходил ладонь, рукоятка утвердилась примерно на запястье. Пальцы Шайдемана шевельнулись — и нож ожил, нож приобрел способность вонзаться в податливый материал или втыкаться в твердость; нож стал не продолжением ладони, а как бы устройством, прикрепленным параллельно кисти, которая может ножом этим выстрелить... Я тронул его ногой, отвлекая от ножа, поскольку как-то не увязывались темные очки и интерес к предмету кухонного оборудования. Еще раз пришлось ногой пнуть Шайдемана — он не выпускал из руки ножа, и лишь когда я в ухо его вогнал смачное немецкое ругательство, он будто вышел из транса, сунул руки в карманы реглана.

Я понял, что рядом со мной — убийца! Не воин, обученный убивать ножом, а человек, рожденный вспарывать ножом человеческие туловища, и что-то он все-таки натворил в эту войну, дорвавшись до возможности пускать нож в любимое дело. И Рудник был либо свидетелем ножевых забав Шайдемана, либо — наоборот — единственным человеком в вермахте, который мог засвидетельствовать безгрешность друга по этой части.

Еще в мае решил я отдавать пленных порознь, во мне играло опасение: как только мы оказываемся вне пределов СССР, меня и Алешу просто вышвырнут за дверь особняка Рудника или Шайдемана. Или сдадут в полицию, где мы и рта не раскроем, а на Вилли рассчитывать опасно. И ни о каких долларах уже не заикнешься. Тогда-то и подумалось: отдать Шайдемана, как сына более богатеньких родителей, вместе с ним пересчет кордон Алеша, в финансовых делах смывленный, выцарапает деньги, даст сигнал — и по проторенной дорожке Томас Рудник покинет СССР.

Теперь все будет иначе.

Немцам устроили вечернюю прогулку под надзором Феди. А мы с Алешей осмотрели подвал, где Шайдеману придется жить не менее десяти дней.

Одну тему я боялся затрагивать в разговорах с Алешей. Только мне было известно, где архив Халязина, — и уж не ради ли архива затеяна вся эта галиматья?

53

Быть или не быть? — Героическая гибель Портоса. — Быть!

Посредником оказался brave мужина, пропахший кофе и трубочным табаком, в суть дела наниматели его посвятили не полностью, и он взвился, когда услышал, что «груз» будет передаваться ему по частям, то есть поначалу два человека, русский и немец, а затем, после того, как русский подтвердит «оттуда», что условие выполнено, — только после этого еще одна пара покинет порт и город Новороссийск. Причем — пригрозил я — надо спешить, слышны шаги МГБ... Уже побывав в порту, я изучил, как сходит команда на берег и как возвращается, а именно таким путем можно перебросить с причала на борт нужных людей. Пограничный наряд у трапа, сверка пропуска с паспортом, Григория Ивановича бы сюда, научил бы он запоминать физиономии проверяемых. Пароходов — семь или восемь под погрузкой. Ни одного пассажирского с гурьбой полупьяных путешественников. Отец Рудника — владелец судоходных компаний, пароходы его ходят под разными флагами, но с каждым капитаном договариваться нельзя. Как оповестятся наниматели о внезапном изменении планов — неизвестно. О другом я думал уже пятый месяц — с того московского вечера в «Шестиграннике». И старался ничем не выдать Алеше, о чем размышляю.

Потому что я не хотел покидать СССР. Не для меня эта Германия и вся эта Европа, я никак не мог забыть тупого американца с его дурацкими конвенциями: все было чужим, все отторгало, а уж какие-то там деньги... тьфу! Но говорить Алеше об этом — нельзя. Он может заартачиться, дворянской спеси в нем с избытком, но спесь-то — я отмечал это, горюя, — не отвращала его от Германии, где он все-таки прожил достаточно. А мне нужна была земля, на которой родился; я смогу — украдкою хотя бы — увидеть детей Этери и постоять у могилы матери.

И наконец — архив. Я его ни за какие деньги не продам. Нельзя лишать человека последней радости.

И решение мое окончательно окрепло, утвердилось, когда Федя принес мне оружие, многими на фронте уважаемый ТТ. Пистолет лежал на моей ладони, ничуть не отягощая ее своим весом, ибо он — бестелесен, невесом. Еще не зная, что будет дальше, как развернутся события, я тем не менее предвидел: из этого ствола будет убит Гюнтер Шайдеман, и пистолет, отброшенный мною после выстрела, полетит в какую-то бездну, ибо он и Шайдеман — неразрывно связаны. Этот пистолет — только для этого немца. В средние века убийцы коронованных особ бросали наземь мушкеты или аркебузы и уходили, и оставление оружия такого высокого назначения — не от попытки скрыться, здесь глубочайший философский смысл, жаль, что я как-то невнимательно прослушал лекцию Чеха. (Но помнится афоризм его, впоследствии повторенный одним французом: «Убийство для индивида то же, что революция для коллектива».)

В один из дней середины октября — уже начинало смеркаться — я повел Рудника в город; Алеша шел следом, Федя остался сидеть на сундуке, закрывая им крышку подвала.

Мне было больно, я едва не расплакался, обнимая Алешу на прощание, а тот, не подозревая о моем предательстве, был сух и деловит, сказал, что с Шайдемана глаз нельзя спускать, а Федя только в мордобое смыслит.

Приблизился посредник и увел от меня Алексея Петровича Бобрикова. Рудник уже догадался, куда его ведут, рванулся ко мне и пожал руку.

Тьма поглотила их. Я побрел к Феде, к сундуку, к Шайдеману, который понял, куда подевался сотоварищ по погребу, и молчал, затаился.

Через пять дней я позвонил посреднику и услышал от него ничего не говорящее немцам слово («Артамон»), каким Алеша сообщил мне, что он и Рудник уже в полной безопасности, деньги выплачены.

Теперь настала очередь Шайдемана. Предполагалось, что через три дня я передам его посреднику, а ночью исчезну, распрощавшись с Федей.

Билет на проходящий поезд Баку — Москва был куплен с рук, я еще потолкался около управления порта, узнав новости, которые мне оченьгодились через несколько часов. Пошел сменять Федю на боевом посту, остановился у калитки, почуяв недоброе: дверь на веранду распаивалась от порывов ветра, что могло быть при раскрытом окне кухни. Ворвался в дом и увидел распростертого на полу Федю, в спине его торчал нож, столовый, но зауженный и заостренный, мы им чистили картошку.

Гюнтера Шайдемана, конечно, и след простыл. Пистолета он не нашел, да и не знал он о нем. Я бегал вдвое быстрее трамвая и был в двадцати метрах от трапа, по которому поднимался Шайдеман. Транспорт — греческий, половина команды — немцы, Гюнтер ничем не рисковал, когда трубой сложил ладони и заблажил — или это мне почудилось — «Wir sind Moorsoldaten», а затем помахал мне барской ручкой.

Тогда-то, не вынимая ТТ из кармана плаща, я выстрелил, и Шайдеман стал оседать...

Диверсанта наконец-то забирают органы (женские, половые): женится. — «И рисовала на стекле заветный вензель...». — Вновь он с оружием!

Мне стало так одиноко, так неуютно! Ведь я не Шайдемана убил, а омертвил что-то в себе; какая-то часть моей жизни пресеклась, уменьшилась, из памяти выпали месяцы, когда я был лабухом, и музыка меня теперь попугивала. В Москве шел снег, несколько часов пробыл я в столице, посидел у памятника Тимирязеву... Зачем?

Всю зиму пролежал я в Курбатовке, но однажды что-то во мне встрепенулось, и я подался в Москву, надо было сочленять цепь времен.

Не помню, как у меня было с ночевкой в эти дни. Наверное, поздним вечером я брал билет до Смоленска или Ярославля, высаживался и шел к московской кассе. Из меня будто какие-то пружины извлекли, от легкого толчка я падал, все во мне было бескостным. Неизвестно, куда завело бы меня безволие — воровская шайка приняла бы, богатая вдова, огни летящего на меня тепловоза.

Что-то я еще недоделал в своей напрасно прожитой жизни, о которой думал, для ориентации в пространстве смотря на мелькающие сапожки впереди идущей женщины. Вдруг она поскользнулась и упала, беглый осмотр убедил меня: перелом голени. Взяв женщину (она была легкой, почти девочка) на руки, вышел на середину улицы Чернышевского. Остановилась «скорая», нас повезли в Склифосовского, стали оформлять: Сенина Анна Семеновна, 1928 года рождения, прописана на улице Гайдара, дом восемь... «А вы кем ей приходитесь?» — это вопрос ко мне. «Родственник». Уже сделали рентген, пришел терапевт, тогда-то она, Сенина Анна Семеновна, и позвала меня. Дала ключи от квартиры. Попросила завтра прийти сюда, принести домашний халатик на первый раз, а потом она скажет, что еще надо, а сейчас голова трещит, ничего не соображает.

Каталка с нею скрылась в лифте, я побрел по Садовой; улица Гайдара, я чувствовал, где-то рядом, всегда травмы случаются недалеко от дома, когда психика расслабляется. Два замка, две комнаты, квартира отдельная, не холодно. Жалкие остатки пищи, но во всем прочем — достаток. Попил чай, полистал какую-то книгу, разделся, лег на диване, нашел внутри него одеяло, утром покопался в шкафах, у Курского вокзала купил яблок, робко вошел в палату, где со вздернутыми ногами возлежали на койках три женщины. У моей Сениной дела обстояли не так плохо, гипс всего лишь, без вытяжки. По виду — полное соответствие паспорту, двадцать один год, студентка третьего курса филфака. Спросил: «Ну ты как?» — и губами притронулся ко лбу. Домашний халатик принес я да шлепанцы, две длинные ночные сорочки, чулки. Шевелением скрюченного пальчика она заставила мое ухо приблизиться к ее тонким злым губам.

— Как я поняла, ты у меня живешь... Не забудь мусор стаскивать во двор, за унитазом посматривай, может протечь, а с газовой колонкой — будь осторожен, с огнем не шали... На чьи деньги покупаешь фрукты? В нижнем ящичке трюмо лежит моя последняя стипендия, будь экономнее...

— Ты не москвич?.. Я так и подумала. Женат?

Через неделю ей разрешили с костылями выходить в коридор. Прислонялась к теплой стене у батареи, рассказывала о родителях, которые на Дальнем Востоке что-то строят, об умершей старшей сестре, читала письма, что доставал я из почтового ящика.

— Ты уж меня извини, но всем я говорю, что ты мой муж. На жениха, а тем более на влюбленного ты никак не походишь. И на брата не тянешь: в глазах, чувствую, большое желание нарушить кое-какие заповеди.

И уже что-то женское в голосе, бабское, противное.

— Ошибаешься. Не возделею я. И не возжелал, когда ты минуту назад распахнула халатик для поцелуя ниже шеи... Я... просто давно не видел людей вблизи, нормальных людей, тем ты мне и интересна, живу-то в глуши... Но чтоб это бабье на нас не косилось, договоримся: при встречах и прощаниях возможен обмен поцелуями.

Злые тонкие губы — особенно зла нижняя. Потому она ее чаще и прикусывала, а когда стайей прилетели однокурсницы — совсем губ не стало видно. Глаза колючие, ресницы длинные, груди маленькие, почти детские, соски ни разу еще не набухали.

Выписали наконец, ноге шадящий режим. Рядом с Курским — богатый гастроном, купил кое-что из деликатесов, для студенческого стола получилось очень прилично, шампанское выставил на балкон, чтоб прихлать его.

А был уже апрель, с морозцем по ночам, в квартире погуливали сквознячки, Аня укуталась в шаль, выцедила бокал, кивнула на диван:

— Ты здесь спишь?

— Спал. Сегодня ночью уезжаю к себе. Места в гостиницах дорогие, а на вокзале ночевать не хочется.

Мне к тому же помнилось сибирское село и топчанчик, выделенный председателем. Да и в любом случае выход единственный — уехать. Поездов на юг много, около одиннадцати вечера я поднялся:

— А тебе желаю сдать хорошо экзамены.

Она стояла спиной ко мне у окна, водила по стеклу пальцем. Спросила, вижу ли я, что она пишет. Села за стол и на бумаге вывела: «Я тоже буду спать на диване — с тобой. Не уезжай».

Через месяц сказала:

— Любви я от тебя не дождусь, да и ты от меня тоже... И все-таки давай поженимся. Я забеременела, кстати, но это ровным счетом ничего не значит. То есть смело уезжай к себе, если женитьба и ребенок в тягость. А уж как я управлюсь с беременностью — соображу. Скорее всего — рожать надо.

Подали заявление в загс, дождались очереди, свадьбы не устраивали, роддом откладывался до лучших времен — выкидыш! Аня плакала, мистические совпадения растревожили ее: она поскользнулась — в дождливый день — на улице Чернышевского, на том же месте, что и в марте.

А я устроился на работу, охранял склады на восьмом километре от вокзала, сутки там, трое — дома, и самое главное, мне полагался пистолет.

Рядовой пистолет, массовый, привычно висевший на ремне, так привычно, что дома, на Гайдара, я частенько в недоумении трогал рукою бок, удивляясь отсутствию тяжести кобуры.

55

Крах писательской карьеры — не Филатова, а, возможно, будущего Фадеева или Леонова. — Кто кого хотел свергнуть? За такие шуточки морду бы набить врачу этому!

А в моей смене работал разухабистый бездельник, любитель выпить, за что я не раз взыскивал с него, бабник, пускавший слюни при виде каждой юбки и творец басен о своих победах на юбочном фронте. Он все время что-то пописывал в общей тетради (48 листов) и удовлетворенно потирал руки в восторге от некоторых фраз. Наконец обратился за помощью. Я, сказал, хочу стать писателем, для чего надо поступить в Литературный институт, предварительно либо опубликовав что-нибудь, либо предъявив рукопись. Опубликованного у него ничего нет, но три рассказа написаны, так не может ли супруга, то есть жена моя, критически оценить их и отнести в приемную комиссию института? Сам он не решается, ему боязно даже появляться во дворе святого учебного заведения.

Рассказы я прочитал — и был поражен. Слюнявый бабник, эротоман, любой глагол относивший к акту соития, — этот развратник писал о возвышенной любви раненого сапера к медсестре, меня мучило от слащавости и дурости, встречались ошибки, позволенные школьнику, на войне не побывавшему, но этот-то — все четыре года отгрохал, от рядового поднялся до старшего лейтенанта, иногда память его восстанавливала сцены фронтовой жизни, от которых у меня дрожь проходила по телу. И этот воин раскидает на бумаге, про какую-то вечную любовь сочиняет рассказыки...

Читая его творения (показывать их жене духу не хватало), я укорачивал свои стремления стать писателем, но для проверки, что ли, умения прикладывать грамотно фразу к фразе описал рассказанный бабником случай, стараясь приноровиться к нему, стать как бы им самим, перенестись в 1943 год. Позевывая, кстати, припоминал этот случай бабник, а ведь человек пережил трагедию. Рота его взяла двадцать с чем-то пленных, обосновалась в селе, укрепилась, окопалась, как вдруг приказ: село оставить. Он потребовал уточнения: а что делать с пленными? Ему ответил штаб полка: село оставить немедленно, приняв меры к тому, чтобы взятые вами пленные не влились в состав наступающего немецкого батальона. То есть убить, всех расстрелять. Вот тут-то и забегал бабник, потому что убить одного безоружного — это не представляет никакого затруднения, но двадцать... Строем выстраивать и косить из пулемета Дегтярева? Завалить сарай с пленными соломой и поджечь? Бабник собрал сход, на котором поставил вопрос: селяне и солдаты, что будем делать с немцами?..

Так и не рассказал бабник, как протекал этот митинг и как выполнил он приказ командира полка. Зато я представил себе, как пленных расстреливали с разрешения самой высшей инстанции, народного собрания то есть, перепечатал на машинке и понес свой шедевр в журнал «Знамя», вожделенно глянув на здание Литературного института, куда уже подал заявление (втайне от жены). Пришел через три недели. Рассказ мой был прочитан, письменного отзыва на руки мне не дали, но в коридоре некий грамотей потрепал меня дружески по плечу и негромко посоветовал:

— Дружок, я тебя умоляю: не пиши больше. Ни о войне, ни о мире.

Так на меня дурно подействовал этот совет, что и многие страницы сего романа как бы исполняют завет знатока войны и мира, потому что все я чего-то недоговариваю, что-то комкаю, и, к примеру, случай, описанный в главе, где я искал и нашел в членомогильнике ампутированную руку, имел вовсе иное продолжение, да и начало я скомкал из непонятных мне соображений. А ведь правда, истинная правда: друзья мои после белорусской операции страдали в госпитале, куда я — с младшелейтенантским кубиком в петлице — проникал, веселя почему-то раненых и медсестер, хотя знаки воинских различий под белым халатом не заметны. С превеликим трудом шли на поправку мои друзья. Три пулевых ранения Григория Ивановича загноились, пожилой, профессорского вида дядя четырежды таскал к себе в операционную нашего отца командира, и наконец-то в Калтыгине пробудился аппетит и тяга к бабам. Но из легких Алеши неумелые врачи никак не могли вытащить осколок, пока не попал мой друг к главному хирургу, красивой женщине с дурной привычкой курить.

Из тела Алеши она все-таки извлекла осколок, я не мог не присутствовать при этом, я стибрил в ординаторской халат и косыночку, легко сойдя за медсестру, я слышал короткие, как перед взятием языка, переговоры врачей, я видел порхание их пальцев над телом Алеши. Осколок, мне подаренный, отмыл в спирте, покатал в пальцах и подивился неразумию природы: какой-то крохотный кусочек металла — и думы Алеши о будущем и прошлом, его воспоминания о предках и проклятья некоторым живущим. Нет, что-то не так в этом мироустройстве, какая-то гибельная ошибка! Хирургом буду я!

Так вот, хирург, которого я вытащил из Особого отдела, достав ампутированную им руку из вонючего членомогильника, все-таки нашел способ отблагодарить меня. Подозвал однажды и шепотом, отведя в угол коридора, сказал, что есть в госпитале одна дама, которой очень хотелось бы, чтоб на нее обратил внимание, уделяя хотя бы час, какой-нибудь мужчина, причем внимание это уделялось бы в интимной обстановке («Надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь?..»). Мужчина, продолжал нашептывать хирург, должен быть не из госпиталя, не врач ни в коем случае и вообще человек как бы со стороны, а таким условиям я вполне удовлетворю. Дама эта очень занята, нагнетал хирург, договариваться заранее с ней нет возможности, но она сама обо всем догадается, когда я возникну перед ее глазами, желательнее часиков эдак в десять вечера...

Без чего-то десять он повел меня к соседнему с госпиталем зданию бывшего гороно (вывеска еще сохранилась), ввел в коридор, пальцем ткнул в направлении какой-то двери и, видимо, ошибся, потому что я оказался в комнате, где была кровать, стол, диван и та самая женщина, главный хирург госпиталя, спасительница Алеши. Она была явно смущена чем-то, приподнялась и села, а я, обиженный ее неверием в то, что стану выдающимся хирургом, начал доказывать обратное, с чем она быстро согласилась, резко поднялась и сказала, что мне пора уходить. Боюсь, я нарушил ее отдых или она ждала кого-то другого.

56

Примерный семьянин, лишенный пистолета. — Чех зовет меня сражаться под знаменами герцога Кумберлендского. — Мечта не сбылась — и выстрел в правый висок оборвал страдания тайного тираноборца

Аня меня полюбила. Она успевала бегать на лекции, писать статьи, носить в себе ребенка и варить супы. Отвез ее в роддом и неделей спустя вынес оттуда девочку, у Ани пополнели губы, она уже не казалась злой. Родственница появилась, гулькала-улькала с Наташкой, я научился стирать пеленки и варить кашку, бегал за детским питанием, благо времени стало много, с работы меня уволили за что-то, пистолет, естественно, отобрали. В один из дней студенческих зимних каникул Аня повела меня на Моховую, юрфак устраивал вечер, всех рассмешила сценка из «Мертвых душ» (Ноздрев играет в шашки с Чичиковым) да монолог очень похожего на еврея студента, который с сильным акцентом прочитал: «Ну какой русский не любит бистой езды?..»

Вдруг меня дернула за локоть Аня: с ней только что говорил какой-то гражданин и высказал просьбу — дать этот вот телефон тому, кто знает человека по имени Чех.

Наступила вторая половина февраля 1953 года. Ехать в Ленинград не хотелось. Но — собрался, с Московского вокзала позвонил. Ответил сухой знакомый голос, указал адрес.

Охта, шестиэтажный дом, третий этаж, дверь открыта, вошел не постучавшись, Чех сидел за письменным столом, откинувшись в кресле, весь иссушенный годами, а прошло-то всего — девять лет! В квартире пахло только бумагами, ни еды не было, ни напитков, да и Чеха — такое впечатление создавалось — не было. Болен, неизлечимо болен — я понял это, как и то, что жизнь его продлится еще месяц-другой, поэтому он и спешил увидеть меня.

— Вся жизнь я спасал или уничтожал людей, баланс подводить еще рано... У меня подарочек для тебя.

Он потянул к себе ящик письменного стола и вытащил мой парабеллум со знакомой выщербинкой на рукоятке. Я молчал, подавленный и

оглохший. А потом комната, вся квартира и вся Охта наполнились «мананой», слезы полились, и горло охватила судорога.

Минуту, две, три длилось возрождение, восстановление из пепла, в рое голосов я услышал и Этери, и Алешу, и всех, кого отрезал от меня приезд Костенецкого ко мне, в занятую мною с разрешения коменданта квартиру члена НСДАП.

На Чехе была гимнастерка без погон, двигался он легко и бережно, все силы свои рассчитал, впереди — по крайней мере месяц жизни. Принес карту, ни единого названия. Большой город, автомагистрали, улочки, шоссе, зеленые пятна лесных насаждений, безномерные трамвайные и троллейбусные маршруты.

— Жить мне осталось немного, рак крови, против этой болезни я бессилен, и уж лучше погибнуть, чем... С Калтыгиным все ясно, а на Бобрикова рассчитывать можно?

— Алеша уже не для нас.

— Придется вдвоем. Вот, — он нашел в столе, — материалы допроса Раттенхубера, начальника личной охраны Гитлера. Поизучай внимательно. Надо найти типичную ошибку всех многочисленных охран. Они не учитывают того, что вообще не подлежит учету. Сосулька, падающая с карниза в июльский полдень. Кирпич на голову с крыши, которой нет.

Он помолчал.

— Тот, кого надо устранить, живет в этом городе. — Он показал на карту. — Наиболее уязвимые места — эта вот улица, — он ткнул пальцем, — и в этом вот лесном массиве — дача. Тройное кольцо охраны, но внутренней практически нет: человек этот чувствует смерть и боится всех, кто рядом. А вот — двухэтажное строение, караульное помещение в полукилометре от резиденции. Дорожка, по которой идут на смену караула сытые, разморенные сном солдаты. Мы их можем подменить. Еще вариант: машины с охраной меняются в движении местами, тоже можно использовать. Короче, думай. Пистолет верни, незачем тебе по городу гулять с ним, ты же не бандит. Гостиница для рыбаков, адрес даю, там будешь жить. Ходи по Питеру, ищи улицу, подобную этой, у меня уже ноги ослабли... Возвращаю тебе старый должок — перочинный ножик.

Пустые глаза его смотрели в угол.

— Ты женился? Дочь или сын? А на мне лежит запрет природы, ни в браке, ни вне я не в состоянии дать полноценное семя для плода. Но для меня ты — сын, единственный, и я сделаю все, чтоб ты остался живым.

Договорились: приду послезавтра, дубликат ключей от квартиры опустится в мой карман. Закрыл дверь, из-за которой пробивались звуки «мананы», она лежала в письменном столе Чеха. Швырнул в Неву боевой трофей — ножик, добытый в 1942 году.

28 февраля было это. Всю ночь читал я показания Раттенхубера, извлекая из них поразительные ляпсусы. Днем ездил по городу на такси (пачку денег дал Чех), улицу нашел, кое-что придумал.

В назначенный день стоял перед квартирой на Охте. На звонок никто не отозвался, но такое молчание предусматривалось, Чех ездил на переливание крови в какой-то институт. Открыл дверь его ключами, потянул носом воздух и снял ботинки, чтоб ни единого следа не осталось.

Чех навалился грудью на стол, затылком ко мне, глаза обращены влево, а справа от головы — рука с пистолетом. Он был мертв. Только через три дня узнал я, почему застрелился он, а сейчас осторожнейше вынул мой любимый парабеллум из пальцев Чеха. Сделал обыск, абсолютно бесполезный, потому что все, меня, Алешу и Калтыгина касающееся, было им загодя уничтожено, о чем и поведальось в предсмертной записке, которую Чех просил меня же уничтожить. В ящиках письменного стола — пусто, на сте-

нах — голо, стол на кухне заставлен пузырьками медицинского назначения, еды — никакой, лампочки во всех трех комнатах — без абажуров.

Здесь жил мертвец. На похороны, естественно, не приглашал. Я так и не узнал его настоящего имени. Пусть он и для всех останется Чехом.

57

«Манана» всегда будет с ним. — Вихри враждебные веют над...

3 марта сообщили о тяжелой болезни Сталина, а через день — о смерти его. Наверное, он умер несколько раньше, 1 или 2 марта, о чем Чех узнал и понял, что в дальнейшем жизнь его бессмысленна.

С балкончика квартиры на Гайдара были видны тянущиеся по Садовой толпы. Аня осталась равнодушной к смерти Вождя, мне же вспоминался разговор двух царедворцев да иногда приходило на ум решение — съездить в потаенное местечко Полесья, где большая (и лучшая!) часть архива Халязина. Мне уже было наплевать на его бумаги. «Манана» была со мной, спрятана в квартире, я же устроился на работу поблизости, в гастрономе, разнорабочим, выгружал продуктовые машины, Наташка росла.

Однажды я заметил за собой слежку и призадумался: где же я мог наследить? С документами полный порядок, с возрастом я изменился и никак не походил на того пятнадцатилетнего гасконца, который рванул в Париж служить королю.

И вдруг дошло: парабеллум! Он некоторое время оставался у сонного особиста, который приехал арестовывать меня 27 мая 1945 года вместе с Костенецким и Лукашиным! Значит, где-то мой любимец записан, отстрелян и пуля, убившая Чеха, опознана. Следов моего присутствия в квартире его не найти, но до рыбацкой гостиницы доберутся. Появление Алеши в Кёльне отметит какой-нибудь «источник», гонцы вскачь понесутся в Курбатовку. Наибезопаснейший вариант: парабеллум увезти за город и спрятать на время, и я так и сделал бы, но — «манана». Как только я касался парабеллума, где-то вдаль — за домом, за вокзалом, за горизонтом — приступал к настройке рояля будущий исполнитель мелодии, благородно искажившей всю мою жизнь. Пистолет поэтому я стал на ночь совать под подушку, что, конечно, обнаружила Аня однажды утром.

А мы давно уже полюбили друг друга. Мы так полюбили, что не надо было ночью подтверждать это. Посреди дня мы внезапно обнимались, без поцелуев, и слезы лились из наших глаз. Если рука моя случайно касалась ее тела, то мы замирали, испытывая радость.

Она положила мой талисман, мою гордость в сумочку и посадила Наташу ко мне на колени. Ушла. Я порывался встать, догнать ее, но дочь прильнула ко мне и никуда не отпускала.

Аня вернулась через час.

— С середины моста, — сказала. — Устьянского. Ни один водолаз не найдет.

Я прижал Наташку к себе. Казалось: река вспучилась и бушующие волны захлестнут Садовую, доберутся до Гайдара.

Но обошлось. С кухни несло жареной картошкой, на коленях моих устроилась Наташа, которая вскоре станет «мананой», и жизнь Великого Диверсанта преобразится.

В этот вечер я понял, что такое любовь женщины. Почти пять лет вместе — и ни разу ни Аня, ни наезжавшие в Москву родители ее не говорили при мне о желательности образования, которое поднимет меня от рабочего в магазине до хотя бы бухгалтера.

А магазин-то закрывался на ремонт. В поисках работы я натолкнулся на объявление: «Ресторану требуются повара высшей категории. Возможно

обучение в процессе производства». Адрес указан — не так-то уж далеко от дома. Приняли. Неделю чистил картошку и нарезал ее. Потом подрались два официанта, одного из них, выгнанного, решено было заменить мною. Директор ресторана осмотрел меня со всех сторон и дал указание:

— За две недели из него надо сделать человека.

Вскоре я познал все тонкости этого необычайного ремесла. Изучил все вилки, ложки, ножи, тарелки всех форм и диаметров; я узнал, что под овальные блюда с горячим надо стелить салфетку, а под круглые блюда ставить тарелки. Уяснил, с какой стороны подавать блюда клиенту, если он сидит в углу. Человеку еще в голову не пришла идея заказать антрекот, а я уже чуть наклоняюсь к нему. Мне едок представлялся легковооруженным бойцом в ячейке, которому с тыла подают все необходимое к бою. Столики чем-то — за десять минут до открытия ресторана — напоминали военно-топографическую карту. Старший официант устроил экзамен: нагрузил поднос так, что его вдвоем не удержишь. Седой старикашка не знал, с кем имеет дело — с Великим Диверсантом! Я с этим подносом поплыл величественно по залу, и в местах, где столики сближены, то левой рукой поднимал его на уровень лба, то правой. Элегантно приземлил его на подсобный столик и начал, как положено, с дамы, с правой стороны ее. Счет подал — копейка в копейку, не забыл, правда, пяти процентов за услугу.

Много, много интересного извлек я, три месяца проработав официантом. Как и у лабухов, был у них свой «парнос», чаевые кучей, потому что клиенты отказывались от сдачи, и тогда складывалась нелепая ситуация: попытка официанта вернуть клиенту лишние деньги граничила с вымогательством еще больших чаевых.

Ресторан, где я работал, — второго разряда, не первого и не высшего, то есть из него не рекрутировали проверенных официантов на правительственные приемы. Однако — новые времена, кое-кого стали приглашать. Я начал подумывать об увольнении, да помог случай. По виду вполне воспитанная компания заняла столик на шестерых, ничто не предвещало ссоры, столик не мой, но я поглядывал на него, я чувствовал: подай финки вместо ложек и вилок — и кровью залетится скатерть. И директор глаз не сводил со столика, но вызывать милицию еще рано, да и такие уж отношения с нею сложились: либо не придет, либо будет кормиться бесплатно весь год.

И как только начался мордобой, я бросился к столику и всех шестерых выкинул на улицу, дав официанту команду: столик — в первоначальное состояние! Теперь ресторанный разгул превратился в уличную потасовку, к которой мы не причастны.

Все произошло очень быстро, директор все видел. Со следующего дня я стал дежурным администратором с двумя сутками отдыха. Присматривал за Наташкой, возился на кухне. Аня кончила МГУ и работала в «Комсомолке».

Около двух дня и восьми вечера мое место — у входа, регулировал устремленный к столикам поток: ресторан на видном месте, до центра далеко, но универмаг рядом, два театра, невдалеке рынок. Традиционная борода швейцара вносила некий порядок в суматоху, да я подсказывал, где столики забронированы. Однажды мелькнула Инна Гинзбург, со спутником, я постарался скрыться, сидел в своем кабинетике, разбирал перекрестные жалобы. Официантка постучалась, глазенки блестят: «С вами одна клиентка поговорить хочет... С углового столика».

Инна Гинзбург, чуть пополневшая, но и пригаснувшая, огня в ней меньше стало. С нею — задумчивый гражданин, муж — так определил я. Заговорила, как всегда, с некоторой жеманностью:

— Я здесь второй раз (солгала!) и теряюсь в догадках: мы ведь где-то с вами встречались?

Ответил вежливо, сухо:

— Вы ошиблись... Но я польщен, что вы меня запомнили.

Рукава до локтя, божественные руки, которыми я восторгался когда-то. Ведет себя умно: говорит будто о чем-то постороннем, на меня не глядя. Муженек либо скучает, либо мастерски изображает терпение.

Номер телефона прозвучал — на тот случай, если я все-таки вспомню, где судьба сталкивала меня с Инной Моисеевной (осмелела: ранее была Михайловной). Со вздохом сожаления призналась, что, зная, и впрямь ошиблась. А то бы рассказала, как много тяжкого перенесла она, отец вот по делу врачей прокатился, хотя к медицине никакого отношения не имеет.

— Будь вы Ленечкой Филатовым, я бы вам такого рассказала...

А я пожелал чаще заходить, проводил к гардеробу, муж подал плащик. Супруги постояли на мокром тротуаре и взяли такси, а ведь могли бы об этом попросить администратора или швейцара. Прощай, Инна. Я верил в случайность встречи, как и в то, что не удержатся женские уста, прошебечут где-либо о славном мальчугане Ленечке Филатове.

Прошебетала, трепушка. Они ведь, фронтовики-однопольчане, на поезде 9 мая ударились в воспоминания, и, видимо, Инна похвасталась: «А вот помните...» Двух дней не прошло со Дня Победы, а за тот же угловой столик сел Лукашин. Я глянул на него и подумал, как и много лет назад: бухгалтерские нарукавники ему бы. Лишь дождевав отбивную, он строил меня с места движением пухлого пальчика.

— Верить не верить — а я рад встрече. Буду краток: через сорок минут... нет, сорок пять я позвоню в КГБ. У тебя есть время. Кстати, с Бобриковым что-то неладное в Германии.

Время бежало быстро, вот уже и КГБ, а не МГБ. И на меня уже дохнуло ветром странствий и перемен.

Из ресторана я исчез незаметно и пошел домой поцеловать на прощанье Наташку. А там — Аня, спокойная, жестокая, расчетливая.

— Тебе надо уходить. И немедленно. Меня с утра послали брать интервью у какого-то Любарки, он тебя знает. И предупредил.

Она полезла в комод, из-под белья нижнего ящика достала парабеллум, мой парабеллум.

— Случайно получилось. На середине моста уже была, несла его в сумочке, потом решила проверить, не выброшу ли вместе с сумочкой какую-нибудь важную мелочь, и пистолет сунула в карман. Забыла, что ли... А сумочка полетела в воду. Вторично бросать что-либо — побоялась, дают же помилование висельнику, у которого веревка лопнула...

Это, пожалуй, и ко мне относилось, как он, парабеллум, ни в огне я не сгорел, ни в воде не утонул.

Я ушел, и во мне начинала разыгрываться «манана». По пологой спирали скатывался я в зеленую долину, и горы постепенно наращивали высоту своих заснеженных вершин, их белизна подкрашивалась голубоватым свечением неба, вдруг начавшего сжиматься, стекаться к центру, превращаясь в хрустальный ручеек мелодии, проводившей меня до поезда, и тот понесся в новую даль.



ЕЛЕНА ПУДОВКИНА

*

СОБРАНИЕ ВОД

* *
*

И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями.

Быт. 1: 10.

Это собрание вод названо Богом морями,
И — видит Бог — хорошо.
В ликующем хоре волн я слышу: «Всевышний с нами!»
Море можно сравнить с собственной душой.
Ибо, как в капле, в ней тот же восторг взмывает
Малой волной в ответ на близость морской волны.
Море — наш старший брат. Море о многом знает.
Мы на четыре дня от моря отдалены.
Но, встретясь вплотную с ним, я вижу, как мы похожи.
Нас создал один Творец, одной любовью дыша.
Свободной воли полет единой десницей вложен
В бескрайнюю зыбь и в зыбку спящего малыша.
Конечно, морская мощь учила людей величью,
Но вот — лежит исполин, распластан пред Богом ниц.
Нас учит зеркало вод, когда мы ответа ищем,
Смирению наших душ, открытости наших лиц.

Читая Фрезера

Я вспомнила, что я вступила в брак
С каким-то деревом задолго до рожденья.
Цветет вокруг родня моя — растенья,
А суженого не узнать никак.

Мы жизнью платим за любовь к богам.
А Бог за состраданье к нам.
То в дереве живет, то — в камне, то — в дороге.
Их помыслы чисты, и чувства строги,
И кроткий вид любезен небесам.

Пудовкина Елена Олеговна родилась в Ленинграде в 1950 году. Сменила много профессий; в 70 — 80-е годы постоянный автор ленинградского самиздата. Публиковалась в журналах «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вестник РХД» и т. д. В нашем журнале печатается впервые.

И вот я уподобилась кусту
 И вспомнила опять частицы света,
 Что научил словам и немоту
 Совлек с меня, как ветхие тенета.

В божественном бреду звучащий лес
 Не ведает косноязычной муки.
 Иль это только показалось здесь —
 В разладе с будущим, с былым в разлуке?

Суэцкий канал

Пустыню видно с теплохода.
 Она лежит на желтых лапах.
 Она — не зверь, и даже запах
 Не выдает ее природу.
 А мне знакомо изначально,
 Как будто даже до рожденья,
 В ней нарастающее пенье,
 Что возникает беспечально,
 Безудержно и бессловесно,
 Но вечности равновелико.
 В нем промелькнут, подобьем блика,
 Какой-то путник неизвестный,
 Корзина-люлька, два верблюда,
 Не возвратившихся в селенье...
 И дальше понесло их пенье,
 Куда — не знаю, но — отсюда.
 Нечеловечески невинна
 Пустыня (нет соблазна древа?).
 С космическим сыпучим чревом
 Их связывает пуповина.
 И если щелки глаз разлепит
 Пустыня, взгляд узнаешь сразу —
 Ленивой бездны желтоглазой
 Во всем ее великолепии.

Русские в Австралии

О судьбе России разговор за чаем.
 Пенсионеры все с выправкой офицерской.
 Старость вселилась в дом, но не замечают,
 Не замечают здесь самозванки дерзкой.
 В прошлом недавнем — конторщики, кочегары,
 Кто-то посуду мыл, кто-то чинил заборы,
 Но голубеет кровь с годами. Недаром
 Смотрят на австралийцев орлиным взором.
 Будто и вправду будет, как в сказке было:
 Еще придут, позовут владычить и править.
 Призрачный белый конь ржет, как кобыла.
 Призрак коня... Конь блед... Вестник державы.

* *
*

*Отцу Павлу Адельгейму, приютившему десяти-
терых подростков из вспомогательного интерната.*

Каменистая почва, в которую сеют зерно.
Безнадежное дело, которое Богом дано
Во смирение пахарю, прочим же — во искушенье.
Но дебилные дети блаженно пускают слюну
И безгрешно смеются, возможно, спасая страну
От чего-то еще пострашнее.

Разум наш развратился, и соль потеряли слова.
Будут новые люди безмолвно расти, как трава,
К ним никто докричаться не сможет.
Им неведомо будет добро и неведомо зло.
Ной построил ковчег. Так когда-то зверькам повезло.
Все по Книге... Но смилуйся, Боже.

* *
*

На краткий миг земля и небо вместе,
На краткий миг — на праздник Рождества.
Бог, как всегда, не признан, неизвестен,
В пристанище случайном ночевал.

И, как всегда, мы не туда смотрели
И видели сгустившуюся тьму,
Не замечая тихой колыбели
И мудрецов, склонившихся к нему.

* *
*

Памяти Ивана Кадушкина.

Дни открытых дверей
Для бедняг, оставляющих землю.
Белорус ли, еврей
Иль чеченец — любого приемлют
В эти светлые дни
Высочайшей амнистии Божьей.
Улетают они
В мир, куда остальные не вхожи.
Там ни зла, ни мытарств
И ни муки, хмельной и повинной.
В величайшем из царств
Все легки, словно пух тополиный.



ВЛАДИМИР ЛОРЧЕНКОВ

*

ДОМ С ДВУМЯ КУПОЛАМИ

Рассказ

1

...**А** крыши на домах Этейлы все были из жести потому, что свой первый дом он поднимал, когда был совсем молод — восемнадцати лет — и денег, чтобы покрыть их серебром, у него не было. Не беда, думал молодой и тщеславный Этейла, гордость моя сродни тщеславию, и если покрыть крышу жостью, та заблестит, как серебро, — Богу ведь все равно, что блестит там, на земле, лишь бы блестело и радовало глаз. Тогда он будет добр к Этейле и, может быть, каждый день станет дарить ему радугу. А когда Этейла, молдавский цыган, разбогател на маке, то по старой привычке крыл крыши жостью.

Последний дом Этейла поставил у Комсомольского озера, там, где парашютная вышка тянулась к небу, но ни разу его не коснулась. Строился он долго, и мать не раз говорила ему: Этейла, не копай землю, разве мало для этого других народов, и если ты не сможешь их для того нанять, то какой же ты мужчина, а если копаешь землю — какой ты цыган, ведь ей, земле, больно. Не переживай, старуха, смеялся цыган, я ведь мужчина только потому, что от меня пахнет немного коньяком, немного табаком, немного одеколоном и немного мужчиной, и если земля не может простить своим сыновьям немного боли, то какая же она нам мать? И мать Этейлы, но не та, что земля, махнув рукой, уходила в недостроенный дом, чтобы стирать и готовить еду детям сына, а их у Этейлы было по числу месяцев — двенадцать.

Рабочих цыган нанимал, но не для того, чтобы землю копать, а крышу крыть: Этейла боялся высоты с тех пор, как в детстве приснилась ему синяя птица, унесшая ребенка под самые облака. Тогда он и увидел, что они хрустальные, и тот, кто высоко взлетает, так же рискует разбиться, как и несущийся вниз камнем. Оттого Этейла боялся даже на балкон выходить, все ему чудилось, что вот-вот камень треснет и он, взлетев высоко-высоко, вдребезги о небеса разобьется. А когда случалось ему переходить овраг по мосту, то ложился на доски и плакал до тех пор, пока кто-то не снимал молодого цыгана с моста и не вытаскивал его, бесчувственного, на твердую землю.

Свой последний дом Этейла украсил двумя куполами, похожими на половинки сладких луковиц, и над первым поставил крест, а над вторым — полумесяц. На всякий случай, говорил он друзьям, когда вечерами они сидели на террасе, пили горький, как печаль о прошлом, кофе — такой умела готовить только первая мать Этейлы, — заеда я его виноградом, подаренным второй матерью — землей. Ибо Этейла был необычный цы-

ган: он копал землю, он растил травы и плоды, не боялся гаданий, не любил лошадей, зато разводил кроликов, для души, как говорил, и одевался подчеркнуто скромно.

Куда уж скромнее, Этейла, смеялась мать, ты выглядишь, как самый бедный конокрад. Но сын полагал, что богатая одежда вредна, потому что привлекает к человеку, ее надевшему, молнию, отчего та вползает ужом в рукава и сжигает тело. Чтобы этого избежать, одежду он выпрашивал у соседей и не брезговал самой старой, зато носил золотую цепь весом килограммов на пять, и та гнула голову его к земле.

Кроме двенадцати детей, которых Этейла недолго думая назвал Январем, Февралем, Мартом — и так до Декабря, под полумесяцем и крестом жили шестеро крестных, девятнадцать племянников и племянниц, и потому шум в доме постоянно был такой, будто неподалеку от дома — аэропорт, хотя тот построили на другом конце города. Гомон этих чертей сводит меня с ума, думал Этейла, но и в кошмарном сне я не пожелаю себе их исчезновения, потому что все они, двенадцать детей, девятнадцать племянников и племянниц, шестеро крестных, две матери, — часть моего дома, и благодаря им он блестит и радуется Богу, а тот дарит мне радуги.

Радуги действительно появлялись над домом Этейлы каждый день, и соседи, поначалу завидовавшие такому необычайному расположению то ли богов, то ли природы к тщедушному богачу-оборванцу Этейле с золотой цепью на шее, прониклись к нему необычайным уважением и чуть что ходили в дом его за советом.

Этейла, говорил один, старый цыган с длинной седой бородой, укрывавшей живот его от палящего солнца в жаркие дни, Этейла, на тебе благодать радуги, посоветуй мне, что делать — в доме много денег, и куда бы я их ни прятал, душа моя неспокойна. Деньги твои бумажные? — спросил Этейла, крошивший хлеб на террасу, чтобы его голуби не улетели из дома голодными. Бумажные, не понял старик. Так сворачивай банкноты в трубочки и заплетай их в бороду, там им будет хорошо и спокойно. Разве деньги могут чувствовать спокойствие? Могут, когда становятся частью тебя, а значит, испытывают то же, что и ты. Стало быть, если я беспокоюсь о деньгах, то и они беспокоятся о себе? Нет, они беспокоятся о тебе, как ты о них, и чтобы утолить ваше беспокойство, вы всегда должны быть вместе.

Этейла, когда бы я ни уснул и где бы я ни спал, мне всегда снится море, говорил другой. Это тебя беспокоит? Даже днем я думаю о море. Тогда не просыпайся, а если тебе приснится, что ты проснулся, постарайся поскорее уснуть.

Этейла, я видел во сне Единорога, и тот сказал мне, что дни мои сочтены. Успокойся — если бы это был настоящий Единорог, ты бы умер сразу, потому что взгляд этого зверя убивает все живое. Если же ты мертв, то он не мог убить тебя — как можно убить мертвого? — и тебе нет причин беспокоиться, когда ты умрешь, потому что это уже случилось.

Этейла, мы влюблены, а она говорит, что хочет лунного жемчуга и немного солнечной пыли. Брат мой, что я могу посоветовать тебе? Где я достану эту пыль и эти жемчуга? Знаешь, если вы и вправду влюблены, она согласится, что пыль, собранная тобой под ее окнами, — солнечная, а фальшивые жемчуга из рыбьей чешуи и жира — лунные.

Этейла, у нас в доме закончился хлеб, подходила мать, а сын смеялся и разводил руками: я человек, я слаб, женщина, откуда же мне знать, где можно найти денег на хлеб, хотя, впрочем, возьми звено от этой цепи и продай его, на месяц, может быть, хватит. После чего, сомкнув руками укоротившуюся цепь, Этейла с детьми, племянниками и крестными шел гулять на Комсомольское озеро.

Там, в низине, у родника Тамары, он с наслаждением обливался ледяной водой и оттирал свои бока, покрытые солью раздумий, песком и зем-

лей, а потом снова обливался, и так много раз, пока тело его, на радость детям, не начинало блестеть и переливаться цветами радуги. Такова была особенность его кожи — она у Этейлы была разноцветная, но видно это становилось только на роднике. Папа — радуга, дядя — радуга, смеялись дети, и цыган, чтобы их позабавить, выгибался мостиком, чтобы каждый мог рассказать друзьям в школе, что вчера пробежался по радуге. И, глядя на корни деревьев, выбившиеся из-под земли, Этейла думал, что сегодня порадовал Бога, и это, как полагал он, и есть его назначение и величайшая заслуга. Другие Богу служили, именем его запрещали, разрешали, а цыган, как только вырос и сбрил свои первые усы, решил радовать.

Этейлу назвали в честь деда — маленький толстый старик, тот умер двенадцать лет назад, но так много в нем было жизни, что еще в гробу дед, уже мертвый, несколько раз тяжело вздохнул. Хоронили его всеми Сороками — цыганским городом, как пишут в молдавских газетах, и Этейла часто вспоминал пышную церемонию, втайне желая, чтобы и его так проводили, когда сил держать на плечах весь небесный свод с его звездами, ветрами и птицами у него не будет.

2

Цыган Этейла, дед молодого Этейлы, которого звать мы будем просто Дед, прославился тем, что первым из жителей Сорок решил написать историю той части своего племени, что, отбившись от главного рода, осела в Молдавии. Но об этом речь позже, а сейчас несколько женщин, бывших жен старика, с плачем отгоняют мух от бледного Деда, возлежащего в роскошном гробу, обитом бархатной материей.

Этейла, тогда совсем еще мальчик, зная, что Дед умер, все же с интересом следит, ущипнет ли старик одну из женщин, как любил делать это при жизни. Так и есть: приподнявшись изо всех сил, старик шлепает по заду любимую и последнюю жену, Мару. Но вдова настолько убита горем, что не обращает на это никакого внимания; Дед, сердито нахмурившись, вновь откидывается на подушку в изголовье гроба и прикрывает глаза — Этейла видит, как по вискам покойника стекает пот.

Внук бежит на кухню и возвращается к гробу, стоящему на трех табуретах — один в голове, другой в ногах, третий под поясницей, — держа в руках стакан с вином, таким, какое любил Дед, с привкусом дрожжей, светло-красным, как кровь из оборванной заусеницы. Не удержавшись, мальчик отпил из стакана, прежде чем подать его страдающему от жары Деду, а тот, усмехнувшись, дожидается, когда женщины с плачем зайдут в дом, доверив тело внуку, принимает стакан и пьет, оставив на дне немного вина, которое и выплескивает. Это — мертвым, объясняет он Этейле, сотни раз слышавшему объяснение такого поступка. Зачем мертвым, если ты и так выпил, обижается мальчик, думая, что над ним смеются. Другим мертвым, объясняет Дед и закрывает глаза. А что, есть еще и другие? — спрашивает Этейла. Не понимаю, где они тогда, почему только ты во дворе лежишь? Дед улыбается и молча треплет по голове внука: видимо, вино уже добралось до его языка и говорить Дед в жаркий солнечный день больше не хочет.

У забора собираются соседи и родственники. Гроб с Дедом, поставив на крышу дорогого автомобиля — машину тщеславный отец Этейлы арендовал в Кишиневе на сутки, — везут к кладбищу. Надо бы прикрепить, шепчет дядя Этейлы отцу, на что тот отмахивается: отец — мужчина цепкий, да и крыша у автомобиля плоская. Дед, словно в насмешку над слишком самоуверенным сыном, почти у самого кладбища резко толкает боком стенку гроба, и тот падает с машины в пыль. Воробы, слетевшись на переполох, склеивают крошки из бороды Деда, плотно отобедавшего нака-

нуне своей безвременной кончины, и засмеявшийся было Этейла умолкает, получив подзатыльник от отца: чего стоишь, помогай!

С трудом взгромоздив гроб с Дедом на крышу автомобиля, мужчины отходят в сторону и продолжают свой путь. Этейла опережает процессию, и бежит на кладбище — там уже вырыта огромная яма, куда положат гроб с Дедом, телевизор, видеомагнитофон и персональный компьютер старика. Могилу вырыли наемные рабочие.

Наконец гроб подвозят к могиле и опять ставят на табуретки, предварительно застелив каждую полотенцем. Отец Этейлы раздает родственникам скромные подарки, вручая их через тело покойного, и мальчику достаются новые шерстяные брюки на вырост, которые Этейла так никогда и не наденет из боязни молний.

Улыбнувшись Деду, Этейла отворачивается, когда гроб начинают заколачивать. Перед этим один из братьев старика кладет туда полторалитровую бутылку вина, и когда просторный гроб опускают в яму, мальчик слышит, как Дед пьет. Землю уже начали сбрасывать, когда раздался глухой стук. Один из могильщиков спускается вглубь и, прислонив ухо к крышке гроба, стоит на коленях около минуты. Закуски хочет, обращается он из могилы к родне покойника. Вот неугомонный старик, всплеснул руками дядя Этейлы; и умер ведь уже, а все выпить-закусить хочет! Не перечь старшему, осадил его мать, дайте. Ей протягивают блюдо с вареной пшеницей, политой жженым сахаром, с несколькими карамелями, и женщина передает его на вытянутые руки могильщика. Тот, вынув четыре гвоздя, сует в щель тарелку, но, что-то услышав, поднимает ее наверх. Мяса хочет! Жена старика глядит на дядю Этейлы, и мужчина не успевает еще раз возмутиться. Твоя мысль быстрее моей, мать, — дайте мяса. Тарелка с мясом спущена могильщику, и тот, на всякий, видимо, случай, кроме нее сует в щель еще и пачку сигарет. Стой, он не такие курил — бросает вниз пачку дорогих импортных сигарет дядя.

Вечером, когда поминки были в самом разгаре, мальчик пробрался на могилу к Деду. А ты и правда умер? Видимо, да, тезка, улыбается Дед; так и будешь сидеть? Да уж посижу, мне с ними скучно, рассказал бы ты что-нибудь. Может, тебе с ними и скучно, но запомни: они — твоя родня и, стало быть, часть тебя, как рука или сердце, хотя, говорят, крепкие родственные связи — беда нашей страны. Что беда нашей страны и что наша страна, Дед, если мы цыгане и живем на Земле? Беда — это кумовство, как опять же говорят, сам в этом не уверен, а страна наша — Молдавия, потому что, куда бы ты, цыган, ни подался, немного этой страны всегда с тобой. Со мной ничего нет — разводит руками мальчик и с недоумением смотрит на свои пустые ладони. Нет, есть — немного вина в твоих жилах, немного солнца на коже, пыль известняков, запах винограда да еще осколки бирюзового июльского неба Молдавии и, может, чуть-чуть порочных родственных связей, улыбается Дед. А сейчас ступай — я уже умер, мне пора отдыхать.

С тех пор Этейла не раз приходил на могилу Деда; правда, когда стал жить в Кишиневе, — все реже. Старик никогда не отказывал себе в удовольствии поболтать с внуком и по секрету сказал ему, что на чердаке старого дома, куда можно забраться лишь по старой деревянной лестнице, в ворохе старых вещей лежит тетрадь, где записана им сочиненная история цыган Молдавии. Никому не давай читать, говорил Дед, а сам смотри и помни — мы уже не цыгане, мы еще не Молдавия.

В июне двадцатипятилетия Этейлы зацвела акация, и он поехал ловить судака на водохранилище, потому что майский жор пропустил. И когда он вернулся с судаками холодными, как их пустые глаза, и выпотрошенными, мать цыгана сказала, что Дед хочет видеть его и пора покрасить ограду у могилы старика. Приехав, цыган выкрасил ограду и стал разговаривать с Дедом, обрадованным посещением внука. На этот раз старик решил рассказать о своем путешествии на север Молдавии.

3

Деду тогда нужны были деньги, много денег, потому что он решил жениться. Работы в городе не было, мак продавать, как все цыгане делали, он не хотел, поэтому отправился в дорогу, чтобы посмотреть, где можно заработать.

Вышел он из Сорок на север — люди говорили, что под Бельцами есть много богатых сел и многие там строятся. Шел Дед, ориентируясь по ореховым деревьям, их на севере много, больше, чем в Кишиневе. По вечерам он собирал орехи и мастерил из них четки. Одни купил зажиточный крестьянин Терентий. Он был единственным, кто в пути дал Деду напиток — молока, и то от прикосновения губ путника становилось розовым, будто кровью разбавили.

Что за четки у тебя, спросил Терентий, и Дед ответил ему: разве не видишь, из ореха. Я не о том — освящены ли они? Да, святил их пастуший крик, звон колокольчиков стада, мои ноги, сжатые тесными сандалиями. А сандалии, надо сказать, в дороге Деду стали так тесны, что на четвертый день пути распухшие ноги его обувь разорвали на части, и шел он босиком. Говоришь, крик и колокольчики, сказал Терентий, оглядывая четки; сколько просишь за них и почему орехов здесь двадцать один? Дед рассказал ему.

4

Первый из них, изнутри пустой, значит Хаос, и если ты, перебрав четки, закончишь на нем, значит, жена твоя неверна и пора доверие в доме твоём запереть в чулан, где оно от голода и издохнет.

Второй орех значит Свет. Если нащупаешь верхнюю половинку, с трещиной, значит, утром, перед пробуждением, увидишь ангела, и он выведет тебя на ту тропу, сворачивать с которой никому еще в этом мире не доводилось. Нижняя же половинка второго ореха дает человеку дар радоваться жизни, что бы ни произошло, она высасывает из рук твоих и сердца печаль.

Третий орех — Суетный. Сколько ты его ни трогай, ни верти, только пустые мысли вертеться станут, и от этой карусели голова у тебя закружится.

Четвертый орех забирает силу и возвращает ее грозой с обильным дождем, и если поле твое иссохнет, найди его, но случайно.

Пятый орех — Странствующий. Если сорвется он с нити и покатится по полу — уйдут в путь твои сыновья и вечерами горизонт будет глаза твои есть, но их, сыновей, ты так и не увидишь.

Шестой орех — символ Дня и Ночи, сменяющих друг друга, и если возьмешь его в руки, песочными часами пройдут перед тобой дни жизни, и, замороженный этим, ты не найдешь в себе сил отойти и взглянуть куда-либо еще.

Седьмой орех нужен тем, кто решил подарить свое одиночество другой такой же бесприютной душе. Как только положишь ты его в ладонь, увидишь себя под венцом.

Восьмой орех вынь из четок и положи в изголовье постели — жарким по́том выйдут из твоих снов кошмары сновидений.

Девятый орех — Справедливость слепого судьи, и какое бы решение ты ни принял, держа его в руках, истинным оно будет и единственно верным.

Десятый толкут и ссыпают порошок в пищу чревоугодника, и та сама принимается есть человека, отчего тот теряет в весе и пьет по ночам.

Одиннадцатый орех — Сила, что идет внутрь и от которой голову твою сжимают клещи.

Если ты нащупаешь двенадцатый орех, продолжай перебирать четки, потому что он говорит — делай то, что делал.

Тринадцатый орех — дьявольское число, и если удержишь на нем руку, только кровь не будет для твоего рта пресной, пуды же соли не заметишь, и они пройдут сквозь тебя, как ветер.

Четырнадцатый орех и пятнадцатый — орехи Первосвященников и Магов, они лечат душевные болезни, но смотри не переусердствуй, так как здравомыслие — одна из них. Может быть, самая страшная, и излечившийся не раз проклянет их, эти орехи.

Шестнадцатый орех и семнадцатый, коль скоро ты их вытянешь из четок, означают суд мертвых над тобой — поэтому запасись хорошим адвокатом и посыпай голову свою пеплом.

По-настоящему счастливый из них — восемнадцатый орех, и только он умножит стада твои и увеличит пастбища, и овечий сыр кадушек твоих выбьет крышки, потому что много его станет.

Сразу после него — девятнадцатый орех, что означает: Нищета. Вырви его из четок и дай человеку, которого ненавидишь. Его разорение снимет коросту твоей злобы ароматными маслами мести.

Двадцатый орех посмеется над тобой сладостным смехом развратной девки, и, нащупав его, ты уйдешь в ночь, приняв свечение душ мертвецов за улыбки обольстительных женщин.

А двадцать первый, спросил Терентий, что он значит? Этот орех, ответил Дед крестьянину, если его нащупаешь, говорит, что четки свои ты перебрал. Что хочешь за них? А что у тебя есть? Могу дать тебе за них — хоть товар этот мне и не очень нужен, сам посуди, кто купит четки, несущие столько бед... И радости, перебил Дед. Дай доскажу — столько бед, а радости в них на два ореха, — так что могу дать тебе за четки только свое волшебное зеркало. Откуда у тебя оно? Сделал, как ты свои четки, — вылил в тарелку серебра и пригладил его взглядом. Что я увижу в твоём зеркале? Может быть, больше, чем ожидаешь увидеть, — сказав это, Терентий отдал Деду зеркало. Посмотревшись в него дней пятнадцать, Дед согласился поменять четки на зеркало и, завернув его в оторванный рукав рубахи, продолжил свой путь.

5

Обменяв четки на зеркало, Дед пошел дальше и заночевал под орешником, острые листья которого перед сном обрывал и ел. Если бы не пыль на них, говорил он внуку, я ел бы эти листья до конца жизни. Под деревом ему приснилось, что он был в телесной близости с мертвой женщиной, которая пожалела Деда и не выпила его кровь, и, проснувшись в темноте, он понял, что ему грозит большая опасность. Но не смог бороться со сном и снова уснул.

Щеки мертвой женщины, вновь пригрезившейся Деду, были так бледны, что он мог бы писать по ним, как по бумаге. Позже, целуя холодный рот женщины, Дед увидел, как на щеках и в самом деле появились кровавые письмена. Он дал волю рукам, перестал целовать оборотня и принялся читать.

«Не иди, цыган, на Запад — там ты встретишь табор под надзором СС, и цыгане его живут до тех пор, пока немецкий режиссер не снимет документальное кино про твой народ — после этого табор перекочет в Маттенхаузен. Там они спляшут в газовых камерах под губную гармошку и уйдут в небо дымом трубы, а цветные косынки женщин улетят птицами».

И я уйду? — до треска в костях сжимал Дед мертвую женщину и любил так, словно ненавидел.

«Будь ты проклят, — плясали на щеках буквы, — человек, за то, что будишь во мне этот зуд, будь ты проклят и сжимай сильнее, как я ненави-

жу твои теплые руки, горячую грудь и живые глаза. Иди на север, найдешь там стройку — большой дом возводит для себя один человек, который был послан в Германии и решил вернуться».

Захрипев, женщина ожила и обняла Деда так, что шея его затекла, и, очнувшись, он под деревом никого не увидел. А через три дня пришел на стройку.

Странно, сказал Этейла. Что? — взглянул на него Дед. То, что цыган решил землю копать. Да, согласился Дед, никто из наших, кроме тебя и меня, этого не делает, боятся ранить ее, и даже когда мак надо посадить, нанимают людей других народов.

Расскажи мне что-нибудь о наркотиках, Дед, попросил Этейла, и почему мы связали себя с ними одной судьбой? Я ничего о них не знаю и лучше расскажу тебе о стройке.

Дом мы строили трехэтажный. Фундамент выкладывали из камней, долго и тщательно складывали их так, чтобы один камень плотно обнимал другой, — при такой стройке и цемент не нужен. Работали много, и кормили нас десять раз на дню, чтобы тело от усталости не ломило.

В восточной стене каменщики замуровали петуха, чтобы тот будил дом на рассвете, едва почувствует солнце. В западной — кукушку, она будет прощаться со светилом. В северной стене замуровали еще одного петуха, с жаром в перьях. В южной захотел остаться дед хозяина стройки, который просто устал от жизни, но не желал ютиться на кладбище. После этого стены стали так прочны, что и землетрясение не могло разгрызть их, а только слегка надкусывало.

На седьмой день я ставил забор — почва в том селе была плохая, и мой бур — земляное сверло — ломался несколько раз. Лезвия снова сваривали, и стоимость этой работы хозяин вычитал из моего жалованья. Странно, но окна в доме он требовал вырубать совсем маленькими, как в темницах, — видно, не хотела его душа простора. Под акацией во дворе он вырыл тайник и спрятал там ружья.

А что вам давали пить? — спросил Этейла. Дед смеялся: ну-ка вылей немного вина на могилу, горло мое становится ненасытным, как земля, и просит все время влаги. Вообще же, помни это, Этейла, самый большой грех на самом деле — не давать земле воды. Копай сколько хочешь, но помни: она хочет пить всегда и засухой ты ее обидишь.

Как же вы разговаривали, спросил Этейла у Деда, если часть из вас пришла с юга, а кто-то с севера и вообще отовсюду? О, у нас был переводчик — птица Ворон. День и ночь сидела она на акации, под которой хозяин зарыл ружье, и объясняла каждому из нас то, что от него требуется. Отстроив три этажа, мы уж было думали, что пора разойтись, и многие приуныли, в особенности я — шла война, и цыган увозили в Германию. Но оказалось, хозяин хочет продолжать строить дом, но не ввысь, а в землю. Там он хотел встретить всю свою умершую родню.

Сто двадцать восемь дней мы и жители села собирали глину, из которой лепили кирпичи, потому что хозяин стройки не желал земляных стен для своего подземного дворца. А потом начали рыть комнаты и обкладывать их кирпичом. Часть строителей, из окрестных сел, ушли — им казалось, что хозяин решил поспорить с дьяволом и довести самые нижние этажи своего дома до самой преисподней. Что ж, с дьяволом совсем не то, что с Богом, говорил хозяин и велел говорящей птице дать ушедшим расчет предсказаниями. Их пришлось по двенадцать на человека.

В вырытую нами шахту спустились сто строителей и сто землекопов, и мы каждый день сбрасывали им кирпичи в мешках, обмотанных гусиным пухом. На двести тридцатый день мы уже не видели их и лишь слышали слабый шум строительства. Только хозяин рисковал спуститься вниз на веревках. Потом умерла говорящая птица, и мы приняли это за дурной знак. Мы не понимали друг друга, и потому дело шло медленно. Чего он хочет,

этот человек, спрашивали мы, и кто-то сказал — оставить о себе память, но не на земле, потому что ветер и вода стирают все, а в недрах ее.

Хозяин, оплакав говорящую птицу, все-таки нашел одного из своих братьев — Ашема. Тот вышел из земли и, собрав нас вместе, повелел брату кормить нас одним блюдом.

Брали рис, для местных строителей — белый, для нас — черный, и топили в воде. Спустя два часа, когда зерна умирали и из легких их, наполненных водой, выплывала жизнь, воду сливали. Мясо черной свиньи жарили с луком и клали в горшок, посыпав сверху утопленным рисом. Ждали солнца и, когда оно появлялось, отламывали от него кусок и бросали к рису и мясу. Через час блюдо это, просоленное потом, можно было есть. Называлось оно «Вавилонская башня».

А потом строители с юга — вера не позволяла им поститься меньше трехсот шестидесяти четырех дней — взбунтовались и потребовали от хозяина кормить их манной небесной. Но ведь такое под силу только Богу, старик, удивился Этейла. Откуда мне знать, Бог был мой хозяин или нет, только манна с того дня сыпала с неба не переставая — холодный снег, и южанам приходилось его есть, отчего они становились бледными и переставали спать. Хозяин этому только радовался и заставлял их работать по ночам, потому я с тех пор и не мог уснуть, не заслышав стук топора.

После того как мясо, рис и морковь с репой были из горшочков съедены, мы стали понимать друг друга. Каждый сказал другому: что мы делаем здесь? Веревку, на которой спускали хозяина в землю, подрезали и разошлись кто куда.

Я вернулся домой и нашел дом свой пустым. Соседи поведали: когда пришли немцы, в село приехала красивая блондинка с несколькими офицерами и грузовик с солдатами. Всю родню нашу собрали и сказали им, что они поедут в специальный лагерь в Германии, где будут хорошо кормить, никого не расстреляют и будут снимать кино про смуглых испанцев.

Согласились поехать все — остающихся грозились расстрелять. Женщину звали Лени Рифеншталь.

И, пожалуй, пора тебе сказать, кто та мертвая женщина, которую я любил под орехом ночью. И кто же она? Да, Лени Рифеншталь. Чем она занималась кроме того, что искала мужчин у дороги?

Она была актрисой и режиссером в фашистской Германии. В 1939 году снимала кино о прекрасной, как первый снег, танцовщице, которую угнетает жестокий властелин. По сценарию испанцев. Их играли цыгане. Цыгане из концентрационного лагеря Максглан и нашего села. После окончания съемок статистов отправляли в Маттенхаузен. Так вот что имела в виду женщина, говоря о таборе под надзором СС? Видимо, это. Интересно, подумал вслух Этейла, зачала ли она, эта Лени Рифеншталь, от тебя, и если да, то кто же родился от мертвой фашистской актрисы и молодого голодного цыгана? Я знаю. Кто? Мешочек пепла, в котором я нашел твоего отца, когда возвращался со стройки домой. Получается, она, Рифеншталь, приходится мне бабушкой, сказал Этейла. Что ж, пусть приходит — твой дом большой, еды вам хватит. Она же использовала цыган, а потом их жгли, Дед. Все мы горим, стало быть, нас жгут, и делать это должен хоть кто-то, видно, такая у нас всех — табора, актрисы Лени, меня и тебя — судьба.

Вернувшись домой, Этейла стал собираться в Германию. Он хотел найти актрису и рассказать старухе, что спасенный ею цыган дал жизнь многим и один из многих, он, Этейла, хочет видеть свою бабушку Лени Рифеншталь в доме с двумя куполами, над которыми стоят крест и полумесяц.



СВЕТЛАНА КЕКОВА



ТЕНЬ ТОСКИ И ТОРЖЕСТВА

* *
*

1

Никто мне не скажет ни слова: я слишком мала и глупа.
Лицо накануне Покрова сечет ледяная крупа.
Что может случиться со мною в младенчестве — лучшей из Мекк?
Быть может, сплошной пеленою укроет минувшее снег?
А может быть, прошлое станет водою, сбегаящей с гор?
Над будущей жизнью протянет Владычица Свой омофор.

2

Ребенок лежит в колыбели, и катятся слезы из глаз —
то ранняя Пасха в апреле, то в августе — яблочный Спас,
то время гудит, словно пчельник весной на цветущем лугу,
то утром в крещенский сочельник купается голубь в снегу,
то каплями в зреющем хлебе горят васильки вдалеке,
то ангел купается в небе и зеркало держит в руке.

3

Но горькие детские слезы для нас непомерно сладки:
я помню июльские грозы и ветлы у теплой реки,
цветла полевая клубника под деревом в форме креста,
слезою с Пречистого Лица катилась на землю звезда,
и матери, кутаясь в шали, от нас отводили беду,
и пыльной листвою шуршали деревья в колхозном саду.

4

Мы память свою растревожим и, пробуя время на вкус,
на жертвенник сердца возложим какой-то немислимый груз —
беспутная жизнь кочевая, горячая правда одна,
любовь, как вода ключевая, прозрачна до самого дна,
а грех обезглавлен и связан, и будущий путь предрешен,
и крест приготовлен, и Лазарь умерший уже воскресен.

* *
*

Сердце хочет любви — и не может себя превозмочь.
Рыба-ангел в воде выгибает узорную спину.
В храм уснувшего леса приходит монахиня-ночь,
и к рассвету она принимает великую схиму.

Воду черных небес бороздят облаков корабли,
звезды слабо мерцают, луна одинокая светит...
Ты у сердца спроси — почему оно хочет любви,
ты у сердца спроси — но оно ничего не ответит.

И не скажет волна, что с тобою нас ждет впереди,
на остывший песок набегая в волнении светлом.
Сердце хочет любви, даже если не бьется в груди,
а мерцает в ночи, словно уголь, подернутый пеплом.

Тихо дерево стонет, кричит на лугу козодой —
эта птица ночная пророчит тебе катастрофу.
Повтори еще раз — сердце хочет любви молодой...

Лунным светом на мантии ночь вышивает Голгофу.

* *
*

Кто в воздухе жилья, как в коконе прозрачном,
на кухне режет хлеб и чайник кипятит?
А бабочка летит на свет в окне чердачном,
а бабочка летит, а бабочка летит.

Ночь достает звезду и лунным светом плещет
из старого ковша на почерневший лес.
А бабочка летит, а бабочка трепещет,
у светлого окна почти теряет вес.

Кто отпустил ее в роскошном платье бальном
лететь на этот свет, сияющий в ночи?
Но вспыхнет новый луч в окне полуподвальном —
поставит на окно ребенок три свечи.

Пей свой остывший чай, томись о беспредельном,
тебе смотреть на свет никто не запретит.
Тьма за твоим окном обшита швом петельным...
А бабочка летит,
а бабочка летит...

* *
*

Уже пора за стол садиться,
пустые рюмки ставить в ряд...
Мы так же хлеб едим, как птицы
клюют созревший виноград.

Береза ветку завитую
опустит вдруг на тротуар...
Мы так же воду пьем святую,
как пчелы в поле пьют нектар.

Вдруг загудит над этим полем
грозы могучий контрабас...
Мы так детей своих неволим,
как ангелы целуют нас.

Но как, скажи, нам научиться
на перекрестке двух дорог
так полюбить цветок и птицу,
как человека любит Бог?

* *
*

Любовь отбрасывает тень тоски и торжества,
как это делает сирень — цветы ее, листва,

и узловатый узкий ствол, и ветви на весу,
как я тягчайшее из зол в груди своей несу.

Любовь, лицо рукой закрыв, не видит наших слез.
В буддийских храмах старых ив, в больших церквах берез

засвищут птицы, запоют о счастье без вины,
кукушка наведет уют в часовне бузины.

Травую зарастет пустырь, и съест огонь зола,
и будет леса монастырь звонить в колокола.

А ты, любовь, пройди, как тень, волною в небо хлынь,
как эта сладкая сирень, как горькая полынь.

* *
*

1

Мне сон удивительный снится: каштаны уже отцвели,
какая-то грустная птица сидит в придорожной пыли,
а ветер, как ангел бесплотный, мне шепчет, листвою шурша:
когда-то была беззаботной, беспечной и легкой душа,
сердечные раны лечила, читая аббата Прево...

Зачем же ты днем расточила сокровище сна своего?

2

Мне сон удивительный снится: на мир я смотрю с высоты
и вижу — в одежду из ситца оделись лесные цветы,
а вишни уже облетели — и тонут в зеленых шелках,
и сердце в оставленном теле похоже на птицу в силках.
Да, память — великая сила, но сердце — сильнее всего...

Зачем же я днем расточила сокровище сна своего?

3

Откроется мне понемножку какой-то таинственный путь,
и жимолость бабочки брошку приколет на пышную грудь,
а ива увидит сквозь слезы летучей июньской грозы
в растрепанных прядях березы капроновый бант стрекозы.
И будет шиповник царапать цветущую веткой меня...

В какое хранилище спрятать сокровище этого дня?

4

В какую великую книгу сокрыть, уберечь от Суда
стрижей боевую квадригу, подземных кротов города,
зари угасающей алость, воды ледяное стекло
и эту щемящую жалость к тому, что навеки прошло?

Над веткой сирени, быть может, тяжелые пчелы гудят,
и память былую тревожат, и раны ее бережат.

5

Смирнее память, чем инок, надменней она, чем гордец.
Но где вы, в каких палестинах, сокровища наших сердец?
В каком вы покое великом нас будете в вечности ждать,
пред Божьим таинственным Ликом вы сможете ль нас оправдать?
Над райской цветущей долиной верните нам зреньё и слух...

Иль вы — только пух тополиный, мерцающий в воздухе пух?



ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ



ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

Рассказы

ОЖИДАНИЕ ПАРОХОДА

Не осень еще была — август. Но разговоры на причале были осенние. Про картошку. Про школу. Про клюкву.

И грустно пахло в оборванных кустах малины. Воздух вечерний был горьковатый, сырой.

Я собрался в Кострому за обратным билетом на поезд, ждал «Метеор». И старик ждал. Правда, нетерпения ему не хватало, поглядывания на часы, но ведь на то и старик. Он сидел, держа на коленях коричневую, бывшую, похоже, когда-то женской, коленкоровую сумку. Фетровая шляпа, выгоревшая, но сохранившая форму, и светлый пиджак придавали ему легкомысленный, если не пижонский для сельской местности, вид. В лице его была та приветливость и готовность что-то подсказать, посоветовать, помочь, которые нынче столь редки, что кажутся признаком блаженности или опасной чудаковатости.

Никто с ним не разговаривал, но, видимо, и этим он не тяготился. Глядел на вечернее затухающее небо, на маленькую девочку, что играла тут же с куклой на скамейке, то заворачивая ее в большой носовой платок, то разворачивая. У нее что-то не получалось. Она протянула куклу старику, он ладно и туго пеленал ее, потом снял шляпу и положил туда куклу, как в колыбель. Девочка счастливо засмеялась и потянулась за матерью — показать ей, как все хорошо вышло, красиво. Мать, недовольная, что ее отвлекли от разговора, буркнула: «Ну, вот этого еще не хватало!» — и каким-то стремительным рывком вытряхнула куклу из шляпы. Кукла опять развернулась и выпала из платка. Девочка заплакала, старик покраснел, потянулся рукой к ней, чтобы утешить и снова помочь, но женщина увела девочку на другой край причала. Там девочка заплакала еще громче, а мать зашумела: «Ты чего вопишь, как ткачиха!..»

Все как-то сразу почувствовали, что вечер непоправимо испорчен. Да и «Метеор», очевидно, сломался. Следующий — в шесть утра. Люди, потолкавшись еще у расписания и поворчав на речной флот, потянулись по деревянной лестнице наверх, домой.

Старик остался сидеть на скамейке. Быстро темнело. В большом городе бежишь от людей, а здесь так и тянет перебраться с кем-нибудь парой слов. Помедлив у лестницы, я спросил старика:

— Думаете, еще придет?..

— Куда там... — отозвался он, бодро встал, встряхнул сумку и подошел ко мне, делая широкие, но не очень уверенные шаги.

— Николай Арсеньевич Митрофанов. — И протянул мне руку.

Так мы познакомились. Когда пошли вдоль реки, я попросил его держаться за меня. Фонари не горели, можно шею свернуть.

Николай Арсеньевич пожаловался, что ноги последнее время плохо слушаются, кружится голова.

— Кажется, что к затылку привязан кусок свинца и этот кусок тянет назад, но, — и тут он улыбнулся, — этот же кусок свинца держит меня у земли...

Свободной рукой он потрогал седой затылок — на месте ли свинец.

Какой-то алкаш вывалился из темноты, качнулся нам навстречу, схватил за рукав Николая Арсеньевича:

— А-а, артист... дай закурить.

Я хотел тут же послать алкаша куда подальше, но Николай Арсеньевич уже доставал из пиджака папиросы и спички.

Огонек вспыхнул, слабыми искрами отразился в мутных глазах алкаша.

— Обошелся бы, — сказал я потом Николаю Арсеньевичу, — много их здесь, больше, чем спичек в вашем коробке...

— Он несчастный и очень милый человек. Когда трезвый, приглашает меня в гости.

— И вы ходите?

— А отчего же не пойти? У него дочка маленькая, я с ней играю, она меня дедулей зовет...

Мы вошли в фойе дома отдыха. На столе дежурной горела настольная лампа. Дежурная смотрела телевизор и вязала.

— А здесь что было? — показал я Николаю Арсеньевичу на заколоченную дверь.

— Бильярдная. Мы тут с Женей Евстигнеевым играли...

Каждый год Николай Арсеньевич приезжал сюда, в дом отдыха на берегу Волги, в отпуск. Раньше с женой, в разгаре лета. Жена умерла, он давно на пенсии, и путевки ВТО дает ему только на самый конец летнего сезона. В это время теплолюбивые москвичи уже едут не сюда, а в Крым. Вот тогда и старикам, «ветеранам сцены» из провинциальных театров, льготные путевки переппадают.

Мы встречались утром в холодной столовой. Николай Арсеньевич был рад и остывшему омлету, и явно вчерашней запеканке. Низко наклонялся над тарелкой, боясь уронить мимо хоть крошку. Видел он плохо и иногда просил меня подать ему хлеба.

Потом, если не было дождя, мы шли на набережную, проходили мимо причала, базарчика, площади, обувного магазина... Николай Арсеньевич рассказывал о себе охотно, но с удивительным для его возраста и его актерской профессии юношеским смущением. Никакого бахвальства. Он даже краснел иногда, вспоминая свои детские проступки или романы с девушками в тридцатых годах.

Теперь, как наступает осень и в затон уходят теплоходы — почти мимо моего дома, — я вспоминаю Николая Арсеньевича. Как он смотрел на стынущую под пасмурным небом Волгу, как в погожие часы сидел на причале, как застенчиво рассказывал о своей жизни.

...— Не помню, сколько лет мне было тогда, но вот помню, как сон. Отца перевели с одного парохода на другой. Может, там капитан заболел или что-то еще случилось, но произошло это среди навигации. Никогда не говорили «лето», всегда — «навигация». И вот, помню, матрос меня на руках переносит с одного парохода на другой. А на чужом пароходе страшно. Я вцепился в матроса, вот заплачу... Но тут папа меня забирает у матроса. Папа был невысокого роста, худенький. Сердцем слабый. Я так похож на него и характером, и лицом.

Отец до революции служил у Марии Капитоновны Кашиной. У нас в доме так и бытовало: «Марья Капитонна, Марья Капитонна...»

Жили мы в селе Кадницы, это пятьдесят пять километров вниз по Волге от Нижнего. Луга километра полтора, потом река Кудьма течет. Вот там брод и село. Внизу — дома, на большой горе — лес. Из окна Волгу видно...

Пристань была, там местные приставали. Астраханским то ли мелко было, то ли пристань мала, но не приставали. И отец не приставал. Чтобы передать нам продукты, он высвистывал лодку. Определенные свистки выделявал.

Пароход давал тихий ход, лодка причаливала к корме, и оттуда хоп — мешок пшена, хоп — мешок гречи, бочонок какой-нибудь рыбы. И вот везут все это к берегу, а там лошадь ждет с телегой... За лето столько навозят, что зимой отец покупал только мясо на деревенском базаре. Остальное было в погребе, в подполе, на чердаке. В сенах был чулан продуктовый.

Зимой пять месяцев не работали. Отец не пил, не курил, но много играл в преферанс. Никто не выигрывал, не проигрывал, просто убивали время. И было так: «Сегодня у меня играем...» — «Извольте тогда завтра к нам...»

Собиралась компания — капитаны, штурвальные, иногда и матросы. Отец играл, а я, маленький, сидел у него на коленях и смотрел. Фишки были, косточки такие — круглые, квадратные, разного цвета — видно, цена им была разная. Сиреневые, красные, белые...

Я иногда спрашивал, почему он пошел с этой карты, а не с другой. Когда я стал все это дотошно узнавать, отец меня прогнал: «Того гляди, еще научишься...» Боялся, что стану картежником.

Когда переехали в Нижний, то жили в центре, и Волги из окон уже не было видно. Но там были слышны гудки. Папа отходил первого числа. Пассажирский шел до Астрахани и обратно семнадцать дней. Значит, семнадцатого числа мы все ждем. В этот день открытым держим окошко или форточку. И вот вдруг: «Ты слышишь — папа, да?..» Мы не говорим «Феликс Дзержинский» или «Мартын Лядов», говорим «папа».

Пока сестры и мама собираются, я спускаюсь через овраг, быстро, я шустрый. На пристани еще мостки не успели подать, а я уже тут как тут. Папа с верхней палубы мне машет, я прошныриваю в каюту, а там — арбузы, виноград...

Отец сегодня пришел, а на другой день уходит. Только одну ночь дома.

Каждое лето он брал нас в один из рейсов: маму, сестру, брата и меня. А в ресторане — повара в колпаках, скатерти хрустящие, блеск... Мать нам еще какие-то лепешки, коржики сама пекла, варенье варила. На пристанях — рыба, яблоки. Если это Чебоксары — то масло, яйца...

А степи! Там другие запахи, другие травы... Я тянул носом незнакомый воздух, а отец смеялся: «Что, калмыком пахнет?..»

Было время, мы жили на торговом пароходе, и я целые дни катал обруч по палубе — такой с палочкой. Мне волю давали. Отец предупреждал: «Только в машину — не ходить!» То есть в машинное отделение. А так — везде.

На каждой пристани — купался. Я знал везде, какое дно. Вот в Плесе дно каменистое, а в Арзамасе — ил, нога вязнет.

Отец любил Саратов. Там публика была какая-то интеллигентная. В Нижнем-то у нас грубоватый народ. Ну, сейчас везде грубоватый. А тогда плывем, и отец иногда говорит мне тихо: «Николай, обрати внимание, это ленинградская публика, а вон — московская...» Разница была большая и по манерам, и по разговору. Теперь нет той публики. Ленинградцы-то все на Пискаревском. А до того сколько их по лагерям сгинуло...

Раз отец показал: «Вот посмотри, будешь вспоминать — на том пароходе артист Качалов...» Может быть, тогда я и стал мечтать о театре. Лю-

бил бегать на концерты в салон первого класса, там пианино было всегда открыто.

Как-то один пассажир сел на наш пароход, а ему надо было на другой. Перепутал. Наш отвалил. Пассажир прибежал к отцу, мы сбросили ход, высвистели лодку. Она очень долго шла, медленно. А когда пароход не работает, он терять управление. Колеса не двигаются, руль бездействует. Пароход стало заворачивать течением не в ту сторону. Пассажир как увидел, что пароход удаляется от лодки, так и прыгнул в воду с портфелем. Шляпа у него всплыла, а самого не видно. Но не утонул, подобрали. Публика собралась. Долго все переживали...

Школу я окончил в Нижнем. Мне было семнадцать лет, но что-то я развивался с опозданием. Уехал в Кадницы, на родину, и там бил баклуши. Долговязый был, на голову отца выше. Отец, конечно, болел душой. Хотел, чтобы я высшее образование получил. Какое угодно, но в вузы принимали в первую очередь детей рабочих, колхозников, а детей служащих — в сторонку. Зимой отец сунул меня в Речной политехникум имени Зайцева, на приемно-механическое отделение береговой службы. Это значит — механик в затонах.

Год проучился. На практике мне было трудно. Надо было железку обработать зубилом, так я бил не по зубилу, а по рукам.

Увлёкся самодеятельностью. А тут — набор в драмтеатр, в помсостав. Статисты им были нужны для массовых сцен. Отцу все это не нравилось, но я уже ошалел от сцены. Зарплата была у меня тридцать девять рублей. Жил плохо, книжки продавал, питался в столовых. Подрабатывал в колхозном театре. Когда открылось театральное училище, я туда свободно прошел. Учился у народного артиста Левкоева.

Когда мы приезжали в деревню, на нас смотрели как на слонов. Ставили чеховские водевили. Или Островского — «Правда хорошо, а счастье лучше».

Начинали спектакли поздно, иногда в десять вечера. Пока они придут с полей, подоят коров... Но зал — битком набит.

Бывало, не мы, а публика нас ждала. Однажды у нас один актер пропал, он должен был играть Кирова. Пьеса называлась «Девятнадцатый год». Ждали-ждали, оказалось — запил. Но нашли его, дали ему валерьянки, чтобы он немного освежился. Сыграли. Потом он клялся в райкоме именем Октябрьской революции: «Больше пить не буду!»

В тридцать седьмом у отца авария случилась. Посадили его на три месяца, потом выпустили, он мог вернуться на пароход, но сам не пошел. Стал начальником пятого причала в Горьком. Потом его перевели на огромную самоходку «Якутия». В тот момент как раз погрузка шла. Начинили при старом капитане, а заканчивал отец. И тут случился прогиб судна. Подвели вредительство. Пятьдесят восьмая статья, пункт восьмой. Десять лет грозило. Но разобрались, выпустили в конце сорокового года. Он сказал маме: «Пожалуй, в следующую навигацию работать не пойду...» Умер в январе сорок первого. Ничем не болел, а умер. От тоски, мне кажется. Не мог без парохода жить...

Я где-то вычитал: мать Гоголя искренне считала, что пароходы изобрел ее сын. То, что книжки писал, — это пустяки. Их всякий может сочинить, если постарается. А вот пароход — это да, это гениально...

Каждое лето я приезжаю в Плес. Когда-то здесь была большая пристань. До сих пор сваи у берега торчат... Двухэтажная настоящая пристань. Ее продали куда-то в Чебоксары.

Пароходов было много, и там, на пристани, я всегда встречал их. И провожал. Провожал и встречал. И мне казалось: вот-вот покажется папа.

Начальник пристани заметил, что я все время прихожу, как-то говорит:

— Я вижу, вам здесь очень нравится... Но одного вам не хватает.

— Чего? — удивился я.

— Вам бы жить на пристани.

— Ах да, точно, — говорю, — я бы всю жизнь прожил на пристани... Но жизнь прошла.

Последнюю роль я сыграл в позапрошлом сезоне. Я свистел за сценой в нашем ТЮЗе. Поставили Найденова. Мало там чего от него осталось. Полный модерн. Но свист мой понадобился. Он у меня особый, пароходный. В пьесе такая ремарка есть: «При поднятии занавеса раздается тревожный пароходный свисток. Это требуют с парохода лодку. Эхо где-то далеко повторяет свисток, отзывается чуть слышно еще раз и замирает...»

Николай Арсеньевич глядел чуть улыбаясь на меня. Что-то свое, далекое и желанное, видел он сейчас. Мне не хотелось ему мешать.

ОСЕННЯЯ КОМАНДИРОВКА

Помните ту неделю в середине прошлого октября, когда вдруг так произошло, что ни облачка не набегало на небо и эта небесная ясность замерла над землей, над нами? И вот тут-то мы не прозевали, не замешкались, к счастью, а поехали в Плес, куда давно мечталось попасть в осень.

Мой товарищ-фотограф катил за собой тележку с аппаратурой и улыбался в усы, в бороду — про себя. Но я видел, что он улыбался, и тоже не отставал, улыбался. И так мы шли с автостанции под горку, за спиной звякала на камнях тележка, а под горой лежал Плес. Маленький, рассыпчатый, весь в крышах. И небо над нами — пустое, как река. А река пуста, как небо.

И дом отдыха, в котором мы решили поселиться, тоже был пуст. В сопровождении дежурной мы бродили по этажам, выбирая комнату окнами на Волгу, но не совсем застуженную.

Пока мы устраивались, наступила ночь. Окна от нашего дыхания тут же запотели. А за ними — темно. Но я выключаю свет и вижу огни Серкова — села, что стоит на том берегу. А над селом устроились Медведицы — Большая и Малая.

Под окном плесские девицы смеются, курят. Но и это не смущает нашего торжества и наших возвышенных мыслей. Мы не видим, но, выйдя на балкон, слышим, как движется большая река, как эта исподняя глушь вздыхает, и каждый вздох отдается короткими шлепками воды то ли по причалу, то ли по мосткам.

На другой день мы узнали, что причал увезли до весны. Навигация кончилась. Остался на реке только катер по прозвищу «Калоша». Несколько раз в день он не совсем уверенно пересекает остывшую Волгу, переправляя на своей открытой палубе случайных и неслучайных пассажиров. Капитан худ, молчалив и обветрен, как и положено капитану. По «Калоше» сверяют часы те, у кого нет часов.

Нам надо было пойти по плесским музеям, поснимать, поговорить с научными сотрудниками. Но мы что-то все стояли у реки, смотрели, как «Калоша» одолевает ее со старческим тахтаньем. Рядом, на деревянном рыночке, две бабушки продавали творог и три головки чеснока. Когда мы появились, они умолкли и теперь всё глядели на нас.

— Пора купить что-нибудь... — сказал мой товарищ. — А то неудобно: стоим, ничего не покупаем.

Он взял головку чеснока, мне пришлось приобрести полкило творогу.

На катере мы решили позже прокатиться, оставили этот праздник на то время, когда заслужим его. Как только устанем от людей, от разговоров — вот тогда и поедем в Серково. Мы же в командировке, от нас ждут не вздохов, а фактов. И на снимках должна быть не одна лишь заиндевшая трава — вся в белой бахrome, она отходит под солнцем, и днем ее

щиплют козы, — нет, не трава и не козы должны быть на снимках, а что-то серьезное, весомое.

Паутина над нами летит — невесомая-невесомая! — и я кричу своему товарищу: «Володя, улетит, снимай скорее!..» И он догоняет паутину, фотографирует ее в полете и тут же снимает дым от горящих листьев. Дым лениво плывет, чуть застилая солнечный свет. Кошка морщится и покидает забор в таком медленном — сквозь дым и свет — прыжке, что я успеваю поймать ее. И она засыпает у меня на руках. И Володя снимает меня на память с чужой кошкой.

А дела ждут нас, неотложные дела, и командировочные идут, незаметно тратятся. И я думаю об этом. Не хочу расстраивать Володю, но бросаю кошку и говорю: «Пора...» Мы идем в гору. Володя прячет камеру под курткой на груди — чтобы объектив не запотел от холода. И кажется, что там не фотоаппарат, а кошка.

Мы забираемся на гору, и вдруг я узнаю внизу одну крышу, один дом. Я вспоминаю, что мне надо выполнить свое давнее обещание и отнести в этот дом колокольчик. Обычный валдайский колокольчик. Я купил его в Свято-Даниловом монастыре в Москве.

А история с колокольчиком была такая. Это я Володе по дороге рассказываю. Несколько лет назад с женой и дочкой отдыхал в Плесе. В первый же день мы увидели, как по набережной бежит лошадка, запряженная в разноцветную повозку. Возницей была молодая женщина. Лицо у нее было какое-то нездешнее, бледное и тревожное. Повозка катилась мимо нас пустой, но вдруг остановилась:

— Если хотите, я вас прокачу..

Ее звали Ирой. Лошадь — Майкой. Каждый вечер в то время, когда у плесской пристани стоял туристический теплоход, мы встречали на набережной Иру и Майку.

Ира скромно ждала, когда туристы заметят и лошадь, и повозку. Зазывать она не умела. Как-то я сказал, что им не хватает рекламы. Или хотя бы колокольчика.

— А мы мечтаем о колокольчике. Но его здесь негде достать.

— В Москве должны быть колокольчики, я пришлю вам...

Вернувшись в Москву, я долго искал подходящий колокольчик. Попадались керамические, фарфоровые, даже пластмассовые, а настоящих, чтобы под дугой можно было повесить, — таких не было. И вот наконец в лавке у монастыря я увидел то, что искал, — валдайский колокольчик. Не такой большой, какой бы мне хотелось. Колокольчик скорее для жеребенка. Но что делать, и этот был последний.

Собравшись нынче осенью в Плес, я, конечно, захватил колокольчик. Моя дочка его так и называла — колокольчик для Майки. Мы даже сказку про него сочинили.

Конец у сказки был такой: «Долго жила Майка без колокольчика, но вот однажды шел по городу почтальон. Он постучался в окно дома, где жила Майка. Окно открылось, и почтальон сказал: „Распишитесь, вам посылка“. Майка расписалась. И почему-то сразу наступила в Плесе зима. Майку запрягли в сани, и зазвенел под дугой колокольчик...»

Так все и получилось. Только не почтальон, а мы с Володей постучали в дом, и открыла нам не Майка, а Ира, и еще кто-то маленький, заспанный выглянул из комнаты и неожиданно басовито произнес:

— А мне сон приснился...

Потом, когда мы сели пить чай, Никитка рассказал, какой ему сон приснился.

— Лечу, — говорит, — я над нашей улицей, вдруг — мама, слушай! — вижу, какие-то незнакомые мужики к нам идут. Я испугался и упал прямо к нам во двор. Дальше — не помню, проснулся... А вы кто такие?

— А мы вам колокольчик привезли...

Никита бегал по дому и звонил, как на праздник. Вечером Ира и ее муж Федя вышли нас проводить. С горы Левитана, где они живут, Плес вдруг напомнил мне Ялту. Те же огни на узкой набережной. Я сказал об этом вслух, и оказалось, что Ира из Ялты. Она там балериной была. В самодеятельности. А Федя — моряком. Он увидел ее однажды на сцене, и с тех пор они вместе.

— О Ялте есть хорошая песня у Визбора, — сказал Володя, ежась от холода.

— А о Плесе — стихи у Шпаликова, — вспомнил я.

— Тоже совпадение, — заметил Федор.

— Мир тесен, — тихо сказала Ира, и мы попрощались.

Из Серкова возвращалась «Калоша», плыл к нам зеленый огонек. Мы решили подождать, когда катер причалит и бросит мостки. Хотелось как-то продлить этот вечер.

Зеленый огонек, чуть приблизившись к нам, снова стал удаляться. Катер пошел на карьер. Это был обычный его маршрут. Воздух подстывал. Брехали собаки за рекой, на спасательной станции слушали «Маяк», и последние новости долетали до нас по реке бессмысленными обрывками. Мы уловили только обещание снега в средней полосе, но и в это не верилось.

Когда зеленый огонек опять стал приближаться, мы даже обрадовались, будто кого-то ждали с этим катером.

«Калоша» осторожно пристала, бросили мостки, кто-то сошел в сапогах, пролетела в воду искорка папиросы.

— Нет, ребята, завтра приходите. У меня последний рейс был...

Капитан гремел каким-то железом, запирая свое хозяйство. Мы пошли дальше по набережной, ступая в желтый свет от окон и снова окунаясь в темноту. И хорошо было даже в темноте, когда город остался позади, а впереди чернел скалой наш дом отдыха, и дежурная лампа вахтера напоминала, что там жилье, там казенное, но все-таки тепло. Мы говорили об Ире, о Ялте, о пароходах и лошадях — обо всем, о чем могут говорить люди в предвкушении уюта и сна.

Оказавшись в своей комнате, я, не включая света, сел у окна и отчего-то вспомнил о другой ночи. О том, как несколько лет назад, плывя на океанском корабле, я вдруг проснулся, выглянул в иллюминатор, а там ночь непролазная, южная, и только в одном месте брошена горсть огней. И удивительно: пахло почему-то нашей осенью, дачным костром. Тем последним костром, который жгут перед отъездом, когда все вещи уложены и дети отрешенно глядят на слабый огонь и медленный дым, застилающий сад... И долго не мог я оторваться от иллюминатора, от этого знакомого воздуха, от огней на чужом берегу. И думалось мне тогда, что любые огни, встреченные ночью, — они всегда немного свои, родные. Я не знал, где мы плывем, но кто-то надо мной на палубе сказал: «Дарданеллы...»

Утром, глотнув чая, мы с Володей пошли на катер. Плес тонул в тумане. Звякали невидимые ведра, хлопали калитки, кричали петухи. Из тумана вышла жена капитана, взяла с нас за билеты, и вот под нами забухал мотор.

Мы отвалили от берега.



ГРИГОРИЙ КОРИН

*

ХЛЕБОМ И СОЛЮ

* *

*

Перед зеркалом не бреюсь:
На себя ли мне смотреть,
Так стремительно старею,
Больше некуда стареть.

Как она подкралась, старость,
Как внезапно подсекла?
Может быть, перестаралась
Глубь зеркального стекла.

Но взгляну на свет небесный
И забуду о себе.
Страх пред смертью, страх железный
Тает, тает в синеве.

Подвиг жизни бесполезный,
Жалость к собственной судьбе...
Но взгляну на свет небесный —
И забуду о себе.

* *

*

Желтые чаши тюльпанов
Скорбные скрыли дни.
Словно из пепла туманов
Утром взошли они.

Словно приснилось им гетто,
И покидали его
Желтые звезды рассвета
С небом из ничего.

Корин Григорий Александрович родился в городе Радомышле (на Житомирщине) в 1926 году. Фронтовик. Автор нескольких лирических сборников. Живет в Москве. «Его стихи — одна пронзительная и очень беспощадная исповедь» (Б. Окуджав).

* *
*

Не криворука,
Не кривонога,
Все в тебе мука,
Боль и тревога.

Сбиты колеса,
В поле крапива,
Сеешь — все косо,
Строишь — все криво,

Все — не по росту,
Все — не по силам,
Все — на погосты,
Все — по могилам.

А предлагала
Землю и волю —
Ты опоздала
С хлебом и солью.

Нет тебе веры,
Все извела ты —
На револьверы,
На автоматы.

* *
*

Всех прошу вас, Бога ради,
Сохранить мои тетради.

Может, как-нибудь они
В книжные воспрянут дни.

И среди небесной сини
Свет мелькнет мне благостыни,

И слова заговорят,
Став на полке в светлый ряд,

Бьют поклон тебе, прохожий,
Может, встрече будешь рад,
Все же книга — дело Божье.

* *
*

Что делать, милый друг,
Вся жизнь — прообраз смерти.
Известен этот круг,
Скрестились обе тверди.

Извечен их союз —
Идет единоборство.
Я смерти не страшусь,
Страшусь ее упорства.

В храме Успения

Тихое пение,
Вечный покой.

Самозабвением
Дышит мгновение,
Крестной рекой.

К нишам сверкающим,
Оберегающим
Мать Творца —

Взор проникающий,
Свет воскресающий
В скорби лица.

В кипени золота
Выглядит молодо
Тысячи лет.

Вот Богородица
К Сыну воротится,
Близок рассвет.

Синь предрассветная,
Свечечка бедная,
С ноготь, темна.

Спит Богородица,
Пламя колотится
В ямине сна.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ



ПРОСУЩЕСТВУЕТ ЛИ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2004 ГОДА?

Перед судом общественности охранительно-консервативная позиция чаще всего проигрывает спор с реформаторски-прогрессивной: она блекла, невыигрышна, тускла. К чему сводятся основные аргументы консерваторов в несколько лет длящихся спорах о судьбе школьного и высшего образования в нашей стране?

«Советское, а ныне российское образование — лучшее в мире; оно — наш единственный козырь в состязании с другими странами евро-американского мира. Пока существует эта система образования — до тех пор Россия по многим важнейшим параметрам — бесспорный лидер: сколько ни говори об экономике и прочем, а простой традиционный фактор — человеческие мозги — в XXI веке будет значить никак не меньше, чем в предыдущем. А если образования не будет, если дореформируем его до средневропейского уровня — все, конец. В этом случае нам попросту нечего вложить в „копилку” общего будущего (кроме полезных ископаемых, разумеется). Со всеми вытекающими из этой ситуации последствиями. А посему надо это образование хранить и преумножать и на базовые его принципы ни в коем разе не покушаться».

Хранить... преумножать... То есть попросту — учить, как учим. Ну не звучит это, не «играет» на фоне победных призывов к светлому образовательному будущему. Будущее же, как всегда, манит; и манит оно тем же, чем всегда: простотой, доступностью, ясностью. И зов этот не остается неуслышанным: «Введение единого экзамена — единственная реформа, которую поддерживает большинство населения». Этот аргумент чиновников-реформаторов звучит с навязчивой частотой (услышать бы, хоть в десять раз реже, *сущностные* аргументы в пользу реформы...). Что ж, с пропагандистской точки зрения аргумент вроде бы неотразимый: и реформы — дело благое, и глас народа — глас Божий. Истины эти из малость разных (либерального и народнического) катехизисов, но слились они в интеллигентском сознании неразрывно — и кто же сегодня осмелится их отрицать?

Осмелимся, однако, на робкий вопрос: где, когда и какой народ поддержал хоть одну реформу? Народ может, в лучшие свои моменты, поддержать лидера-реформатора — а тем самым, опосредованно, и его курс. Но чтобы вот так, на опросах, заявить: поддерживаю реформу... Спросили бы народного мнения в начале гайдаровских преобразований — и таблички с самыми гуманными в мире ценами до сих пор были бы единственным украшением магазинных прилавков. А посчитались бы с опросами всех просвещенных групп населения ста сорока годами ранее — не было бы и почвы для наших споров: крепостное право на Руси и по сей день не было бы отменено. Есть одна

Сендеров Валерий Анатольевич — математик, педагог, с 70-х годов — постоянный участник проведения московских и российских математических олимпиад. Автор нескольких десятков научных статей в отечественных и зарубежных изданиях, научно-популярных работ в журнале «Квант». Постоянный автор журнала «Новый мир».

единственная реформа, которую огромная часть народа поддержит всегда, с неподдельным энтузиазмом: «Взять бы да поровну все поделить!»

И шариковский этот инстинкт нашел в околобразовательных спорах достойный выход. Большинство опрошиваемых убеждено, что МГУ и прочие ведущие вузы отстаивают приемные экзамены с единственной целью: «кормления» различными незаконными путями собственных преподавателей. «Знаем мы академиком этих. Заливают нам мозги, врут про „науку“ всякую, а у самих одни взятки на уме. А у кого и не взятки — и на тех наплевать: мудрят в каждом институте по-своему, а через это моей Катке ни в жисть никуда не поступить. То ли дело единые тесты: отвечай на вопрос „да“ или „нет“ — чего зря мудрить?» Так выглядит в цензурной адаптации народная поддержка реформы образования.

Есть, впрочем, часть народа, которая поддержки реформе не оказывает: ученые и преподаватели. Первые и вовсе реагируют на реформаторский пыл с непонятной какой-то нервностью. Не устают доказывать: «эксперимент в особо крупных размерах» погубит нашу школу. А порой и вовсе обзовут пламенных прогрессистов «свиньями под дубом». С чего бы это они все так?

Тут у критичного читателя нашей статьи должно возникнуть законное подозрение: правомерно ли мы употребляем слово «все»? Может, идет нормальный заинтересованный спор, высказываются доводы «за», доводы «против» — а мы, ориентируясь на часть мнений, используем некорректный полемический прием?

Нет, никакой спор о реформе между учеными не идет, им ситуация очевидна. Перелистайте любую прессу: популярную, педагогическую, научную, — и вы найдете категоричное утверждение ученых с мировыми именами: реформа образования — катастрофа. Резолюции с таким выводом принимают авторитетнейшие научные советы. Что, казалось бы, могут противопоставить реформаторы мнению научного содружества?

Противопоставляют — вот что. В сентябре прошлого года во многие научные институты был разослан в белых конвертах опубликованный «Независимой газетой» материал «За фасадом демократии», в нем идеи реформы образования и науки сформулированы с максимальной ясностью. Подобные статьи изливаются со страниц этого издания потоками, но программный документ интересен способом распространения: кто они, бескорыстные почтовые энтузиасты? Мы никогда не узнаем этого; как, впрочем, не узнаем и автора. Потому как подписана статья никому ничего не говорящим именем: «Иван Петров, сотрудник Российской академии наук». Из 1100 членов и членов-корреспондентов РАН свою подпись под манифестом не поставил ни один.

Такое единодушие может показаться удивительным; но давайте проведем мысленный эксперимент. Допустим, что в середине 20-х годов общество получило возможность свободно высказаться о грядущей коллективизации, — увя, очень вероятно, что большинство опрошенных высказалось бы «за». И только голоса крестьян звучали бы диссонансом...

Почему же голоса наших «крестьян» не слышны? Выступлений хватает, с ними без труда может познакомиться любой желающий, — но критической массы, могущей повлиять на угрожающую ситуацию, они так и не образовали. Почему? Причин много, мы остановимся на одной из них. Ученые исходят из ретроградной формулы, приведенной нами в начале статьи: любому специалисту она очевидна. А с другой стороны, эту формулу, во всей ее полноте, мало кто решается произнести; причины этого — общественно-психологические. «Советское образование — лучшее в мире», — кто, кроме членов специфической партии, решится сегодня это сказать?

Но пора решаться. Пора освободиться от идеологических клише. Если произносится какое-либо утверждение, то важно лишь одно: верно оно либо нет. Пора перестать мыслить категориями «Вы говорите как имярек!» и «На чью мельницу?». Гитлер построил в Германии хорошие дороги — как бы мы посмотрели на немцев, которые ввиду краха преступного режима ринулись бы дороги ломать?

Приступая к доказательству нашего тезиса, сделаем вначале необходимые оговорки. Наше образование — не лучшее в мире: по некоторым параметрам оно уступает образованию Израиля и Ирана, и у этих стран нам есть чему поучиться. А самое важное: нас обгоняют, и очень скоро обгонят, страны Дальнего Востока, прежде всего Китай. И уж тут о взаимообогащении не может быть и речи: реальной духовной базой образования служат хоть и не напрямую религиозные принципы, но сформированный ими культурный менталитет. А менталитет Дальней Азии от нашего иудео-христианского бесконечно далек — настолько далек, что мы пока не можем и осознать растущей на глазах угрозы. Но эти и многие другие вопросы безграничной темы образования останутся за пределами нашей статьи. Сегодня споры ведутся о приоритетах внутри евроамериканской (к которой принадлежим и мы) образовательной системы; о них и пойдет речь.

Начнем с тесно связанного с нашей темой вопроса об эмиграции. Многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются эмигранты, сводятся в целом к одной: вчерашнему советскому человеку трудно вписаться в европейскую жизнь, стандарты этой жизни — правовые, трудовые, цивилизационные — часто оказываются для уехавших чересчур высоки. Но есть одна категория уезжающих — ученые, они без труда преодолевают планки евроамериканских научных стандартов. Насколько без труда, что именно это и создает сложности — для коренных жителей и для местных властей: выходцы из стран СНГ монополизируют профессорские кафедры. «Мы стали страной, где русские профессора учат китайских студентов», — без особого восторга констатируют в США. Не то чтобы научная и преподавательская работа была сегодня на Западе престижна; но кто-то из коренных жителей претендует и на нее, и далеко не всем приятно видеть конкурентоспособных выходцев из «отсталых» стран. Однако конкурсы на университетские должности все-таки чаще всего объективны — с соответствующим результатом для русских.

«Расхожие басни! Миф!» — возражают нам реформаторы. Что ж, всякий общеизвестный факт вольно объявить мифом: формальной статистики, подтверждающей упомянутый нами факт, действительно не имеется. Но если миф, то неужто совсем уж беспочвенный; и разве не преступление — пренебрежительно отмахиваться от таких «мифов»? Вы сторонники научной точности, вам плевать на то, что знают, кроме вас, абсолютно все? Так что вам стоит, прежде чем ускорять и ускорять уничтожительную реформу, собрать и честно опубликовать представительную выборочную статистику?

Между тем статистика, дающая сравнительную характеристику образования в разных странах, все-таки есть, и мы приведем ее несколько ниже. Но пока коснемся более серьезного, чем упомянутый выше, довода наших оппонентов: «Да, успехи советской науки мы и не отрицаем. Но они в прошлом, все давно изменилось, деградировало, особенно образование». Что ж, формально-логическую проверку этот довод выдерживает, в принципе — могло оказаться и так. Но оказалось ли на самом деле?

Ответить на этот вопрос не так сложно, как кажется: сегодня в мире много международных соревнований школьников и студентов, и их реальным результатом становится сравнение национальных образовательных систем. Разумеется, итоги этих конкурсов не настолько на слуху, как проблемы устройства в эмиграции; но на первые страницы газет итоги эти, однако, попадают, и для их оценки надо лишь взять да перелистать подшивки за последние годы.

Итоги эти разные. То мелькнет майка петербургского студента с надписью по-английски «Абсолютный чемпион» (мира по программированию), то портрет девочки из Днепропетровска, признанной лучшей студенткой Европы. Мелькают также и Белоруссия, и Казахстан: во многих ли областях жизни, кроме образования (да разве что еще спорта), эти страны могут претендовать сегодня на международные призы? И наводят такие фотографии и статьи на грустные размышления. Возможностей для работы у школьников и студентов

городов днепропетровского уровня (библиотечных возможностей, например) несравнимо меньше, чем у их сверстников на Западе. А что будет, если, ничего не реформируя, поступить примитивно: попытаться их этими возможностями снабдить? И несимволическими стипендиями тоже? И поднять (с 800 — 1800 рублей, как сегодня!) зарплаты тем, кто их учит в школе? Президентская концепция: «Не реформа, а модернизация!» — представляется абсолютно точной. Жаль только, что эта концепция — с молчаливого согласия президента же — перечеркнута и забыта.

«Подумаешь, соревнования! Подумаешь, рекорды! Во-первых, ничего они не доказывают. Разве, чтобы заниматься наукой, так уж необходимо побеждать на олимпиадах? А во-вторых, таковы ли в действительности эти результаты? Соревнований действительно много, об одних газеты напишут, о других — нет».

Последнее, конечно, справедливо; но только вот в чем вопрос. Покажите нам состязание — хоть одно! — где итоги распределяются следующим образом. На первых местах стоят страны Европы, как им, цивилизованным, и положено; а ниже (с 6-го, скажем, или с 10-го места) — остальные: мы, прочее СНГ, Азия, Восточная Европа... Покажите — и мы тут же покаемся, мы осознаем, что к высокому европейскому уровню нам нужно смиренно тянуться...

Впрочем, показательная статистика соревнований имеется. Но располагает ею очень узкий круг специалистов, и в суммарном виде — за несколько лет подряд — она никогда не публикуется. Ниже мы приведем ее; но прежде — несколько слов о ее значимости.

Научные состязания молодежи — самый яркий показатель завтрашних интеллектуальных возможностей страны. Конечно, можно достичь любых успехов в науке, в молодости в этих соревнованиях не участвуя. Здравая логика велит не игнорировать другое наблюдение: огромный процент победителей таких состязаний — будущие серьезные ученые разного (в частности, и самого высокого) уровня. Но система обучения, воспитывающая их, воспитывает и их многочисленных одноклассников с теми же или близкими будущими возможностями. Так что, рассматривая сегодняшних чемпионов как завтрашних ученых, надо, конечно, что-то «вычесть», а зато оставшееся после вычитания «умножить» на довольно большой коэффициент.

Связь между соревнованиями и наукой теснейшая, приведем один иллюстрирующий пример. Несколько лет назад мир был обеспокоен сообщениями: Иран приступил к созданию ядерного оружия. И на проверку этих сообщений были истрачены, можно полагать, многие миллионы долларов. А специалисты по олимпиадам только пожимали плечами: они видели, что одновременно с этими сообщениями команда иранских школьников «прыгнула» на международных олимпиадах по физике из второй десятки на первые места. И это — несомненное доказательство «прыжка» науки в стране, лучшего не надо...

Но приведем наконец обещанную статистику. Речь пойдет о Международной математической олимпиаде, которая проводится уже несколько десятилетий и предъявляет к участникам классические, опробованные требования: школьники решают задачи, то есть делают то, чем многим из них придется заниматься всю жизнь. Задачи эти год от года усложняются — такова логика развития олимпиад. Вот командные результаты за последние три года: первые десять мест — с указанием очков, набранных первыми тремя командами.

1999 год. 1 — 2. Россия (182). 1 — 2. Китай (182). 3. Вьетнам (177). 4. Румыния. 5. Болгария. 6. Белоруссия. 7. Южная Корея. 8. Иран. 9. Тайвань. 10. США.

2000 год. 1. Китай (218). 2. Россия (215). 3. США (184). 4. Южная Корея. 5. Вьетнам. 6. Болгария. 7. Белоруссия. 8. Тайвань. 9. Венгрия. 10. Иран.

2001 год. 1. Китай (225). 2 — 3. Россия (196). 2 — 3. США (196). 4 — 5. Болгария. 4 — 5. Южная Корея. 6. Казахстан. 7. Индия. 8. Украина. 9. Тайвань. 10. Вьетнам.

Эти результаты могут несколько скорректировать наши представления о странах-лидерах завтрашнего дня. А на вопрос о нашей конкуренции с Европой они отвечают молчаливо. И если бы мы выписали первую двадчатку команд — ответ был бы почти такой же: нашли бы мы в ней лишь Германию (неизменно) да Великобританию (двадцатое место в 1999 году). Это всё.

Особый вопрос — о США: если нам посчастливится дореформироваться до этой страны, а не до Европы, наши показатели понизятся не очень сильно. Но только не посчастливится: убойная американизация образования, как, впрочем, и многих иных сторон жизни, опасней для ее верных адептов и последователей, чем для самих США. За океаном действует много факторов, которых у европейцев (а у России — в особенности) нет и в помине. Например, чтобы вспомнить, кто едет в США, достаточно посмотреть на приведенные выше таблицы. Вот отсюда как раз и едут. И федеральную иммиграционную политику американских властей трудно не назвать мудрой: они вынуждены считаться с настроениями избирателя, но неуклонно при этом делают свое дело. Все знают, как заманивают они наших физиков; но мало кто обращает внимание на скромные объявления в журнале «Математика в школе»: «Учителя, владеющие английским языком, приглашаются на работу в США». Впрочем, тот, кому эти объявления адресованы, их увидит... Америка может делать сногшибательные глупости, но своими национальными интересами она дорожит; и у нее-то всегда хватит энергии и денег эти глупости исправить.

К слову, о сногшибательных глупостях. Школьная реформа была проведена в США в 1989 году, основной упор был сделан на физику: по знанию этой науки школьниками Америка планировала выйти к концу XX века на 1 — 2 место в мире. Второе место она и заняла — только вот второе с конца. Оно же 39-е, если считать от начала таблицы. Таков оказался итог «Международного обследования преподавания математики и естественных наук», проведенного американцами же в сорока странах.

А после публикации материалов обследования в США была создана специальная комиссия Сената («комиссия Джона Гленна»), ее доклад недавно опубликован, название: «Пока не поздно!» Комиссия предложила выделить в первый же год только на переподготовку и обучение преподавателей свыше пяти миллиардов долларов. И вопрос (для нас!) отнюдь не в том, осилит ли американский бюджет это предложение в полном объеме...

Передовые идеи наших реформаторов совпадают с американскими. Да только не сегодняшними, а теми, образца 1989 года.

Положение в западном образовании нельзя оценить однозначно. Есть США — огромная страна с многообразием жизненных укладов в ней. Стандартизовать эту страну по шаблонам ее идеологов — теоретиков безоблачного и бездумного «постисторического» бытия — сложнее, чем десятки небольших стран остального мира. Есть Германия, ее консервативные традиции — заметный противовес модному ражу (также и в другом: в программах по литературе, в языковой реформе; не впервые в истории немецкие проблемы сходны с нашими). А есть — торжественная поступь к пропасти, полной, безнадежной и окончательной. Но сам Запад эту поступь пока еще склонен подчас замедлять, мы же все больше склоняемся к победному, но последнему рывку. Нынешняя реформа — не переём того, что есть в разных странах Запада ценного; она всего лишь обезьянья гримаса сегодняшней западной идеологии.

Впрочем, предварим наши обобщающие суждения рассмотрением еще нескольких фактов: материалы, выдержки из которых мы привели, отвечают не только на вопрос «Как мы учимся?». Но и на вопрос «Как мы учим?» тоже. На международных олимпиадах задачи отбираются из большого списка, предложенного представителями разных стран. Вначале составляется шорт-лист приблизительно из тридцати задач (это первая стадия отбора), потом из них отбирается шесть лучших, они-то и предлагаются школьникам на олимпиаде. И обычно страна-хозяин (то есть та, в которой проводится олимпиада) тщательно следит, чтобы представительство одной страны (как в шорт-листе, так и в

окончательном списке) не было особо ярким. Дабы никого не обидеть: мультикультурность, политкорректность. Но в 2000 году олимпиада проходила в Южной Корее, и то ли хозяева про политкорректность забыли, то ли просто плюнули на нее: шорт-лист составляли не глядя на подписи под задачами. В итоге из шести предложенных Россией задач в число двадцати семи лучших попали все шесть, а три из них попали и в окончательную шестерку. Остальные три задачи дали Белоруссия, Венгрия и США.

Сегодня судьба образования в России трагична: уже одно то, как ведутся споры, рождает мысль о возможной скорой его гибели. Одни беззастенчиво лгут, другие соглашаются с ними — по легкомыслию или незнанию. Третьи пытаются его защитить, но делают это смущенно и робко. И в результате откровенная чушь часто остается непровергнутой и постепенно возводится в ранг очевидной истины. Вот один из мифов: «Олимпиады — занятие для немногих, крупные успехи — удел элиты, избранных московских и петербургских школ; а остальные...» Звучит это правдоподобно, но никакого отношения к реальности не имеет. Большинство школьников действительно ничего не знают, это в любой стране так; от места, времени, способа обучения этот всеобщий факт никак не зависит, и ежели кто желает из гуманитарных побуждений по сему поводу сокрушаться — вольному воля. Все, что может и обязано предоставить образование, — это возможности развития: где бы ты ни жил, ты должен иметь доступ к необходимым книгам, возможность решать интересные задачи, ставить лабораторные опыты. Проявишь интерес и способности — дело образовательной системы тащить тебя вверх; а не проявишь — это ведь тоже твое право: тогда вызубривай, как оруэлловская лошадь, первые две буквы алфавита.

Предоставлять хорошие возможности жителям городов, которые не всегда легко отыскать на карте, — кажется, такая задача не может быть по силам образованию в сегодняшней России? Но в число наших «образовательных столиц» входят, часто не уступая Москве и Санкт-Петербургу, Белорецк, Иваново, Казань, Вятка, Кострома, Рыбинск, Челябинск... И никого не удивляет, когда поставщиком сильных школьников оказывается такой город, как Снежинск или Петровск-Забайкальский. Развитость таких городов не наследственна для нашего образования, она — явление новой России. Прежде наиболее сильных школьников свозили в Москву, Ленинград и Новосибирск и обучали в университетских школах-интернатах. Эти интернаты были нацелены исключительно на провинцию, долгое время они не имели права принимать школьников даже из областных университетских городов: с этими детьми могли работать и по месту их проживания. Школы-интернаты существуют и сегодня, но роль их уже далеко не та, что лет двадцать назад. Зато возникли новые обстоятельства. В нашей богатейшей стране и в маленьком городе нередко появляются серьезные предприниматели, бизнесмены; а готового ответа на простой вопрос «Где я буду учить своих детей?» в таком городе нет. Ответ появляется, когда традиционный для наших широт фактор (наличие талантливых учителей) сочетается с весьма нетрадиционным (наличие богатого мецената). Российское образование живет, развивается; оно *модернизируется*, реализует себя в новых исторических условиях. *Пока* — это так.

Надвигающуюся реформу обычно называют непродуманной. Но главная беда не в уникальной халтурности предлагаемых нам решений, учебников и разработок: реформа *глубоко продумана* в главном существе своем. Говоря точнее, она базируется на идеологических принципах, хотя исторически и новых, но уже тщательно разработанных, нашедших свое выражение в солидных теоретических трудах. Речь идет не о заговоре против России, все гораздо проще. «Мы живем хорошо и правильно; а то, что хорошо для нас, тем более великолепно для всего остального мира» — этот трогательный евро-американский принцип непровержим. «Мы обустроиваем мир по своему образу и подобию; мы даем им много денег, чтобы они жили хорошо, то есть — были похожи на

нас. Мы делаем доброе дело. Но от него лучше и нам самим: когда все будут такими, как мы, весь мир станет наконец безоблачным и счастливым»...

Нехорошие люди полагают, что реформаторы просто отработывают щедрые гранты, выделенные в рамках этой идеологии на «улучшение образования в России». Мы же, напротив, убеждены: чиновники начитались Фукуямы, они действуют абсолютно бескорыстно и глубоко идейно. А ежели грант дают, так ведь не откажешься: неловко добрых людей обижать.

Превосходство российского образования над западным с наивной точки зрения объяснить невозможно. Рассмотрим такую модель: сидят за партами два школьника, обоим дают задачи, книги. Говорят, что читать и думать хорошо, а не делать этого дурно (ведь, наверное, так? ведь образование просто не может строиться по-другому?). И вот успехи одного оказываются неизмеримо выше, чем другого, — в зависимости от его места жительства.

Картина, конечно, бредовая: так быть не может. Но где ошибка в нашей модели, что в ней — не так?

Вот один случай. Наши учителя были в нескольких западных странах по обмену. Они присутствовали там на уроках, и везде на полчаса давалось задание, с которым любой ученик справлялся за двадцать минут. Дети смотрели в потолок, все они смертельно скучали. Кажется, почему не дать новое задание тем, кто зевает вот уже десять минут? Один из наших не выдержал, так и спросил: «Скажите, а у вас может кто-нибудь решить лучше других, выделить-ся?» Ответ поразил приезжих своею гордостью: «Выделиться? Никогда!»

А может, все такие истории — анекдоты, отдельные случаи: мало ли в любой стране не идеально умных людей? Но вот недавно американский психолог А. Эриксон и английские Д. Слобода и М. Хау сделали сенсационное открытие: понятие таланта — выдумка, вздор. Все люди одинаковы, вложите свои силы в «deliberate practice», и весь мир ваш: побивайте спортивные рекорды, музицируйте, делайте великие открытия — не хуже других! Такая вот политкорректная современная теория...

А в итоге западным школьникам и студентам трудно отказать в прирожденной гениальности: если уж они при *такой обработке* хоть о чем-то думают, хоть что-то читают...

Протестантская этика сейчас у нас в моде, суть этой моды проста: «Настройтесь, как они, работайте, как они — и будете жить, как они». И в обманчивой этой ясности происходит смешение разных понятий, разных эпох. Героически настроенные «они» жили отнюдь не комфортабельно: осваивали пустынные земли, воевали, строили примитивные поселки — с фундамента, с нуля. «Мой Бог, моя нравственность, мой труд!» — это выглядело величественно. Но ориентировано было все это на земную жизнь, на земной успех, а для этого успеха Бог лишь временно необходим. Вот успех достигнут, и потомок первопроходца расслабленно выбирает, какую новую марку авто, телевизора, компьютера ему предпочесть. Что нужно для счастья его сыну — биться, рваться, мучительно над чем-то размышлять? Но от всего этого лишь вред здоровью, а нужно другое: *чтобы никто не был лучше, чем он*. Ну да, есть яйцеголовые в своих университетах, но глаза они каждый день не мозолят, да и сколько долларов стоит каждый из них? А чтобы очкарик в классе решал задачи лучше, чем мой сын?!

Интересно бывает поговорить с апологетами западного образования. «Они реализуют себя по-другому» — такой ответ всегда слышишь на вопрос о судьбе фундаментальных знаний в европейской школе. Воистину по-другому. В этом вопросе у нас с реформаторами разногласий нет.

Наша школа всегда держалась на преподавании литературы, русского языка, математики, физики. «Первым делом — понижается уровень образования, наук и талантов», — как формулировал базовые принципы реформатор Шигаев. Но резкое уменьшение объема математики и физики в таком виде, как оно задумано, будет означать на практике полное уничтожение их (а реформу преподавания русского языка следует, быть может, считать уже осуществлен-

ной). Намечены же на место фундаментального образования — экономика, право, английский, компьютеры, так записано в «Стратегии модернизации...». Ясно, что при такой «модернизации» речь в действительности идет о полном сломе: на место школы базовых знаний ставится «школа жизни».

Но ставится ли в самом деле? Обучение компьютерам при одновременном выбивании из-под обучаемого логико-математической базы — это труд, превращающий человека в обезьяну. И такая обезьяна даже не сможет заработать на свежий банан, она никому в мире не нужна. Наши программисты далеко не всегда так уж хорошо «обучены компьютерам», а высоко ценятся они в мире за хорошо тренированную голову и прочное знание фундаментальных основ.

Экономика, право? Но какие учебники могут воспитать основы правосознания или экономическую культуру? Такие учебники полезны как шлифовка, если фундаментальные правовые и экономические знания дает окружающая жизнь. Если она воспитывает уважение к закону как таковому, то остается лишь узнать, в чем состоят конкретные законы. Если ты вписан в стабильную экономическую реальность, учебник даст тебе сформулированное, рациональное представление о ней. Ясно, что у нас такого завершающего значения эти предметы иметь не могут: нечего завершать. Чему прежде учить в обществе, убежденном в своем моральном праве не платить налоги, — экономике или праву?

Замена же в числе приоритетов русского языка английским не только неприлична, она прежде всего бессмысленна: к возможностям выучить примитивный «прикладной» английский, имеющимся сегодня, школа ничего добавить не может. К иностранным языкам в школе всегда относились серьезно, но желающие их знать все равно учили их дополнительно. Сейчас такие возможности резко возросли, а никаких шансов на улучшение преподавания в школе реформа не дает. Кроме лозунга «Даешь английский!».

В активе реформы — два-три новых полезных предмета, никакого гармоничного целого в российской школе они образовать не могут. В пассиве — полное уничтожение уникального фундаментального образования. Не дорого-вато ли?

Все сказанное нами вовсе не является спором с реформаторами. Ибо для спора нужна общая основа, общая база. А ее нет: глубинные принципы, на которых основана идеология реформы, нашему традиционному подходу к образованию чужды. И, если называть вещи своими именами, — глубоко враждебны.

Но именно эта враждебность подчас психологически и провоцирует... защиту реформы. Принять или отвергнуть эту реформу? Принять или отвергнуть сегодняшнюю западную парадигму? Это, по существу, один и тот же вопрос. «Но... как же так? Все, что есть на Западе, нам подходит: свободы, демократия, либеральная экономика. А значит, и их система образования нам просто не может не подойти. Или мы опять на какой-то свой „особый путь“ лезем?» Такой пафос слышится во многих письмах в газеты, простодушная тревога: но ведь вестернизация не может быть столь плоха?

Может. Повторим еще раз главное: речь идет вовсе не об основополагающих принципах западного мира. Наше смирение перед ними должно быть много больше, чем полагают вестернизаторы: мы должны изучить и воспринять то, на чем основался евро-американский мир много веков назад. Равенство людей перед Создателем — и соответственное этому равенству устройство земного государства; свобода человека как сына Божия, как Божий дар ему... Они сформулировали и в чем-то воплотили эти принципы уже несколько веков назад, мы же — на все эти века отстали. Ничего не поделаешь — нужно учиться, нужно догонять.

Но сегодняшняя идеология Запада — предательство, отказ, откат. К безликой одинаковости, к светлому будущему, к расслабленности и агрессивному самодовольствию.

Я помню случаи, когда два немецких профессора начали искать в своем городе талантливых школьников, заниматься с ними. Успехи были быстрыми и внушительными; кто знает — может, некоторые из этих ребят стали бы гроз-

ными конкурентами своих сверстников из России. Но не довелось им: их учителей-профессоров заклевали. Смотрели на них все более косо. Поиск элиты, воспитание ее? Вот чем эти мракобесы занимаются! А вы что — забыли, чем эти элитарные штучки пахнут?!

Вот так, а против общества не попрешь. Свободное общество — это тебе не презренное тоталитарное государство: с какой моральной позиции ему противостоять?

Самое же выразительное представление об образовании будущего дает сверхоткрытие его, его апофеоз: тестовая система «проверки знаний». Система эта победно шествует по миру. Хотя и случаются порой непредвиденные казусы.

Придя сдавать вступительные экзамены на факультет права Университета Рио-де-Жанейро, сеньор Северино да Сильва зачеркнул в вариантах ответов вступительного теста две первые буквы алфавита: А и В. За проявленные познания кандидат в студенты удостоился одного из самых высоких рейтингов, от последующего письменного экзамена он был освобожден. Все шло замечательно, было очевидно: одним блестящим правоведом в Бразилии скоро будет больше; но нечаянно выяснилось, что никакой третьей буквы сеньор Северино просто не знает. После чего в бразильской прессе развернулась острая и содержательная дискуссия: следует или не следует читать перед лошадью со Скотского Хутора лекции о премудростях юстиниановского права.

А вот другая история, уже не из патриархальной Бразилии, а из самой цитадели прогресса. На официальном американском экзамене студентам была предложена такая «задача»: «Что из нижеследующего больше всего походит на соотношение между углом и градусом: а) время и час; б) молоко и кварта; 3) площадь и квадратный дюйм?»

Ответ гласил: площадь и квадратный дюйм, так как градус — минимальная единица угла, квадратный дюйм — площади, в то время как час делится еще и на минуты.

Можно ли решить такую «задачу»? «Безусловно, — объяснил нью-йоркский профессор Джо Бирман. — Для меня как для американца „правильное” решение совершенно очевидно: я точно представляю себе степень идиотизма составителей этих „задач”».

Первый из грустных анекдотов нам сообщили респектабельные «Известия», а второй — один из крупнейших российских математиков Владимир Арнольд.

Из всего сказанного ясно, почему мы не хотим, не будем обсуждать «преимущества и недостатки» новой системы образования всерьез. Доказывать, что тестовые камлания не вполне способствуют идеальному отбору завтрашних специалистов? не выполняют нужных задач? Да нет же, *свои* задачи они выполняют прекрасно: победительно плюют на творческий субъективизм отбиравших себе вчера смену ученых. Будущее наступает на нас под всемирный рев восторжествовавшего хама: «Все одинаковые, всех обезличить, всех уравнивать!»

Именно образование стало во всем мире полем для завершающего эксперимента, для постисторического беснования, для последней пробы сил. Принять или не принять нам это беснование? Ровно об этом — и ни о чем ином — идет ныне речь.

МАКСИМ КРОНГАУЗ



А БЫЛ ЛИ КРИЗИС?

Проблема номер один

Несколько лет бесконечных и довольно бесполезных разговоров о кризисе образования завершились весьма неожиданно. В самом начале осени 2001 года образование в нашей стране было объявлено проблемой номер один. Однако эти слова президента России вместо того, чтобы стать кульминацией, по сути, оказались концовкой истории. На смену бурным дебатам как-то почти бесшумно пришло постановление правительства, фактически утвердившее, правда, не реформу, о которой столько говорили, а модернизацию образования. А проблемой номер один надолго стал терроризм.

Таким образом, все разговоры и споры о кризисе образования завершились.

Так что на сегодняшний день обсуждать, по существу, нечего. Во-первых, замена слова «реформа» на слово «модернизация» означает, что с образованием у нас более или менее все в порядке. Несложный лингвистический анализ показывает, что слово «реформа» скорее страшит, а «модернизация» скорее успокаивает. Очевидно, что резкие движения в нашем обществе ныне не модны. Реформы как бы проведены, и их время уходит. Кроме психотерапевтического эта игра словами имеет и еще один эффект: «модернизация» подразумевает медленный и растянутый процесс. Самые пугающие моменты, а именно — единый экзамен и переход на двенадцатилетнее образование, будут осуществлены не сразу, а позднее. Пока же они вводятся в виде эксперимента.

Во-вторых, и это главное: все уже решено. Даже зарплаты учителям увеличены в два раза. Так что обратно пути нет.

И все-таки мучит роковой вопрос. А был ли кризис? Или померещилось?

Надо сказать, что дальнейшие размышления о нашем сегодняшнем образовании не претендуют на конструктивность. Беда в том, что любая идея, даже замечательная, оказывается в России неконструктивной по очень простой причине: ее успешность зависит в большей степени не от ее внутренних качеств, а от способов ее реализации на просторах нашей необъятной родины. По-видимому, именно необъятность оказывается здесь решающим фактором. Что хорошо в одной школе или в одном городе и даже в какой-нибудь одной стране, скажем Швейцарии (вечном европейском эталоне), никак не подходит для целой России, где по мере осуществления искажается до неузнаваемости или до полной своей противоположности.

Именно поэтому обсуждение предстоящих в образовании реформ часто сводится к обсуждению возможных злоупотреблений. Говоря о едином экзамене, призванном заменить вступительные экзамены и соответственно устранить систему скрытых (репетиторство) и обычных взяток, рассуждают прежде всего о том, куда эта система переместится.

Кронгауз Максим Анисимович — профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка, директор Института лингвистики РГГУ. Автор научных монографий и многочисленных публикаций в периодических и интернет-изданиях. См., в частности, его статью «Жить по „правилам“, или Право на старописание» («Новый мир», 2001, № 8).

Что такое образование

Легкость и привычность разговоров о кризисе образования в современной России позволяют забыть об очень простой, но, к сожалению, нерешенной проблеме. С удовольствием обсуждаются причины кризиса или пути выхода из него, но почти никогда не говорится о том, в чем же, собственно, этот кризис состоит.

Прежде всего следует сказать о том, что само слово «образование» имеет по крайней мере два значения. С одной стороны, оно обозначает процесс усвоения знаний и его результат; с другой — называет некие государственные или частные структуры (школы, университеты, министерство и прочее), процесс, происходящий в их рамках, и результат этого процесса. Образование во втором смысле венчает некоторый документ, удостоверяющий процесс: аттестат или диплом. Принципиальная разница между двумя «образованиями» очевидна. Так, образованным человеком можно стать вопреки школе или университету (или, например, не учась в них), а окончив университет (то есть получив образование во втором смысле), напротив, вполне можно остаться человеком необразованным.

Именно из этой двусмысленности слова «образование» вытекает первая проблема: какое из этих образований находится в кризисе? Ее решение облегчается тем фактом, что в кризисе, по-видимому, находится образование в обоих смыслах, но кризисы эти принципиально различны, хотя и связаны между собой.

Кризис образования в первом и, по-видимому, все-таки основном смысле заключается в отношении к нему общества. То, что я буду говорить дальше, едва ли можно доказать, а поэтому совершенно субъективно. Кажется, что образованность стала значительно менее уважаема обществом в целом и, что самое интересное и одновременно печальное, даже той частью общества, которую можно было бы назвать образованной. Говоря современным языком, образованность сейчас значительно менее престижна, чем раньше. Это совершенно естественно, поскольку сейчас необычайно интенсивно меняются условия жизни, социальные идеалы и критерии, по которым общество оценивает людей.

Образование — это накопление не просто любых знаний, а именно тех, которые признаются обществом ценными. И вот похоже на то, что наше общество растерялось и не знает, какие знания признавать ценными.

Прежде чем говорить об этом, следует все же сказать об образовании во втором смысле слова, что проще, потому что здесь все упирается в деньги.

Money, money, money...

Кризис государственных образовательных структур связан прежде всего с финансовыми причинами. Недостаточное финансирование и как следствие низкие зарплаты школьных учителей и университетских преподавателей приводят к естественному оттоку кадров и падению престижа педагогических профессий. Кто-то уезжает за границу, кто-то уходит в другие специальности, кто-то работает в десяти местах, что тоже не способствует качественному преподаванию. Ситуация настолько привычная для общества в целом, что обсуждать ее даже как-то неинтересно. В науке — кризис, в медицине — кризис, в промышленности — кризис. Этак у нас везде, куда ни кинь, кризис.

По-видимому, нынешняя ситуация в образовании больше всего напоминает сегодняшнюю же ситуацию в медицине. Во-первых, возникают частные заведения, во-вторых, государственные начинают законно или незаконно «дофинансироваться» сами.

Существует некоторое количество частных платных школ и университетов. Я специально написал «некоторое количество», потому что не берусь судить о том, много это или мало. Оптимальное количественное соотношение государственных и частных структур выработается, по-видимому, в результате обыч-

ной конкуренции. Интересно другое: в целом соотношение качества обучения между частными и государственными школами, с одной стороны, и университетами — с другой, прямо противоположное.

Платные частные школы, как правило, обеспечивают высокий уровень образования и по многим параметрам превосходят государственные. Речь идет об устойчивой тенденции, что, конечно, не означает отсутствия хороших государственных школ и хороших учителей с госзарплатой. Напротив, частные университеты в массе своей так и не достигли уровня государственных и не вызвали реального оттока преподавателей. Для большинства работа в частных университетах стала второй или третьей, то есть, по существу, приработком. Университетские преподаватели не рискуют переходить в частные вузы.

Объяснение этому лежит на поверхности. Во-первых, создать полноценный вуз все-таки сложнее, чем школу. Во-вторых, в школе родители готовы платить именно за качество образования плюс дополнительные дисциплины и условия обучения. В университет же родители бывают готовы записать свое чадо только за диплом («корочки»), или ради спасения от армии, или, на худой конец, просто чтобы не болтался без дела. И следовательно, готовы платить именно за это, а не за образование.

Тем не менее, как уже сказано, проблема отсутствия денег в образовании решается как бы сама собой (правда, пожалуй, только в крупных городах, где есть конкуренция образовательных услуг и где образование фактически становится товаром). Как с позиции отдельного учебного заведения (платные услуги, спонсорство, подношения и т. д.), так и с позиции отдельного преподавателя (совместительство, репетиторство, взятки и т. д.). Иначе говоря, наше нищее образование научилось зарабатывать само, без помощи государства. К сожалению, не всегда законно. Естественно, что такое положение дел не может устраивать наше государство, неумолимо движущееся в направлении «диктатуры закона». И слава Богу. Только решать эту проблему с государственной точки зрения можно по-разному. Государство могло легализовать и использовать денежные потоки, то есть предложить родителям, если они готовы (а готовы они скорее всего в Москве, Петербурге и других больших городах), платить легально. Это, безусловно, привело бы к расслоению и учебных заведений, и преподавателей, и учащихся, то есть, возможно, справедливому, но неравенству. И государство пошло другим путем. Более длительным и плавным, однако небезнадёжным.

По поводу финансирования по существу решено, что оно будет бюджетным, и даже называются конкретные единовременные и ежегодные суммы. Правда, сами по себе эти суммы мало что говорят обычному человеку, участнику этого самого процесса. Его интересует прежде всего, на сколько увеличится зарплата школьного учителя и университетского преподавателя. На сегодняшний день она поднялась в два раза. Много это или мало? С точки зрения государства, по-видимому, много или даже очень много. Но с точки зрения учителя — безусловно мало. Если он вместо тысячи начал получать две, то это почти ничего не изменило в его жизни. Он все равно должен подрабатывать вне школы, а точнее говоря, зарабатывать себе на жизнь другим способом. Например, чтобы не уходить далеко от основной профессии — давать уроки. А это означает, что достаточно большие деньги, фактически направляемые в образование непосредственно из карманов родителей, так и будут идти мимо государства и независимо от него.

Любопытно, что по поводу увеличения финансирования существует два практически противоположных мнения. Одни считают, что достаточно влить в образование большие деньги — и все пойдет хорошо само собой. Другие утверждают, что человек хорошо работает не за деньги. И сколько ему ни плати, лучше работать он не станет. На мой взгляд, и те и другие правы только наполовину, а следовательно, не правы.

Первые не правы потому, что, если просто поднять зарплаты и превратить школьные здания в дворцы, оснащенные современной техникой, никто лучше

учить не станет. Потому что нынешнюю систему нужно реформировать (или, на худой конец, модернизировать) и с содержательной, и с социальной точек зрения. По существу, первые не правы потому, что правы вторые. Которые в свою очередь тоже не правы. Прибавка в зарплате, но только очень существенная прибавка, даст возможность отказаться от дополнительного «внеклассного» заработка, и тогда преподаватель хотя бы перестанет напоминать загнанную лошадь. Кроме того, именно зарплата может поднять упавший престиж профессии, а это значит, что в преподаватели пойдут молодые люди, возрастет (точнее сказать, возникнет) конкуренция за право быть учителем, что должно привести к качественным улучшениям если не преподавания, то хотя бы преподавательского состава.

Повторю только, что все сказанное подразумевает существенную прибавку, а ее, похоже, как раз и не будет. Уточнить, что такое «существенная» прибавка, я не возьмусь, поскольку это зависит от внешних условий. Речь идет о соизмеримости зарплаты учителя не только с прожиточным минимумом, но и с зарплатами, обычными для других профессий. Совершенно ясно, что учитель не может и никогда не будет получать больше бизнесмена, но вот что касается его секретарши, это уже вопрос. Причем речь не идет о сверхквалифицированных секретаршах. Сейчас в Москве, окончив школу, можно устроиться на работу секретаршей или ассистентом менеджера с зарплатой от 200 до 500 долларов. Если учитель получает меньше, то проблему поднятия престижа можно считать закрытой. Наверное, в каком-нибудь маленьком городке ситуация иная. Государство должно обеспечивать формальное равенство зарплат педагогам, что, по существу, приводит к неравенству, потому что доплаты из местного бюджета дела конечно же не поправят. А поправить это способны только родители, которые в Москве готовы и могут вкладывать в образование своих детей больше, чем в провинции. И более того, вкладывают, но только нелегально.

Есть еще одно важное следствие дополнительного бюджетного финансирования. Тот, кто платит, имеет право требовать и управлять. Исключительное бюджетное финансирование, естественно, означает исключительную роль государства в образовательном процессе. Легализация же денег, которые можно условно назвать «родительскими», означала бы увеличение роли родителей и определенную конкуренцию между школами. Таким образом, государство предпочло свою собственную ведущую роль большему и скорее всего более справедливому финансированию образования.

Способ финансирования образования, который выбрало государство, на самом деле означает следующее. Материальное положение преподавателей и учебных заведений будет улучшаться постепенно и только в том случае, если в стране все будет хорошо (будут собираться налоги, будет расти бюджет и т. д.). Поэтому надежда есть, жаль, что перспектива уж очень не близкая.

Бесполезные знания

Кризис образования в целом (а не образовательных учреждений, о которых шла речь) связан, вообще говоря, не с деньгами, или не только с деньгами.

Одной из основных его причин является нестабильность общества. И суть далеко не в тех социальных, идеологических и политических изменениях, которые происходят именно в нашем российском обществе, а скорее в том, что мы (уже не россияне, а просто люди) вообще слабо представляем, как будет устроен мир даже в самом ближайшем будущем.

Именно поэтому на смену мучительным вопросам *как учить?* и *чему учить?* пришел не менее мучительный — *зачем учить?* Но вопрос этот имеет еще и оборотную сторону: *зачем учиться?* И когда современные дети адресуют этот вопрос современному взрослому, у последних нет на него внятного ответа. И действительно, преуспеть в современном обществе вполне можно и без образования, по крайней мере без образования в классическом понимании этого

слова. Даже для куда более стабильной Америки журнал «Форбс» постоянно указывает шокирующие цифры — количество миллиардеров, не получивших высшего образования.

Вот один весьма характерный пример. Сын преподавателя университета был выгнан из школы за неуспеваемость, с трудом закончил экстернат, не стал поступать в высшее учебное заведение, а устроился на работу веб-дизайнером (профессия, которой он овладел самостоятельно). В результате он более чем доволен творческой стороной работы, а его зарплата превышает родительскую раз в восемь. Причины такой вроде бы диспропорции очевидны: возникновение новых профессий, которым просто еще не учат в учебных заведениях, но которые востребованы обществом. Таких новых профессий сейчас довольно много. Достаточно вспомнить слова, которых еще недавно не было в русском языке, и потому их произнесение требует определенного лингвистического мужества: кроме веб-дизайнера есть еще веб-мастер, сейлз-менеджер, пиарщик и многое другое. К тому же сам факт самостоятельного овладения профессией или овладения профессией в процессе работы, а никак не учебы — вещь вообще чрезвычайно распространенная.

На это можно взглянуть и с другой стороны. Какие, собственно, «полезные» знания и навыки мы получаем в школе и институте? Полезные — с точки зрения будущей работы и жизни вообще?

Кажется, что из навыков и знаний, полученных в школе, в дальнейшем обычно используется умение читать и писать. Раньше еще к ним можно было отнести и умение считать, но сейчас его отсутствие вполне компенсирует калькулятор. Короче говоря, можно неплохо прожить, умея считать в пределах сотни, но этому учатся в магазинах, а не в школе.

О пользе знания можно говорить только тогда, когда точно известно, кого мы хотим воспитать. Если, скажем, чемпиона мира по шахматам или по фигурному катанию, скрипача или математика, то тогда более или менее ясно, чему учить. Но если признавать свободу воли и возможность выявления таланта в процессе учебы, то учить надо всему и ничему. Точнее, надо давать разные возможности, намечать разные пути, по которым пойдет или не пойдет ученик.

Такая точка зрения кажется циничной. А как же высокие знания о культуре, о литературе, об устройстве мира? А никак. Те знания о литературе и прочем, которые получил, например, я, никоим образом не связаны с обучением в школе. А как устроен мир с точки зрения различных наук, я успел забыть. Ну не помню я почти ничего из школьной химии, кроме, может быть, сочетания «таблица Менделеева» и еще чего-то подобного. А кто-то точно так же забыл целиком курс «История мировой культуры». Страшно ли это? Да, наверно, мы неприятно поежимся, если наш собеседник, к примеру, не знает фамилий Фета или Бойля или, скажем, как называется столица Чили (кстати, вы-то помните, как?), испуганно вздрогнем, если он не помнит, кто такие Шекспир, Эйнштейн и так далее. И все-таки — неужели мы знаем имена Шекспира или Эйнштейна только потому, что проходили их в школе? Абсурд. Эти имена встроены в культуру и повторяются чаще, чем другие. Мы запоминаем их из жизни, а не из школы. А если только из школы, то Фет — это в лучшем случае «русский поэт» и больше ничего, а Бойль так вообще «нечто из физики» — то ли автор какого-то закона, то ли первая часть фамилии этого автора. Ценно ли это знание? Нужно ли его передавать из поколения в поколение? Может быть — да.

Но, по-видимому, вполне можно прожить и без такого знания. В любом случае набор так называемых базовых знаний можно сообщить за год-два, и для этого никак не нужно держать детей в школе одиннадцать и тем более двенадцать лет. Более того, и за пять университетских лет «полезных» в вышеупомянутом смысле знаний студент может не получить. Конечно, это вопрос более дискуссионный, но все же очевидно, что и «университетское» знание в целом, как правило, не слишком связано с будущей работой, а некоторыми

профессиями (особенно в социальной и гуманитарной сфере) можно овладеть, только выполняя конкретную работу.

Означает ли все сказанное, что учиться не надо? Ни в коей мере! Это означает только, что не надо себя обманывать. У многих людей, особенно в детстве и юности, есть достаточно сильная потребность познавать мир и учиться. Но при этом знаний, безоговорочно ценных для всего человечества или для всего цивилизованного общества, либо просто нет, либо их достаточно мало. А это значит, что нет нужды вбивать в головы детям некоторый культурный стандарт, который почему-то дорог родителям. Школьное, а в определенной степени и университетское образование должно быть своего рода библиотечным каталогом и в придачу к нему самой библиотекой. Образование должно предоставлять набор возможностей дальнейшего образования (в том числе и само-). Школа должна сообщить, например, что есть такая наука — физика. Понравилось? Тогда вон там стоят книжки, а вон там преподаватель ведет урок. Не понравилось? А вот есть такая наука биология. А вот есть еще история. А вот есть литература. И так практически бесконечно. Если же ничего не понравилось, ну что же, походи поиграй в футбол.

Два эпизода на тему «Чего мы хотим от школы»

Эти два эпизода никак не связаны между собой.

В одном случае я присутствую при разговоре моего знакомого, директора частной школы (очень дорогой, с «индивидуальным» подходом в обучении), с весьма состоятельным отцом будущего ученика. Отец перечисляет, чем, по его мнению, должен овладеть сын за годы учения (порядок пожеланий сохранен):

- Верховая езда.
- Непременно, — отвечает директор.
- Теннис там, плавание...
- Обязательные предметы.
- Английский в совершенстве.
- А как же иначе, — подтверждает директор.
- Ну, может, французский, — с некоторым сомнением замечает отец.
- Все выпускники нашей школы свободно говорят на двух или трех иностранных языках.
- Да, должен быть грамотным.
- Это школа гарантирует.
- Да, ну что еще? — размышляет отец. — Может быть, гольф?
- Интересное пожелание. В индивидуальном порядке мы обязательно обеспечим вашему сыну занятия гольфом.

Отец молчит, похоже, что желания исчерпаны.

— Хочу вас предупредить, — говорит директор, — что у нас в школе дисциплина, к ученикам предъявляются определенные требования...

— Это я гарантирую.

Потом они подпишут договор, и школа, безусловно, выполнит свои обещания.

Другой эпизод — это обычный кухонный (или, если хотите, «чайный») разговор в интеллигентной компании. Опять же интеллигентный и не очень состоятельный отец жалуется на школу, в которую отдали ребенка. Сначала хотели денег, но как-то обошлись знакомствами, учительница — дура с претензиями, одноклассники — юные хамы из богатых семей, самому приходится теперь раз в неделю рассказывать что-то об искусстве в седьмом классе. За чем, спрашивается, в эту школу отдал, да еще с такими трудностями? А другие, отвечает, еще хуже. А чего ты вообще от школы хочешь? — спрашивает кто-то. Ну как, говорит, хочу, чтобы был у меня образованный ребенок, приспособленный к жизни, успешный, талантливый, ну и вообще... Но школа-то тут при чем? — резонно замечает кто-то.

И действительно, ни одна школа, даже описанная в первом эпизоде, не возьмется за выполнение подобных родительских желаний. Ни за какие деньги, если речь, конечно, не идет о жуликах.

Тем не менее последнее слово в кухонной беседе осталось за обиженным отцом. Нет, все-таки образование наше в глубоком кризисе, подвел он итог, с которым все благополучно и согласились.

Я даже не буду комментировать эти эпизоды, поскольку мораль очевидна. Постановка задачи определяет ее решение. Первый отец вправе удивиться, о каком это кризисе мы говорим, если его сына обеспечивают даже уроками игры в гольф. Что же касается второго отца, то для него кризис образования грозит затянуться и стать перманентным. И в этом вся суть.

И снова проблема номер один

В заключение придется сказать целый набор банальностей. У нас есть прекрасные школы, а есть отвратительные. У нас есть замечательные педагоги, а есть такие, что и руки не подашь. Дети тоже бывают разные. Бездарных детей, конечно, не существует, но и талантливые крайне редки. Кому-то учиться интересно, кому-то нет. Все это совершенно не важно.

Проблема номер один в том, что кризис образования не в плохих учителях, и не в плохих учениках, и даже не в его неудовлетворительном содержании. Более того, он вообще не в образовании. Он в нашей растерянности перед стремительно меняющейся жизнью, в которой дети ориентируются лучше родителей, а ученики — лучше учителей. Что мы им такого хотим и можем передать (не квартиру, автомобиль или счет в банке), что они еще согласятся у нас взять? И пока мы этого не поймем, будет кризис.



ИГОРЬ ЕФИМОВ

*

КРАТКОЕ ПЕРЕМИРИЕ В ВЕЧНОЙ ВОЙНЕ

Посланец

Появление Исая Берлина — британского дипломата, мыслителя, профессора — в послевоенной России осенью 1945 года оставило глубокий след в памяти всех российских литераторов, актеров, режиссеров, художников, с которыми ему удалось встретиться. Только на короткой волне дружбы с бывшими союзниками могло свершиться подобное чудо: представителю «загнивающего капитализма» позволено было разгуливать по улицам советских городов, встречаться и говорить с советскими гражданами.

«Он был иностранец — в стране, охваченной шпиономанией, — пишет Найман в своей новой книге „Сэр“ (М., 2001). — Он был русский, родился в Риге... Он был еврей. Он был европеец — во всей полноте этого понятия. Он был англичанин. Он был западный интеллеktуал — среди самых первых номеров в том их списке, который в России угадывался туманно и не без благоговения».

К этому можно добавить: он знал не только русскую классику, но и литературу советского периода и не боялся давать точные и бескомпромиссные оценки писателям невзирая на место, занимаемое ими в официальной советской иерархии. Его безупречный читательский вкус можно было почувствовать с первых же слов, а это было именно то, по чему изголодалась русская культурная элита, жившая под гнетом идеологической цензуры.

Однако и российские интеллигенты произвели на заморского гостя сильное впечатление. 35 лет спустя он описал некоторых из них в большом очерке «Встречи с русскими писателями (1945 и 1956)». Особенно много места в этом очерке уделено Пастернаку и Ахматовой. Талант Берлина, может быть, ни в чем не проявлялся так полно, как в этом умении слышать и впитывать поток поэтического самовыражения, даже когда оно изливалось не в стихах, а в личном общении.

«Пастернак говорил великолепными медлительными периодами, — пишет он, — которые время от времени перебивались внезапным потоком нахлынувших слов; речь его зачастую перехлестывала берега грамматической правильности — ясные и строгие пассажи перемежались причудливыми, но всегда замечательно яркими и конкретными образами, которые могли переходить в речь по-настоящему темную, когда понять его уже становилось трудно, — и вдруг он внезапно снова вырывался на простор ясности»¹.

Из Москвы Берлину было разрешено съездить в Ленинград. Появление его в комнатенке Ахматовой было таким же невероятным, как появление феи в «Золушке» или принца в «Спящей красавице» (тем более, что и декорация

Ефимов Игорь Маркович — писатель, публицист, эссеист. Родился в 1937 году. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 1978 года живет в США. Автор многих романов (в их числе — недавние: «Не мир, но меч», 1996; «Суд да дело», 2001), нескольких философских трудов («Практическая метафизика», «Метаполитика» — ходили в самиздате под псевдонимом; «Стыдная тайна неравенства»), сборников статей.

¹ Берлин Исая. Встречи с русскими писателями. — В его кн.: «История свободы. Россия». М., «Новое литературное обозрение», 2001, стр. 447.

представляла собой дворец — Шереметевский, на Фонтанке). Эту встречу Найман описал еще в книге «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), она детально воссоздана в мемуарах людей, слышавших историю от Ахматовой, подробно рассказывает о ней и сам Берлин в уже упоминавшемся очерке.

Между двумя людьми, которые никогда до этого не видели друг друга, мгновенно пробежала искра узнавания, близости, взаимопонимания.

Они говорили всю ночь.

Ахматова читала Берлину новые стихи, рассказывала об арестах и гибели близких, о кошмаре войны и ужасах мира. То есть нарушала все главные табу сталинского режима. И ее неожиданный гость, моложе ее на двадцать лет, не связанный с ней ни родственными, ни религиозными, ни национальными корнями, жадно впитывал каждое ее слово, и оно врезалось в его память так глубоко, что и полвека спустя, в беседах с Найманом, он мог воссоздать эту встречу во всех подробностях, будто она случилась на днях.

Ахматова видела прямую связь между визитом Берлина и карами, обрушенными на нее в следующем, 1946 году. Когда Берлин снова появился в России, десять лет спустя, уже в хрущевские времена, она не решилась встретиться с ним. Ее сын, Лев Гумилев, был только что выпущен из лагеря, она боялась повредить ему. Увиделись они только в 1965-м, когда ей разрешили приехать в Оксфорд для получения почетной степени. А еще четверть века спустя в знаменитый Оксфорд пригласили Анатолия Наймана. Здесь и началось личное знакомство двух людей, давно и много знавших друг о друге, видевших друг друга в первую очередь глазами Ахматовой.

В течение последующих шести лет Берлин и Найман встречались и переписывались довольно часто. Их общение проходит сквозной нитью через книгу «Сэр». Но жанр книги отнюдь нельзя свести к диалогу двоих. Можно сказать, что эта книга — развернутое жизнеописание, перевитое медитативными отступлениями, наполненное яркими персонажами, движущимися по обе стороны «железного занавеса», захватывающее широкие пласты исторического времени, в котором довелось жить Исаяе Берлину. И как жизнеописание оно снова и снова возвращается к законному вопросу: кем же был сэр Исаяя Берлин, скончавшийся в ноябре 1997 года? Чем он завораживал поэтов, политиков, читателей, слушателей, сходящихся на его лекции? Чему учил, к чему призывал, что разъяснял?

Не математик

В самом начале своей книги Найман приводит такую сцену:

«Когда через много лет, через четверть века после моих с Ахматовой о нем разговоров, то есть почти столетия после их встречи, мы с ним впервые увидели друг друга и заговорили, то в какую-то минуту этого долгого, потопом, разговора я упомянул, что в своей книге назвал его „философ и филолог“. Он отозвался мгновенно: „Я ни то, ни другое“. — „Хотите, заменим на историка и литературоведа?“ — „Не я, не я“. — „Исследователь идей, политолог, этик...?“ — „Нет, нет, нет“. — „Ну, не математик же!“ — „Вот именно: не математик — это я“».

Шутливый ответ, шутливый уход от ответа. Но от Наймана так легко не спрячешься. Очень скоро он находит ту струну, тот жанр, в котором талант Берлина проявлялся, судя по всему, с наибольшим блеском. И — не жалея книжного пространства, нарушая принятые приличия цитирования — дает на две с половиной страницы отрывок из его лекции о романтизме. Цикл этих лекций Берлин читал в 1965 году, в Вашингтоне. Потом они неоднократно передавались по Би-би-си, недавно были изданы отдельной книгой. Читая эти строки, нетрудно вообразить, с какой силой должна была действовать на аудиторию «ослепительная, нагнетающая напряжение подача материала, стремительность потока речи, магия ее ритма, гипноз повторений и фонтанирующие перечисления».

Знаменитые персонажи ушедшей в прошлое культурной эпохи проносятся перед нами, как гости сказочного бала-маскарада — каждый в своем словесном костюме, со своим гербом, своей маской, своим девизом. «Радикализм Шелли, Бюхнера и Стендаля... шатобриановское эстетическое увлечение Средневековьем — и отвращение к Средним векам Мишле... Карлайлевский культ власти и ненависть к ней Гюго... Смерть Сарданапала, написанная ли Делакруа, изображенная ли Берлиозом или Байроном, — это судороги великих империй, войны, кровопролитие и крушение миров, это романтический герой-бунтарь...»

Скептический критик пишет сегодня о манере этих лекций, что она была «могучей машиной убеждения, которое могло парализовать или, уж во всяком случае, притупить критические способности слушателя». Но голос, звучащий здесь, явно не ставил перед собой задачу описать или объяснить романтизм. Берлин стремится лишь заразить слушателя своей увлеченностью, поделиться с ним богатством собственных переживаний. Про его путешествие в царство романтизма слушатели могли бы сказать так, как современники Данте говорили про путешествие поэта в Ад: «Он *был там*».

Найман увлечен своим героем и не скрывает этого. Лишь с середины книги в повествовании всплывает одна нота недоумения, сомнения, порой растерянности. Рассказчик не может понять, каким образом такой умный, сердечно богатый, достойный, талантливый человек мог на всю жизнь остаться атеистом.

«— Я не атеист (пытается уточнить Берлин). Атеист — человек, который знает, что Бог означает, слово означает, и не верит, что есть такой Бог. А я не понимаю, что это слово говорит».

Христианин Найман время от времени пытается осторожно вернуться к этой теме. «Я спросил: а в каком виде люди существуют на том свете — средних лет; юные; старики? Он ответил: а ни в каком... „Того света нет“. Нет никакого *там*».

Конечно, в истории культуры мы можем насчитать сотни, если не тысячи талантливых и знаменитых безбожников. Вся эпоха того же романтизма пронизана воинствующим антиклерикализмом. Недоумение и сомнение возникает лишь в тот момент, когда убежденный атеист берется размышлять и писать книги о великих богоискателях. А именно это делает Берлин в своем знаменитом труде о Льве Толстом — «Еж и лис».

Толстой без Канта, Толстой без Христа

В школьных учебниках по физике в конце многих задачек, рассматривающих движение тел в пространстве, даются облегчающие поблажки: трением пренебречь, сопротивлением воздуха пренебречь. Понятно, что движение, скажем, телеги по склону горы может быть описано с такими допущениями. Но никому не придет в голову пренебречь сопротивлением воздуха при изучении полета реактивного лайнера.

Исследованию Берлина о взглядах Толстого на историю честный издатель должен был бы предпослать перечень того, чем автор решил пренебречь в данном труде:

1. Религиозными исканиями Толстого.
2. Его состраданием к зашедшему в тупик человечеству.
3. Его чувством вины по поводу собственной греховности, слабости, несовершенства.
4. Наконец, его ясно и однозначно выраженными мыслями о философии, истории и о границах познавательной деятельности человека.

Философское кредо Толстого наиболее полно сформулировано во «Втором эпилоге» к «Войне и миру». В нем Толстой выступает открытым последователем и пропагандистом идей Канта и Шопенгауэра. Но для Берлина эта ясно выраженная позиция Толстого почему-то оказывается неприемлемой. И поче-

му-то ему важно не только обойти молчанием богоискательство Толстого, но также доказать, что всю жизнь великий писатель был предан чистому эмпиризму.

«Дух эмпирического исследования... воодушевлял мыслителей 18-го столетия, противившихся теологии и метафизике. Толстовский реализм, толстовская неспособность уверовать в призраков сделала его их естественным преемником прежде, чем он успел ознакомиться с их доктринами... Свойственный эпохе историцизм, несомненно, влиял на молодого Толстого, как и на всякого думающего человека, но метафизическая начинка вызывала в нем инстинктивное отторжение, и в одном из своих писем он назвал труды Гегеля неудобопонимаемой чушью, обильно сдобренной общими местами»².

Гегеля Толстой, действительно, не жаловал. Но метафизиком Шопенгауэром восхищался так, что засел вместе с Фетом переводить его труды на русский. Метафизика для него — единственный путь, которым человеческий ум может приблизиться к пониманию тайн истории.

«Как неопределимая сущность силы (в терминологии Шопенгауэра — воли. — *И. Е.*), двигающей небесные тела, неопределимая сущность силы тепла, электричества, или силы химического сродства, или жизненной силы составляют содержание астрономии, физики, химии, ботаники, зоологии и так далее, точно так же сущность силы свободы (человеческой воли. — *И. Е.*) составляет содержание истории. Но точно так же, как предмет всякой науки есть проявление этой неизвестной сущности жизни, сама же эта сущность может быть только предметом метафизики, — точно так же проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории; сама же свобода есть предмет метафизики».

Но ни упоминаний «Второго эпилога», ни цитат из него нет в книге Берлина. Зато уже где-то в середине своего труда он делает неожиданный поворот: начинает сопоставлять Толстого с консервативным католическим мыслителем Жозефом де Местром (1753 — 1821). Де Местр в своих трудах выступал за абсолютную власть короля и папы, осуждал прогресс науки и либерализма, оправдывал испанскую инквизицию. «Содержание и тон его писаний, — замечает Берлин в том же эссе о Толстом, — гораздо ближе к Ницше, д'Аннунцио и проповедникам современного фашизма, чем к идейным роялистам его времени».

На протяжении трети своего исследования Берлин описывает параллели, якобы обнаруженные им в идеях Толстого и де Местра. В искусстве полемики такой прием называется *killing by association* — убийство путем сопоставления. Если заглянуть в указатель имен в конце книги «Еж и лис», мы увидим, что де Местр упомянут 27 раз, а бесконечно почитаемый Толстым Кант — ни разу. Само собой разумеется, что нет и упоминаний об Иисусе Христе.

Конечно, вера или неверие — дело совести каждого человека. Но если вера или неверие проникают в работу историка культуры, они неизбежно окажут искажающее воздействие на результат. В течение жизни Берлин считался чуть ли не главным специалистом по русской философии, выпустил книгу «Русские мыслители»³. На самом деле книга должна была бы называться «Русские антирелигиозные мыслители». Ибо все внимание автора уделено таким фигурам, как Белинский, Бакунин, Герцен, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Писарев, Плеханов, Ленин. В отличие от них Чаадаев, Леонтьев, Мережковский упомянуты вскользь, Владимир Соловьев и двенадцать томов его сочинений обойдены молчанием, Бердяева Берлин в разговоре с Найманом называет шарлатаном, Розанова, Шестова, Лосского не читал. Книга Джорджа Клайна «Религиозная и антирелигиозная мысль в России»⁴ дает гораздо более полную и объективную картину, однако этот труд никогда не имел настоящего успеха в академических кругах. Спрашивается: почему?

² Berlin J. The Hedgehog and the Fox. An Essay on Tolstoy's View of History, N. Y., 1986, p. 11.

³ Berlin J. The Russian Thinkers. N. Y., 1978.

⁴ George L. K. Religious and Anti-religious Thought in Russia. Chicago, 1968.

Но чтобы ответить на этот вопрос, нам придется выйти за рамки книги Наймана и взглянуть в более широкую панораму противоборства, активным участником которого Исая Берлин был всю свою жизнь.

Война антиномий

В своих беседах Найман и Берлин часто поминают Канта. В одном месте Берлин очень четко обозначает главную заслугу Канта в развитии философской мысли. «Он понял, что философия занимается нашим понятием мира, а не миром». Но кажется, ни один из собеседников не отдает себе отчета в том, что, вступая в споры о коренных проблемах бытия, они оказываются на разных полюсах неразрешимого и врожденного человеческому разуму противоречия, которое Кант назвал антиномией. Хотя споры их протекают вполне дружелюбно, на самом деле они представляют собой крошечный эпизод в вечной войне (ведь мирные переговоры — это тоже *часть войны*), которую *тезис и антитезис* ведут между собой с незапамятных времен.

Из четырех выделенных Кантом антиномий наиболее острые дебаты связаны с третьей.

«Всякое явление в мире обусловлено своим комплексом причин — известных нам или пока не вполне известных», — утверждают сторонники антитезиса (их часто называют *детерминистами*, а также *рационалистами*, *позитивистами*).

«Есть широкий круг явлений — прежде всего связанных с жизнью человека, — которые невозможно объяснить из одних только причинно-следственных связей, которые заставляют допустить проявление свободы», — возражают сторонники тезиса (*антидетерминисты*).

Во «Втором эпилоге» Толстой так описал противоборство, вытекающее из третьей антиномии:

«Разум говорит: ...связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца.

Сознание говорит: ...я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления жизни.

Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы...

Только при разъединении двух источников познания, относящихся друг к другу как форма к содержанию, получаются отдельно, взаимно исключаящиеся и непостижимые понятия о свободе и о необходимости.

Только при соединении их получается ясное представление о жизни человека».

На первый взгляд может показаться, что такие абстрактные умозрительные категории могут волновать только редких людей с особым философским уклоном. На самом же деле они способны возбуждать самые горячие страсти в миллионах, страсти, которые часто выплескиваются из дискуссионных залов на поля сражений. Ибо картина мира, которую мы выстраиваем в собственном сознании, — это дом души, где мы можем укрыться от леденящих вопросов, обжигающих страхов, пронзительных сомнений, изматывающих противоречий, ослепляющих видений. Человек, ставший под сомнение мою картину мира, есть разрушитель дома моей души, и я могу так же глубоко возненавидеть его, как если бы он поджег мой настоящий дом. Поэтому-то вражда между рационалистами и антидетерминистами бывает такой острой — здесь на карту поставлено не что-нибудь, но мир душевный. А так как описанное противоречие коренится в самой двойкой природе нашей познавательной способности, конца этой вражде до сих пор не видно.

Конечно, жизнь человека не может сводиться к одним только умозрениям. Как бы ни была стройна наша картина мира, страсти продолжают бушевать в нас и заставляют порой причинять дому души разрушения изнутри. Главное искушение для рационалиста — поддаться естественной человеческой страсти

судить ближнего своего. Ибо в тот момент, когда мы одобряем или осуждаем чужой поступок, когда выражаем восхищение или презрение, мы подсознательно приписываем поступку свободу. Мера нашего осуждения или одобрения неразрывно связана с представлением о мере свободы человека в рассматриваемом деянии. «Он убил безоружного — что может быть ужаснее?!» — восклицаем мы. «Он выполнял приказ, — говорят нам. — Если бы не выполнил, его самого расстреляли бы». — «А, тогда другое дело», — говорим мы. Узнав о том, что человек не был свободен, мы снимаем или по крайней мере ослабляем свое осуждение.

И вот этой-то столь естественной для каждого человека «ошибки» рационалист Берлин не допустит в своих писаниях никогда. Весь строй его философских и политико-исторических рассуждений тщательно очищен от одобрительных или осуждающих высказываний. Предельная для него форма неодобрения — исключить человека из картины мира. (Про Зинаиду Гиппиус, которая позволила себе антисемитское высказывание: «Для меня ее нет. Ни ее, ни мужа. Для вас есть? Где? *Что* они? — чтобы быть».) Но осудить или одобрить — нет, Берлин слишком хорошо знает, что это было бы невысказанным признанием свободы поступка. В соблюдении «идейной чистоты рационализма» нет ему равных среди мыслителей послевоенной эпохи. Но спрашивается: как же можно сохранить такую «чистоту» после Освенцима и Гулага?

Чемберлен мысли

Если мы отказываемся от моральных суждений, мы оказываемся лицом к лицу с тем, что Достоевский назвал «все позволено». Берлин считает, что это не так, что существует некий кодекс порядочности, который должен регулировать поведение людей. В разговоре с Найманом: «Не нужно делать вреда. Это нельзя, это запрещено. Нельзя делать людей несчастными. Нельзя заставлять людей плакать. Нельзя пытаться людей. Нельзя говорить им, что они негодяи. Нельзя им читать проповеди. Все это запрещено».

Кем запрещено? На это он не отвечает. Почему нельзя наказать — то есть сделать несчастным — грабителя, убийцу, поджигателя? Почему нельзя сказать Гитлеру, Муссолини, Сталину, Мао Цзедуну, что они негодяи? Почему Моисей, Сократ, Августин, Ян Гус, Ганди не должны были читать людям проповеди?

Нельзя, нельзя. Только стараться понять. Всех. И объяснять заблуждения и ошибки. Ведь поступки людей вытекают из решений. То, что мы по привычке называем плохим поступком, — просто результат неправильного решения. Ненависть и сострадание, властолюбие и смирение, гордость и стыд, отчаяние и надежда — этих слов почти нет в словаре Берлина. Он свято верит, что нет жестокости и милосердия, зависти и щедрости, доброты и злодейства, а есть только правильные и неправильные решения.

«Вся гитлеровская среда, их мысли, те книги, которые Гитлер читал, говорили, что... все зависит от расы... Потом Гитлер встал и сделался фанатиком этого дела и решил, что или он победит... или Германия идет к концу... Он решил, что есть такие *подчеловеки*... Если верить этому, все можно объяснить. В таком случае нужно их истребить. Истребление происходит из самой теории».

«Вернемся к Муссолини... Он рассердился... Он думал, что есть такая вещь, как мировое еврейство, как сила, — если эта сила не будет *за* нас, то она будет против нас. Тогда нужно что-то сделать. И решил начать антисемитизм — без всякого давления от немцев. В 1938-м году».

«Склад ума у членов Политбюро скорее практический, нежели теоретический, но тем не менее фундаментальные категории, в терминах которых они воспринимают окружающий мир и соответственно формируют свою политику, происходят из группы теорий, разработанных Марксом и Гегелем и затем принятых Лениным... Сталин и его помощники, судя по всему, пришли к выводу,

что начался очередной *спокойный* период... Эту политику невозможно целиком объяснить без обращения к такой гипотезе, ибо иначе придется предполагать у теперешних правителей Советского Союза очевидно несвойственную им... степень слепоты, глупости и... просто страсти выворачивать вещи наизнанку. И это само по себе есть довольно сильный довод в пользу истинности этой гипотезы»⁵.

Гитлер читал такие-то книги и «решил», Муссолини рассердился и «решил», Сталин и его помощники «пришли к выводу» — это есть правильный, научный подход к анализу политико-исторических вопросов, построенный в соответствии с главными догматами рационализма, и за него мы, ученые, будем награждать званиями, почетными степенями, титулами. А сказать: «...а вокруг него сброд тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей» (Мандельштам) — это подход поэтико-истерический, и мы, ученые, не можем воспринимать его всерьез.

Берлин знает все про террор, пытки, голод в СССР, но торжество детерминистских идей в коммунистическом государстве, вера в историческую предопределенность, в классовое сознание как главный фактор, определяющий поведение человека, таят для него неодолимое очарование. Он не может понять гневных упреков Пастернака, обращенных к нему, но честно воспроизводит их в своем очерке: «Вот мы оба в России; куда ни кинешь взгляд, повсюду отвратительно, жутко и мерзостно, — везде свинство; а между тем я кажусь положительно в экстазе ото всего этого, я брожу и гляжу на все, заявил Пастернак, зачарованными глазами. Я ничуть не лучше других иностранных гостей, ничего не желающих замечать и страдающих от абсурдных, ложных представлений, которые для несчастных туземцев просто непереносимы»⁶.

В другой раз Берлину пришлось услышать гневную отповедь, когда он попытался отговорить Пастернака от публикации «Доктора Живаго» за границей. Не понимал он и пастернаковской душевной муки по поводу того, что ему — Пастернаку — удалось, чуть ли не единственному из его круга, уцелеть в сталинской России. «Пастернак был очень чувствителен к возможному обвинению в том, что он старается приспособиться к партии и государству и подлаживается к их требованиям. Даже то, что он остался в живых, не давало ему покоя... Он все время возвращался к этой теме и доходил до абсурда, пытаясь доказать, что он никак не способен на такие компромиссы с властями»⁷.

В сущности, любые муки совести должны представляться последовательному детерминисту абсурдом. Ведь нелепо переживать за свои поступки, если ни в одном из них ты не был по-настоящему свободен. Детерминизм дает человеку лучшую защиту от «змеи сердечных угрызений». И в этом — одна из причин его манящей привлекательности, источник его неиссякаемой силы, объяснение его победного наступления, разворачивающегося на наших глазах в течение последних полутора веков. Тремя большими жирными стрелами можно изобразить это наступление на карте умозрительных баталий, и каждая стрела нацелена пробить брешь в последней стене, ограждающей идею свободы. Имя этой стены — Творчество.

Три атакующие колонны рационализма

Наука изучает неизменные законы природы. Ее главный инструмент — обнаружение причинно-следственных связей между явлениями. Успешно работать в науке могут только люди сильного ума. Они по праву гордятся побед-

⁵ Берлин И. Генералиссимус Сталин и искусство властвовать. — В его кн.: «История свободы. Россия», стр. 367, 368, 371.

⁶ Берлин И. Встречи с русскими писателями. — В его кн.: «История свободы. Россия», стр. 450.

⁷ Там же.

ным шествием естественных наук за последние триста лет, гордятся своим главным инструментом — разумом — и хотели бы применять его всюду, без каких бы то ни было ограничений. Они не верят Канту, не верят, что в мире есть вещи, по отношению к которым вопрос «почему?» теряет смысл.

Но не все в нашем мире неизменно. В нем появляются создания, предметы, явления, которые раньше не существовали. И причинно-следственный ум должен отыскать причину и механизм их возникновения.

Вот выясняется, что каких-то растений, животных, птиц не было миллион лет назад. Да и сам человек, судя по всему, бродит по Земле всего 100 — 200 тысяч лет. Откуда он взялся? Почему?

Города из камня, гладкие дороги, вспаханные поля, проложенные каналы — десять тысяч лет назад ничего этого не было. Откуда оно взялось? Почему у одних народов всего этого в избытке, а другие прозябают в бедности?

Наконец, новая симфония, скульптура, собор — как они возникают? В каких глубинах души художника зарождаются звуки и образы? И почему одни творения кажутся нам лучше других?

Во всех этих явлениях человеческой душе чудился отблеск творческого начала. А слово «творчество» неразрывно связано с понятием о свободе творящего. И, чуя опасность, детерминизм повел беспощадную войну против этого проблеска свободы на всех трех фронтах. Он стал доказывать, что не творчество, а инстинкт — главная движущая сила всех перемен. Инстинкт выживания, инстинкт жадности, инстинкт похоти.

Армия, пошедшая на подавление идеи Творения в природе, взяла своим знаменем дарвинизм. Естественный отбор случайных отклонений через выживание наиболее удачных сделался универсальным объяснением всего дивного многообразия живой природы. Теория творческой эволюции в природе, разработанная Анри Бергсоном, была отброшена и замолчана. Как можно?! Ведь за словом «творчество» всегда маячит эпитет «свободное».

Армия детерминистов, боровшаяся с идеей творческого начала в истории человечества, взяла на вооружение марксизм. Нет, не мудрость свободных законодателей, не мужество солдат и полководцев, не талант и упорство тружеников обеспечивают процветание стран, уходящих вперед по пути прогресса и цивилизации. Все можно вывести из борьбы корыстных интересов, из жадности, из грабежа слабых народов, из эксплуатации трудящихся.

Наконец, идея свободы индивидуальной человеческой души, за которую мы держимся так упорно и неразумно, согнулась, усохла, отступила перед напором фрейдизма и всей современной психиатрии. Фрейдистский анализ творчества, фрейдистский анализ преступлений, фрейдистский анализ чувства вины завоевал огромные пространства во всех сферах интеллектуальной деятельности.

Если мы взглянем внимательно в историю этой полуторавековой войны, нам яснее станет значение и масштабы такой фигуры, как Исая Берлин.

Он — честный трубач и знаменосец рационализма, подхвативший зашатавшееся было знамя Второй армии, подновивший марксистские гербы, добавивший к ним геральдику чистой логики и веры во всемогущество разума.

И не нужно думать, будто это далось ему легко. В разговорах с Найманом он сознается, что ничего не понимал и не понимает в экономике. «Я Карла Маркса не читал. То есть начал читать: скука была невероятная, не мог. Тогда я решил: марксизм будет более важным... это ясно — в тридцать третьем году. Будет расти... И тогда я начал его читать. И-и-и — скука была невероятная...» Но все же превозмог себя, написал большое жизнеописание Маркса.

Прославившие его лекции он тоже читал через силу. «Я вам все объясню о себе. Я в свое время лекции читал... Это была моя обязанность. Я ненавижу лекции читать. Я, вероятно, произнес восемьсот лекций в моей жизни, может быть, девятьсот. И каждая лекция была пыткой. Я это ненавижу делать».

И все же была одна опасная тропа, одна ловушка, попадая на которую этот честный воин рационализма выпускал из рук знамя со словом «почему?».

Последнее доказательство

Найман включил в цикл «Ранний сбор ягод» (в его недавней книге «Ритм руки») одно из самых пронзительных своих стихотворений — «Эпитафию». Оно написано в третьем лице, но явно о себе. Там есть предельно искренние и много объясняющие слова: «...он ждал от жизни чуда... Он чуда ждал — оно ему не далось».

Понятно, что речь здесь идет не о тех чудесах, о которых говорил Кант: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас; эти-то всегда при нас. Нет, Найману подавай чудо чудесное, обещанное христианским вероучением. Помолитесь святому — он незримо явится и поможет. Наложит святой руки — и слепой ребенок прозреет. Именно своей верой в такое чудо он пытается испытать на прочность рационализм Берлина.

«— А как вы относитесь к чуду? Бывают чудеса?

— Почему нет? Бывают.

— Вы можете их объяснить?

— Нет... Это необъяснимо... Можно искать причину: если вы не нашли причину, вы должны говорить о том, что нет причины. Есть беспричинные вещи».

Берлину нравится его собеседник, и он старается быть любезным. Он делает вид, что идет на уступки. «Чудо? Вполне возможно. Мне в жизни не довелось с ним столкнуться, но это не исключает...» Однако и тон, и смысл его слов явно показывают, как эта тема далека от всего строя его мышления. Так же далека, как разговоры об облике людей в загробном царстве. При чтении книги «Сэр» иногда возникает впечатление, что собеседники не просто далеки друг от друга — они на разных полюсах антиномической шкалы тезис — антитезис. Но одновременно возникает и ощущение особой близости, предельного взаимопонимания. Будто эта шкала внезапно изогнулась, как в настенном барометре, и обе предельные отметки оказались близко-близко. Будто эти двое сошлись не лицом друг к другу, а спина к спине. А из такой позиции можно либо начать отсчитывать шаги дуэльной дистанции, держа пистолет дулом к небу, либо, наоборот, защищаться шпагами от обступивших со всех сторон гвардейцев кардинала.

Так откуда же близость — при такой разнице взглядов на важнейшие вопросы бытия? Откуда такая способность вслушиваться в слова собеседника? Гершензона и Вячеслава Иванова судьба свела в одной палате — без этого, может быть, не возникла бы «Переписка из двух углов». Но Найман и Берлин сходятся добровольно, с охотой, ищут общения.

Они сходятся и говорят о стихах. «Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло» тоже попадают в круг тем, но здесь им не сойтись. Зато как только речь заходит о Данте и Гёте, Пушкине и Баратынском, Тютчеве и Некрасове, Мандельштаме и Элиоте, Ахматовой и Пастернаке, Бродском и Одене, тут они мгновенно обретают общий язык. Это не значит, что они соглашаются в оценках. Но каждый из них так пронизан токами и магией поэзии, что вокруг обоих возникает некое наэлектризованное поэтическое поле, и в нем одном они способны ощутить предельную близость с собеседником, предельную полноту бытия.

Именно здесь Берлин выпускает из рук знамя с вопросом «почему?». Конечно, он не мог не заметить новой — четвертой? — армии детерминистов, пошедшей в атаку на свободу творчества под знаменем структурализма. Но никогда в своем восприятии поэзии, музыки, живописи он не присоединялся к ней.

Верить, что «красота спасет мир», — в наши дни это может выглядеть наивностью. Но слишком много мы знаем примеров в истории культуры, когда непримиримые противники, увлеченные одним и тем же творением искусства, забывали на время о вражде. (Вспомним хотя бы Пушкинскую речь Достоевского, которой ему удалось ненадолго примирить российских западников со славянофилами.) Исчерпав все логические аргументы в своем долгом споре,

Берлин и Найман предъявляют друг другу в качестве последнего доказательства самих себя — себя, живущих полной жизнью в мире искусства, где вопрос «почему?» утрачивает свою власть.

«Если вы хотите понять философию, — говорит Берлин, — прежде всего узнайте, кто философ. Что за человек, каковы его взгляды, каков его темперамент».

Философ Розеншток-Хюсси писал: «Бог говорит с нами не словами, но Своим Творением, Своими созданиями». К этому можно добавить: и посылаемыми нам людьми.

Посланец Берлин явил собой живой пример того, что можно в умоглядной сфере отказаться от понятий добра и зла, можно не верить в Бога и остаться при этом душевно богатым и глубоко порядочным человеком.

Посланец Найман показал, что можно все знать о победах естественных наук сегодня, о бескрайних злодействах мировой истории и все же верить в Бога и чудеса так, как верил в них когда-то Тертуллиан: «Верую, ибо нелепо».

Им не выкинуть друг друга из картины мира — а значит, придется эту картину *расширять*.

Их диалог вызывает волнение тем, что в нем таится надежда на возможность перемирия в долгой антиномической войне тезиса и антитезиса. Каждый человек, прочитавший яркую и талантливую книгу «Сэр», может увидеть, что чужая и чуждая картина мира необязательно грозит гибелью и разрушением дому нашей души. Иногда она может послужить стимулом и толчком к тому, чтобы начать перестраивать свое жилище, прорубать в стенах новые окна, добавлять света и воздуха.



О П Ы Т Ы

АЛЕКСЕЙ ПЛУЦЕР-САРНО

*

«У МЕНЯ НЕ В МАВЗОЛЕЕ, НЕ ЗАЛЕЖИШЬСЯ!»

Политологические заметки о смерти

Воскрес Ленин, выходит из Мавзолея, смотрит, бабка «Спрайт» торгует.
Ну, он берет бутылку, глотнул и говорит:
— О! «Спрайт»! Не дай себе засохнуть!

Народный анекдот.

Вялотекущая война некрофилов и некрофобов за тело Ленина продолжается. Авторы душераздирающих телевизионных историй о Мавзолее пугают зрителя картинами разложения и борьбы с ним: «И иногда появлялись пятна плесени, которая была занесена посетителями... Но нам удавалось отмыть обычно зеленую и белую плесень. Но был случай, когда появилось черное пятно... Это черная плесень, а чтобы удалить ее, надо либо сжечь объект, либо обработать его концентрированной серной кислотой... Но наконец нам все-таки удалось его отмыть» (Илья Збарский в программе Павла Лобкова «Мавзолей» на НТВ). Интересно, что в этой истории живые оказываются опасны для мертвых, а не наоборот. Главный объект дискуссии «мавзолеефилов» и «мавзолеефобов» — тело. Тело стало одновременно объектом политическим, социальным, биологическим и ритуальным. Это предмет истории культуры. Причем как сторонники «захоронения лежащего на площади трупа», так и противники «осквернения могилы первого руководителя государства» вольно или невольно намекают, как это ни странно, на иноземное обращение с такими объектами. Так, например, желающие узаконить «тело» ссылаются на аналогичные захоронения зарубежных лидеров компартий (Димитров — 1949 год, Чойболсан — 1952, Готвальд — 1953, Хо Ши Мин — 1969, Агостиньо Нето — 1979, Ким Ир Сен — 1994, из них только последние двое сохраняются до сих пор, остальные похоронены). Их противники говорят об отсутствии традиций сохранения трупов вне кладбищ. И те и другие часто вспоминают правителя Карии великого Мавсола, который был захоронен 2,5 тысячи лет назад в спецусыпальнице в своей столице Галикарнасе (теперь это турецкий туристический центр Бодрум) вместе со своей сестрой Артемизией, которая к тому же одновременно была его женой. Называть навес над лежащим для публичного обозрения «родным нашим» трупом по имени какого-то не то перса, не то турка странно, говорят «мавзолеененавистники». «Мавзолеепоклонники» стоят против поругания «родных святынь», не смущаясь экзотическим названием святилища.

Впрочем, в отличие от праха Мавсола, который охраняли каменные львы, тело Ленина охраняли солдаты. Поскольку вождь наш вечно живой, то и охраняли его живые воины. Хотя, конечно, похожие на игрушечных, поскольку

Плуцер-Сарно Алексей Юрьевич родился в 1962 году. Окончил филологический факультет Тартуского университета. Печатался в журналах «На посту», «Логос», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Русский Журнал» и др.

российская традиция строевой подготовки подразумевает максимальное отличие движений человеческого тела от естественных его природных форм. Настоящий русский солдат ходит уже как неживой солдат, как бы намекая тем самым на свое бессмертие. Но это было раньше, поскольку Борис Ельцин пост № 1, как известно, упразднил.

Восприятие Ленина как живого является не только коммунистической метафорой. Есть множество народных примет, связанных с Мавзолеем, где Ленин двигается, шевелится, подмигивает, делает тайные знаки и т. п., есть огромное количество анекдотов, где Ленин воскресает, ходит, покидает время от времени Мавзолей и возвращается обратно. И не случайно Ленин был эвакуирован в начале войны в Тюмень. Эвакуация могил — это разговор особый. Тем не менее Ленин в 1941 году сел в поезд и уехал в Сибирь. Конечно, это была военная тайна, потому что люди должны были думать, что Ленин находится в Москве. Бегство Ленина на восток могло бы вызвать панику. А если он в Москве, значит, Москве опасность не грозит. И наконец, все годы советской власти на Ленина совершались покушения! Желание «убить» вождя тоже свидетельствует о его, так сказать, «живости». Самым известным стал случай с крестьянином из совхоза «Прогресс» Московской области Митрофаном Никитиным. В марте 1934 года он стрелял в труп Ленина и оставил предсмертную записку: «Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ. Готов был бы ради благополучия рабочих, крестьян и служащих пойти на любые пытки ради лучшей жизни народа. Я умираю, протестуя от миллионов трудящихся. Опомнитесь, что вы делаете, куда страну завели. Ведь все катится по наклонной плоскости в бездну». В 1960 году было совершено еще одно нашумевшее покушение, когда саркофаг был разбит и тело Ленина повреждено. Интересно, что сотрудник Мавзолея Юрий Ромаков говорил публично об этих повреждениях как о ранах на теле живого человека: «Были ранки, но очень поверхностные. С правой стороны над бровью есть небольшая ранка» (программа Павла Лобкова).

Наш Мавзолей был декларирован как сооружение светское (в чем есть большие сомнения) и использовался по праздникам как пьедестал для власти, трибуна, сцена, подиум, задающий политическую моду. В этом несколько раз в год производимом символическом попирании трупа первого вождя стопами вождей № 2, № 3... много подтекстов. Тут Ленин оказывается и фундаментом власти, и «черепом» нового Адама, лежащим у подножия символов новой веры, и горой, идущей к Магомету, и новым центром мира, новой гробницей нового Иерусалима, и точкой отсчета нового времени, и вратами в иной мир, и идеальным центром государства, подножием непоколебимой «вертикали власти» и многое другое. То есть труп Ленина — это своего рода персонификация самой идеи власти, точнее, ее некрофилизация. Власть должна ощущать себя как некий центр пространства, и Мавзолей — один из таких центров. То есть власти нужно было ощущать себя Мавзолеем. Попросту говоря, Мавзолей — это симптом власти, точно так же, как президент — персонификация этого симптома.

Сейчас при обсуждении проблемы Мавзолея во главу угла ставятся политические вопросы. Религиозный подтекст почти не обсуждается. О Ленине говорят как о первом коммунисте, революционере, главе государства, чуть ли не как о живом, а вовсе не как о трупе, не как об объекте похоронно-погребального обряда. Между тем очевидно, что нужно прежде всего обсуждать проблему «русской смерти», проблему отношения к телу как к вещи, к телу как к ритуальному объекту, проблему отношения власти к ее собственным символам, проблему восприятия мира мертвых живыми.

Прежде всего нельзя не признать, что ничего нового для России в такого рода захоронении нет. Очевидно, что это захоронение вполне традиционного типа, апеллирующее к пещерам, курганам, урнам и т. п. Исторически «могила» приобрела формы храма еще в языческие времена. Подобным захоронениям уже около 100 тысяч лет. Но и любое современное христианское кладбище оборудовано специальными нишами для захоронения прахов в урнах. Такие

захоронения, по сути, — мини-мавзолеи. Это тоже надземные каменные миниатюрные помещения. Так что нахождение останков не в земле, а над землей не должно восприниматься как нечто кошунственное или нехристианское, языческое. Ведь многие языческие погребальные обряды были впоследствии усвоены христианской традицией. Да и сам самый сложный похоронный обряд советских вождей тоже имел множество дохристианских компонентов: орудийный лафет, почетный караул из «героев», бесконечная тризна с паровозно-заводскими гудками, орудийными залпами, попутно слагаемым героическим эпосом о подвигах вождя — все это дохристианские элементы, давно ассимилированные современной культурой. Глядя на этот язычески-христианский микс, начинаешь понимать, что тут уже дело не в язычестве и даже не в том, что тело располагается над поверхностью земли, а в том, что оно находится вне территории кладбища.

Но и здесь не все так просто. Ведь были же определенные места, которые выполняли функцию кладбищ. Таковы, например, русские храмы, в которых выставлялись останки святых мучеников, иерархов церкви, князей, царей, их жен, родственников и т. п. Захоронения на территории монастырей, храмовых комплексов постепенно стали явлением обычным. Теперь вспомним, что Красная площадь — это тоже храмовый комплекс, расположенный у стен Кремля. Да и сам Кремль — это не только светское, но и культовое сооружение. Хоронили же на Руси под стенами монастырей. Так что Мавзолей — явление не вполне кодифицированное, но вполне традиционное. Не говоря уже о том, что Мавзолей на Красной площади не одинок: за ним есть могилы других вождей, а в Кремлевской стене — урны с прахом героев, то есть колумбарий второго сорта. Еще можно вспомнить, что в XVI — XVIII веках на территории собора Василия Блаженного тоже производились захоронения. Так что вопрос в данном случае не в том, традиционно ли хоронить здесь людей, а в том, кого хоронить. Достоин ли, «свят» ли. Так что вопрос опять переходит в идеологическую плоскость, то есть остается без ответа. Можно лишь признать, что аргументы, приводимые и «мавзолеофилами», и «мавзолеофобами», неубедительны.

Проблема эта не имеет решения в узком кругу уже выдвинутых аргументов. Остается перевести ее обсуждение в «ритуальную» плоскость. И тут уже неизбежно встает тема «русской смерти» и связанных с ней обрядов.

Сегодня тема всевозможных смертей пронизывает все политическое пространство — от ТВ-новостей до выступлений политиков. Трагическая гибель, катастрофа, природный катаклизм с человеческими жертвами, теракт, война, нелепая случайность — таков набор основных злободневных «новостных» тем. То есть сегодня **мир русских событий** — это **мир смертей**.

Одна из разновидностей этой темы — тема похорон некоего лидера. В России еще в XIX веке похороны некоего вождя стали центральным общественно-политическим событием. Очень точно политическую значимость подобных ситуаций подметил Уильям Никелл в своей статье, посвященной смерти Толстого: «Определяющие частную жизнь публичные ритуалы являются той точкой опоры, на которой держится равновесие политических сил»¹. Для нас очень важен взгляд иностранца, который подмечает эту «склонность русского общества придавать особый политический оборот смертям известных писателей, мыслителей и политиков»². Похороны актера Александра Мартынова тоже «вылились в настоящую смуту, открытое проявление массовых настроений»³. Таких смертей, которым придавалось исключительное политическое значение, было огромное количество. То есть они превратились в определенный «ритуальный» церемониал. В свою очередь власть «постепенно... научилась, сколько возможно, затемнять и замалчивать значение публичных собы-

¹ Никелл Уильям. Смерть Толстого и жанр публичных похорон в России. — «Новое литературное обозрение», 2000, № 4 (44), стр. 44.

² Там же, стр. 45.

³ Там же, стр. 46.

тий, заранее принимать меры к сдерживанию панегирических настроений в обществе»⁴. Таким образом, здесь мы тоже имеем дело с некой устоявшейся традицией страха власти не перед фактом смерти, а перед символизацией обрядов, связанных с чьей-либо смертью. Еще в случае с похоронами Толстого «правая пресса не преминула заявить, будто во всем виноваты люди, которые не являются „исконно русскими“. В „Новом времени“ публиковался цикл редакционных статей, где демонстрации объявлялись провокацией евреев и кавказцев»⁵. Далее Никелл точно подмечает, что смерть в России каждый раз «становится общенациональным судным днем — днем, когда совершился акт самосознания общества через присвоение»⁶ умершего. То есть опять же «чужая» смерть переживается как всеобщая, как «судный день». Эта смерть именно «присваивается», становится фактом личной «биографии» каждого человека, то есть переживается лично, субъективно как собственное умирание. Смерть Ленина была кульминационной в этой традиции. Одновременно смерть Ленина отрицается: «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить». Повсеместные памятники, бюсты, статуэточки, нагрудные знаки и монеты с его профилем, барельефы и прочие амулетоподобные объекты конечно же не могут не вызвать ассоциаций с традиционными куклами.

Мавзолей — это не только центр народного Мира, то есть мира живых, но еще и точка соприкосновения с миром мертвых, миром наших предков. Тело, лежащее в Мавзолее, — это не только дань прошлому, это факт продолжающейся сегодня массовой коммуникации с потусторонним миром. Сам Мавзолей, с одной стороны, — это своего рода «храм», где лежит бесконечно отпеваемое тело. С такой точки зрения все разговоры о нехристианском, неритуализированном отношении к этому телу совершенно неправомерны. Когда политики заявляют, упрощенно говоря, о «неправославности» такого отношения к телу усопшего, то они выступают как бы с современных рациональных позиций. Если же учитывать народные традиции, то, напротив, начинает казаться, что это бесконечно растянутый во времени вполне христианский (в народном понимании) обряд прощания с телом. И этот обряд конечно же демонстрирует беспредельную «ритуализованность» массового сознания. В самом деле, если с телом родственника должны попрощаться все близкие, все друзья, то с «отцом нового мира» должен попрощаться весь мир, все нации и все поколения, в том числе и еще не родившиеся. То есть получается, что мы имеем дело с элементом похоронного обряда, не имеющего финала.

Но с другой точки зрения, Мавзолей может восприниматься, наоборот, именно как могила, захоронение. С этой точки зрения разговоры о необходимости срочного перезахоронения могут показаться тоже не слишком актуальными и даже кощунственными, поскольку в массовом сознании такая акция может быть воспринята именно как надругательство над могилой. А интерес к телу в данном случае — не меньший. В этом случае для всех посетителей Мавзолея этот акт превращается, так сказать, в уникальную возможность заглянуть в могилу, перешагнуть гробовую доску, посетить загробное царство. Это своего рода сказочное путешествие в потусторонний мир. Не случайно в Мавзолее было принято ходить с детьми, в том числе и дошкольного возраста. Что они и делали с превеликим удовольствием и любопытством.

Еще в декабре 2000 года Совет Думы внес в повестку дня пленарного заседания палаты вопрос об обращении к президенту Владимиру Путину с предложением создать на базе Мавзолея Ленина мемориальный комплекс в память жертв политических потрясений XX века. Самого Ленина при этом вынести и захоронить. Обращение к главе государства было утверждено на заседании парламентской фракции СПС. Эту идею поддержал и Сергей Иваненко из фракции «Яблоко», однако посчитал ее хотя и «правильной, но несвоевремен-

⁴ Никелл Уильям. Смерть Толстого и жанр публичных похорон в России. — «Новое литературное обозрение», 2000, № 4 (44), стр. 47.

⁵ Там же, стр. 54.

⁶ Там же, стр. 55.

ной». Тогда же Борис Грызлов дипломатично заявил, что вопрос о переносе тела Ленина с Красной площади должен быть решен «своим чередом». Как он сказал, «может быть, это произойдет в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня смерти Владимира Ленина». Точку зрения самого президента озвучил Олег Морозов: «Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея сегодня не стоит». Это было сказано в декабре в интервью РИА «Новости» после встречи с главой государства в Кремле. Резче всех высказался Анатолий Чубайс. Он заявил о необходимости «вынести с Красной площади труп Ленина». Кстати, патриарх Алексей II тоже предложил похоронить Ленина по христианскому обычаю. И вот ответ левых: «В Госдуме прозвучало предложение о том, чтобы после того, как тело Ленина будет вынесено из Мавзолея, превратить Мавзолей то ли в памятник жертвам репрессий, то ли в памятник политическим мученикам, то ли во что-то еще подобного рода. Это глупо и кощунственно. Прямым текстом это предложение надо читать так: давайте вынем тело из могилы, а могильный памятник объявим памятником совсем другим людям и событиям... Ленин умер. Он спит в хрустальном гробу и не встанет...» Итак, коммунисты настаивают на том, что это могила, которую собираются осквернить. Забавно, но о хрустальном гробе Спящей красавицы действительно думали проектировщики саркофага. Первый саркофаг делал архитектор Константин Мельников: «Он даже как-то думал о Спящей красавице. И первый его вариант таким кристаллом сделан. Преломляющие зеркальные стекла отражали объект. Это первый саркофаг, который показал тело в полном раскрытии» (Виктор Мельников, сын архитектора).

То есть Мавзолей не рассматривается вообще как захоронение. Немцов сказал «захоронить», а не «перезахоронить». Ленин в Мавзолее — это просто труп, лежащий на площади. Такая точка зрения тоже актуальна, но, к сожалению, для массового сознания покойник, смерть которого окутана тайнами, вовсе не обязательно должен быть похоронен на общем кладбище. В народе распространен слух, что Ленина отравил Сталин. А умершие неестественной смертью назывались на Руси «заложными» покойниками. А «народ повсюду избегает хоронить заложных на общем кладбище»⁷. «Заложный» покойник должен лежать либо в «чистом поле», либо «в овраге», либо на дне омута: «В Древней Руси трупы лиц, умерших неестественною смертью, не хоронились обычным способом в земле... и не сожигались...»⁸ По мнению Д. К. Зеленина, это «особый способ надземного погребения»⁹. А его удаление из такой своеобразной могилы может интерпретироваться как страшное кощунство, которое, по народным поверьям, может привести ко всевозможным бедствиям.

Как видим, при любом подходе все ссылки на необходимость захоронения тела натываются на народное восприятие его либо как уже захороненного, либо как находящегося в процессе обряда прощания с телом, либо как не нуждающегося в захоронении вообще.

Еще один важнейший недостаток всех предложений по решению проблемы захоронения-перезахоронения Ленина — это полное отсутствие адекватного идеологического оформления того «нового» места захоронения, куда должно быть перемещено тело. Это новое место должно быть для массового сознания не менее, а более «значимым», нежели прежде. Идеологический центр не может быть уничтожен. Он может быть только перемещен. Причем ценностный статус его должен быть сохранен. Между тем желание убрать тело Ленина с Красной площади часто основывается на интерпретации его как «плохого», то есть это — желание убрать «ненужное», «вредное». Но если Ленин — «плохой», если он не отпетый, не причастившийся, «заложный» покойник, то он может быть перемещен только в «плохое» место. Здесь есть, как видим, определенное противоречие. Для того чтобы перезахоронить его в «хорошем»,

⁷ Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии. Умершие неестественною смертью и русалки. М., «Индрик», 1995, стр. 89.

⁸ Там же, стр. 123.

⁹ Там же.

«лучшем» месте, нужно признать его тело «хорошим». А для этого в нынешней ситуации «православизации» государства придется свершить множество обрядовых действий, отпеть Ленина и похоронить чуть ли не как «святого», построив для него, к примеру, специальную часовню. Что, в общем, тоже невозможно в нынешней политической ситуации. Но перезахоронить тело, не решив всех этих «пограничных» проблем, тоже нельзя.

Собственно говоря, здесь мы сталкиваемся еще и с проблемой политизации «мертвого» тела, пересекающего границу «жизни». Споры о том, можно ли трогать тело Ленина, очень напоминают западные разговоры о том, можно ли использовать тела людей для тех или иных целей, например, в качестве доноров или музейных экспонатов. И вообще, кого считать уже умершим, а кого нет. Для кого-то Ленин жив до тех пор, пока не прекратился обряд прощания с телом. А для кого-то он умер тогда, когда перестал быть «вождем», то есть задолго до «мозговой смерти». Сегодня на Западе граница «смерти» передвинулась далеко вперед, когда остановка сердца, дыхания, отсутствие рецептивных функций вовсе не являются критериями «прекращения жизни». Но и новые критерии «мозговой смерти» живы лишь до тех пор, пока технологии пересадки не шагнут еще дальше. Государство же начинает претендовать на тела визуально живые, но юридически «мертвые», начинает распространять права собственности на их «живые» органы.

В России, наоборот, граница «смерти» ушла далеко назад. Государство на практике уже слабо интересуется больными, увечными, инвалидами, паралитиками, коматозными, находящимися при смерти, пропавшими без вести и прочими категориями нетрудоспособных граждан. Создается иллюзия, что в политическом смысле русский человек «умирает» если не в момент утраты трудоспособности, то уж, во всяком случае, задолго до «клинической смерти» в ее европейском понимании. Подобный идеологический стиль политизации тела не может не влиять отрицательно на продолжительность «жизни», на статистику «смертности». Проблема отношения к тем, кто уже «не совсем жив», — это, таким образом, именно политическая проблема. Здесь много подтекстов, связанных с рецепцией ритуального, но очень мало биологического.

Тело как предмет, как вещь неизбежно символизируется и становится в ряду множества знаков «власти». Собственно, власть с такой точки зрения — это и есть некое пространство нахождения подобных объектов. Среди них — Мавзолей, Останкинская башня, Кремль, Красная площадь, станция «Мир», колокольня Ивана Великого, президентский самолет, метрополитен, Лобное место, двуглавый орел, храм Христа Спасителя и т. д. Здесь уже встает вопрос о топографии предметов и политического пространства как набора этих предметов. Башня, колокольня, Кремль и Мавзолей приобретают симптоматические смыслы. Они перестают быть архитектурными сооружениями и становятся знаками чего-то другого. Они — лишь внешние показатели внутренней сущности власти. То есть они и есть смысл власти, ее наполнение. Они превращаются в симптомы внутренних социальных процессов. Таким образом, Мавзолей — это тоже симптом чего-то другого. Например, процесса жизнедеятельности власти. Можно сказать и так: раз туда все ходят, значит, им это нужно. Раз об этом говорят, значит, властвуют. Разговоры о Мавзолее — это и есть состояние власти.

Проблема ленинского Мавзолея связана со всем комплексом русских народных представлений о смерти, власти, об устройстве вселенной. То есть проблема перезахоронения тела Ленина не может быть решена без учета особенностей народной картины мира. Уничтожение Мавзолея стало бы его новой смертью, порождающей все новые и новые проблемы. Гибелью некоего символического идеального центра Мира. И соответственно нежелание перезахоронить Ленина — это и есть нежелание отказаться от такого «центра» русского идеологического пространства. Центра, задающего опять же неоднородность российского политического топоса.

Итак, необходимо объяснить самим себе, *кого, для чего, где и как* мы собираемся хоронить. Если это православные похороны, то нужно определить

статус покойника, особенно в том случае, если он был лишен всех предсмертных обрядов, в том числе покаяния и отпущения грехов. Решение этой проблемы без учета народных традиций может быть также осложнено определенными массовыми реакциями и непредсказуемыми последствиями. И это тоже проблема «пограничная», связанная с общим кризисом подобных, извините за выражение, идеологем.

Народные же представления включают в себя два основных пласта. Первый — воплощение христианской идеи Воскресения, ожидание возрождения вождя к новой жизни. «Иисус придет вновь на землю и воскресит его», — сказала мне одна пожилая женщина. В этом христианском взгляде, как мы уже говорили, намешано много языческого, для многих Ленин — бог, лежащий в пирамиде. Ассоциации его с египетским фараоном общераспространены и устойчивы. На мой вопрос: «Кто такой Ленин?» — маленький мальчик мне ответил: «Это воин». — «Что за воин?» — «Богатырь, он лежит в кургане». Широко распространены народные приметы, связанные с телом Ленина. Например, если пойти в Мавзолей и не моргая смотреть на Ленина, то можно узнать будущее. Если он пошевелит рукой или мигнет — быть беде, а если лежит неподвижно, значит, все будет хорошо. Вот вам и христианство. При христианском же подходе смерть — это, кроме всего прочего, еще и наказание, кара за грехи. Адам стал смертен лишь после грехопадения и изгнания из Рая. Но первородный грех и Божья кара — это не для Ленина, он не может быть наказан. «Святой он человек» — слова другой женщины. Для коммуниста Ленин — почти что бог, полюс Добра. А для крайне правого либерала — почти что Дьявол, то есть полюс Зла. Говорили даже об «ауре зла» на Красной площади. Поэтому в желании правых либералов как можно скорей захоронить Ленина можно усмотреть также некоторые ритуальные смысловые оттенки: желание отправить Дьявола обратно в ад.

Второй пласт народных представлений о Ленине — кощунственный, смеховой. В таких текстах нахождение в Мавзолее акцентируется как временное: «Пролетарий ждет открытия винного магазина. Подбрасывает и ловит юбилейный рубль с Лениным и приговаривает: „У меня не в Мавзолее, не залежишься!“» Подразумевается, что Ленин лежит здесь слишком долго и без дела. В подобных анекдотах один из центральных персонажей — воскресший вождь: «Воскрес Ленин. Смотрит, все не то. Ну, подал он документы и через неделю получил вызов из Израиля от родственников по материнской линии. Приходит в ОБВИР. „Куда вы, Владимир Ильич?“ — „В эмиграцию, батенька. Все надо начинать с начала!“» Эта традиция знает кощунственные в прямом смысле тексты, где герои проклинаят друг друга, используя трехэтажные матерные формулы. Причем матерится и сам Ленин: «Брежнев приходит в Мавзолей с внуком. Внук спрашивает: „Дедушка, а после смерти ты здесь будешь жить?“ — „Конечно здесь!“ Тут Ленин встает и говорит: „Да что вам здесь, е... вашу мать, общежитие, что ли?!“» Непрстойно ведут себя и посетители: «Рабочий, выходя из Мавзолея, расчувствовался: „Ленин-то, е... его мать, лежит — ну как живой!“ — „Да ты где находишься?“ — спрашивает милиционер. „Да я что, я говорю — Ильич-то наш родной, е... его мать, лежит ну совсем как живой!“ — „Да ты где находишься?“ — орет милиционер. „Да я-то чё? Я только говорю: Ленин-то наш...“ — „Да х... с ним, с Лениным, я спрашиваю, ты где находишься?!“» Но область профанации высокого может существовать только в том случае, если уже сформировалась область этого самого высокого, то есть священного. Видимо, Ленин постепенно превращается в апокрифического народного мученика. С такой точки зрения спор левых и правых, битва «мавзолеофилов» и «мавзолеофобов», воспринимается как естественное продолжение многовекового культурного противостояния святого и кощунственного.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР МЯСНИКОВ



ИСТОРИЧЕСКАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зачем нужен исторический роман? Зачем обыкновенному гражданину вообще знать какую-то там давнюю историю? Ведь для развлечения можно и детектив почитать из современной жизни, любовный роман или фантастику. А у нас в России почему-то осязаемый спрос на историческую беллетристику. Не только на нон-фикшн — мемуары, сборники документов и биографии выдающихся людей, — но и на романы «из прошлой жизни». Достаточно подойти к любому книжному прилавку, чтобы убедиться. Книгоиздатели в этом плане — народ чуткий: потянуло прибылью — тут же все силы на удовлетворение спроса.

Но спрос на «историю» в современной России весьма своеобразен. С одной стороны, это желание убедиться в величии собственного прошлого, с другой, наоборот, уничижение, которое паче всякой гордости. Обе тенденции яростно сосуществуют и параллельно развиваются со времен перестройки, и бурный этот процесс породил любопытные внутрижанровые течения. Истоки явления понятны. Когда КПСС начала терять бразды правления, в первую очередь идеологические, народу стали предъявлять историческую правду. В самом горьком ее варианте. Что закономерно: правда о раскулачивании, коллективизации и репрессиях в какой-то мере объясняла материальную скудость современной жизни. Но в то же время она разрушала идеологический фундамент советского государства. Потом государство рухнуло, возникла новая Россия, начался новый исторический этап. Причем для каждого жителя страны в отдельности. И для абсолютного большинства наших сограждан этот процесс оказался чрезвычайно болезненным.

Миллионы людей лишились моральной опоры в жизни. То самое: «Был князь — и в грязь!» Еще вчера ты с гордостью ощущал себя единым целым с великой державой, наследником победителей, творцом будущего, покорителем космоса и Бог знает кем еще столь же величественным, и вдруг — «Верхняя Вольта с ракетами», «коммунистический Гулаг народов», «империя зла», «Россия, которую мы потеряли». Очень многие почувствовали себя обманутыми и растоптанными. У одних это вызвало внутренний протест, желание снова подняться, укрепиться в вере, опереться на великое прошлое, дающее надежду на будущее. Для других гораздо легче пережить моральный надлом оказалось с прямо противоположной позиции: все всегда было плохо, просто мы этого не знали.

Спрос рождает предложение. И явились *коммерческие историки*. Самым первым и успешным стал В. Суворов. Его «Ледокол» в начале 90-х бил все рекорды книжных продаж. Творение беглого советского шпиона, до того числившееся «гнусной антисоветской стряпней», оказалось востребовано на постсоветском пространстве и принесло хорошую прибыль издателям и книготор-

Мясников Виктор Алексеевич — прозаик, критик, книговед. Родился в 1956 году в Вологодской области. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького и Уральском государственном университете. Автор десяти книг (в том числе — «Оружие Урала», 2000), а также статей в екатеринбургской и столичной прессе.

говцам. Книга эта дала потрясающий психотерапевтический эффект. У многих читателей, согласившихся с тем, что это Советский Союз развязал Вторую мировую войну и вообще мы всегда были агрессорами и поработителями, комплекс поражения трансформировался в комплекс исторической вины, что переносится гораздо легче. Я помню, с каким упоением клеймилось наше общее прошлое в стихийных читательских спорах возле прилавков книжной ярмарки. Лично меня, безработного редактора, переквалифицировавшегося в книжного торговца, Суворов ни в чем не убедил, но его почитателей я сумел понять. Тому, кто считает, что справедливо страдает по вине предков, легче переживать трудности. И сейчас, когда трудностей существенно поубавилось, многие сочли, что «наказание» отбыто, все вины простились и стоит разобраться, так ли уж они были велики. То есть у коммерческих историков открылись новые перспективы¹.

Не собираюсь дискутировать с Суворовым по поводу исторической правды-неправды. «Ледокол» в данном случае интересен как эталонная книга, образец творчества коммерческих историков. Во-первых, она адресована не ученым-историкам, а массовому читателю, то есть нацелена на коммерческий успех. И здесь не имеет значения идеологический посыл. Это всего лишь позиция автора. Соответственно используются приемы, характерные для массовой культуры. Книга написана в стиле кухонных посиделок. Когда компания нормальных российских мужиков сидит за пивом или чем покрепче, неизбежно разговор приходит к политическим темам, а там рукой подать до проблем мировой истории. И если в компании оказался «спец», знающий предмет разговора гораздо шире, нежели остальные, он неизбежно тянет беседу на себя. И удивляет других обилием информации. А если он еще и излагает связно и занимательно, все остальные слушают раскрыв рты.

Итак. Коммерческий историк пишет от первого лица. Он ведет дружеский разговор, доверительно делится сведениями, почерпнутыми откуда придется. Для убедительности обильно приводит подходящие цитаты. Годится и голая риторика передовиц «Правды», и ничем не подкрепленные высказывания мемуаристов, и ссылки на тексты других коммерческих историков, и просто: «Один мужик рассказал...» Особый документализм придают номера воинских частей, фамилии командиров и даты. Подается все это с иронией, переходя-

¹ Вопрос о Суворове (Резуне) не так прост. У меня складывается впечатление, что многие его оппоненты (не о Мясникове речь) прочли одну, в крайнем случае полторы его книги, то есть тот же пресловутый «Ледокол». Иные, я подозреваю, ничего и не читали, а слышали, что Суворов: а) изменник, б) написал книгу, чтобы обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны — с соответствующими выводами. Утверждают даже, что под именем Суворова работают разные группы авторов (помнится, один эмигрантский писатель-антикоммунист объявлял, что «писатель Солженицын» — это провокационный проект КГБ, где под именем Солженицына работает группа анонимных литераторов). Между тем (если отвлечься от вопроса о возможных помощниках по сбору материала) книги Суворова объединены сквозной интригой, связанной с основным противоречием его личности. Противоречие это, как мне представляется, — между головным, *рассудочным антикоммунизмом* и неодолимым *нутряным патриотизмом*. Если этот изменник хочет *обелить* гитлеровскую Германию, то почему с таким оскорбительным презрением он пишет не только о Гитлере и его окружении, но и о рейхе, его вооруженных силах и проч.? Если этот изменник хочет взвалить ответственность на СССР, то почему с таким воодушевлением, я бы даже сказал — со священным восторгом, пишет о советской военной мощи? Что это — военная хитрость, попытка сделать более приемлемой свою концепцию? Которая, кстати, гораздо менее оскорбительна для *памяти павших*, чем общепринятые советские/постсоветские. Допустим, он концептуально не прав. Но у него же просто *душа поет*, когда он перечисляет марки и типы советской военной техники, воплотившей в себе волю и талант советских военных инженеров, когда перечисляет номера армий, готовых по приказу Сталина обрушиться не только на Германию, но и на всю Европу. Или еще. Осуждая (*разумеется*, осуждая) сталинскую программу-максимум по присоединению Финляндии к СССР, автор находит резоны в территориальных претензиях Сталина и — воспекает *победную* (именно так!) финскую кампанию. Я ни у какого советского *не-изменника* не встречал такого искреннего гимна Красной Армии, мужеству ее солдат и командиров, совершивших на Карельском перешейке *невозможное*. Изменник Суворов написал серию книг о том, что *мы лучше/круче всех*. Именно ради *этого* его читают/покупают (*Примеч. А. Василевского*).

щей в сарказм. Если какие-то широко известные документы противоречат авторской концепции, они объявляются подделкой. Если какие-то документальные подтверждения концепции отсутствуют, следует заявить, что они были, но их коварно уничтожили. Отдельный прием — апелляция к обыденному сознанию и простейшим логическим построениям: «Если Гудериан строит бетонные коробки по берегам пограничной реки, то это совсем не означает, что он намерен обороняться. Нет, это означает нечто совсем противоположное. А если Жуков демонстративно строит точно такие же коробки по берегам тех же самых рек, что бы это могло означать?» (В. Суворов, «Ледокол»). Читатель подталкивается к «озарению», к «сотворчеству». Некритично настроенные дилетанты на подобные приемы ловятся безотказно. Итогом всех этих построений должно стать «развенчание» каких-то общеизвестных событий, перемена их оценки на прямо противоположную. Для масскульта необходима сенсационность.

Этот творческий метод использует и другой известный коммерческий историк — Борис Соколов. Тем более, что он тоже пишет о Второй мировой войне. В многочисленных публикациях он с легкостью доказывает, что маршал Жуков вовсе не был гениальным полководцем, а, наоборот, бездарностью; что Великую Отечественную удалось выиграть только благодаря американскому ленд-лизу; что Александр Матросов никакой амбразуры не закрывал своим телом и т. д. Мне особенно нравится его версия встречного танкового боя под Прохоровкой во время Курской битвы. Вот как он пишет об этом в предисловии к своей книге «Тайны Второй мировой» (М., «Вече», 2000): «На самом деле 2-й немецкий танковый корпус СС, противостоявший советской 5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой, безвозвратно потерял только 5 танков... тогда как безвозвратные потери только 3-х корпусов 5-й гвардейской танковой армии составили, по данным советских донесений, совпадающих в этом случае с немецкими, не менее 334 танков и самоходных орудий». Это замечательный образец «кухонной» полемики, когда названы номера соединений, есть ссылка на донесения сразу обеих воюющих сторон и стремление открыть глаза потрясенному собеседнику. Как-то даже неудобно сомневаться в правдивости автора, тем более что эти сведения он почерпнул у немецкого историка Фризера, который в свою очередь нашел их в германских архивах. Для большей достоверности эта история подкреплена «устным преданием со слов очевидцев», будто Сталин за поражение под Прохоровкой едва не отдал под суд командующего армией П. Ротмистрова. Нераскрытой осталась лишь одна маленькая тайна: почему доблестные германские танкисты за три дня боев так и не смогли преодолеть полтора десятка километров, отделявших их от Прохоровки.

Соколову не хватает обстоятельности, он слишком тороплив. С другой стороны, повышенный спрос требовал немедленного удовлетворения. Солідные газеты и журналы охотно печатали его статьи, а массовый читатель с удовольствием это потреблял. Но ситуация в стране изменилась, изменились и запросы масс. Явно обозначилась прямо противоположная тенденция: зачем нам бесславное прошлое, если славное гораздо приятней. Россия явно возрождается, и гораздо комфортней чувствовать свою причастность к былому величию.

Самое великое прошлое нам гарантируют *хронобеллетристы*. Термин мне показался наиболее подходящим для обозначения этого своеобразного явления. Я имею в виду авторов различных хронологических теорий: А. Фоменко и Г. Носовского с их «новой хронологией», С. Валянского и Д. Калюжного с «хронотроникой» и т. п. Пишут они не для историков, а для читателя массового. Тиражи книг, выходящие в коммерческих издательствах, об этом недвусмысленно говорят.

Хронобеллетристы не признают археологию, ссылаясь на факты подделок и мистификаций. Они не обращаются к вспомогательным историческим дисциплинам вроде нумизматики, геральдики и т. д. Так же, как прочие коммер-

ческие историки, они могут какие-то древние произведения объявить поддельными, но при этом с легкостью сослаться на тексты современных авторов или романы А. Дюма. В отдельных случаях пользуются незатейливой логикой для построения необходимых выводов. Так, Носовский и Фоменко, доказывая, что Великая Китайская стена не могла служить надежным оборонительным рубежом, приходят к выводу, что ее построили между 1650 и 1689 годами для обозначения границы между Китаем и Россией по Нерчинскому договору. Впрочем, Александр Бушков в своей книге «Россия, которой не было» (2002) настаивает на другой версии: «Великая Китайская стена, какой мы ее видим сегодня, в самом деле грандиознейшее сооружение, построена во времена Мао Цзедуна. У которого хватало и амбиций, и многомиллионного резерва рабочей силы, чтобы реализовать подобный проект». Мнение самих китайцев никого не интересует.

Очень занимательны лингвистические упражнения хронобеллетристов. Уже стала классикой интерпретация имени хана Батя — Батя. Но если для одних Батя — атаман русской казачьей Орды, то для других он — Римский Папа, глава Золотого Ордена крестоносцев. Ну а хазары — это, понятное дело, гусары — венгерские рыцари. Нет особой надобности уточнять, кто из авторов что конкретно сочинил в каждом отдельном случае. Гораздо интересней их жесткая конкуренция. Они активно полемизируют, опровергают и разоблачают друг друга. Что поделатъ, если всемирная история одна на всех.

Объединяет хронобеллетристов общая убежденность в неправдоподобно великом прошлом России. Никакого татаро-монгольского ига не было, Чингисхан — наш человек, а древние цивилизации — фикция. Читателя это должно взбадривать и внутренне возвышать. Он, конечно, может растеряться от всей этой взаимоисключающей разноголосицы, но, с другой стороны, у него есть широкий выбор версий. Можно найти на любой вкус. Или начать думать самому, обратившись к трудам профессиональных историков. А еще можно получать удовольствие от самой литературной игры, если она не покажется слишком глупой. Авторы иногда не скрывают, что сами забавляются. Так, в конце «Другой истории Руси» С. Валянского и Д. Калюжного (2001) имеется откровенно стёбовая глава «Хроники хронотроники», состоящая из анекдотов про авторов проекта. Например: «Изучать иностранные языки С. И. Валянский и Д. В. Калюжный отказывались принципиально. Зачем бы им было утруждаться, если верстальщик О. Горяйнов свободно владел женой-переводчицей, а ученый секретарь г-жа Ермилова — словарем иностранных слов?» Верстальщик О. Горяйнов, кстати, сочинил послесловие к книге, заканчивающееся длинным «стихом-посвящением». Там есть такое четверостишие:

Мир немало гемorroю
 Поимел за этот срок.
 Например, ахейцы Трою
 Сдали немцам под шумок...

Такого «гемorroю» за свои деньги читатель может поиметь немерено, поскольку хронобеллетристы склонны к многотомным писаниям. Валянский и Калюжный даже копирайтом защитили свою идею проекта «Хронотрон». Пока в этой серии задумано пять книг, включая «Другую историю литературы» и «Другую историю искусства». И это правильно — золотую жилу следует вычерпывать до дна. Лишь бы им не мешали профессиональные историки со своими «антифоменковскими» конференциями и книжками. Впрочем, скандал — лучшая реклама.

С литературной точки зрения хронобеллетристика ущербна и просто нежизнеспособна. Это гомункул, скроенный из кусков мертвых тел и непонятных окаменелых костных останков, кое-как связанных обрывками сухожилий и покрытых ислевшим пергаментом. В нем нет плоти и крови — исторической мифологии, фольклорных цитат, устоявшихся представлений. Представь-

те себе роман о Батыевом нашествии, основанном на «новой хронологии», где Батый — Александр Невский, под корень вырезавший Рязань. И кому в этом случае провозглашать: «Кто с мечом к нам пришел...»? А с какой позиции описывать штурм Рязани? То ли восторгаться отважными русичами, с криком: «Веди нас, батя!» — лезущими на частокол, то ли другими отважным русичами, с криком: «Батыги поганые!» — дубасящими тех отважных по шеломам.

Такой роман историческим никто не признает, он однозначно пойдет по ведомству «альтернативной» фантастики. Там, пожалуйста, все, что угодно. Великая Ордусть с тремя столицами, одна из которых — Александрия Невская на берегах Невы-хэ. И сыскарь Багатур Лобо с ученым-законником Богданом Руховичем Оуянцевым-Сю, расследующие «Дело о полку Игореве» (третий роман евразийской эпопеи Хольма ван Зайчика «Плохих людей нет»).

Историческая беллетристика и сама творит мифы, насаждает шаблонные представления. Ну кто из читателей «Трех мушкетеров» поверит, что кардинал Ришелье был великим государственным деятелем? Впрочем, в русской литературе исторический роман долгое время служил делу просвещения. Он обязан был содержать историческую правду, и ничего, кроме правды. Естественно, в понимании автора, жестко ориентированного на научные знания и/или общепринятые представления. Скажем, Стенька Разин обязан утопить персидскую княжну. А вот с какой присказкой он это сделал и по какой причине, тут уже на усмотрение автора, точнее, в соответствии с художественной правдой образа казачьего атамана. Поэтому исторический русский роман всегда находился в русле мейнстрима и служил прекрасным дополнением к учебнику истории. В таком произведении всегда давалась широкая картина жизни всех слоев общества, подробно описывались быт и нравы, язык приобретал старинную тяжеловесность, а широко известные события обрастали художественными подробностями. Он обязательно был патриотичен и идеологичен.

Пример Александра Дюма, выковыривавшего изюм занимательности из пресной булки истории, как-то не увлекал. Каноны нарушил Валентин Пиккуль, хотя ему так и не удалось стать настоящим «русским Дюма». Он не сумел создать культового героя вроде д'Артаньяна или графа Монте-Кристо. Его «маленькие люди» не рисковали связываться с крупными историческими личностями и влиять на события государственного масштаба. Он не пожелал полностью порвать с традицией. Манипулируя историческими событиями, Пиккуль все же придерживался определенных рамок. Тем не менее его можно считать основоположником *русской фольк-хистори*, массовой исторической беллетристики, рассчитанной на читателя, ищущего развлечения.

Фольк-хистори — явление многогранное. Тут есть и бульварный авантюрный роман, и салонный, и житийно-монархический, и патриотический, и ретро-детектив. Как положено масскульту, все они подразумевают негласный договор автора с читателем. То есть все читательские ожидания должны быть удовлетворены, финал предсказуем, исторические сплетни и анекдоты обязательно пересказаны, а нагрузка на мозги минимальна. Исторический антураж в пределах банальной эрудиции.

Прямые наследники традиционной отечественной исторической романистики — патриотические и житийно-монархические романы. Они солидно объемисты, вплоть до многотомья-многопудья, неторопливы, державны и соборны. Зачастую сбиваются в плотные тематические косяки-серии: «Рюриковичи», «Романовы», «Великие полководцы», «Слава», «Русская Америка» и тому подобное. Они греют душу истинного патриота и обстоятельным внешним видом — суперобложка, капитальный переплет, — и содержанием. Наши люди, в противовес зарубежным хищникам, несут добро и свет просвещения нецивилизованным народам, хотя дружить, обустроивать земли и преумножать славу России. Моральный облик, как у строителей коммунизма. Встречаются, конечно, отдельные отщепенцы, так их в железа куют или вообще живота лишают. В романе А. Кудри «Правитель Аляски» именно так все и обстоит. Прославленный герой рок-оперы Резанов отнюдь не «куртизанит вся-

кий день», как он сообщал в своих письмах, губернаторскую дочку, а относится к ней с трепетным умилением. Сам же правитель Аляски Александр Баранов больше озабочен строительством поселений, чем добычей мехов для акционеров Российско-Американской компании. Хотя по мере чтения начинаешь понимать, что Аляска вовсе не была частью империи, а лишь заморской колонией. И все ее освоение сводилось к вывозу пушнины. Но греет сердце патриота мысль, что земелька-то Алясочка нашей была искони, уж тут-то мы Вашингтонским ястребам нос утирали.

Житийно-монархический роман бурно расцвел в период ельцинского правления. Первый президент России и сам любил в монархические игрушки поиграть. Возродил царские ордена с крестами на шею, звездами на грудь и лентами через плечо, учредил разрядную табель окладов госчиновников, вместо «руки КГБ» привил идиому «государево око». А уж какая была эпопея с царскими останками! Все монархическое и аристократическое быстро вошло в моду. Даже на самом демократическом канале НТВ всерьез обсуждали возможность восстановления монархии в России. Как тут было не появиться житиям царственных мучеников, героев Белой гвардии и прочих особ высокого положения?

Самыми популярными персонажами, естественно, стали члены императорской фамилии, погубленные большевиками. Как положено, жизнь их была полна святости, кротости и чистой любви ко всем. Замечательным образцом житийно-монархической прозы является двухтомный роман Е. Иванова «Божией милостью Мы, Николай Второй...» (серия «Романовы. Династия в романах» — М., «Армада», 1998). Это воистину верноподданническое произведение написано с замирающим от искреннего восторга сердцем. Так же должно и читаться — с наворачивающейся слезой. Потому что Его Императорское Величество Царь Николай Второй был человек душевный, мягкий, богобоязненный и с лучистыми голубыми глазами. Императорская Жена Аликс тоже была Голубка и Ангел Божий и обожала своего Царя. Их Друг Григорий, мудрый мужичок, беззаветно любил Их обоих. А все вместе Они постоянно любили русский народ, самозабвенно молились за него и воевали с немцами. А немцы подкупили русских пролетариев, керенских, гучковых, милюковых, буржуев, журналистов, интеллигентов и всех остальных. А подлые аристократы и великие князья с бездарными генералами специально проиграли войну, разорили страну, возбудили мужичков и выгнали Царя из Ставки. Рабочим платили по три рубля за каждый день забастовки, поэтому они совсем бросили работу. Так называемые деятели искусств пресловутого серебряного века на потребу высшему свету фабриковали порнографию и прочий декаданс. Кругом творились оргии, сплетни, воровство и агитация. Только Царская Семья сохраняла атмосферу любви и благообразия, непрестанно молясь о спасении Своей страны. Но все Их предали, все...

Законы житийно-монархического жанра от перемены персонажей не меняются. Если вместо государя императора взять генерального секретаря ЦК КПСС, результат будет тот же. Вот вышедший в серии «Вожди в романах» того же издательства «Армада» роман Петра Проскурина «Число зверя». Автор широко известен, его роман о Брежневе — несколько меньше. Генсек выписан с ностальгическим сочувствием. Это добрейший человек, любящий отец, которого постоянно расстраивают пьющая дочь и вороватый сын. С одной стороны, им манипулирует Сулов, с другой — еврей Андропов. Вообще нехорошие русофобы со времен Троцкого планомерно ведут Россию к гибели, разводят диссидентшину и разрушают великий Советский Союз. Правда, появился кружок русских патриотов, мечтающих о возрождении монархии. Покровительствует им прима академического театра, молодая красавица, любовница самого Брежнева, хранительница уникального царского бриллианта. Но подругу Генсека увел преступный красавчик. Спецслужбы ее за это убили, а бриллиант украли. Они бы и с красавчиком разделались, но добрый дедушка Брежнев его отпустил. Действие романа, крепко наперченного антисемитиз-

мом и мистикой, протекает в среде коммунистической элиты, в особняках академиков и народных артисток, обвешанных уникальными драгоценностями, подпольных княгинь и восторженной прислуги. И никаких колхозников или уральских работяг, рыщущих в поисках магазина, отоваривающего талоны на колбасу. Никаких анекдотов про нашего дорогого Леонида Ильича. Все душевно, серьезно и на высоком уровне. И все здесь как в побасенке про большую белую таблетку, которую доктор переломил о колено. «Вот эта половина от головы, а эта от поноса. Смотри не перепутай». Для того, чтобы читатель не перепутал, книги разведены по сериям. Для одного — «Романовы», для другого — «Вожди». Доктору все ожидания пациента, пардон, читателя, хорошо известны. Главное — не перепутать.

Эдвард Радзинский — признанная телезвезда, самый популярный автор отечественной салонной фольк-хистори. К нему уже привязался эпитет «сладкоголосый». За ироническим определением прячется зависть. Действительно, артистическая речь Радзинского способна очаровать и заморозить. Конечно, его лучше слушать, а если читать, то стараясь внутренне воспроизводить его интонацию. Без этих саркастических смешков и легко внушаемой патетики удовольствие не будет полным. Все-таки фольк-хистори обращается не к уму, а к эмоциям читателя, и актерское мастерство автора просто необходимо. Здесь нет места скучному анализу социально-экономических причин и следствий, история подается на уровне бытового сознания. Гораздо легче поверить, что Иван Грозный взял Казань и Астрахань, мстя за ордынское иго, а не из-за тривиального выхода к Каспийскому морю. И, рассказывая о самом жестоком из русских царей, Радзинский в меру своих знаний излагает то, что ждет от него читатель (слушатель): сцены казней и оргий, внушающие страх и ужас. На уровне тривиальной эрудированности все каноны и шаблоны соблюдены. Разумеется, маленького Ваню забижали бояре, а он, когда подрос, велел всех пытать и казнить. Неувязки возникают там, где надо действительно углубиться в историю. Скажем, ходившие в народе челобитные Ивашки Пересветова, где пререзко давались царю советы, как управлять государством, что следует казнить бояр и приблизить служилое дворянство, Карамзин считал написанными уже после смерти Грозного в оправдание его зверств. Позже личность Пересветова была подтверждена учеными, упоминания о нем найдены в бумагах того времени, но Радзинский без убедительных оснований заявляет, что под именем Ивашки выступал сам царь Иоанн, выдававший таким образом свои желания за глас народа.

Впрочем, это абсолютно несущественно. Потребитель салонного фольк-хистори жаждет совсем иного — сплетни. Для него важны слабости сильных, пороки достойных, страхи тиранов, некрасивые тайны красавиц, горести коронованных властителей. Радзинский, талантливый драматург, квалифицированно выстраивает сюжет, умеет, где надо, промолчать, где-то надавить на эмоции, неожиданно повернуть действие. Его произведения разбиты, подобно пьесе, на акты и сцены, на абзацы-реплики. Читателю, точнее, читательнице нужны страсти роковые. И она их получает.

Что касается откровенно бульварного фольк-хистори, оно обращено к грубому мужскому восприятию, здесь кровь хлещет, разнагишенная плоть обильна, а блуд неистов. К истории это имеет меньше отношения, чем рыбные тефтели к ихтиологии. Такое специфическое дубовое чтиво. Издательство «АСТ-Пресс», вообще специализирующееся на дубовом масскульте, выпустило колоритнейший образец подобной продукции — роман Евгения Сухова «Жестокая любовь государя». Сам Сухов — фигура легендарная, автор целого цикла бандитских романов о героическом воре в законе. Романы эти фабрикуются конвейерным способом, и кто-то из «фабрикантов», склонный к розыгрышам, разордился довольно объемистым опусом. Представьте себе, что обаятельный воруго Жорж Милославский из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» застрял в эпохе Ивана Грозного этак на несколько дней. Будучи парнем веселым и находчивым, он выкрутился и с помощью машины времени

неунывающего Шурика вернулся прямым в наше, как выражаются политики, нелегкое время. А тут все не так: двери железные, окна в решетках, мафия лютует. И решил Жорж стать писателем. Все-таки он своими глазами видел царя Ивана, мед-пиво пил, со стрельцами дрался, наслушался всяких древнерусских байек и словечек нахватался. А сюжет слепил из кусков фильмов, которые по ящику показывают. Заварганил по-борзому роман и толкнул в издательство.

Вглубь веков он перенес и свои представления о воровском устройстве мира. Помимо царя Ивана — пьяницы и развратника, на Руси еще два хозяина: главы мафиозно-разбойничьих кланов. Все трое воюют друг с другом за верховную власть, обкладывают данью деревни, грабят боярские терема и чеканят фальшивые деньги. По дорогам и весям шляются бродячие монахи типа шаолиньских мастеров кунг-фу, только специализирующиеся на кулачных и палочных боях, тоже грабят и насильничают. Исторический фон имитируется с помощью словаря устаревших слов и расхожих представлений, доведенных до абсурда. Тут вам и кафтаны с армяками, ковшики медовухи и братины браги, в том числе клюквенной, в один присест выпиваемые боярами, бесконечная путаница аршинов и сажений, полные карманы изумрудов и золота. Стряпчие стряпают еду, постельничьи стелят простыни, стольники работают официантами. С одной стороны, довольно точное описание Монетного двора (который на самом деле назывался Денежным), с другой — пятаки, рубли и гривенники, которые появились только после реформы Петра I. Автору невдомек, что при Грозном чеканились лишь копейки, денги (полукопейки) и полушки. Исторические личности, знакомые еще по школьному учебнику — Курбский, Сильвестр, Басманов, — появляются лишь на мгновение, чтобы отметить и исчезнуть. Три строчки посвящены всем казанским походам. Зато со вкусом описаны царские пьянки, оргии и разврат. С «глубоким» знанием дела подана охота на подмосковных туров — быков размером с мамонта. В нем мяса с тысячу пудов (16 тонн!), до холки рукой не дотянуться. А в общем-то, нет смысла ловить автора на нелепичах и глупостях. Каков писатель, таков и читатель: все полезно, что в брюхо пролезло.

Ретро-детектив — тема обкатанная. Тут и говорить не о чем. Особенность его в том, что он может быть и салонным, и монархическим, и бульварным, и патристическим. И всем вместе сразу. Самый салонный — человек-проект Б. Акунин. Работает по готовым схемам, соединяя шаблонные блоки своего рода литературного конструктора «лего». Переносит представления нашего времени в прошлое. Например, Эраст Фандорин производится в статские советники столь же легко, как в ельцинское время юрист Дмитрий Якубовский — в полковники, а монахиня Пелагия запросто переодевается в гражданское платье и сводит с ума половину губернского высшего света. Здесь важно понимать, что клюква в сахаре — это уже не дикая кислая ягода, а продукт глубокой кондитерской переработки. А если она в шоколаде, так и вовсе любые претензии безосновательны.

Леонид Юзефович не просто профессиональный писатель, но еще и учитель истории. Он мастерски воссоздает атмосферу эпохи со всеми ее мельчайшими деталями и характерами современников. Его ретро-детективы могут считаться историческими романами в самом лучшем и традиционном смысле. Понятно, что он их пишет подолгу, годами, зато его вряд ли кто превзойдет.

Есть и другие авторы, столь громкой славы не снискавшие, хотя бы и Хруцкий с Лавровым. А будет их еще больше, поскольку рецепт создания заурядного ретро-детектива прост. Часть слов заменяется: милиционер — городской, капитан — штабс-капитан, ресторан — ресторация, гражданин — сударь, музыкальный центр — шарманка. Исключаются слова-новоделы: колхоз, совхоз, товарищ, телевизор. Радио можно, его изобрели в 1905 году, хоть и заговорило оно гораздо позже. Можно и телефон. Больше ничего менять не надо, а то еще сами запутаетесь, сколько там аршин в фунте. С одеждой тоже

по-простому: народ — косоворотки, лапти и сапоги, чиновники — мундиры, господа — фраки, интеллигенция — пенсне. У мужиков — борода, у военных — лихие усы. Свердловская губерния — это, конечно, нехорошо, а Новосибирская сгодится, хотя Новониколаевск, вроде как и Екатеринбург, был уездным городом. Главное — ретро-преступление, взятое из книги «Сто лет криминалистики», и образ сыщика — клонированный Фандорин.

Историческая беллетристика очень зависима от политических настроений в обществе. Скажем, серия «Белый детектив» издательства «ОЛМА-Пресс» опоздала на несколько лет и, что называется, не пошла. Меняется общественное сознание, варьируется и объем ниш книжного рынка. Монархическое фольк-хистори теряет актуальность. Патриотическое, наоборот, должно пойти на подъем. То же самое с ретро-детективом. Когда на душе спокойно, холодильник полон, а зарплата гарантирована, так приятно провалиться в кресло под зеленой лампой и погрузиться в уютное прошлое, где нет отморозков с автоматами. А кондовые эпопеи отомрут как экономически бесперспективные. Зачем прописывать роман десять лет без гонорара, если с конвейера каждые две недели новый спрыгивает?

Зато любители истории переориентируются на сборники документов и мемуары. Которых будет еще больше.

МАРИЯ РЕМИЗОВА



ВАГИНЕТИКА, ИЛИ ЖЕНСКИЕ СТРАТЕГИИ В ПОЛУЧЕНИИ ГРАНТОВ

Видели вы когда-нибудь, как играют маленькие дети? С необыкновенной важностью еще плохо лепечущий карапуз натягивает задом наперед белую рубашку и разом превращается во врача. С ходу назначает диагнозы. Вкривь и вкось бинтует медведю «сломанную» лапу, сует зайцу под мышку карандаш, а вам пихает в рот какую-то дрянь, в крик уверяя, что это «лекарство». И вы и заяц сразу же выздоравливаете, и лишь бедный мишка еще месяцами валяется за креслом с забытой на ноге тряпкой...

Отметим, однако, с какой педантичностью наш маленький «доктор» выполняет зацепившиеся в памяти операции: он не забудет встряхнуть «градусник» — даром, что тот деревянный, да встряхнет-то, пожалуй, и после того, как «смерит температуру». А попробуйте незаметно сплунуть бумажный комок, обозначенный таблеткой! Визгу не оберешься... Он же настоящий врач — в белом халате...

Грешно смеяться над детишками — да и какой дурак станет? Они такие лапочки. Однако хороши также и взрослые, сохранившие в неповрежденном виде все навыки некогда милой непосредственности — и дивно-прекрасное, не обезображенное печалью многознания чело...

Книга Ирины Жеребкиной называется «Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России» (издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, не хухры-мухры тебе, 2001 соответственно год). По сто семьдесят девять рубликов, между прочим, к примеру, в «Библио-глобусе». Ага. Женское тело, да еще в России... В голову первым делом приходит баня, необъятные панталоны на соседском балконе и очередь в гинекологический кабинет.

Нет! И еще раз нет! Ирина Жеребкина пишет о другом. «В книге представлена новая интерпретация женских политик субъективации в русской культуре XIX — XX веков с точки зрения современной феминистской теории» (из аннотации). Дальше, собственно, можно было бы и вовсе ничего не писать, но жалко (буквально жалко) не поделиться сокровищами слога и мысли, скрытыми под обложкой «Страсти». К тому же сей труд рекомендован к печати целым «Ученым советом Харьковского национального университета». К прочтению, стало быть, тоже. Рецензенты — сплошь доктора философии (и мы не станем грубить и скандалить, уверяя, что доктора эти того рода, что излечится скорее сам). Впрочем, указан и грант — даже с номером. В общем, все честь по чести — как у той рекламной барышни, с *серьезнейшим* видом надевающей очки, — «мы, ученые, ничего не принимаем на веру...».

Ремизова Мария Станиславовна — литературный критик, журналист; окончила факультет журналистики МГУ. Автор многочисленных статей на актуальные литературно-культурные темы в журнальной и газетной прессе. Сотрудник журнала «Континент». Постоянный автор «Нового мира».

Итак, к делу. Генеральную идею «Страсти» пусть формулирует автор: «Основным типом анализа является анализ репрессивных дискурсивных практик в отношении женского в России (механизм традиционных христологических „заповедей“, вписывающий женскую субъективность в „нормативный“ / „западный“ конструкт — фактически конструкт истерии». На «христологических заповедях» небось екнуло сердчишко? То ли еще будет... Ну а по сути — много уразумели? То-то же, ученый человек пишет...

В общем, автора интересует «жест личной женской реализации в тех культурах, где эта реализация запрещена, то есть самодостаточный женский жест, „перевешивающий“ конвенции культуры, в которых женщина неизбежно сконструирована как „второй пол“».

Под личной реализацией, заметим, понимается отнюдь не творческая реализация (в терминологии «Страсти» — «по фаллическому типу»), а исключительно сексуальная (которая у бедных русских женщин тоже по большей части строится по означенному «типу» и ни к чему хорошему, естественно, не приводит). То, что в фигурантки «Страсти» попали дамы, так или иначе отмечавшиеся в «культурном контексте», не значит почти ничего — просто их *сексуальные стратегии* оставили удобный для исследователя *текстуально материализованный след*.

Не забудем, что феминистические изыскания автора с категорически не подходящей к избранному *дискурсу* фамилией проходили во время действительной службы у генерала Гранта. И потому автор обращается в первую голову к самому прогрессивному читателю самой прогрессивной в мире страны. Чтобы этот прогрессивный не заплутал в трех чуждых ему соснах, Ирина Жеребкина снабжает всех упоминаемых «персонажей» устойчивыми кеннингами: «знаменитый русский писатель-моралист XIX века Лев Николаевич Толстой», «„великий русский писатель“, создатель знаменитых психологических романов *Преступление и наказание* (1866), *Идиот* (1867) и *Братья Карамазовы* (1879 — 1880) Федор Михайлович Достоевский», «известный русский философ В. В. Розанов»... Отметим попутно радующее глаз своей *продвинутостью* и нарушением *тоталитарного дискурса* русской орфографии *западное* написание названий без кавычек, зато курсивом. Что поделать, генерал Грант *привык* читать именно так, не менять же привычки ради правил чужой грамматики!

На всякий случай сообщаются разные попутные сведения, генеральской ставке неизвестные: «неверная жена Анна Каренина из романа Толстого *Анна Каренина*», «22 июня 1941 года началась война», «лауреат Нобелевской премии поэт Борис Пастернак».

Да, и не забудем, конечно, этого закавыченного *великого русского*. Он, она, они всюду пойдут в кавычках — «большая русская литература», «большая русская история», «великие русские писатели»: не дай Бог, кто заподозрит, что г-жа Жеребкина разделяет эти завышенные национальные самооценки. Чтобы окончательно рассеять недоразумение, Жеребкина на всякий случай *артикулирует* свое понимание места исследуемой культуры — в мировом, надо полагать, контексте: «за русские культурные рамки вышел (умоляю, следите за слогом! — *М. Р.*) только еще другой известный Берберовой человек — писатель Набоков. Берберова за эти рамки все-таки так никогда и не вышла, как и русская культура вообще».

Сказать по чести, может быть, и к счастью. Сама Ирина Жеребкина, несомненно, вышла — и каков результат? Вот она *позиционирует* себя как *ученого*, стало быть, пользуется *ученой терминологией*, то бишь шибко умными иностранными словами. То есть даже не *пользуется* от случая к случаю, а просто изъясняется на неудобочитаемом волапуке, с образцами которого мы уже частично познакомились, но будем знакомиться и дальше.

Нельзя просто сказать «экстаз» или «любовь», они непременно превращаются в «*процедуры экстаза*», «*процедуры любви*». Героиня любовного романа предпочитает скорее умереть, «чем обладать любовным объектом в виде *копулярной* семьи или *копулярных* отношений обмена» (и как понятно ее нежелание

вступать в столь омерзительную связь»). «*Жест любви как жест жертвоприношения составляет ее (женщины. — М. Р.) примордиальную структуру*». (Без тени стыда признаюсь в своем невежестве — я долго лазила по словарям в поисках последнего лексического шедевра и на всякий случай сообщаю: значит это всего-навсего «первичный, исконный», да и то в английском языке, в русском же функционирует исключительно как биологический термин и означает «зачаточный, зародышевый». То есть «жест любви» составляет *зародышевую, или зачаточную, структуру женщины? Поди пойми феминисток!..* Весь курсив, кстати, мой.)

С *заимствованной лексикой* вроде бы все ясно, но жаль бросаться такими конфетками: «конструкт русской эмансипированной женщины Аполлинарии Сусловой в русской культуре сформирован как парадоксальный в терминах западной логики»; Вера Засулич, «очарованная когда-то Нечаевым, использовавшим интимные ритуалы и риторику любви»; «возможно, ключ к такому поведению А. Ф. Кони лежит в его сущностной... импотентности в качестве фигуры правосудия», «мужчина привлекает ее внимание различными активными действиями и перформативными постановками — в виде мужского тела генерала Трепова <...>; в виде справедливого и добропорядочного тела А. Ф. Кони... На десерт предложим «функционирование своих естественных телесных функций», «ассамбляж наркотиков» и «уникальную микстуру сентиментализма и помпезности».

Вообще основной характеристикой стиля (и, видимо, мышления) Жеребкиной является тавтология. Это заметно как на уровне отдельной фразы, так и на уровне всего текста, строящегося по принципу *бесконечного повторения одного и того же* и часто *теми же самыми словами*, только расставленными в несколько ином порядке. «...смерть и полная аннигиляция жизни», «она воплощала собой структуру „инаковости“, „друговости“ <...> и являлась поводом для дискурсивного осмысления феномена друговости как такового», «из-за слишком абсолютного идеала абсолютной любви» — таким-то образом строится жеребкинский *нарратив*.

Но слишком тесное общение с передовым западным *дискурсом* оказало, по видимому, роковое влияние на речевые функции автора вообще. Даже там, где, казалось бы, нет никаких подводных камней, *он/она* не вполне справляется с речевой задачей. «В то же время общее гносеологическое сходство <...> имеет существенные различия», «...восхищавшему не только Россию, но и весь мир за „открытие глубин“», «полноправная хозяйка акта присвоения», «полная, до изнеможения ежедневная работа в мастерской», «логика исключения себя и жертвоприношение собой», «знаменитая русский антрополог П. Г. Тарновская».

Порой, учитывая обсуждаемые в книге материи, Жеребкина добивается *репрезентации* весьма гривуазных смыслов — там, где, кажется, вовсе того не желала. «...момент встречи мужчины и женщины состоит из двух последовательных процедур — оглядывания и затем насильственного проникновения мужчины...» — да не бойтесь же! — «в женскую психику». «...во время встречи с Розановым <...> Сулова по-прежнему нравилась молодым мужчинам». «Марина Цветаева, родившая сына Мура, можно сказать, в результате гомосексуальной связи с Парнок», «...в Париже Сергей Маковский живет вместе со своей мамой», «...в ее лице мы имеем дело с дистанцированным, холодным и нечеловеческим партнером». Иной раз и вовсе теряешься — что бы такое автор мог иметь в виду? «...дурной запах ее промежностей» — то ли речь о женщине-уроде, то ли феминизм запрещает анатомию как таковую, то ли автор попросту не подозревает, что означает слово?

Из «Страсти» можно почерпнуть массу поразительных сведений. Досталось, в общем-то, всем, но больше всего, пожалуй, повезло Достоевскому. Автор, например, полагает, что «основными показателями „подлинной“ русской женской „души“ (прошу обратить внимание на кавычки! — М. Р.) у Достоевского становятся понятия женского тела и женской сексуальности <...>, которые легализуются в творчестве Достоевского после долгого запрета на изобра-

жение телесности в дискурсе „великой русской литературы”, в котором до него моральные ценности доминировали над телесными, а основным выразителем морального дискурса был другой знаменитый русский писатель-моралист XIX века Лев Николаевич Толстой». Что называется, попал так попал — из моралистов да прямо в объятия Арцыбашева.

Однако этот *прогрессивный в терминах современной феминистской критики* ход не спасает беднягу от гораздо более серьезных обвинений: сказав «а» (отказавшись от примата морали над телесностью), он не говорит «б», продолжая следовать косным, *репрессивным* в отношении женщин *практикам* — «все знаменитые истерички Достоевского, такие, как Настасья Филипповна, Аглая, Грушенька или Катерина Ивановна, говорят его языком», кроме того, он не только создал героя, который, «убив старуху-процентщицу <...> нарушает логику прав человека (sic!)», но и выстроил действие так, что «насилие в отношении старухи не воспринимается как насилие и никак не стимулирует возникновение либерального дискурса в России». (Генералу Гранту — гип-гип, ура!) Впрочем, это уже претензия ко всему российскому обществу — и поделом... Но лучше всего место означенного писателя в мировой культуре характеризует, конечно, определение: «великий любовник Аполлинаруи русский писатель Федор Михайлович Достоевский».

Кстати о «загадочной» (и репрессивной) русской культуре. Феминистская сущность Жеребкиной прямо-таки обмирает при столкновении с ее отъявленной нелогичностью. «...феномен русской эмансипированной женщины Аполлинаруи Сусловой в русской культуре демонстрирует нам один из основных парадоксов (?) этой культуры: хотя Сулова нарушает основные западные феминистские конвенции (?!), в том числе и основную либеральную конвенцию — конвенцию прав человека, она тем не менее до конца своих дней маркируется русской культурой в качестве русской феминистки и защитницы женских прав». Чего же тут удивляться? — в свою очередь задаемся вопросом и мы. Гневный пассаж вызван дневниковой записью Розанова: «Я умываюсь, а она вдруг подойдет и без причины ударит меня. Так я и умываюсь слезами. Она же побила, не он ее: все путем.

С другой стороны, Жеребкина готова приписать проштрафившемуся Достоевскому то, чего он был не в состоянии сделать ну ни при каких условиях — даже вкупе с самим доктором Фрейдом и Захер-Мазохом до кучи, разделившими, по мнению Жеребкиной, бремя открытия: «И здесь мы сталкиваемся с одним из самых парадоксальных (?) открытий как Достоевского, так и фрейдовского психоанализа — шокирующим обнаружением субъектом в себе самом чередования любви и ненависти, то есть одновременным присутствием обоих этих чувств в структуре „страсти”». (Про Мазоха дальше, но все то же самое — *другими словами*.) А как же Катулл, два с гаком *тысячелетия* назад написавший: «Ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь? Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь»? (Другие, более *сложные* примеры и приводить не станем.)

Но, кажется, г-жа Жеребкина (да и ее *учителя*) в истории литературы не сильна. «Почему со времен романтизма любовь неизбежно в ее культурных репрезентациях сочетается со смертью?» — задает вопрос Славой Жижек в книге «Метастазы наслаждения. Шесть эссе о женщине и причинности». Задастся этим вопросом и Жеребкина. (Едва ли можно назвать удачным перевод последнего слова из названия — учитывая его коннотации в русском языке и общий *контекст* книги.) Задаемся и мы. В самом деле — почему? А «Тристан и Изольда», «Медea», «Антоний и Клеопатра», «Ромео и Джульетта», наконец, — это что, романтизм? Но отнюдь не это, конечно, удивило обоих авторов. То есть вовсе и не удивило. Нам заумно объяснят, *отчего* это так: «Требование любовной безусловности направлено против одного из оснований западной культуры (!) — феномена (?) контракта (!) и как бы подрывает (?) его и его сущность, в то время как требование условности аффирмативно (!) утвер-

ждает данное основание, производя (?) сам феномен любви как глубоко (?) амбивалентный по своей природе».

Впрочем, и владение теорией литературы не назовешь сильной стороной исследовательского таланта г-жи Жеребкиной: «Рената, прообраз (!) Нины Петровской...» Чего уж помянуть какого-то «ангела Мюдюэля», который почти через сотню страниц начинает неспешно дрейфовать к «Мюдюэлю», но так и застревает на этой стадии, тщетно прождав верного написания своего имени (Мадизель) до самого конца книги.

Но поскольку мы имеем дело с *феминистским*, значит, подчеркнуто женским текстом, не стоит удивляться, что в нем проявились черты типичной женской непоследовательности. Неустранимое противоречие избрано автором вторым по значимости приемом (после повтора). На стр. 16 Жеребкина утверждает, что «Василий Розанов даже женился на Аполлинару Сусловой, почти на двадцать лет старше его». На стр. 33 возраст уточняется — «на шестнадцать лет старше». На стр. 50 подтверждение: «24-летний Розанов выбрал 40-летнюю Аполлинару», и дальше — «после шести лет жизни с молодым Розановым она бросила его». Но уже на стр. 51 цитата из Розанова же: «Она кончила же тем, что уже 43-х лет влюбилась в студента Гольдовского <...>. Она бросила меня». Или арифметика феминисткам тоже запрещена?

На стр. 184 цитата из дневника Менделеевой: «Течение своих линий я находила впоследствии отчасти у Джорджоне», на стр. 185, вспоминая цитату, Жеребкина пишет: «Сравнивая себя с мадоннами Боттичелли...» Оно, конечно, один хрен, но все-таки так сразу, на соседних страницах...

На стр. 42 сказано, что «Дневник» Сусловой «был найден после ее смерти в 1918 году в Севастополе и опубликован в 1928 году А. С. Долининым», но на стр. 49 сведения о «Дневнике» уже совсем другие: «Он был случайно найден в 1918 году А. Л. Бемом среди новопоступивших в Рукописное отделение Петроградской академии наук рукописей».

Плохо сочетаются между собой сообщения, что Достоевский не признавал литературных талантов Сусловой и что все три ее рассказа — «Покуда», «До свадьбы» и «Своей дорогой» — да плюс к тому перевод французской книги «Жизнь Франклина» были опубликованы в журнале «Время», который издавали братья Достоевские. То Суслова в трудных *практиках субъективации* «отвоевала (?) это право» на язык, в котором, по мнению Жеребкиной, отказали ей все те же Достоевский с Розановым, находившимся «под трепетным (!) влиянием» первого, «была писательницей и переводчицей и оставила свой знаменитый *Дневник*, который сегодня не менее знаменит (!), чем творчество Достоевского». То оказывается, что она поразила «критиков полным неумением выразить переживания „страдающей женской души“» и заставила их «предположить, что все ее произведения во *Времени* — и даже первый рассказ — были напечатаны исключительно благодаря протекции Достоевского».

То автор награждает Марию Башкирцеву эпитетом «гениальная» — «поскольку сила ее «„женского гения“ все-таки прорвала все пути сдерживающих ее мужских консервативных авторитетов в живописи», то вдруг оказывается, что «ее оставшиеся после смерти картины носят ученический характер», и даже приводится ссылка на некоего «современного исследователя», который назвал ее картины «устаревшими». Воистину гений Жеребкиной — парадоксов друг, товарищ и брат.

Особенное, ни с чем не сравнимое наслаждение доставляют сноски.

Текст: «Поразительным открытием Фрейдова психоанализа явился не тот общеизвестный тезис, что основой художественного творчества является сублимация сексуальности, а тот тезис, что женская сублимация в творчестве характеризуется не символическим показателем сексуальности — то есть „желанием“, но асимволическим „влечением“ (либидо)». Сноска: «Дневник Марии Башкирцевой... Стр. 16 — 17».

Текст: «..., великие русские писатели» — не только Достоевский, но и Толстой и другие (?), которым принадлежит, начиная с *Бедной Лизы* Карамзина и

пушкинской Татьяны из *Евгения Онегина*, „честь” (?) открытия и исследования „загадочной русской души” в русской культуре». Сноска: «„Татьяна — русская душою” — известный пушкинский штамп».

Текст: «...ничто — ни глухота, ни кровохарканье — не может остановить Марию Башкирцеву в этой любви». Сноска: «Мария Башкирцева, — передает Анастасия Цветаева воспоминания Леви, — несомненно страдала слуховыми галлюцинациями».

А вот наилучший пассаж.

Текст: «...знаменитый Распутин <...> был известным целителем и массовым образом излечивал истерических женщин (в том числе больных падучей, кликуш и т. п.)». Сноска: «В частности, лечил наследника престола царевича Алексея от гемофилии».

Остается добавить немного. Собственно информативный объем «Страсти» так ничтожен, что заметить его удается с трудом. Ну, бесконечный феминистский апостол Лакан и бесконечное феминистское *баунти* — *jouissance féminine* — «женское наслаждение (субъективация без символической кастрации)». Из всех «героинь» книги достичь его удалось лишь двум — Софии Парнок, «ускользающей из фаллического ритма», и Лиле Брик, строившей «свой быт и жизнь в невероятной ситуации исполнения желаний как невероятной ситуации вечной сексуальности и вечной красоты». Более-менее приблизилась к нему Любовь Менделеева, обретя себя после долгих мытарств в «практике адюльтера»: «главное, она была *счастлива* на фоне параллельной (?) жизни несчастного и страдающего мужа» (ой ли?). Остальные — истерички, психопатки и аффектированные особы — потерпели полный крах, поскольку, как мы уже знаем, следовали враждебному дискурсу «по фаллическому типу». Непонятно, на что они вообще рассчитывали, принимая чужие правила игры? На миг забыв о научной терминологии, Жеребкина криком кричит об оскорбленной, растоптанной, преданной поруганию и пораженной в правах женщине тоталитарного дискурса: «Как еще женщина, помещенная в границы мужской логики Вечной Женственности, может предьявить себя и свое „я”? Через наркотики, измены, пьянство, попытки самоубийства». Бе-една-я!!!

Что все-таки хочется сказать — побольше бы таких книг. Настоящих. Прогрессивных. Смело открывающих правду. А то болтают о феминизме неведь что. А тут вот он (или она?) — сам (сама?) *рассказывает* о себе. И все сразу предельно ясно. Товар, что называется, лицом. Ну или не лицом. Другим местом. Главное, женским.

А тем, которые еще ничего не поняли и думают, будто обладают чем-то таким, ну, одним словом, тем, чего у нас нет, — что, по их мнению, дает им какие-то преимущества, — так вот, для них мы заготовили сюрприз. И уж на это им точно не ответить — потому что ответить на это не-воз-мож-но!

«ФАЛЛИЧЕСКОЕ — ЭТО ТАКОЙ ЭЛЕМЕНТ В СТРУКТУРЕ, КОТОРЫЙ МАРКИРУЕТ ЧИСТОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ; ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ТАКОЕ ПРИСУТСТВИЕ, КОТОРОЕ МАРКИРУЕТ ЧИСТОЕ ОТСУТСТВИЕ».

Ну что, крыть нечем? То-то.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ОДИНОЧЕСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Владимир Березин. Свидетель. Роман. Рассказы. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 440 стр.

Проза Владимира Березина не может не вызывать в памяти имена Хемингуэя, Виктора Шкловского, отчасти — Юрия Казакова, отчасти — авторов исповедальной молодежной прозы шестидесятых годов.

Центральная вещь книги — роман «Свидетель»; это, по сути, римейк классического образца литературы «потерянного поколения»: повествователь Березина, молодой писатель, бывший кадровый военный с опытом нынешних «локальных конфликтов» (Абхазия, Чечня, Югославия), кочующий с одной временной квартиры на другую, меняющий одну случайную работу на другую, одну компанию полузнакомых знакомцев на другую, постепенно теряющий друзей (кто-то уехал, кто-то погиб), наконец, теряющий в финале любимую, — занимается трудной и жизненно необходимой работой — осознанием того, как и в чем меняет сознание современника непосредственный опыт нынешних войн. Роман вполне «хемингуэвский».

У Шкловского Березин учится способам сопряжения в прозе несопрягаемых образов и понятий. Используемые автором приемы позволяют ему обращать свое — лишенное жесткого сюжетного каркаса, написанное с нарушением хронологии, сочетающее прямое высказывание с изображением — повествование в художественное целое.

Ну и, наконец, упомянутая школа исповедальной прозы шестидесятых предоставила автору средства для выражения открытого лирического чувства, для изображения самого процесса проживания мысли.

В качестве визитной карточки Березина-прозаика я выбрал бы здесь рассказ «Читатель Шкловского». Сюжет, если это можно назвать сюжетом, прост необыкновенно: герой-повествователь едет на дачу — сначала в метро, потом в электричке, а потом снова в электричке, но уже домой — и при этом записывает увиденное: внешность и повадки случайных попутчиков, «приближающуюся, проседающую и клюющую носом при торможении» электричку, «милиционера с оскорбленным лицом», керамический декор станции метро, — и параллельно читает «Zoo» Шкловского и вспоминает свою работу в зоопарке, апрельский снег, баррикады в августе 1991 года и т. д. Случайные, по видимости, впечатления и мысли уже самим фактом, самим процессом отбора и записывания как бы выделены рампой, — не теряя абсолютной достоверности и сиюминутности, они приобретают собственный вес, нагружаются художественным смыслом. По сути, герой записывает самого себя в эти мгновения. Само течение жизни, проходящей сквозь него.

При этой литературной изощренности Березин не эпигон. С литературщиной можно бороться по-разному, самый очевидный путь — бунт против существующих форм и создание своей (но слишком часто альтернативные формы оказываются просто вывернутым наизнанку все тем же каноном, и бунт только демонстрирует рабскую зависимость от канона). А можно войти внутрь существовавших до тебя форм и сделать их своими. Березин не подражает, он — продолжает начатую до него работу.

Выбор же такой — почти экзотичной для нового поколения молодых писателей — литературной школы можно, наверно, объяснить задачами, которые ставит перед собой Березин и для разрешения которых у новейшей нашей прозы просто нет своего языка. Главная тема Березина — война. И его можно было бы назвать военным прозаиком, если бы само словосочетание «военная проза» не было сегодня так скомпрометировано писателями второго и третьего ряда, с помощью кровотокащего материала отстаивающих свои авторские и политические амбиции.

И вообще, для современной военной прозы сейчас не самая удобная ситуация. Тут два обстоятельства.

Во-первых, специфика нынешних средств информации. Сегодняшние войны мы наблюдаем и переживаем, можно сказать, в реальном времени. Телевидение сделало нас непосредственными свидетелями бомбежек Грозного, штурма в Буденновске и Кизляре, позволило заглянуть в ямы, где содержали заложников, и т. д. В подобном информационном контексте даже удавшиеся художественные фильмы или романы выглядят неуместной беллетризацией все еще дрящегоса на наших экранах сюжета.

А во-вторых — особенности нашего восприятия военной темы в литературе. Для большинства из нас война в литературном произведении — это всегда где-то далеко или давно. И дело не только в нашей душевной инфантильности, в ослабленности «мирной» жизнью — художественное осмысление войны всегда требует дистанции. Требуется сложившейся мысли и последующего художественного «выбравивания» этой мысли. Короче, требует рампы. На мой взгляд, в русской литературе последним полноценным произведением о войне был роман Олега Ермакова «Знак зверя». Кроме таланта писателя и значительности его мысли сыграла роль еще и специфика материала — то была война далекая: другая страна, другой язык, отчасти смещение времен (советские солдаты, пришедшие из XX века, воевали с народом прошлого или позапрошлого столетия) и, наконец, предельная скупость информации. Все это укладывало использованный Ермаковым материал в тот ряд, в котором воспринимается нами жизненная основа романов Хемингуэя или повестей Василя Быкова.

И вот появляется книга, со страниц которой зазвучал хорошо знакомый нам голос — голос современника, можно сказать, голос одного из нас, живущих сейчас и здесь. И при этом голос странный, и мир, который он видит вокруг себя, не вполне наш. Это мир, увиденный вразумленными войной глазами. Войной, которая очень близка, — в принципе, любой из нас мог оказаться в такой командировке, которая описана в романе: герой едет в Грозный собрать информацию о нефтехимических предприятиях, останавливается у чеченца, работающего на московскую нефтяную фирму, и проживает страшную ночь в квартире, где окна заставлены шкапами. Ночью в квартиру начали ломиться неизвестные, но, как понимает герой, вполне ожидаемые гости: «Давно я не видел, чтобы у человека так быстро менялся цвет лица. Оно было не просто бледным, а зеленовато-серым... Вот сейчас нас будут убивать». Герой слышит молитву русской жены чеченца, как о высшей милости просящей Бога, чтобы войны малых детей и ее убили сразу, не мучили, не глумились. Это Чечня. Ну а боины «нашей войны», внутренней, коротко стриженных «овальных молодых людей», лениво переминающихся у шикарных машин возле нефтяных и прочих офисов, молодых людей, не снимающих пиджаков в любую жару, потому что под пиджаком оружие, — этих воинов мы видим практически каждый день.

В романе Березина война почти не имеет военной экзотики. Она не отодвинута куда-то далеко — нужно только иметь мужество смотреть и видеть то, что уже давно перед нашими глазами. И даже описанный в романе эпизод «отдаленной» югославской войны — смертельно раненная молодая женщина с залитым кровью лицом, лежащая на дороге рядом со своей разбитой видеокамерой, — вызывает у нас ассоциации с точно таким же эпизодом бессмысленного убийства женщины-корреспондента на одном из блокпостов в Чечне. То есть это война, уже ставшая чуть ли не бытом.

Живя на зимней даче у друга, герой перечитывает высказывания древних о сути войны: «Автор считал, что войны ведутся ради заключения мира. „Как бы не так, — думал я, читая, — как бы не так. Это в твоё время, может... А сейчас они ведутся для того, чтобы просто воевать”». Персонификацией духа войны для героя являются берсеркеры — их бессмысленная неукротимая жажда убивать, крушить, отменяющая даже инстинкт самосохранения, «они продолжали убивать после боя, потому что не могли остановиться». Война «страшна и лишена смысла. Нас учили, не жалея денег, побеждать, и вдруг мы увидели, что в войне победить невозможно». В войне, которая идет сейчас, «нет правых, а виноваты все». Герой вспоминает своего югославского друга Геворга, воевавшего у себя дома за свое с такими же, как и он, югославами, тоже уверенными, что они у себя дома воюют за свой ис-

конные права. Геворга убили фактически на глазах повествователя. Потом надругались над его телом. Автор не уточняет, на чьей стороне воевал Геворг, и отсутствие такого уточнения принципиально для повествователя. Потом, когда селение займут соратники Геворга, на улицах будут валяться трупы тех, кто его убивал, с — это важная деталь — «вывернутыми карманами».

В этих бесконечных «локальных войнах», по которым ведет армейская судьба героя романа, он уже не ищет правых и виноватых. Война здесь представлена как нечто самодовлеющее, самовоспроизводящееся, отвечающее тому темному, что существует в человеке. «Государства хранят вечный мир, воюют только люди, только люди несут ответственность за будничную кровавую возню. С благословения или без, они начинают улучшать жизнь, взяв в руки оружие... история эта вечна, скучна, она повторяется с точностью до запятой, уныло ведя счет истребленным. Война гудит, как судно в тумане, ее не видно, но она идет рядом. Не спрашивай о колоколе, он устал звонить. ...Начала у войны нет, есть только продолжение». «Отчаявшимся свидетелем оставляла меня эта летопись будничных войн». Вот единственно возможная для героя позиция на войне — быть свидетелем. Видеть, понимать и хранить увиденное и понятое. И соответственно писательство, которым занимается герой романа, не только акт психотерапии, это еще и некая миссия. «Я писал очевидные вещи, которые до меня повторяли сотни людей, но ведь должен кто-то повторить это сейчас» (и, добавим от себя, должен, как Березин, иметь право повторить это). Позиция свидетеля неизбежно предполагает одиночество. Военный опыт и осмысление его определяют дистанцию между повествователем и окружающими его мирными согражданами. Одиночество героя похоже здесь на одиночество зрячего среди слепых. Одиночество — как образ жизни.

Герой нигде не чувствует себя своим.

(Попытки продекларировать свою включенность в пеструю компанию московских писателей нового поколения, предпринятые Березиным в рассказе «Новое поколение дворников и сторожей», не убеждают. Человеку, действительно включенному в эту жизнь, нет нужды так старательно перебирать свои знакомства.)

Зато вот эта отъединенность повествователя определяет (и в романе, и в рассказах Березина) необыкновенно острое проживание, казалось бы, самых обыкновенных вещей — первого снега в Москве, случайной музыки в метро, соскочившей с подножки троллейбуса девушки. Острота и глубина переживания здесь — оборотная сторона свойственного автору ощущения зыбкости пролетающего мгновения. Вечность только в нас, а не вокруг, каждый должен выстраивать ее сам в каждый миг. В рассказах Березина о любви, даже любви счастливой, всегда больше горечи, чем открытости напору и радости жизни. Короткий рассказ «История про Бунина» удерживает эту горечь, так сказать, сюжетно, это рассказ-воспоминание о давней любви: «Беззащитный запах волос, подтянутые к животу колени — все выдавало в ней ребенка, хотя мы считали друг друга совсем взрослыми». «Я успел подумать, что любовь — это воровство, она вне закона...» «Через два года она уехала, а еще через год ее и случайного попутчика, сидевших в автомашине у бензоколонки близ Назарета, расстрелял в упор, прямо через ветровое стекло, какой-то палестинец». Хотя ходят слухи, что кто-то видел ее живой в метро, а кто-то на автобусной остановке. Повествователя не отпускает ощущение, что они еще встретятся. Где-то. И, может, потому в ожидании этой встречи так тщательно он воспроизводит в памяти и хранит все, связанное с давней любовью.

А вот в рассказе «До Коломны и обратно» повествуется о любви счастливой, которой ничего не грозит, но и здесь та же судорожная напряженность — запомнить, задержать, записать, ничего не упустить, как будто предчувствие конца не отпускает героя даже в самые счастливые моменты. «И опять мы были вместе, думал я, и пока все идет хорошо».

Обаяние и сила прозы Березина как раз в этом: в обостренном ощущении значимости и самоценности — и одновременно включенности в некий метасюжет — каждого отдельного впечатления, пережитого повествователем, каждой зачем-то показанной ему картины, каждой промелькнувшей мысли. И метасюжет этот можно постичь, только записывая, фиксируя, собирая из частных то целое, о котором не дано знать заранее даже ему, формально считающемуся автором. Вот эта

«открытая читателю» работа над постижением того, о чем, собственно, и пишется, сплавляет разнородный материал романа «Свидетель» в единое повествование гораздо прочнее и надежнее, нежели сама фабула. Внешний сюжет, пунктирно прочерченный в повествовании, разумеется, связан с внутренним, но в гораздо меньшей степени, чем можно было бы предположить. Перед героем, скитающимся по Крыму, вдруг возникает из общего их военного прошлого офицер Чашин («убийца Чашина», как называет его автор) и предлагает герою подумать о работе на него, Чашина. Там же, в Крыму, завязываются отношения героя с Анной. Не дожидаясь повторного появления Чашина, герой уезжает в Москву. После многомесячных работ на случайных местах герою вдруг везет: его берут менеджером в какую-то непонятную нефтяную контору, предоставив сравнительно вольный режим работы и возможность ездить по стране. В конце концов герой оказывается в длительной командировке в Германии, где и находит исчезнувшую из его жизни Анну. Счастье их длится недолго, Анна гибнет в автомобильной катастрофе, а перед героем снова появляется Чашин, но уж не с уговорами, а требованиями: или герой соглашается работать на Чашина, или с ним будет то, что произошло с Анной. И вот здесь герой лишается своей тщательно охраняемой позиции наблюдателя — он отказывает Чашину, а потом садится в машину, чтобы догнать уехавшего Чашина и убить его. Герой чувствует себя берсеркером. Но только на короткое время — через несколько часов погони он видит на шоссе расстрелянную вместе с хозяином машину Чашина и понимает, что в той войне, в которой участвовал Чашин, обошлись без него. В финале романа герой начинает путь домой, в Россию.

Здесь нужно отметить художественное чутье автора в обращении с этим сюжетом. Такой сюжет больше подошел бы для триллера, нежели для исповедального лирико-философского повествования, каковым с первых абзацев заявляет себя роман. Для березинской манеры вот такое беллетризованное «объективированное» письмо противопоставлено. Но его, по сути, здесь и нет. Разделение внутреннего пространства романа на героя и на мир вокруг него сюжетом этим никак не опровергается. Единственным по-настоящему прописанным персонажем остается сам повествователь. Я бы сказал, что в романе только два героя: повествователь и Мир Вокруг Повествователя, персонифицированный в фигурах друзей, знакомых, любимых и т. д. Самым уязвимым для манеры Березина здесь могла бы стать фигура Анны, но и тут автор удерживает равновесие. На месте Анны в романе написано, по сути, некое свечение женственности, преданности, любви, осторожно обведенное контуром, — минимум сведений о внешности, характере, образе жизни. Автор предпочел сосредоточиться на описании того душевного состояния, которое у героя вызвало появление Анны. И это получилось художественно убедительным. Такая особенность писательской манеры отрефлектирована в тексте самим автором: «Все сводилось к определенным типам, и типы эти были немногочисленны. Старик, женщина, друг и враг, хоть все они были с разными именами. В середине этого был я. И я был частью каждого из них».

Сергей КОСТЫРКО.

*

ВОЛЧЬЯ ЯМА, ИЛИ СТРЕЛОК В ИМЕННОМ ОКОПЕ

Василь Быков. Волчья яма. Повести и рассказы. М., «Текст», 2001, 333 стр.
 Василь Быков. Глухой час ночи. Рассказ. — «Дружба народов», 2001, № 3.
 Василь Быков. На болотной стежке. Рассказ. — «Звезда», 2001, № 8.

Василь Быков никогда не мозолил глаза читателю. Но тем не менее его небольшие, лаконичные повести всегда становились фактом литературы — и русской, и белорусской (советской), — вызвали споры и размышления. Он всегда ходил по краешку дозволенного, прикрываясь щитом военной темы, за которым о жизни и человеке можно было сказать несколько больше, чем это позволялось обычным партикулярным писателям. Тем более, что бесстрастно-сдержанная ма-

нера повествования затрудняла вычленение собственного мнения автора, растворившегося без остатка в противостоящих друг другу героях.

Сегодняшний Быков еще лаконичнее. Повесть естественно редуцировалась до рассказа с минимумом описательности и психологизма. При желании такой рассказ-концентрат легко превращается в повесть — по размерам («Волчья яма»). Но, теряя жесткость и динамику, нового, более высокого качества она не приобретает. Наличие элементов философской рефлексии — и на уровне героев, и на уровне автора — примета сегодняшней прозы писателя. Привычно размышляя характеристиками и ситуациями, Быков тем не менее идет и на открытое проговаривание особенно близких ему мыслей.

Лишь на пороге смерти человек чувствует себя в этом мире свободным, умиротворенным и счастливым. Эта мысль Камю очень часто встречается на страницах быковской прозы. «Конец, сказал себе в мыслях Черняк. И вдруг почувствовал странное душевное облегчение. Как будто освободившись от какого-то тягостного, томившего его обязательства». Черняк — герой рассказа «Глухой час ночи» — человек средний, худо-бедно приспособляющийся к сегодняшней реальности, со своим скромным бизнесом, который, правда, идет на спад, но тем не менее обеспечивает более приличное существование, чем его прежняя работа в конструкторском бюро. Он человек законопослушный, не завистливый, старательно трепыхающийся в мутных водах нынешней жизни, чтобы как-то удержаться в рамках привычных представлений о самом себе. Но судьба готовит ему ловушку, настоящую волчью яму, из которой не выбраться.

Черняк торопится домой на свой седьмой этаж, подгоняемый назревшей потребностью организма. Он радуется, что лифт наконец освободился. «Но, — замечает писатель, — человеку дано мало что знать и еще меньше предвидеть». И уж тем более не дано этого герою рассказа, находящемуся в полной зависимости от автора. Но что может ждать обывателя в стенах родной квартиры, за стальной дверью? Да, но в глухой час ночи — в наше время. Все-таки автор дал герою посетить туалет, хотя глотнуть пива из любимого бокала ему уже не удалось.

Казалось бы, ничего страшного не произошло: ну, ошибся человек адресом. Но человек этот свалился с крыши с пистолетом. И с заказом на убийство. Нет, не Черняка — его соседа Чешкова. Случайность пристегивает героя к судьбе малознакомого ему человека. Сюжет исчерпан, но фабула длится. Отчаянно и беспомощно пытается герой отделить свою участь от незавидной участи человека, живущего за стенкой. Черняк вместе с читателем переходит от одной надежды к другой. В конце концов остается единственная: предательство. Но обменять свою жизнь на чужую не получается. Злополучный Чешков тянет за собой и Черняка — не зря их фамилии так созвучны.

Как видим, коллизия для читателей Василя Быкова знакомая. Только раньше она решалась на военном материале, а теперь на самом будничном, приватно-бытовом: чтобы схлопотать пулю, сегодня даже не нужно выходить из дому. Реальность не дает укрыться в доме-крепости, находит человека и здесь, на собственной кухне, заставляет проявлять себя ясно и определенно. Сам по себе военный материал — как и любой вообще — вторичен для Быкова. Но очевидно, что структура его художественного конфликта рождена войной: резкое размежевание, поляризация по закону «или — или». Между этих полюсов — обычный человек со своим наивным «и — и», пытающимся сохранить цельность личности и единство мира. В военных повестях герой, случалось, предавал родину, сейчас предает соседа. Черняка хватает еще и на фиксацию собственных ощущений и мыслей. Правда, щедрым спонсором тут выступает писатель. Черняк даже устаивается похвалы от бывшего командира спецназа, а нынче киллера — «с бульдожьей мордой», напоминающей артиста или депутата. Здесь опять явно Быков, подчеркивающий неприглядную изоморфность персонажей нынешнего времени.

Возможно, за родину, вместе со всеми, под знаменем и оглушающим «ура», Черняк и смог бы достойно умереть. Но гибнуть из-за соседа? Я умру, а он будет раскатывать на своем «мерседесе»? Уж лучше и его прихватить с собой. «С ненавистью в душе погибать было легче». Быков постоянно опускает контрольную планку для своего героя. словно проводит долговременный эксперимент по исследованию

человеческой низости. Но делает это спокойно, без гнева и пристрастия, как бы повторяя себе самому: таков человек. Вне политики, идеологии, в простых и вечных заботах о корме и размножении. Именно в них вся его мораль и философия. Се человек, се жизнь, такая же непредсказуемая в своей подлости. А может, и в высшей справедливости? Имеешь ли ты право жить, если убивают твоего соседа?

Героиня рассказа «На болотной стежке» сталкивается с той же проблемой. Ей тоже предоставляется возможность «предать соседа», хотя и не так прямо, как в предыдущем рассказе. Для этого даже ничего не нужно делать. Соседка, охранявшая ночью мост, в растерянности сообщает, что партизаны собираются его взорвать. И значит, от расправы оккупантов горе-сторожике не уйти, да и всю деревню спалить могут. Соседка прибежала именно к ней, героине рассказа, — «Вы же учительница!» — с просьбой как-то повлиять на партизан. «Была учительница!» — пытается героиня снять с себя такую ненужную и опасную сейчас ношу. Но выбор даже в случайных и непредсказуемых ситуациях предрешен ролью. От учительской судьбы, судьбы интеллигента в народе, судьбы защитника и последнего спасителя, отреститься невозможно. Тем более, что роль скроена точно по героине, которая так и останется безмянной. Ведь главное, что она учительница — дочь учителя, жена учителя. Понятие долга и чести доминирует в структуре ее личности. Так же, как и у ее отца, отправившегося спасать местечковых евреев и легшего вместе с ними в общую могилу. «Может, весь их род оказался с каким-то генетическим браком, нарушившим элементарный механизм самосохранения. Но без врожденного инстинкта самосохранения может ли существовать особь, человек, да и нация в целом?» — так, пожалуй, слишком современно и несколько отвлеченно рассуждает она позже, сидя в арестантской яме партизанского лагеря.

Хочется заметить, что при всем внешнем правдоподобию деталей и психологии все же ощущается некоторая искусственность размышлений, которыми автор отягощает героиню. Высказывания ее сплошь и рядом повторяют уже сегодняшние, перестроечные и постперестроечные, мнения. Все это делает образ героини достаточно условным, иллюстративным. Да, все мы родом из соцреализма и с большим или меньшим успехом корежим реальность в угоду сегодняшним установкам.

Эти-то установки соблазняют Быкова видеть в белорусских национал-демократах чуть ли не ангелов, которые «искренне добивались хорошего для всех людей — белорусов, поляков, евреев». Насильственная сталинская политика белорусизации призвана была создать национальные кадры всего лишь для противовеса — раздели и властвуй — пламенным революционерам-«интернационалистам». Но Сталин же их и попридержал. Самые резвые подверглись репрессиям. Законопослушный и приструненный костяк сохранялся, чтобы в свое время быть призванным к слову и делу (потребность в нем снова обнаружилась вскоре после разгрома фашизма). Активисты же, увь, проявили себя в сотрудничестве с фашистами. По поводу «наивных немецких руководителей» (так в рассказе «На болотной стежке»!) хочется заметить, что эфемерное белорусское правительство возникло еще в Первую мировую под крылом 10-й кайзеровской армии и также вместе с ней исчезло. Впрочем, никакого плана устройства, предусматривающего интересы белорусского народа, у немцев не обнаружилось — ни в первую оккупацию, ни во вторую. Вместе с тем созданию местной администрации немцы не препятствовали. Надо признать, что белорусские националисты под началом Родослава Островского инакомыслящих официально не преследовали. По следам украинских самостийников они не пошли: там происходило истребление не только деятелей, принадлежащих к другим национальностям, но и своих инакомыслящих украинцев.

...Мне кажется, что рассказ «На болотной стежке» значительно выиграл бы, двигаясь на пути к новелле, с минимумом размышлений и описания. В данном виде он на пути к повести. Сюжет загружен до предела. Некоторую сыроватость выдают и почему-то не переведенное белорусское слово «брук» (бульжная мостовая), и повторяющаяся, корявая калька с белорусского — «деревенцы». Хотя Быков писатель также и русский, билингв, и, разумеется, имеет право на словотворчество, все же этот неологизм представляется неудачным. Да и само название — бо-

лотная стежка — как-то режет ухо. Со стежкой ассоциируются дорожки, вольно разбегающиеся в поле или в степи. К болоту больше подходит тропка, добавляющая еще одно «о».

Возвращаясь к событиям рассказа, замечу, что свой выбор учительница сделала уже давно — как и Черняк. Но принципиально иной. Поэтому так же неудержимо катится по рельсам своей судьбы. «Она еще не сознавала, что сделает, но уже определенная потребность овладела ею...» Как и в предыдущем рассказе, действие начинается в глухую ночную пору. Но если Черняк так и остается во мраке ночи, то учительница доживает до рассвета, что всегда значимо («Дожить до рассвета» — одна из ранних повестей Быкова). «Я сама по себе! — скорее упрямо, чем гордо заявляет учительница. — Ни с немцами, ни с партизанами!» Сделанный выбор плюс женское одиночество, невероятная усталость от тяжелой и беспросветной жизни, подсознательное желание сбросить ее с плеч. Для нее гибель — тоже свобода и душевное облегчение, как и для Черняка. В какой-то мере учительница еще и носитель реликтового, национально-хуторского сознания, сопротивляющегося любой глобализации, любой вовлеченности в мировые и пугающе-непонятные процессы, где нет места простым законам общинной морали. Это, безусловно, связывает ее со своим народом. «Я им скажу, что нельзя так воевать, как они воюют!» Новые времена расправляются со старыми, принося новизну во все сферы человеческой жизни. Именно традиционность сознания и помогает личности удержаться на более высоком уровне, осознавая свою (уже, пожалуй, иллюзорную) ответственность за судьбу рода в целом — как с помощью религии (подчеркнуто у Быкова), так и без нее. Потребность остаться собой, не согнуться, у таких людей непреодолима. Хотя и сопровождается переживаниями, подобными тем, что испытывал Христос в Гефсиманском саду. И даже в последний миг «надежда вспыхнула в ней ярко, с такой необоримой силой, что она содрогнулась от радости. Она уже готова была оглянуться и засмеяться своему открытию, как именно в этот момент в ее затылок грохнуло».

Учительница, жена репрессированного националиста, которая «сама по себе», уже недостаточно молодая для красавца командира и к тому же отказавшаяся сотрудничать с партизанской контрразведкой, расстреляна на тропке в болоте. Но в эту ночь мост остался невзорванным.

Героиня, отваживающаяся быть сама собой (главное, конечно, в этом), как и Черняк из «Глухого часа ночи», удостоивается комплимента своего палача: «А вообще ты молодчина!.. Мне бы жену такую... Несломную». Если киллер искренен с Черняком, то бывший приятель ее мужа лицемерит. Упаси бог его от такой жены. Она и его подвела бы под монастырь. Он-то прочно усвоил главную науку жизни — гнуться.

Как человек воевавший, Быков не устает подчеркивать всю смертельность какой-либо личной, особой позиции — будь то подлость или героизм — в период противостояния огромных человеческих масс. Личности спрессовываются, как скошенная трава в копне сена, чтобы, прижимаясь друг к другу, выдержать испытания, непосильные для одиночек.

Правда, в рассказе этот тяжелый и безусловный смысл несколько маскируется. Как-то незаметно выходит, что за жестокую логику войны несут ответственность только партизаны. И конкретно — русский командир. Начальник контрразведки, белорус, только вяло подчиняется. Несмотря на все мастерство прозаика, рассказ смущает откровенной заданностью.

Конечно, Быков не бытописатель, он — писатель трагедийный. Незаметно сгущать и направлять упрямую обыденность к трагической вершине самопроявления — именно в этом и состоит его литературная задача. Но хочется напомнить, что трагедия — все же не страшилка, сдвиг к которой ощущается у сегодняшнего Быкова.

Обычный для Быкова, но на сей раз подлинно трагедийный финал — в рассказе «Пасхальное яичко». Действие его разворачивается в послевоенной деревне. Свободное перемещение во времени — одно из преимуществ, которое дает писате-

лю возраст. Председатель колхоза по кличке Выползок проводит в жизнь решение райкома не допустить празднования Пасхи. Сменив акценты, рассказ можно было бы напечатать и при советской власти. Тогда его героем был бы председатель, который «всегда сознавал себя ответственным за порученное дело». В нем жил непобедимый дух «настоящего большевика». В партизанах он заправлял делами посерьезнее. Но здесь, среди обездоленных и обезмужиченных войной баб, тоже не просто. Распустились люди за войну, привыкли о себе думать, а тут — страну надо кормить. Наблюдая, как Выползок с наганом выгоняет на работу баб, уже настроенных на праздник, понимаешь полную обреченность административно-командных методов на среднерусской равнине.

Героиня рассказа, напечатанного сегодня, — Ганка, партизанская вдова с двумя детьми, а нынче — как бы жена грозного и неказистого председателя. Если Выползок — символ духа, попирающего материю, то Ганка и есть та самая материя, которая в итоге приканчивает этот большевистский дух. Но и сама гибнет. Потеряв интерес к жизни, уходит на этапе из колонны на выстрел конвоира — к последней и единственной свободе. Светлое воскресение Христово заканчивается убийством. Ганка закалывает муженька вилами для навоза. Быков искусно организует и прослеживает нарастание трагедийного вала. Казалось бы, внешне спокойная и уравновешенная Ганка стерпит все ради детей, рожденных ею от любимого человека. Но красное яичко, выхваченное из детской руки и разлетевшееся при ударе о стенку, вызывает неожиданный взрыв ненависти. Хотя поначалу ничто не предвещает такого конца, он представляется вовсе не надуманным. (Кстати, и в этом рассказе обнаружилось непереуловленное белорусское слово — «клямка». То бишь щеколда или скоба. Может, для колорита?)

Такой же эмоциональный взрыв дал начало повести «Волчья яма». В сущности, это название подошло бы к любому из последних рассказов Быкова. В каждом из них судьба готовит герою ловушку, из которой уже не выбраться: «Человек может тревожиться или может пребывать в покое или благодати, а беда караулит его всегда». В повести беда находит свою жертву в казарме — солдата из неблагополучной семьи. Герой явно не готов ни к армии, ни к жизни. Отсутствие материнской любви — у него только ненавистная мачеха — и делает его незащищенным, не способным на твердое и разумное противостояние миру. В казарме не спрячешься, все слабости на виду. Робковатая попытка наладить отношения с сержантом воспринята как трусость. Это обрекает его на новое унижение — правда, уже последнее. И вот солдат — он опять-таки без имени — вгоняет финку по самую рукоять в левый бок спящего обидчика и уходит в лес. После долгих скитаний, мучась от голода и одиночества, он оказывается в радиоактивной зоне. Неожиданная встреча с бомжем, живущим в норе на берегу речки, — бывшим офицером, хвастающим, что его радиация не берет. Но она делает свое дело незаметно и добирается до обоих. Повесть похожа на катамаран — держится на двух рассказах о бывших военных.

Ситуация повести перекликается с «Пасхальным яичком». И там и тут — спонтанное убийство. Ганка мстит сразу за все: за войну, за потерю любимого, за связь с постылым чурбаном Выползком, за отчуждение от людей, на которое она осуждена из-за него. Солдат мстит за себя. И там и тут подчеркивается тупиковость бунта. Но тем не менее обреченные герои защищают в конце концов и достоинство других — человеческое достоинство как таковое.

Только трагическое событие, экстремальная ситуация — пограничная — способна открыть человеку его суть. Стремление постоянно проверять своих героев такими ситуациями, повторю, идет от военного опыта писателя. Именно на войне эгоизм (личный, социальный, национальный, расовый) разом теряет все интеллектуальные и эстетические маски. Способен ли ты пожертвовать «памятью о себе» (Лев Толстой) или нет? Это единственный вопрос, который задает своим героям Быков. В благополучные времена, не требующие полной гибели всерьез, это самое важное не на виду. В бурные и смутные — снова выступает вперед. (С той поправкой, что фраза «Я пошел бы с ним в разведку» звучит нынче как «Я занялся бы с

ним бизнесом».) Поэтому проза Быкова, напоминая о главном в структуре личности, актуальна и сегодня.

Погружаясь в прозу Быкова, всегда испытываешь противоречивое чувство. Родается оно от несоответствия богатства содержания и бедности стиля, серовато-плотного, обходящегося без метафор и сравнений, стиля, который, конечно, можно назвать и по-другому: аскетическим. Ничего самоценно-самодовлеющего, отвлекающего от главной цели — той высоты смысла, которая должна быть взята. Этот аскетизм стиля, полагаю, рожден не столько войной, сколько белорусской ментальностью. Скажем, белорусская хата внешне скромнее избы (там одни наличники чего стоят), хотя не уступает ей по удобству. Та же тенденция и в современном строительстве — у «новых» белорусов и русских. Основательная, неяркая добротность у одних и безудержный выпендрез у других. И о том же свидетельствует устойчивый круг тем и вариаций писателя. Василь Быков не посягает на чужое, не рвется за горизонт, а наводит порядок в том пространстве, которое очерчено его опытом и пониманием. Вероятно, поэтому для массового сознания он кажется мрачновато-серьезным, с постоянным плохим концом вместо желаемого хеппи-энда. Уж лучше откровенная литература ужасов — от нее не так тоскливо: заранее известно, что все придумано. Сегодняшний читатель не хочет слышать ни о каких волчьих ямах — все ямы в прошлом. А писатель упрямо повторяет: наша яма, вплоть до самой последней, всегда с нами. С этим трудно спорить: пессимистические прогнозы самые точные. Но трудный для переваривания онтологический пирог, который предлагает писатель, — все же с публицистико-беллетристической капустой (не самое сильное у Быкова).

Сегодня писатель, чтобы быть запеленгованным критикой, вынужден топтаться, прыгать на клавише своей темы, методично посылая в мир один и тот же сигнал. Или иначе говоря: получается нечто вроде окопа, который постоянно углубляется и из которого уже не выбраться. Правда, вести огонь на поражение излюбленных целей все сподручней¹. Таким стрелком, расположившимся в своем именном окопе, и представляется Василь Быков.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ТОРЖЕСТВО ТОЖДЕСТВ

Денис Датешидзе. В поисках настоящего. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда“», 1998, 56 стр.
 Денис Датешидзе. Мерцание. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда“», 1999, 60 стр.
 Денис Датешидзе. На свете. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда“», 2001, 65 стр.

Когда складываешь их вместе, не можешь отделаться от впечатления, что три книги молодого петербургского поэта Дениса Датешидзе своими обложками напоминают государственный флаг России: синяя, красно-розовая, белая. Этим, впрочем, и ограничивается их связь с гражданственно-патриотической тематикой. Сперва даже может показаться, что поэт занят только собой: то он озбочен семейными неурядицами, то вспоминает свои солдатские мытарства, то опасается нежелательных последствий случайной постельной истории, то перебирает в памяти подробности литературной вечеринки, то анализирует свои впечатления после прыжка с вышки... Озбочен, вспоминает, опасается, перебирает, анализирует — одним словом, постоянно рефлектирует. Странно рефлектирует, как будто стремится заполнить некие жизненные пустоты: «Видишь, есть что-то такое все время, / Что не дает умереть».

Герой этих стихов словно не способен с ходу поверить в реальность окружающего его мира. Он подвержен какой-то редкой разновидности веры — этакому не-

¹ Быть может, метафора «окопа» отвечает характеристике новейшей прозы писателя, но хочется напомнить, что Василь Быков не сидит в окопе, а вольно или невольно скитается по европам. (Примеч. ред.)

доверию Фомы (не скажу — безверью), веры, не находящей себе подтверждения, омраченной сомнениями и подробным анализом¹:

Меня томит желанье оглянуться —
«Похоже, что-то позабыл, не смог —
(Написано: на небо не возьмут за...)
Закончить...» Только это лишь предлог.

Уже привычно выхожу сначала
И возвращаюсь, проверяю свет.
Но хочется проверить, как там *стало*,
Где — *только что*, — исследовать свой след.

(Из книги «В поисках настоящего»)

Человек, лишенный твердой веры в собственное существование, приободряется лишь в те минуты, когда застаёт себя как бы *уже* существующим, то есть — действующим, говорящим, смеющимся — сотворенным. Сознание не содержит воспоминаний о том, когда ты впервые осознал себя, «создал» — поместив в ряд условий и обстоятельств. И человек может лишь догадываться о своей... соотносённости с чем-то, *неполной* предоставленности самому себе. Вот и в стихотворении «Меня интересует, почему...», наполненном изумлением перед непроясненностью смысла бытия каждой вещи, поэт неуверенно скажет: «А если есть, то, значит, что-то значит!»

Простейшая радость (от каждого элементарного жизненного акта, обнаруживающего твое здесь присутствие²), растворенная где-то на поверхности, быстро оседает, оставляя в чистом виде чувство твоего *несоответствия*. Тому, чему, по-видимому (именно — исходя из своего *видения*), соответствовать необходимо. Оттого и радость саднит, очень напоминая страдание. Очень...

Думается, что переживание этой трагической нетождественности — не просто личная проблема поэта Дениса Датешидзе. Его стихи тем и актуальны, что выявляют некий комплекс сознания современного человека — сознания индивидуалистического, по природе своей не способного охватить жизнь в ее целостности, примириться с тайной смерти. Возникающая тут дилемма все время соблазняет и ставит в тупик: овладеть бытием в его полноте — значит слиться с миром, как бы раствориться в нем, но тогда потерять себя, утратить самое дорогое — самоидентификацию, личностное начало.

Итак, человек не тождествен тому, с чем он пытается себя соотнести. Он не выбирал ни себя, ни своей судьбы, разумеется, и поэтому — не виноват, но он же и виноват, поскольку не тождествен: «Силы не те? — То есть мы — не те? / „Просто не те мы!“» (из «Мерцания»). А с другой стороны, сознание всегда ищет оправдания: «Если — как там? — „старался“, „творил“, / Значит, просто иначе не смог» (из «В поисках настоящего»).

Поразительно, что, переживая каждую жизненную ситуацию во всей ее яркости и полноте, поэт никак не может вывести из нее доказательств собственного существования. Впечатление такое, будто жизненная практика лирического героя не насыщает некоего духовного ожидания, не соответствует чему-то предугаданному. Вся энергетика поэзии Датешидзе возникает за счет этой «разности потенциалов», очень напоминающей оппозицию *чувство — долг* в классицистической системе. С той, правда, разницей, что сейчас за словами *чувство* и *долг* (или за соответствующими им понятиями) нет заботливо вычерченных формул жизни, сколько-нибудь пригодных для повседневного применения. Оппозиция есть. Но между чем и чем — трудно выразить.

Мало того что ты не совпадаешь с самим собой. Куда как тягостно, оказывается, наблюдать открывшуюся взору повсеместную, тотальную «нетождественность»,

¹ Это напоминает *веру, которая не верит* Якова Друскина. По определению философа — самую сильную веру (см. его работу «Видение невидения»).

² «Смеюсь, говорю о себе гостям, / И пью, и чувствую вкус!» (из книги «В поисках настоящего»). Или: «Под мохнатым одеялом / Тело радуется сну...» (из книги «Мерцание»).

в том числе — людей самых близких, замены которым нет и быть не может. Вот где разыгрываются бытовые ужасы в духе Некрасова:

— Вот так, представь себе, живу:
Внутри довольно много злого
Накоплено. — Вчера жену
(Не помню, за какое слово)
Ударил. — Пьяный. — Ну, она —
С очередным своим упреком...
И тут... — как будто било током.
Швырял посуду из окна...

Но та же самая действительность (потому, может быть, одна из книг Датешидзе, откуда и взяты приведенные выше строки, и называется «Мерцание»), наряду с ужасом и обидой, способна внезапно, проблесково порождать нежность. Об этом одно из лучших стихотворений последней книги — «На свете»:

Жить вдвоем — и погибать вдвоем.
Медленно слабеть и угасать —
Погружаться в темный водоем...
Никому уже не рассказать,

Как нам вместе хорошо с тобой!..
Как нам вместе плохо!.. — В полумгле
За руку держаться под водой...
Так и не бывает на земле!..

Так беспомощна твоя рука!..
И моя — беспомощна в ответ. —
И колеблется издалека
Радужная пленка прошлых лет...

Это спасительно нежно сказано: «В полумгле / За руку держаться под водой...» Произносящий эти слова — бесконечно далек от человека, допрашивавшего себя: как? почему? зачем? где взял? Слово самоочевидность настигшего поэта чувства выявила некорректность ставившихся ранее вопросов. Некорректность, исключавшую любую возможность не то что нахождения — даже поиска ответа в нужном направлении.

Рефлексия переполняет все три книги Дениса Датешидзе, однако в последней власть ее над сознанием поэта ослабевает. Минуты тоски и безвременья чередуются теперь с мгновениями «нестерпимого сияния» (Ходасевич вспоминается здесь не случайно, он едва ли не главный вдохновитель нашего автора); герой освобождается от ограничивавших его пут рефлексии, лирический язык развязывается:

Может быть, совсем не важно, где я?
К смерти и готов, и не готов,
Я — на свете. Глупая затея
Вырваться... Случайный город Псков,

Движущийся в забвении, зеленый,
Вместе с небом взглядом обниму...
— В некоей точке, равноудаленной,
Равно-близкой, видимой Ему.

Приобретенная способность увидеть себя в точке, «видимой Ему», — по сути, есть вожденное отождествление, неожиданное разрешение дилеммы — соответствие тому, чему можно *соответствовать только не соответствуя*. Это — не достижение цели напрямую, не достижение цели как таковое, это — нечто косвенное, легкое, отвлеченное, уже, собственно говоря, «неважное, ненужное», но — неизменно — «нежное» («В сердце — жадное нежности женье, / Обожание, жалости дрожь...»). Или, если вспомнить определение Якова Друскина, — *видение невидения*.

Не думаю, что подобный исход целиком избавляет поэта от присущих ему мучительных самоуглублений с их подозрительной мнительностью (и слава богу, ибо поэтическая система Датешидзе, как говорилось выше, держится на «рефлекторной

разности потенциалов»); однако он уже обрел незамутненный сиюминутным недоверием взгляд на мир. Взгляд провоцирует суждение, предвещает его.

Обретя такое зрение, лирический герой Датешидзе щедро делится увиденным, словно творит особую реальность, существующую вопреки ускользающей, неверной повадке жизни:

Жизнь струится, стремится куда-то...
Мыслей лопаются пузыри...
Ни спасенья не жди, ни возврата, —
Лишь веселье, распад и растрата...
Если я тебе нужен — бери!..

Василий КОВАЛЕВ.

С.-Петербург.

*

«ПРОБЛЕМА ОВЦЫ» И ЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Харуки Мураками. «Dance, dance, dance...». СПб., «Амфора», 2001, 361 стр.

Я помню, как еще недавно в «интеллектуальных» кругах молодежи расхваливали роман «Охота на овец», причем не за конкретные достоинства, а как-то «концептуально», в овечьем упоении. Для меня тогда было загадкой: чем он оригинален, чем он взял, Мураками? То, что пишет он, рассуждал я, могло появляться и в двадцатые, и в шестидесятые годы минувшего века. Насколько глубже и изящнее Акутагава, трагичнее Осаму Дадзай, сочнее и красочнее Мисима! Но адекватное обсуждение было невозможно. Это уже высший постмодернизм, когда достоинства или недостатки текста игнорируются и торжествует тусовочный стиль. Все решают: «Хорошая вещь».

Ажиотаж вокруг писателя поутих. «Dance, dance, dance...» — продолжение с тем же героем. Новое творение явно уступает предыдущему по популярности. Не исключено, что это и к лучшему. Мураками вроде бы перешел к нелегковесной прозе.

В своей излюбленной манере он выстраивает «мистический детектив». Изначально сюжет растрепан, таинственные и неясные ситуации стремительно нарастают. Но сюжетные коллизии и судьбы персонажей, честно говоря, трогают мало. Все слишком комфортно и игрушечно. Умироотворенно следишь за тем, как разрозненные пестрые квадратики слагаются в один рисунок.

Однако именно по прочтении «Dance...» я понял наконец, чем же нов Мураками! Всегда японская литература говорила о трагичной сложности мира, о человеческих страданиях. Не случайна любовь японских авторов к Достоевскому. Не случайны и суицид Акутагавы, и харакири Мисимы, и прыжок молодого Дадзая в пенные воды реки Тамагава. И ведь кроме Дадзая с изломанно-декадентским «Дневником „неполноценного“ человека» был еще соцреалист Такэси Кайко. И его герои тоже сильно страдали... А в случае Мураками не испытываешь сопереживания. Нет глубоких чувств, компьютерная игра. Я бы сказал так: у названных японских авторов были свежие плоды, а Мураками предлагает фрукт замороженный.

Вернемся непосредственно к тексту. Выясняется, что странные происшествия как-то взаимосвязаны и замыкаются на Человеке-Овце. Мураками обыгрывает пронзительные мифы о животных, оборотнях, человекозверях. Здесь, конечно, благодатная традиционная почва. В «Охоте на овец», встретив персонажа, у которого в голове тучнеет опухоль-овечка, можно вспомнить «Человека с лошадиными ногами» Акутагавы. В конечном счете финал для обоих персонажей был кошмарен: лошадиные ноги унесли одного в желтые пески, у другого овца победоносно вылупилась из мозга.

В «Охоте...», вселившись в человечесью голову, овца дала импульс своей жертве к обширной и удачливой деятельности. Жертва стала влиятельна в политике, коммерчески процветала, но одновременно смертельно наливалась овечьей опухолью.

По сути, то был *эксперимент* над рядовым скромным человеком. Прослеживается аналогия с «Женщиной в песках» Кобо Абэ. Заурядный герой Ники Дзюмпэй попадает в пограничное состояние, проверяющее качества его личности, его подлинность.

Овцы, пески... Японский пейзаж. Боготворимая японцами опасная природа. Прихоти пейзажа выводят нас на глобальный экзистенциальный уровень. От ямы у Кобо Абэ — к подполью у Достоевского, к чуме Камю. Но каков пафос Мураками с этой овцой, нависающей над миром? Воскликает ли он, перефразируя Сартра: «Овца — это другие!»? Нет, не восклицает. Зато прямо пишет: «Самый настоящий ад!» — про состояние *оставленности* Овцой. В принципе, тот же мотив у Кобо Абэ, когда героя не отпускает, психологически засасывает сладостно-рабская яма. Рабство, заметим, переходит в подвиг, в размышление о тех самых адских «других», в сострадание другому. Так, заезжий журналист Рамбер у Камю, имея возможность сбежать, решает остаться в зачумленном городе.

Да, тема долга, тема подвига есть у Мураками. Друг героя, Крыса, повесился, тем самым погубив вселившуюся в него овцу. Но тема эта нарочита, не выстрадана. Подвиг Крысы выморочный, неправдоподобный, и даже «проблема овцы» скорее развлекает, нежели озадачивает читателя. Овца по Мураками — это нуль, это пустота. Выхода нет. Выхода никто и не ищет. Есть иллюзия поиска, неспешное блуждание по лабиринту...

Критик Татьяна Касаткина в содержательном исследовании «Русский читатель над японским романом» («Новый мир», 2001, № 4) уже цитировала характерный диалог из «Охоты...»: «„Так чего же все-таки хочет овца?“ — „Я же сказал — как ни печально, описать это словами я не в состоянии. Это — Идея овцы, и выражается она в овечьих образах и формулировках“. — „А эта Идея... Она, вообще говоря, гуманная?“ — „Гуманная. В понимании овцы“. — „А в вашем понимании?“ — „Не знаю...“» Ничего никто не знает! Мне кажется, Мураками исподволь проводит идею безответственности личности. В каком-то смысле он потакает давним японским представлениям о «слепой воле» природы, о фатальности стихийных явлений. Постмодернизм смыкается с фольклорностью. Современная опустошенность с первобытной пугливостью.

В «Dance...» Мураками указывает на порабощенность героев обществом потребления, общество стирает индивидуальные черты, но и тут выход не предложен. Система невозмутимо и душно переваривает героя, а намек на избавление и не проскальзывает. Герой лишь глубже зарывается в будничность своего мидлклассового существования. Опять — слепая воля...

Просто тупик. Но в орнаментальном плане кое-какой «проект спасения» в «Dance...» выдвинут. Есть некая идея-картинка. Ею одаривает читателя пресловутый Человек-Овца. Засев в ледяной комнате, этот курчавый и толстобокый «ангел-хранитель» утробным голосом выдает рецепт счастья: «*Танцуй и не останавливайся. Зачем танцуешь — не рассуждай*». При этом танцевать, то есть жить, надо красиво, «*так, чтоб на тебя смотрели*». Подобным рассуждениям отдана добрая половина книги, они, увы, однообразны, рефреном звучит: «Танцуй!» Иногда призыв становится угрожающе назойлив. Похоже на современную дискотеку, где под раскаты популярных мелодий возносится рык диджея: «ТАНЦУЮТ ВСЕ!»

Кроме танцев еще один частый образ: «*расшищать сугробы в метель*». Образ тонкий и поэтичный, запоминается сразу, поэтому бесконечное повторение его лишь огрубляет. Впрочем, затянутость и некоторую монотонность можно объяснить японской размеренностью и церемониальностью. Если так, то роман Мураками вызывает большую приязнь. Будем надеяться, что перед нами не «японская матрешка»... У меня, например, возникает вопрос: что кроется у Мураками за отсылкой к японской мифологии да и за самой манерой повествования? Расчет или искренность? Надо быть по-настоящему сведущим в японской культуре, чтобы оценивать, естественно ли пишет Мураками или стилизованно.

Можно заметить симфонию западного и родного азиатского в творчестве писателя. Мураками как бы балансирует на грани культур... Но и тут есть повод насторожиться. Порой явственно просвечивает конъюнктура, и возникает чувство, что книга писалась специально под какую-нибудь премию. Мураками выплеснул

всю палитру откровенно «модного»: дружба с малюткой-ясновидящей («метафизическая Лолита»), секс с классной проституткой, убийство и проклятые полицейские... И даже появляется двойник автора — стареющий писатель Хираку Макимура. Текст также отягощен перечислением напитков и блюд, которые герой отведал, плюс названиями рок-банд, которые он слушает, пока разъезжает на авто под однообразно сыплющим снегом.

Роман «Danse...» обладает несомненным достоинством. Это цельность текста. Все подчинено внутренней мелодии, одно предложение плавно сменяет другое. Композиционно, стилистически, интонационно — действительно, danse, танец! Декоративно, в масках, но танцуют персонажи... Порхают страницы книги...

Читать рекомендуется в тепле, у зимнего смеркающего окна, приятно устав от прогулок по среднерусским сугробам. Глаз гладко скользит по страницам — не проваливаясь в пустоты и не царапаясь о неуклюжие фразы. Читайте разморенные, нежно-полусонные... И, подняв глаза от книги, вы вдруг заметите в заледеневшем окне колыхание бабочек. И Сугроб-Овца тоже будет в окне.

Распутав несколько мелких ниточек и окончательно запутав главные узлы, Мураками внезапно прерывает «Danse...». Единственное, что если и не интригует, то обнадеживает, — впереди маячит очередное продолжение. Ведь это была только первая часть.

Сергей ШАРГУНОВ.



ХУДОЖНИК И ОКРЕСТНОСТИ

Мирон Петровский. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова.
Киев, «Дух і літера», 2001, 367 стр.

Видимо, нет ничего странного в том, что Михаил Булгаков — писатель фантастический — породил и фантастическое булгаковедение. Современная Булгакову советская критика считала его «внутренним эмигрантом», некоторые эмигрантские авторы — а позднее и «радикально-прогрессистские» отечественные — обвиняли его в прислужничестве режиму. Нынешние сочинители кто «уличают» его в связях с масонством, кто пытается доказать, что он был знаком чуть ли не с манускриптами средневековых монастырей Западной Европы... Русские шовинисты вербуют его под свои знамена, украинские националисты — под свои. И как говорил один булгаковский персонаж: «Я... начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время».

Есть, правда, еще булгаковедение научное (к нему можно отнести работы М. Чудаковой, И. Галинской, Г. Лесскиса и других), резко раздвинувшее в последнее десятилетие наши представления о писателе.

В этот же ряд становится и книга Мирона Петровского. За последние десять лет ее брались издать четыре издательства (московское, петербургское и два киевских), но до дела так и не доходило. Конечно, как мы помним, «рукописи не горят», но выйди эта книга лет десять назад — и, возможно, булгаковедческий пейзаж был бы сейчас не совсем таким, какой он есть.

Впрочем, главы ее печатались на протяжении ряда лет в виде отдельных статей в периодике, и булгаковеды восприняли содержащиеся там идеи и наблюдения.

Например, можно найти некоторые переключки с книгой Б. Мягкова «Булгаковская Москва» (М., 1993) — она, кстати, была издана во время или после выхода в свет глав книги (тогда еще статей) Петровского о Булгакове. Предмет ведения авторов — номинально — из одного, литературно-краеведческого, департамента: у Мягкова — булгаковская Москва, у Петровского — булгаковский Киев. В обоих случаях речь идет о городском пространстве и о городском тексте.

Для того чтобы «заметить разность» в способах прочтения, посмотрим, как авторы интерпретируют одно и то же место булгаковского романа — скажем, знаменитый «трамвайный» эпизод на Патриарших прудах.

В фантастическом мире «Мастера и Маргариты» растворено реальное городское пространство, и Мягков ловит и констатирует допущенные Булгаковым отклонения. Задаваясь вопросом, существовали ли трамвайные линии на тогдашних Патриарших, он реконструирует конкретные транспортно-топографические обстоятельства Москвы тридцатых. Подробно рассказывает о работе в архивах, об опросах возможных свидетелей из числа булгаковских современников, о том, как наконец с помощью метода биолокации были обнаружены рельсовые маршруты, не показанные ни на одной из московских транспортных схем...

Петровскому важно другое — продуктивность этих отклонений. В одной из глав книги он показывает параллельность «трамвайных» эпизодов в московском романе «Мастер и Маргарита» и в киевском рассказе Куприна «Каждое желание» (есть здесь связь и с другими киевскими текстами — например, с трактатом Льва Шестова «Шекспир и его критик Брандес»). Текстологический анализ убедительно доказывает, что московские события и московский пейзаж «писаны с киевского пейзажа и событий киевского рассказа». Уже одного этого блестящего и остроумного выявления переключек было бы достаточно для филологической интриги. Но в том-то и дело, что Петровский здесь не останавливается. Задаваясь вопросом, а зачем было Булгакову именно в этом месте «подкладывать» киевский текст под московский, он вот что говорит: «Соотнесенность романа Булгакова с рассказом Куприна в деталях хорошо обоснована соотнесенностью замыслов двух произведений...» Это «произведения о страстной жажде *нормы*... Так, роман Булгакова пронизан жаждой „исполнения желаний“, размышлениями о цене исполнения и его возможных последствиях, мечтой о том, чтобы рукописи не горели (у Куприна они сгорают безвозвратно), чтобы каждому воздавалось по вере его (так воздается и купринскому герою), и даже о том, чтобы осетрина всегда была только первой свежести...»

Вот еще пример его прочтения.

Г. Лесскис, комментатор «Мастера и Маргариты» в собрании сочинений Булгакова, так интерпретирует эпизод ночного полета главной героини романа: «Полет Маргариты, купанье и развлечения, устроенные в ее честь на какой-то реке, сюжетно напоминают полеты ведьм и шабаш, но совершенно лишены оргиастического и кошунственного характера, который составляет существо ведьминских игрищ по средневековым представлениям. Булгаков использовал некоторые фантастические элементы народных и церковных легенд, придав им чисто декоративный характер» (т. 5, стр. 657).

Другой комментатор романа, Ф. Балонов, задается вопросом, куда и зачем летала Маргарита, и напоминает, что волшебный лимузин, который доставил ее обратно в Москву после купания в неведомой реке, приземлился на кладбище в районе Дорогомилово (а это — въезд в Москву с киевского направления). А раз Маргарита вернулась домой с шабаша, то возникает догадка, что побывала она на сборище ведьм на киевской Лысой горе. А у Лысой горы Маргарита могла выкупаться только в Днепре или впадающей в него речке.

«Вот в этом все дело, — полагает М. Петровский, — прежде чем попасть на Воляндову „черную мессу“ (антимессу), Маргарита проходит обряд „раскрещивания“, „антикрещения“... и совершается этот обряд на берегу реки, где происходило, по-видимому, великое киевское крещение. Маргарита входит как бы в ту же воду, но с другой стороны...» И опять здесь важно не само по себе доказательство существования в московском тексте киевского подтекста, а продолжение мысли о том, что Булгаков, «если можно так выразиться, мыслит Киевом».

Это только две иллюстрации к тому, как киевское пространство, киевский текст, киевские коннотации проступают в любом сочинении Булгакова, идет ли в нем речь о Москве, об Иерусалиме или о каком-то условном городе. «Киев... был онтологической столицей булгаковского мира и творчества» — вот сквозная мысль книги «Мастер и Город». И в каждой из девяти ее глав явлено это присутствие города — на всех «этажах» художественного мира Булгакова.

«Декларация о городе». В первой главе Петровский развивает идею Николая Пиксанова, одного из основоположников современного городоведения, о том, что

на всех участниках культурного процесса — выходцах из областных культурных гнезд — есть «свой особый отпечаток» (воронежский, одесский, киевский), некая печать принадлежности к определенному гнезду русской культуры, и без учета этого «общего знаменателя» трудно понять характер их творчества.

Это утверждение, в отношении Булгакова, как и в отношении Кольцова, Багрицкого, Катаева представляющееся бесспорным, для других случаев нуждается, как нам кажется, в оговорке. Вот, например, Корней Чуковский — «писатель из Одессы» (по аналогии с тем, как называли в Москве Булгакова — «писатель из Киева»). Но Одесса так мало значила для него! Почти ничего. А другому «писателю из Одессы», тоже миновавшему «влияние культурных гнезд» — Лидии Гинзбург, — как-то сказал с некоторым удивлением Борис Эйхенбаум: «Не понимаю... как это вы могли от моря, солнца, акаций и прочего приехать на север из Одессы с таким запасом здравого смысла? Если бы я родился в Одессе, то из меня бы, наверное, ничего не вышло». Можно и другие имена назвать...

Очерчивая исследовательское поле своего сочинения, о трудностях, пробелах, «пропущенных главах» булгаковской биографии Мирон Петровский говорит уже на первых страницах.

«Киев времен детства и юности Булгакова... оказывается... сплошной terra incognita. Так, между первой и второй главой следовало бы поместить воображаемую главу „Коллекция Первой гимназии“... а в четвертую главу (о киевских театральных впечатлениях Булгакова) мысленно поместить раздел о киевской эстраде и ее замечательном порождении — Александре Вертинском, чьи песенки стали одним из сквозных лейтмотивов булгаковской прозы...» — пишет, как бы заранее оправдываясь перед читателем, Мирон Петровский. Но нигде не добавляет, что эти «пропущенные главы», его же перу принадлежащие, в некотором смысле существуют: реальная глава «Киевский гимназист сто лет назад» (о киевской Коллегии Павла Галагана) в его книге «Городу и миру» (1990) — выразительная параллель «воображаемой главе» о Первой гимназии (можно предположить, что в главе шла бы речь не только о ее замечательной коллекции, но прежде всего о насыщенном культурном растворе заведения, где и могли выкристаллизоваться таланты, подобные булгаковскому). В той же книге есть и глава о «замечательном порождении киевской эстрады» А. Вертинском, содержащая и булгаковские обертоны.

«Происхождение мастера». Проблема булгаковских источников становится композиционным стержнем всей книги и задает движение ее сюжета.

«К самому популярному... источнику — Писанию — Булгаков... принимает чаще всего. Высочайший, сакральный „источник“ оказывается вместе с тем и самым демократическим, снимая этой своей двойственностью противоречие между „высокими“ и „низкими“ источниками творчества Булгакова».

Библейский, сакральный «подтекст» просвечивает, оказывается, во всех — даже самых «светских» по теме — вещах Булгакова. Мы видим, как это происходит во всех срезах его художественной структуры — от смыслового («христологические» мотивы есть везде — от «Последних дней» до «Театрального романа» и от «Бега» до «Кабалы святош»; все любимые булгаковские персонажи — пророки; каждое сочинение Булгакова повествует о «последних днях» — крестной гибели на Голгофе) до лексического, фонетического (Пончик из «Адама и Евы» — это сниженное «Понтий», Вестовой в «Беге» — «ангел» и т. д.).

Тут возникает вопрос: был ли Булгаков мистическим писателем? Каковы были вероисповедные основы его творчества? На этот вопрос Мирон Петровский отвечает решительно и в то же время корректно. «Бог метафизики очень мало занимает Булгакова, но его чрезвычайно заботит Бог этики». Булгаковские представления о Боге «внецерковны» — и близки к основам протестантской этики. «Киев... приучал Булгакова к концентрированным источникам... протестантской идеологии — этой „естественной“ формы религиозности становящегося буржуазного города».

Еще один неожиданный источник «христологических мотивов» — евангельский пласт работ Н. Ге, выпускника той же Первой гимназии, что и Булгаков. Известен отклик Л. Толстого на картину Ге «Распятие» — и на образе булгаковского Мастера, полагает Петровский, лежит отсвет толстовской фразы.

«В коробочке киевской сцены». Обращение к киевским контекстам Булгакова предоставляет автору замечательно плодотворную возможность проверить его давнюю и любимую мысль.

О чем бы ни писал в своих сочинениях Мирон Петровский — о «Двенадцати» Блока («У истоков „Двенадцати“»), о литературной сказке («Книги нашего детства»), об игровом начале в стихах Хармса («Возвращение Даниила Хармса»), о русском романсе («Книга о русском романсе») или о чеховской *тарарабумбии*, — он всегда очерчивает и собственное исследовательское поле, которое, может быть, вернее всего определить словосочетанием «типология городской культуры» (и здесь он последователь не только Пиксанова, но и Проппа). А на этой территории главный предмет его заботы — понять, как низовые жанры культуры питают ее вершинные достижения; и одну из главных линий книги «Мастер и Город» можно обозначить как «творчество Булгакова и массовые жанры».

Петровский продолжает мысль Тынянова — о том, что литература оплодотворяется низовыми жанрами. Надо сказать (такое мнение, во всяком случае, складывается в ходе чтения книги), что Булгаков оказался писателем не просто открытым для такой интерпретации, а как будто специально позаботившимся о своем будущем исследователе, который решил бы задаться этим вопросом.

Сочинения Булгакова наполнены «чужими голосами», и это голоса не только знаменитых солистов, но и хора анонимов (так, в «Мастере и Маргарите» слышен не только «известный драматический талант артист Куролесов», но и хор служащих городского филиала Зрелишной комиссии, «оглашающих переулоч популярной песней»).

Оперетта, вертеп (украинский кукольный театр), эстрада, массовая песня и массовая литература (говоря булгаковским словом — МАССОЛИТ) — вот перечень (далеко не полный) тех «низовых» жанров, которые были источниками творчества вершинного мастера. Эти источники, «как правило, принадлежат демократической, массовой и даже кичевой литературе», настаивает автор.

Здесь Петровский предстает и как наследник Чуковского, которого он считает первооткрывателем явления «массовой культуры» и «кича»: «„Кич“ сложился и был открыт как раз тогда, когда эпоха фольклора шла к своему естественному завершению. Для демократических масс „кич“ стал заменителем фольклора в бесфольклорную эпоху, а для высокого искусства — от Блока и далее — „источником“, каким прежде был фольклор...» «В массовой культуре он (Чуковский. — О. К.) открыл такие фольклорно-мифологические средства воздействия (суггестии), которые могут быть использованы для создания высоких художественных ценностей» («Книги нашего детства»).

«Как поссорились и где помирились Михаил Афанасьевич и Владимир Владимирович». Театр интересен — в нашем случае — не только как источник киевских впечатлений Булгакова. Театральные аллюзии, театральная интрига вообще занимают Петровского — и влияют на способ взаимоотношения с чужим текстом. Еще в «Книгах нашего детства» он прочитывает сказку Толстого «Золотой ключик» как «театральный роман» (там же есть и театральный сюжет с околубулгаковскими участниками — театром Мейерхольда и Московским Художественным театром). В «Мастере и Городе» отношения двух мастеров — Булгакова и Маяковского — он описывает в русле предложенной Тыняновым концепции «архаисты — новаторы». Художник консервативного типа, Булгаков (с отсылкой к близкому ему МХТ) сопоставляется — и противопоставляется — художнику «авангардного» типа Маяковскому (с отсылкой к близкому ему театру Мейерхольда). Эта антитеза становится наиболее очевидной в соотнесенности с драматургией: «Клоп» и «Баня» Маяковского и «Багровый остров», «Адам и Ева» Булгакова, оказываются, насыщены репликами и контррепликами, продолжающими художественную полемику двух писателей.

«Дело о Батуме». Одна из самых поразительных глав книги — последняя. Пьеса о Сталине становится в ряд булгаковских «христологических» сочинений о героях-пророках, «но... как-то боком». В «Батуме» Булгаков продолжает осмыслять

важную для него проблему легитимной и самозванной власти — и, как блестяще доказывает Петровский, мотив самозванчества в «Беге» прочно опирается на классическое произведение о самозванце — пушкинского «Бориса Годунова». Петровский предлагает — мотивируя это и хронологически, и художественно — рассматривать в творческой биографии Булгакова «Батум» *после* «Мастера и Маргариты». Такая инверсия резко смещает акценты булгаковского творчества: в «Батуме» впервые у него «сила зла — оказывается самодостаточной и, по крайней мере, равной силе добра, так что исход борьбы далеко не predetermined». «Последнее его слово о мире полно безнадежности», — горько резюмирует Мирон Петровский.

Есть у Милона Петровского виртуозный этюд о симметрии, закамуфлированный обманчиво «скучным» заголовком «Название романа как его идейно-композиционная модель». Петровский там показывает, как «графическая», «морфологическая симметрия», содержащаяся в названии пушкинского «романа в стихах» «ЕвГЕНий О-НЕГин», заключает в себе как бы модель, «матрицу» всех его уровней. Движение сюжета, композиция, конфликт, даже ономастика романа, оказывается, уже «записаны» в его названии, как в ДНК. Когда-то Юрий Олеша увидел, что в другой пушкинской строчке, «Европы баловень — Орфей», содержится палиндром: евро-орфе. Олеша восхищенно заметил, что в середину строчки будто вставлено зеркальце! Вот и Петровский — тоже такой писатель «с зеркальцем» внутри строчки (добавим — внутри мысли, внутри статьи, внутри книги...).

Петровский, можно сказать, выделил и описал «геном Булгакова». В «Мастере и Городе» представлено множество доказательств того, что в одной мастерской, одним мастером изготавливались ключи и от двери дома на Андреевском спуске в Киеве, и от «нехорошей квартиры» на Большой Садовой в Москве, и от дворцовых залов в Эршалаиме. Книга Милона Петровского далеко выходит за границы проблемы «художник и культура города», да и сами границы оказываются совсем не там — и не так — пролегающими, как нам представлялось до ее прочтения.

Ольга КАНУННИКОВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

+ 7

В. Т. Третьяков. Русская политика и политики в норме и в патологии. Взгляд на события российской жизни 1990 — 2000. М., «Ладомир», 2001, 863 [восемьсот шестьдесят три!] стр.

В мартовском выпуске новомирской «Периодики», процитировав ироническую реплику Александра Агеева («Иногда мне кажется, что писания [Александра] Панарина — не аналитика вовсе, а поэзия, и „элита“, „массы“, „прогресс“ — художественные образы...»), я заметил: «А что же она — политическая аналитика — такое, если не поэзия? Неужели — наука?» У первого главного редактора «Независимой газеты» Виталия Третьякова иное мнение об этом жанре: «Большая, чем у обычных журналистов, информированность; объективность комментария; превосходящая средние показатели точность, или сбываемость, прогноза».

Нет, поэзия! поэзия! — см. хотя бы «Разговор Березовского с Путиным. Политический сон в майскую (2001 года) ночь» («НГ», 2001, 18 мая). Впрочем, рецензент «Книжного обозрения» (2001, № 41, 8 октября) Феликс Штирнер уверяет нас, что «Русская политика и политики в норме и в патологии» — это *большая проза*. И уточняет, переворачивая известное ленинское высказывание о Маяковском: «Не берусь судить, как тут насчет политики, а вот насчет литературы ручаюсь, что это совершенно правильно». Перефразируя Штирнера: не знаю, какая это проза, но

вот насчет политики — есть вещи в своем роде образцовые, о деле Бабицкого, например.

Том — огромен (я его ушибленной на гололеде рукой еле ворочал), и это только треть того, что напечатал Третьяков в своей газете. Статьи сопровождаются краткими авторскими комментариями — *глядя из 2001 года*, — например: «Одна из тех статей, за которую я до сих пор испытываю и профессиональную, и гражданскую гордость...», или: «Многое в этой статье мне нравится до сих пор...», или: «Какая все-таки наивность!» Но составить книгу только из удачных статей всякий может. В этом смысле «Русская политика...» — хороший урок для начинающих (и не только) журналистов: как из *разносортницы*, *поденицы* и всяческого *прошлогоднего снега* можно сделать хорошую и даже очень хорошую книгу. Потому что — труженик, профессионал.

Элвин Тоффлер. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. Перевод с английского В. В. Белокосова, К. Ю. Бурмистрова, Л. М. Бурмистровой, Е. К. Комаровой, А. И. Мирер, Е. Г. Рудневой, Н. А. Строиловой. Научный редактор, автор предисловия П. С. Гуревич. М., АСТ <<http://www.ast.ru>>, 2001, 669 стр. («Philosophy»).

Сразу отмечу, что русский перевод книги знаменитого футуролога Элвина Тоффлера (*Alvin Toffler*) вышел в издательстве, ориентированном на массовые продажи, тиражом три тысячи экземпляров, что по нынешним временам очень хорошо. Но... но... но... «Метаморфозы власти» («*Power Shift*»), как и две предшествующие части трилогии про *шок будущего* и *третью волну*, книга прогностическая — о том, чего (на момент написания книги) еще нет или почти нет, но что может произойти, если правильно интерпретировать настоящее (опять-таки на момент написания книги). Но вышла-то она в оригинале в 1990 году! Соответственно писалась в конце 80-х! (Меня искренне тронуло упоминание жесткого диска компьютера с памятью в 20 *мегабайт*). Это ж надо, не при советской власти, не при Главлите, а при свободе и демократии, в отсутствие Идеологического отдела ЦК КПСС десять лет ждать, чтобы перевели некогда актуальную книгу, которую надо было читать по крайней мере в середине 90-х. А теперь, в начале XXI века, *будущее уже наступило* и мир изменился — изменился отчасти по Тоффлеру — и прогностика превратилась в констатацию очевидного, отчасти не по Тоффлеру... Короче, за что деньги уплочены?! Неужели за «поэзию»? Разворачивающаяся в книге картина меняющегося мира действительно впечатляет — при всех «но». Автор предисловия, профессор Павел Гуревич, считает, что известной контрверзой Тоффлеру являются строки Юрия Кузнецова: «Зачем мы тащимся-бредем / В тысячелетие другое? / Мы там родного не найдем. / Там все не то, там все чужое». А тут?

Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Книга первая. От начала до Великой Победы. М., «Алгоритм», 2001, 528 стр. Серия «История России. Современный взгляд».

«Книга эта — не научный труд, в ней много аргументов, не поддающихся критической проверке строгими методами», — предупреждает автор¹. *О да!* Цитирую: «Я почти уверен, что все сегодня в душе понимают, что в конце 20-х годов сталинизм, при всех его видимых уже тогда ужасах, оказался с точки зрения судьбы России (СССР) лучшим выбором — и потому подавляющая масса народа сделала именно этот выбор». Цитирую: «Тридцать лет до Ленина в России гремели взрывы и выстрелы (по подсчетам некоторых историков, от рук террористов до 1917 г. погибло 17 тыс. человек). Короткий исторический период — когда воплотился „проект Ленина“ — мы жили спокойно и безопасно. И не сознавали этого, думали, что это — естественное состояние. Сегодня, когда этот проект мы позволили пресечь, взрывы загрели снова».

Это та степень оригинальности/ангажированности/простодушия/бесстыдства, которая лично у меня неизменно вызывает не протест, а неподдельный интерес.

¹ Поставить бы ее в «минус», но как вспомню, сколько заплатил...

² Полный текст этой и других книг С. Кара-Мурзы см. на сайте: <http://kara-murza.by.ru>

Конечно, С. Кара-Мурза не ученый, а публицист, человек, не ищущий, а «знающий» истину. От хладнокровных и циничных «манипуляторов сознанием» (против которых Кара-Мурза сочинил огромный том, переизданный недавно издательством «Алгоритм») он отличается тем, что сам — верит. Вопреки его инвективам в адрес «советской мифологии», он занимается не чем иным, как оживлением советского мифа, попыткой — надо думать, не последней — вдохнуть в него жизнь. Но сколько ни тверди, что Ленин — *не палач, а спаситель*, все равно *чучело людоеда* не шелохнется. Постоянные ссылки на Есенина³ способны вызвать улыбку (Есенин знал, что и когда надо писать в Советской России, а вопрос об искренности/неискренности поэтов — особенно советских — тема отдельная и увлекательная).

Профессиональный евразиец Александр Дугин заметил, что «коммунизм должен быть не отброшен, а осознан, причем осознан в некоммунистической системе координат» («Литературная газета», 2001, № 50-51, 12 — 18 декабря). Сергей Кара-Мурза пытается осознать русский коммунизм именно в коммунистической системе координат, поэтому его мысль зачастую *тавтологична*. Он описывает/оценивает советский проект посредством советского — местами невыносимого — языка («еще более опасным было то, что отмена чрезвычайных мер и расширение демократических прав сразу были использованы буржуазными слоями, особенно кулаками на селе») и через призму своих априорных представлений, которые как раз и рождены этим самым советским проектом. Естественно, всякая оппозиция — тогдашняя или нынешняя — советскому проекту оказывается в такой картине мира проявлением *ущербности* классовой или нравственной. (Впрочем, меня несколько не покорила неприличная по нынешним временам классовая или, скажем мягче, — социально-нравственная критика таких канонизированных произведений, как «Дни Турбиных»/«Белая гвардия» и «Окаянные дни».)

И все-таки — в «плюс»? После некоторых колебаний — да. Лучшее в книге (поэтому и ставлю ее в «плюс») — искренняя и нетривиальная попытка осознать «советскую цивилизацию» *как целое — в соответствии с ее собственной природой*, а также воспоминания автора (ради некоторых абзацев о военном детстве ему многое прощайте). Мне было бы жаль, если бы книга не увидела свет.

«Следует объяснить новому поколению российских граждан, почему значительная часть общества поддержала советскую власть, как и то, что десятки миллионов граждан страны находились к ней в оппозиции (пассивной и активной)», — пишет в «Известиях» (2001, № 235, 21 декабря <<http://www.izvestia.ru>>), напоминая о необходимости позитивной картины русского XX века, преподаватель истории в Православном Свято-Тихоновском богословском институте Борис Филиппов. Первую задачу — в меру сил и не вполне удачно — пытается решить Кара-Мурза, вторую — тоже в меру сил — Валерий Шамбаров.

Валерий Шамбаров. Государство и революция. М., «Алгоритм», 2001, 592 стр. Серия «История России. Современный взгляд».

«Было ли падение коммунизма неизбежно? Да, было»⁴.

«Не было в нашей истории ни одной точки, ни одного отрезка, чтобы не жило и не действовало в русском народе сил, противостоящих [коммунистическому] рабству. *То есть полностью сопротивление так и не было подавлено никогда*».

Плюрализм издательства «Алгоритм» восхитителен⁵. Одновременно с советской книгой *красного* Кара-Мурзы — антисоветская книга *белого* Шамбарова. Об

³ «Чем крупнее индивидуальность писателя, тем разительнее его модель мира отличается от сушей действительности», — подчеркивает Станислав Рассадин, о его книге см. в настоящей полке.

⁴ Ср. с оговоркой С. Кара-Мурзы: «Речь не идет о возврате в „тот“ советский строй. <...> вернуться, чтобы снова вырастить Горбачева с Ельциным?» То есть и он признает, что тот — а другого у нас не было — советский строй естественно и неизбежно рождал своих — вольных и невольных — могильщиков из своей собственной среды.

⁵ «На деле все социальные группы (включая сосланных кулаков) и все народы, за исключением части националистов в Крыму, на Кавказе и на Украине, выступили на защиту СССР», — пишет Кара-Мурза.

«На всех фронтах имеются многочисленные элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие (курсив мой. — А. В.)», —

антикоммунистической борьбе в России, о трех ее гражданских войнах (вторая — под именем коллективизации, третья — во время Второй мировой). Кара-Мурза посвятил свою книгу павшим 3 и 4 октября 1993 года. Шамбаров одобряет Ельцина за то, за что Кара-Мурза проклинает. Они несовместимы как материя и антиматерия: если прав Кара-Мурза, не может быть прав Шамбаров, и наоборот.

Люблю читать такие толстые книги с обширной библиографией (381 позиция; у Кара-Мурзы источники, как правило, не указаны), выковыривая из них всякое-разное, любопытное. Антикоммунистический пафос автора мне близок, но все равно «изюм» слаще.

Скажем, почему Есенин среди мест, где он побывал в 1919 — 1920 годах, упоминает Персию, а во всех исследованиях его жизни и творчества считается, что он в Иране не был, хотя и стремился туда? Потому, что из советской истории была вычеркнута существовавшая в северных провинциях Ирана Гилянская Советская республика, которую, видимо, и посетил в 1920 году поэт, а покровительствовавший Есенину Блюмкин был там комиссаром штаба «Гилянской рабоче-крестьянской красной армии» и членом ЦК компартии Ирана.

А большевики после прихода к власти уничтожили все собранные следователями материалы о связях революционеров с немцами, но в архиве (ЦПА ИМЛ) сохранился удивительный секретный доклад Е. Поливанова и Г. Залкина об этих изъятиях: «Председателю Совета Народных Комиссаров. Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров тов. Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко и Володарского, мы произвели следующее: 1. В архиве Министерства юстиции из дела об „измене“ тов. Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и др. мы изъяли приказ германского имперского банка № 7433 от второго марта 1917 г. с разрешением платить деньги тт. Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и др. за пропаганду мира в России....»

А самые ценные и надежные советские агенты в Берлине — группа Харнака и Шульце-Бойзена — не просто передали сведения о сроках начала войны, но и информацию/дезинформацию о том, что этому будет *предшествовать* ультиматум, обязывающий СССР вступить в войну против Англии. Поэтому можно предположить, что Сталин в июне 1941 года ждал немецкого ультиматума, а не начала военных действий.

Элвин Тоффлер в «Метаморфозах власти» упоминает Рихарда Зорге как талантливый и энергичный профессионала, чьи предупреждения были проигнорированы начальством. По версии В. Шамбарова, Зорге был двойником, но не таким, который работает, в сущности, на одну сторону, а таким, который «честно» работал и на немцев, и на СССР, что, если учесть серьезность и продолжительность тайных немецко-большевистских/советских связей, не столь невероятно, как представляется задним числом.

А Мюллер будто бы использовал разоблаченную «Красную капеллу» не просто для радиогры с Москвой, но для... работы на Москву.

А... Словом, читайте сами.

Игорь Клех. Книга с множеством окон и дверей. М., «Аграф» <<http://www.ru.net/~agraf.ltd>>, 2002, 464 стр.

«Выросший в пограничье бывшей империи, Игорь Клех навсегда сохранил напряженный, пристальный и слегка подозрительный взгляд пограничника», — та-

цитирует Шамбаров сталинский приказ № 0019 от 16 июля 1941 года. Можно себе представить, что на самом деле творилось, чтобы в приказе появилась такая фраза. Этой реальности нет места в мифологии Кара-Мурзы. Или такой: «В г. Локте Брянской области еще до прихода немцев население сбросило советскую власть и создало самоуправляемую „республику“, которую возглавил инженер К. П. Воскобойников <...>. Эта „республика“ охватила восемь районов, создала и собственные вооруженные силы — Русскую Освободительную Народную Армию (РОНА) численностью в 20 тыс. чел. под командованием Б. Каминского. Армия имела свою артиллерию, танки, а на знаменах изображался Георгий Победоносец».

Забавно, что редактор у обеих книг один — П. С. Уляшов.

ким видит нашего героя *Лев Рубинштейн* («Еженедельный Журнал», 2002, № 3 <<http://www.ej.ru>>). Вот пока я собирался что-нибудь написать о Клехе, умные люди уже высказались.

Ольга Славникова: «„Книга со множеством окон и дверей” И. Клеха являет собой еще один образец *non-fiction*, где через персону автора выясняется отношение искусства к действительности. И. Клех по преимуществу прозаик⁶, поэтому, о чем бы он ни говорил, он стремится писать прозу. <...> Интонация весьма узнаваема. Бывает, что Набоков привязывается, будто популярный шлягер: мычишь его и мычишь. Впрочем, в сочинении собственных слов на известную „музыку” есть известный ресурс, в том числе иронический и полемический. Кроме того, писать после Набокова и Платонова простым неокрашенным языком — неценно и бессмысленно. И хотя И. Клех на словах сильно возражает против сверхплотной прозы, на деле он учитывает ее уроки. Поэтому читать его тексты „вкусно” — независимо от того, имеют ли они предметом „вращательную природу времени” или украинский борщ...» («Время МН» от 17 января 2002 года <<http://www.vremyamn.ru>>).

Елена Дьякова: «Эссеист, о чем бы он ни... — говорит о себе. Книга его — чертеж картины мира, куда входят и карпатские села, и Нестор-летописец, и Петр Великий, и украинское барокко, и сецессионизм Бруно Шульца, и сокровенный человек Платонова. И уверенность в том, что психика людей (включая тех, кто „загружен по ватерлинию боезапасом душевного комфорта”) управляется „лунным притяжением” великих книг. А также в том, что рыбная солянка без грибов — перевод продукта. Это картина мира абсолютно нормального и действительно культурного человека. До такой степени нормального, что хоть по ярмаркам вози. Иерархия текстов и объектов на редкость тщательно по нынешним временам выстроена и отцентрована (воспользуемся авторским термином). Но вид из „окон и дверей” книги — почти беспросветный, зябкий, как весна у Саврасова...» (сетевая «Газета.Ru» от 17 января 2002 года <<http://www.gazeta.ru>>).

Павел Басинский: «...В-третьих, Клех — единственный современный писатель, который искренне не любит реализм. Все остальные только прикидываются, что его не любят, а сами тайком почитывают и посматривают именно самые примитивные реалистические книги и фильмы. Клех же — модернист натуральный. Он, в принципе, свободно владеет приемами реалистического письма. Когда он описывает украинский борщ или баклажаны в углях, то несколько даже поигрывает мускулами своей письменной речи, точно культурист на подиуме. Одной, главной, тонкости он, правда, не знает. Реализм не мясо языка, но свет. Глаза девушки, как мокрая смородина, — это не реализм, а штукарство. Убери это сравнение у Толстого, и от Катюши Масловой ничего не убудет. А вот назови он Катюшу, например, Мариной или Олинькой — и все пропало. Впрочем, Клех Толстого не любит, о чем он давно отважно заявил на „круглом столе” в „Литературной газете”. <...> Потом Клех где-то написал, что когда он попадет в ад за свои модернистские грехи, то его накажут таким образом: заставят вечно читать бесконечный реалистический роман. Надо ли говорить (добавлю от себя), что это будет как раз „Анна Каренина” с бесконечным продолжением?» (интернет-журнал «Топос» <<http://www.topos.ru>>).

Что я, грешный, могу к процитированному добавить? Почти ничего. В сборнике есть разделы: *О целях, О книгах, О видениях, О местах, О блюдах, Рецепты. О себе*. Лучшее — о кошках и собаках. Да, большое достоинство — **ХОРОШИЙ КРУПНЫЙ ШРИФТ**. Но Рубинштейн жалуется на опечатки.

Станислав Рассадин. Русская литература: от Фонвизина до Бродского. М., «СЛОВО/SLOVO» <<http://www.slovo-online.ru>>, 2001, 288 стр. Серия: «Большая библиотека „СЛОВА”».

А у Рассадина шрифт мелкий, но бумага лучше. И симпатичные (черно-белые, но многочисленные) иллюстрации. «Это необычная история русской литературы XVIII — XX веков», — читаем на четвертой странице обложки. Но, несмотря на

⁶ Игорь Клех — первый лауреат премии Юрия Казакова (учрежденной Благотворительным Резервным фондом и журналом «Новый мир» за лучший рассказ 2000 года).

квазиакадемическое название, это скорее хронологически выстроенный сборник эссе о русских литераторах. Эссе, частью печатавшихся в периодике и соответственно отмеченных в «Периодике» новомирской. Крылов. Барков. Батюшков. Жуковский. Пушкин. Гоголь. Белинский. Вяземский. Лермонтов. Герцен. Тютчев. Гончаров. Тургенев. Достоевский. Блок. Чехов. Гиппиус. Мандельштам. Ахматова. Пастернак. Цветаева. Ходасевич. Есенин. Булгаков. Замiatин. Маяковский. Бунин. Твардовский. Чуковский. Набоков. Солженицын. Шукшин. Окуджава. Искандер. Ерофеев [Венедикт]. Буквально все друзья и знакомые Кролика — не перечить. (В книге есть именной указатель, ура!) Но любопытно: чем дальше вглубь веков, тем интереснее, и наоборот. Как будто даже относительное приближение к презираемому Рассадинам литературному сегодня наводит на него уныние и апатию. Вот Клех: что о Пушкине, что о Салимоне... (Станислав Борисович, это я так шушу).

Кстати, в эссе «Такое разное серебро» Рассадин ссылается на авторитет Эммы Герштейн, которая относит изобретение термина «серебряный век» к середине 30-х годов, она приписывает эту честь эмигрантскому поэту Николаю Ошупу. Но есть иное мнение. Американский славист Омри Ронен, автор книги «Серебряный век как вымысел и вымысел», раскрыл, что впервые это выражение употребил Иванов-Разумник в статье 1925 года «Взгляд и Нечто», употребил в самом саркастическом смысле.

Талан. Рассказы о деньгах и счастье. Предисловие Татьяны Толстой. Редактор Ад. Метелкина. М., «Подкова», 2002, 272 стр. [Издание осуществлено при участии и поддержке Фонда «Открытая Россия»]. Тираж 50 000 [пятьдесят тысяч!] экз.

Тридцать рассказов двадцати двух авторов. Чудесные истории о деньгах, написанные с симпатией к предпринимателям. Урожай конкурса, объявленного в Интернете. Имена: от известного прозаика *Асара Эптеля* до таинственных и не расшифрованных для публики — *Alex, topot, yrii*. Между этими полюсами — *Федор Андреев, Владимир Вестер, Михаил Гаёхо, Иван Жуков, Елена Иванченко, Сергей Ивашко, Игорь Коломейцев, Александр Коспошин, Владимир Кравченко, Ольга Наумова, Андрей Орсудов, Евгения Пищикова, Вера Прохорова, Алексей Смирнов, Лев Усыкин, Стас Худиев, Александр Щербаков, Павел Яковенко*. Их короткие рассказы сгруппированы по разделам: *Бесплатный сыр; Я отворил им житницы; Богатые тоже люди; Сбыча мечт; Бизнес былых времен; В поте лица своего*. Рассказы разные по качеству, но читаются быстро, легко.

Самое же сильное впечатление произвело на меня предисловие Татьяны Толстой, которая энергично жалуется на русских классиков, мол, они совершенно обошли стороной — внимание! что значит мастер слова! — «практическую пользу денег». «Как Настасья Филипповна швыряет деньги в камин — вижу ясно. А что с ними можно еще сделать — не понимаю. Как Раскольников швакнул топором Лизавету, представляю. А, собственно, как именно работала старуха-процентщица, откуда у нее образовывался процент?» Да, тяжело. Разумная девушка Лиза Новикова («Коммерсантъ», 2002, № 5, 16 января) подсказывает Толстой, что «за конкретными разъяснениями про ассигнации и залоги всегда можно было обращаться к комментариям». Но вот странно: почему же я со школьных времен и без комментариев знал, откуда у старухи берется процент, хотя сам ростовщицеством, ей-богу, не занимался? Мне всегда казалось, что у Достоевского в романе *все сказано*. Или дело в том... Нет, нет, подобное чудовищное предположение было бы непolitкорректным/politнекорректным сексизмом, проявлением моей мужской шовинистической природы... Молчу, молчу...

-3

Империя. Сделай сам. Сборник эссе. Составители Дмитрий Володихин, Эдуард Геворкян. М., «Мануфактура», 2001, 202 стр. Серия «Библиотека „Бастions“». [Издание поддержала Ассоциация ветеранов подразделения Антитеррора «Альфа»].

Содержание: «Форманты протоимперских идеологем» (Эдуард Геворкян); «Что такое осень?» (Владислав Гончаров, Наталия Мазова); «Новый народ» (Дмитрий

Володихин); «Империя: пространство как препятствие» (Константин Крылов); «Эволюция форм государственности в цивилизационном потоке» (Александр Громов); «Медленный взрыв империй» (Дмитрий Володихин); «Пространство пассионарности» (Далия Трускиновская); «Шантажирующее меньшинство» (Элиезер Воронель-Дацевич); «Последний бастион» (Эдуард Геворкян); «Заметки об империи» (Глеб Елисеев); «Призрак империи» (Валентин Эскизов); «Мифологизация исторических деятелей эпохи империи» (Ольга Елисеева); «Чиновничество империи. Наблюдения историка» (Константин Залесский); «„И вечный бой! Покой нам только снится...“, или Буриданов осел в действии» (Наталья Иртенина).

Читая это оглавление, можно подумать (я так и подумал), что перед нами нечто *фундаментальное, содержательное, значимое, существенное*.

Увы, это не так.

А шесть чистых страниц для заметок в конце книги лучше было бы использовать для сведений об авторах.

Эдвард Лир. Книга нонсенса. Перевод Ю. К. Сабанцева. СПб., «Ретро», 2001, 432 стр.

Хорошая была бы книга. Английские оригиналы Эдварда Лира, чье 190-летие приходится на май нынешнего года, и его рисунки. Да если бы еще хоть какое-нибудь содержание/оглавление. Да без переводов Ю. К. Сабанцева.

Неловко объяснять, что лимерик... Нет, не так. Для лимерика сочетания *жара — ерунда, привычке — обычно, крысы — погрызли* вообще не рифмы. Там, где у Лира: *little — Kettle — stout — out — Kettle*, у переводчика Сабанцева:

Старичок один в детстве *случайно*
 Был уронен в заварочный *чайник*;
 Через год узок *в бедрах*
 Стал ему чайник *подлый*, —
 В нем живет теперь старый *охальник*.

Попробуйте — эксперимента ради — произнести вслух строку «стал ему чайник подлый» как *анapest* (а это, видимо, все-таки *анapest*). Переводчик себя просто не слышит. Однако хвалится в послесловии самым полным на русском языке переводом Лира, отмечая между делом: «Я же льшу себя надеждой, что такие шедевры Лира, как <...> „Поббл без пальчиков ног“ <...> у меня получились ничуть не хуже, [чем у Маршака], хотя я и перевел их по-своему». По-своему — это так:

... Ибо тетя Джобиска сказала: «Беда
 Пальчикам ног не грозит никогда,
 Если Поббл усвоил простейший урок —
 Позаботься, чтобы твой нос не промок!»

Вслух, вслух прочтите!.. Третью и четвертую!..

.....

Ну остынь, что ты... (Говорю я себе.) Остынь!
 Не о-сты-ну-у-у!!

Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Перевод Д. Гайдука. М., «Локид-Пресс», 2001, 542 стр. Серия «Коллекция „Сфинкс“».

Долой Магию в Теории и на Практике!!!

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Фильмы: «Ехали два шофера», «Апрель». Продюсером — Сергей Сельянов. В первом случае единолично, во втором — с двумя подельниками. Сельянов — единственный на сегодня *реальный* российский продюсер.

Сельянов — это прежде всего «Братья» и «Сестры», внятная социопсихологическая позиция, не «как получится», а «как захочу». Сельянов противостоит постсоветскому истеблишменту в одиночку. Противостоит более чем успешно. Представляете, какова цена пресловутого многотысячного истеблишмента, если его легким движением руки убрал с игрового поля один бородатый человек, мужик?!

Истеблишмент, впрочем, тусуется, выпендривается, набирает цену, перераспределяя «Ники», «Золотые овны», прочую внутрирешовую муру. На фестивале «Кинотавр» второму «Брату» не дали призов за то, что в фильме... стреляют. Нет вопросов. Довольно о бессмысленных пацифистах, всерьез и надолго поклонившихся идолу политкорректности. «Брата-2», как к нему ни относиться, посмотрел *весь русскоговорящий мир!* Плевался ли, превозносил до небес, но смотрел во все глаза, прокручивая кассету по пятому, по десятому разу, стирая материальный носитель в пыль. Ну зачем мужику фестивальные статуэтки?

«В политической истории правящих классов наступает момент, когда они начинают тяготиться аскезой идеологии и стремятся адресовать ее запреты исключительно низам, сами практикуя вседозволенность. Если господствующая идеология — церковь — потакает такому „двойному стандарту“, заговорщически подмигивая правящим сибаритам, то рано или поздно эта тайна раскрывается и низы отворачиваются от нее. В свое время дворянство отвернулось от православия, постепенно превращаемого в „веру для туземного населения“...» В свое время я выписал эту цитату из книги А. Панарина «Реванш истории» (М., 1998) на отдельный листочек, привлеченный изяществом и лаконизмом формулировок. Теперь листочек случайно (!) выпал из рукава: очень кстати.

Сельянов представляет от лица туземного населения. Давно и все более успешно. Мужество, если не безумие. Впрочем, скептики поправляют: это он так цинично зарабатывает! Беззастенчиво эксплуатируя комплексы толпы, спекулируя проблемами депрессивных масс. Как правило, скептики хорошо одеты, подстрижены, образованны, продвинуты, вплоть до университетских кафедр государств дальнего зарубежья. Напоминаю скептикам: у нас рынок. Торгует, зарабатывает? Очень подходяще, хоть один честный капиталист на страну.

Благодаря Сельянову — ему одному — безмолвствующее большинство прорвало информационную блокаду и получило право голоса. Немного занимательной лингвистики. Проживающая ныне в Австралии полячка Анна Вежицкая настаивает на тотальном различии ментальных структур англо- и русскоговорящих. «Вежицкая исходит из того, что каждый язык образует свою „семантическую вселенную“... Не только мысли могут быть „подуманы“ на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого. Иными словами, есть понятия, фундаментальные для модели одного мира и отсутствующие в другом»¹.

В числе прочего Вежицкая выделяет в русскоязычном сознании «неагентивность» и любовь к морали. «Неагентивность — ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные события ограничена... Любовь к морали — абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других, и в себе), любовь к крайним и категоричным моральным суждениям»². Между прочим, последний те-

¹ Падучева Е. Феномен Алены Вежицкой. — В кн.: Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997, стр. 21.

² Вежицкая А. Язык. Культура. Познание, стр. 34.

зис дает основания рассматривать нравоучительную риторику Данилы Багрова («Брат-2»), обращенную к англоязычным персонажам, как изысканную метафору, обозначающую восстание языка, *лингвистический бунт*, спровоцированный экспансией чуждой речевой и мыслительной культуры, а вовсе не как косноязычную болтовню леворадикального и даже фашистского толка, о чем без устали твердили недоброжелатели картины.

Подлинное содержание фильма «Апрель» открывается тому зрителю, который догадался соотнести итоговый сюжет с исходной жанровой схемой, схемой англосаксонского криминального боевика. Молодого вора по кличке Апрель подставили, «слили». Теперь, чтобы доказать коллегам по теневому бизнесу свою благонадежность, да попросту от них откупиться, Апрелю придется пойти на мокрое дело, устранить двух интеллигентного вида молодых людей, голубого и нервного. А Нервный, тот провинился в свою очередь, чего-то не рассчитал. Нервному придется участвовать в похищении из детприемника грудных младенцев, которых планируют вывезти в цивилизованные европейские клиники в качестве доноров для пересадки органов дряхлеющим миллионерам...³

Покрутился Петр Апрель в зимнем Нескучном саду, покрутился, а только стрелять не стал. То ли пожалел, то ли передумал. Уголовное начальство, конечно, озлилось и перезаказало: теперь уже самого Апреля. А парень ненароком влюбился в начинающую проститутку, по совместительству — медсестру из того самого детприемника. Снова встретился с Нервным и снова не застрелил. А вот Нервный, тот едва не расправился с первым попавшимся под руку младенцем. Со страху, конечно. Тонкая, ранимая, художественная натура. Апрель попросился с девчонкой, спас ребенка от нервного ублюдка и по обледелым улочкам ночного Города унесся в туманную даль. На бандитском сияющем джипе. С грудным младенцем на сиденье. Еще вчера — подросток, хулиган, карманник. Сегодня, с утра — муж. К вечеру — отец и некоторым образом спаситель...

Интеллигентный читатель «Нового мира», морщишься зря! «Кинематограф тоже есть песня, былина, сказка, причитание, заговор...» — Корней Чуковский, не последний ведь человек. В 1908 году специфика кино была куда понятнее. Чем ближе к нашим окаянным временам, тем проблематичнее встретить в образованной, грамотной среде такое же ее понимание. Писатели, читатели, грамотные, они и в кино желают видеть литературу. Ретроспективно описывая творческий путь Владимира Высоцкого, Вл. Новиков («Новый мир», 2001, № 12) замечает: «Другая роль — главная, в фильме „Четвертый“, по пьесе Симонова... Герой-американец многозначительно называется Он, действия мало. Он выясняет отношения с товарищами, Женщиной (тоже с большой буквы) и с собственной совестью. Но все же это, как и фон Корен (роль Высоцкого в фильме по чеховской „Дуэли“. — *И. М.*), — выход из устоявшегося ампула, поворот к серьезности и философичности». Выходит, «несерьезность» — роль Высоцкого в лучшей послевоенной отечественной картине «Короткие встречи»? Конечно, какая же «философичность» в истории про то, как задушевная деревенская дура не поделила геолога с чиновницей из райисполкома? Серьезность и философичность обеспечивают только интеллигентные писатели: Чехов, Симонов, даже Высоцкий. Пока проехали, но вернемся.

Автор сценария и постановщик «Апреля» Константин Мурзенко обошелся с импортной жанровой болванкой самым немилосердным образом: раскурочил. Из той же Анны Вежбицкой: англоязычное сознание «перелагает часть ответственности за успех или неуспех некоторого предприятия на лицо, которое его затевает», в то время как русскоязычное сознание «полностью освобождает действующее лицо от какой бы то ни было ответственности за конечный результат»; «Если у нас все хорошо, то это лишь потому, что нам просто повезло, а вовсе не потому, что мы овладели какими-то знаниями или умениями и подчинили себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема и неуправляема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на свои рациональные действия». Вот так и в картине: ни

³ Отмеченные звездочками примечания отдела критики см. после настоящего кинообозрения. (*Примеч. ред.*)

у кого ничего не получилось. Бравые герои, вооруженные бицепсами, пистолетами, властью, на поверку оказались беспомощными лохами. Единственное позитивное событие фильма: Петр Апрель, дурачок из детдома, пыль, голь, вшивота, обернулся Добрым Молодцем. И — самое жестокое разочарование для «грамотных» зрителей, убежденных в необходимости развернутых, доказательных умозаключений, — Мурзенко не припас для этого выхода из сюжета никаких разумных мотивировок! Разве что грубо социальную? Пожалуй.

«Первый этап идеологического кризиса тоталитарного режима — 60-е годы: интеллигенция, интеллектуалы (носители духовной власти) начали высмеивать режим, а народ все более охотно внимал их сарказмам...» (А. Панарин). В конце 70-х я полным ходом учился в средней советской школе. Учительница литературы Надежда Гордеевна, очаровательный и порядочный человек, восхищалась бесстрашными сатирами Аркадия Райкина, и вправду великого артиста. Типа «как он ловко всех протасил!». Кого это — «всех»? Отнюдь не всех, а лишь многочисленных представителей чужих социальных групп. Себя носители духовной власти если и журили, то как-то ласково, не всерьез, для равновесия. В 90-е Союз закономерно рухнул, и вместе с другими пенсионерами, по сути, не столько интеллигентами, сколько пролетариями умственного труда, Надежда Гордеевна испытала на себе шоковую терапию, инспирированную былыми сатириками, их внуками и детьми. Нельзя сказать, что мне ее сильно жалко: человек с деклассированным сознанием обречен на безропотное истребление самою Историей.

Готов расписаться в полной и безоговорочной любви к великому актеру, замечательному поэту и человеку — Владимиру Высоцкому. Наряду с чувством любви испытываю чувство легкой брезгливости, переходящей в классовую неприязнь. В своих неподражаемых, безусловно точных сатирах Высоцкий безжалостно бомбит советское мещанство, грубо говоря, народ. Налеты совершаются прямо из Москвы, с богемных кухонных посиделок, с центральных, квазидиссидентских театральных площадок.

«После многочисленных встреч с научной интеллигенцией возник замысел песни „Товарищи ученые...“», — переводит стрелку Владимир Новиков все в той же новомирской публикации о Высоцком. Вроде как задета, осмеяна пресловутая «научная интеллигенция»! Да нет, к интеллигенции (свои же!) отношение, как всегда, бережное. Задеты недалекие, отвратительные крестьяне, в чем нетрудно убедиться, прозондировав опус построчно и построчно.

А помните: «Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики, сейчас, ей-богу, закричу! А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу!» Очень остроумно, но аплодировать не буду. Это — моя социальная среда. Быть может, я не люблю ее куда больше Высоцкого и Новикова, вместе взятых, но разбираться с ней буду сам. Без саркастичных и в конечном счете *равнодушных* к моим проблемам посредников”.

И откуда у расейской интеллигенции такая заносчивая интонация, такое *агрессивное любопытство* к (чужому) миру? Вот бы честно разобрались со своими проблемами! Положим, великолепный нью-йоркский остроумец Вуди Аллен без малого сорок лет описывает, высмеивает, уничтожает свою собственную, родную социальную среду — нью-йоркский истеблишмент. Вот за что, кроме прочего, любимы обаятельного и умного американского гражданина: Аллен честен и на беззащитного мещанина («безмолвствующее большинство») руки не поднимет.

Впрочем, ясно. В Америке все давно и надолго переделили: власть, деньги, сферы влияния, средства производства символических благ и привилегий. Наша *гражданская война* продолжается. «Апрель» — это зубодробительный, почти полностью удавшийся ответ богеме от лица удрученных, но все еще не уничтоженных туземцев. Мурзенко живописует противостоящую Апрелью и вечно подставляющую его мафию как совокупность изысканных, остроумных, хорошо воспитанных, культурно продвинутых молодых людей и дам. Ни дать ни взять подлинная постсоветская богема! Подлинность удостоверена личностями исполнителей, словно автоматически перекочевавших на киноэкран с экрана телевизионного, с глянцевого обложки, где мы встречаем их с пугающей регулярностью. Все они, от Сергея Мазеева и Гоши Куценко до Ренаты Литвиновой, томятся в ожидании новых и новых чудес, метаморфоз, приключений. Напротив, жизненная задача Апреля примитивна: *выжить*. А не затравить ли нам, господа, дурачка из Чухломы?

За неимением места не останавливаюсь на технологии изготовления «Апреля»⁴. Замечу лишь, что картина выполнена весьма изощренным образом. Сильная сторона Мурзенко — органика фразы, изящество и формальная завершенность речевого жеста. Специфика Мурзенко в том, что он *не писатель, а фразер*. О том, что Мурзенко может быть режиссером (заметьте, не добавляю «хорошим», ибо режиссер — качественная категория, не требующая прилагательных; «плохой режиссер» — языковая ошибка, понятие логически невозможное и бессмысленное), внимательный зритель догадался еще на втором «Брате». Там Мурзенко предстал в образе потасканного, но наделенного порочным изяществом боевика из катакомбы. Новоявленный актер явил интонацию, жест и такую плотность речевого поведения, что всего за пару минут перехватил инициативу у автора картины и его протагониста, Бодрова-младшего, превратив зловещую, нелегитимную, теневую фигуру «фашиста» в зримый, художественно убедительный образ. Лучше, чем Мурзенко, разговаривал в фильме лишь Сухоруков (в роли «старшего брата»).

Сценарист Мурзенко помогает Мурзенко-режиссеру, как бы пересказывая исходный дебилизм англосаксонского образца в рамках единой речевой стратегии. «Принцип сказа требует, чтобы речь рассказчика была окрашена не только интонационно-синтаксическими, но и лексическими оттенками: рассказчик должен выступать как обладатель той или иной фразеологии, того или иного словаря, чтобы осуществлена была установка на устное слово. В связи с этим сказ очень часто... имеет комический характер, воспринимаясь на фоне канонизированной литературной речи как ее деформация — как речь дефективная, „неправильная“. Ощутимость слова при этих условиях значительно повышается — комический эффект, как всегда, переводит наше внимание от предмета, от понятия к самому выражению, к самой словесной конструкции, то есть ставит перед нами форму вне мотивировки» (Б. Эйхенбаум).

Речевая ткань «Апреля» уникальна. Мурзенко виртуозно маркирует грамотных посредством стилизованной криминальной *гладкописи*, на фоне которой реплики Апреля воспринимаются как дерзкая самодеятельность. Кое в чем Мурзенко, безусловно, превзошел Василия Шукшина, решавшего в «Калине красной» сходные задачи. Вот Апрель знакомится с медсестрой Аллой, проводит с ней ночь, подвозит ее на работу.

«— Дать тебе ключ?

— А не боишься, вдруг — *обкраду*?»

«Обкраду» — слишком заметный, слишком значимый слом, очевидная полемика с криминальной гладкописью, которой, словно *по писаному* (грамотные, писа-атели!), изъясняется прозомбированная богема.

Исключая Киру Муратову, в постсоветском кино никто не работал с речью столь виртуозно и тонко. «Диалог был для него не сценической, а повествовательной формой — приемом рассказывания и речевой характеристики», — замечает о Лескове исследователь сказа. Замечание это как нельзя лучше характеризует и стратегию Константина Мурзенко. Именно сцепление реплик диалога задает у него способ «рассказывания» истории и соответственно монтажные правила.

И, конечно, впечатляет, если не потрясает, в роли Петра Апреля молодой актер Евгений Стычкин. Без Стычкина фильма не было бы. Думаю, Стычкин сыграл лучшую роль десятилетия. Постсоветские звезды обоих полов обязаны сложить оружие. Стычкин поднял планку, впервые за много лет на экране появился не беспольный плейбой с глянцевой обложки, не потасканный развратник, не безответственный шут, но *мужчина*.

«Послушай, зачем с ней говоришь? — защищает он Аллу всего-навсего от наезда дежурного врача, тем не менее задавая картине поистине эпическое измерение. — Ты со мной говори. Ведь я же пришел, не она». Похоже, время сарказмов наконец миновало. После десятилетий тотального отсутствия на киноэкран, а значит — в коллективное бессознательное общества, явился человек, готовый взять ответственность на себя. То есть не так чтобы *поболтать* об ответственности в те-

⁴ Анализ этого рода см. в моей рецензии на фильм: «Искусство кино», 2002, № 1.

левизоре, журнале и полном собрании сочинений, а реально поручиться и — вытянуть, выстоять, защитить.

В отличие от «Апреля», дебютная картина режиссера Александра Котта «Ехали два шофера» не представляется мне удавшейся. В отличие от «Апреля», ее писали сразу пять сценаристов (включая режиссера), что привело к полному развалу конструкции. В отличие от «Апреля», у Котта не получилось сколько-нибудь приличной речевой ткани. За полтора часа — ни единой изящной, запоминающейся реплики! Что же касается изобразительной стратегии и фабулы, то здесь в голову настойчиво лезет добрый десяток выдающихся картин-рифм, сравнение с которыми для «Шоферов» убийственно...

И все же я голосую за эту работу. Не получилось во многом потому, что картина Котта — слишком *поперек* и современного российского кинопроцесса, и постсоветской культуры в целом. Сегодня модно делать кино о послевоенной, сталинской эпохе. Рецепт изготовления прост, расклад сил известен: Сталин, Цека — бандиты; народ — ублюдки, дегенераты, рабы; интеллигенция — солнышко, ласточка, зайчик. Со Сталиным разбирайтесь без меня, про интеллигенцию уточню через пару абзацев, а про народ — немедленно, на материале вышеозначенной картины.

Если вдуматься, замысел Александра Котта великолепен. Должно быть, он и сам до конца не понял, насколько хорош и своевремен его замысел, а не то подошел бы к своей дебютной работе с большей ответственностью. Фильм, выполненный в эстетике малобюджетного лубка, повествует о жизни рабочего уральского поселка в конце сороковых годов двадцатого столетия. Говорят, небогатая фабула в точности воспроизводит известную народную песню. Не знаю я такой песни, но в целом версия соответствует вышеприведенной сентенции Чуковского, что подтверждает правильность направления, выбранного режиссером.

Любовный треугольник: два шофера, Колька и Райка, да бравый Летчик в каждом. У Райки — ленд-лизровский грузовой «форд», у Кольки — маломощная развалюха, у Летчика, как водится, — аэроплан. Летчик и Колька носятся за Райкой, а та покамест выбирает. Впрочем, «носятся» — сказано слишком сильно. К сожалению, техническая сторона проекта абсолютно провалена. По идее, пресловутое «железо» — грузовики и аэроплан — должно бы заместить природных, живых персонажей. Чувства, любовь, человеческая непосредственность должны быть претворены в — опосредованную бортами, кабинами, стеклами и металлом — сшибку технических устройств, стальных коней, машин и механизмов. Подобная повествовательная стратегия стала бы блестящей метафорой советского: безыскусная и спонтанная человеческая жизнь целиком и полностью покрывается неким грандиозным Проектом социалистической модернизации, стихийно текущее имеет шанс реализоваться только в рамках сознательно затребованного...

Однако *железо* проработано из рук вон плохо. Гонки грузовых автомобилей сняты скучно, «медленно», без должной монтажной нарезки, драйва, эмоционального напряжения. Вместо коротких, жестких, динамичных крупных планов — невыразительные, «ленивые» по своей природе общие. Какая там любовь, какая страсть, так, уныло буржуазное томление пресыщенной плоти. Конечно, в основе невиданного в истории социалистического энтузиазма-альтруизма лежала превращенная сексуальная (шире — жизненная) энергия отказавшихся от традиционных ценностей масс. Фильм «Ехали два шофера» мог и должен был рассказать именно об этом.

Кстати, образцы для подражания (в смысле кинематографической технологии) широко известны. Назову лишь два. Один из них — первая полнометражная лента Стивена Спилберга «Дуэль». Быть может, лучшая, стилистически совершенная работа американского миллионера. Картина рассказывает очень простую историю. У благополучного американского яппи начинаются легкие бытовые проблемы. Яппи волнуется, нервничает. Его тревоги и страхи моментально материализуются в образе хищного, чудовищного крупнотоннажного грузовика. Невестя откуда взявшийся монстр, воплощающий одновременно преимущества американского технологического чуда и сопряженные с ним психологические проблемы, преследует

легковую машину главного героя с тем, чтобы уничтожить: сплющить, вытолкнуть на обочину или под колеса встречных автомобилей. Самое замечательное, что водителя злополучного грузовика нам так и не покажут! Один раз на стоянке мелькнут чьи-то ноги. Но мало ли — ноги. Быть может, водитель-человек не существует вовсе. Погоням, уловкам, психологическим проблемам, страхам и ужасам, возникающим на территории взаимодействия живого с технологическим, посвящена вся полнометражная лента. Интересующимся сообщая: яппи побеждает.

Второй образец — недавняя работа (почти) гениального канадского постановщика Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа» по одноименному («Crash») роману Джеймса Балларда. Вот где томление пресыщенной буржуазной плоти воплощено с неподражаемо артистичной, пугающей адекватностью! Герои картины давно не способны на проявления естественных человеческих чувств. Допингом становится реальная опасность для жизни, вдобавок сопряженная с лучшим другом и едва ли не любовником цивилизованного человека — автомобилем. Герои картины инсценируют знаменитые автокатастрофы, калечатся, погибают, выживают, снова калечатся, получая в награду набор чувственных удовольствий особого, высшего рода. Максимально доступная человеку свобода: трахнуть на капоте блистающего «линкольна», будучи облаченным в многочисленные ортопедические корсеты.

До чего приятно было прочесть в случайно раскрытом томе западного интеллектуала: «Главный вопрос этой книги, который мне представляется главным вопросом современности, — это вопрос о взаимоотношениях специалистов и обычных людей, элиты и массы. Уделяя внимание в основном этому вопросу, я, возможно, буду нетерпим к подчеркиванию специалистами того, что их внутренняя жизнь сама по себе необычайно интересна»⁵.

И мне, и мне главным вопросом современности представляется именно этот! И я, и я нетерпим к тому же самому «подчеркиванию»! Вот о чем в конечном счете сегодняшний кинообзор. В том же № 12 «Нового мира» читаю у совсем молодого человека, Сергея Шаргунова: «Лично я уверен: в идеале государством вправе управлять писатель». Не надо. А разве не писатели — все эти андроповы и чубайсы? Брежневы и гайдары? Троцкие, бухарины и джугашвили? Не надо писателей. Пускай страной управляют мужчины, жрецы⁶. Без художественных задатков, без чертиков в глазах. Трезвые; уравновешенные, ответственные. Пускай предпочитают Тарковскому (тоже ведь писа-атель!) — Гайдая. Пускай не знают, кто такой Джеймс Баллард, не читают «Нового мира», не отличают Валерия Попова от Евгения. Пускай, если надо, умрут за родину, за идею. Только, упаси Бог, не за художественную! Хватит с нас фантазеров. Нет пределов горячечному бреду беззаветных творцов.

«Брюсов считал, что все люди должны заколотиться сердцами в ритме поэзии. Горький — что всех можно научить писательствовать. Эти суждения кому-то покажутся романтическими, необоснованными. Однако за ними скрывается претензия. Писатели неоткрыто, исподволь признаются: „Мы могли бы. Мы бы сделали“» (С. Шаргунов, там же). Суждения Брюсова, Горького и всех солидарных с ними писателей кажутся мне исключительно, предельно прагматичными. За ними скрывается претензия на власть. Смогли бы, сделали бы — для себя»⁷.

«Я была тогда с моим народом...» Ну хорошо, а с кем была поэтесса все остальное время? Так или иначе, перед нами *редчайший случай социопсихологической вменяемости*. Анна Андреевна правильно понимала себя как отдельный от «народа» субъект федерации»⁸. Подобная трезвость не помешала бы и всем остальным. А то лезут брататься, распускают слюни, целуют в засос.

⁵ Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века. М., 1999, стр. 22.

⁶ Напрасно требует Манцов
Привлечь во власть мужчин-жрецов.
Он *Невозможного* взалкал,
Романтик, а не радикал.

(Реплика А. Василевского.)

Пробегаю глазами непримиримую «Лимонку»: «В конечном счете всякий человек определяется суммой тех книг, которые он прочитал...» Как, и Лимонов туда же?! Этот героический бомбист-террорист, человек дела, торговец белыми бивнями, черными рабынями и огнестрельным оружием — *все-го-навсего* гений стиля, писатель, жонглер?!

Закончу — притчей, которую сочинил один современный художник слова, по моему, замечательный. В упоительной эпосе Эдуарда Успенского про село Простоквашино, дядю Федора, Шарика и Матроскина есть поучительный эпизод. Злокозненный и недружелюбный почтальон Печкин заверяет сельскую общественность в том, что отныне и навсегда он станет другим человеком: ласковым, бесконфликтным, политкорректным. «Это я раньше был злой, пока у меня не было велосипеда!»

Так вот, когда у меня появится велосипед, я вряд ли скажу вам *полную правду*.

Примечания отдела критики

* Этот сюжет нынче с успехом заменяет «кровь в маце» и переводит, как советовал поэт революции, расовый гнев на классовый. Такая вот «песня, былина, сказка» (см. ниже).

** Тот, кто в конце 70-х еще только «полным ходом учился в средней школе», способен, конечно, принять эту (любимую всеми «слоями») песню за сатиру на плебс. Но люди лет хотя бы на пять — десять постарше помнят, какая *общая* трагическая нехватка воздуха, нехватка жизненного смысла в ней выражена, как близок мужик, которому тошно паяться в ящик и на «шапочки для зим» и который пьет с друзьями «на свои», как близок он самому автору песни. («Ролевая лирика» называется, — так же, скажем, близок Лермонтов «простому» герою «Завещания».) Не стоит думать, что обесмысливание жизни мучительно только для классово чуждых нашему автору «писателей».

*** А разве не «писатели» облизывали горьковского юберменша — босяка Челкаша в пику проклятому царизму? Поиски истинно народных типов в уголовной или блатной среде — старые интеллигентские штучки.

**** Ахматова этой строкой «Реквиема» напоминает другие, ранние строки: «Когда в тоске самоубийства / Народ гостей немецких ждал...», она осталась со своим — неправым — народом, не вняв голосу, «утешно» звавшему прочь. Вот и решайте, где, когда и с кем была Ахматова, разделившая, сначала вольно, а потом невольно, со своим некогда падшим, а затем и несчастным народом его беду.

Из реплик-примечаний очевидно наше скептическое отношение к некоторым главным идеям представленного киноанализа. Отчего, в таком случае, он оказался на страницах «Нового мира»? — Вообразим, каков мог быть результат обращения темпераментного кинокритика в другие издания сходного типа с текстом, где, по его мнению, озвучен (вслед за фильмами Сельянова) голос «молчаливого большинства». «Патриотическую» ежемесячную прессу ярость, направленная на антинародных «писателей» типа Чубайса и отказ «разбираться со Сталиным», вероятно, устроили бы, но вряд ли бы на роль положительного героя подошел «молодой вор» вместо героического защитника Белого дома образца 93-го. Сугубо политкорректным журналам «молодой вор» мог бы прийти по вкусу, но смутило бы «неблагообразие» высказанных здесь же взглядов. Чтобы приглашенный вести нашу кинорубрику автор случаев не утвердился в угрюмой обреченности на идеологическое безмолвие, хочется обеспечить ему свободу высказывания. Впредь обязуемся никакими комментариями его выступления не оснащать. Позиции выяснены.

И. Роднянская.

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

МЕСТО ИСТИНЫ

Trigon, «The Voice of My Earth», Green Records, 2001

Пожалуй, в современной нефилармонической музыке и нет другого течения, которое было бы так же легко определить. Направление, получившее у обозревателей и продюсеров громкое имя «мировая музыка» (world music), предполагает соединение ритмов и звучаний, свойственных нефилармоническим жанрам

(джазу, року, электронной музыке, а также их сплавам всякого рода), с элементами тех или иных экзотических музыкальных традиций. Причем вот что важно: традиционное в ММ востребовано не как мелос, звукоряд, ритмическая схема или целая музыкальная система — в это окунались (или делали вид) композиторы еще в восемнадцатом веке, не говоря уже о двадцатом. В ММ традиционное стремятся использовать в его конкретном и хотя бы внешне аутентичном звучании. Прежде всего не мысль используется, но звук: манера пения, инструменты. Такой подход не выглядит неожиданным в контексте всей нынешней нефилармонической музыки, существующей исключительно в конкретном звуковом воплощении и уже практически не сохранившей «по ту сторону звука» связи с теми абстракциями, которые изображаются на нотном стане.

Идея ММ, как легко заметить, не очень хитрая. Тем не менее дорогу она себе пробивала почти полвека и до определенного момента на поверхность выходила очень и очень редким пунктиром. Начало было положено в 1947 году, когда знаменитый (уже тогда) джазовый трубач Диззи Гиллеспи увлекся карибскими ритмами и пригласил к себе в оркестр исполнителя на традиционных ударных Чано Позо (только много позже бонги и конга войдут в привычный барабанный арсенал джазовых, рок- и прочих групп, а в 1947-м выглядят еще весьма необычно). Гиллеспи был парадоксальной фигурой. Являясь, вне всякого сомнения, крупным джазовым интеллектуалом, он предпочитал подавать себя как развлекаватель, причем в эпоху, когда сочетание «интеллектуальный джаз» перестало смотреться оксюмороном. Нужно понимать, что для чернокожего американского джазмена, чье становление прошло в первой половине века, обращение к «чужому» — ничуть не менее крутой поворот мысли и вообще мировидения, чем были для высоколбых европейских антропологов их исследовательские инициативы в отношении первобытных культур. Любопытно (и симптоматично вообще для современной культуры), что столь интересный и значительный шаг Гиллеспи осуществил не с малым каким-нибудь экспериментальным составом, а с большим оркестром — наиболее развлекательным из своих проектов, где музыка порой уже смыкалась с эксцентрикой и клоунадой.

Следующее проявление — шестидесятые. Джазовый контрабасист Сэм Гил, принявший впоследствии исламское имя Ахмед Абдул-Малик, выступает также как удист, и его уд (арабская лютня) звучит даже на записях у самого Джона Колтрейна. Кларнетист и саксофонист Тони Скотт с головой (и много раньше массового поветрия) уходит в дальневосточные духовные практики и выныривает оттуда с двумя великолепными альбомами музыки для дзэновых и йогических медитаций, выполненными соответственно в японской и индийской традициях. Ближе к концу десятилетия появляется «Art Ensemble of Chicago», мешающий все со всем. Что касается расцветшей рок-музыки, там немного побрякал на индийском ситаре битл Джордж Харрисон да в 1968-м немецкий авангардист Холгер Цукай записал мало кем воспринятую даже в авангардистских кругах и монотонную истинно по-немецки пластинку, где использовал, в частности, вьетнамское пение.

Относительно молодой рок был пока слишком замкнут на себе, ему хватало еще для высказывания собственного языка. «Чужое» скорее могло быть востребовано и воспринято музыкой, которая уже достаточно от себя устала. И джаз тут вполне подошел. Но дело в том, что джаз — музыка «текстовая». До конца шестидесятых собственно звук не играет в джазе большой роли, важно, как разочаривается «рассказ», импровизационная линия, внимание направлено на музыкальный текст, а не на звуковую архитектуру (пресловутый «тон» крупных трубачей или саксофонистов также есть элемент текста — великие джазмены не теряли своего «тона», даже когда использовали инструменты, подобранные на помойке). Требовалось, чтобы джаз, поддавшись всяким модным искушениям со стороны рок-музыки, поменял ориентацию и переплавился в самой сущности своей. Этот процесс благополучно осуществился к середине семидесятых. Первым коллективом, в музыку которого не просто были органично вплетены традиционные индийские звучания, но где они получили структурирующую роль, стал ансамбль джаз-рокового гитариста Джона Маклафлина «Шакти» — акустическая гитара Маклафлина, скрипка и индийские орудия в руках музыкантов-индусов вместе складывались здесь во что-то прежде небывалое. Музыка «Шакти» интересно контрастировала с

музыкой предшествующего проекта Маклафлина — знаменитого «Оркестра Махавишну», где всепроникающее влияние индийской музыкальной культуры и индийского мировидения было опосредовано привычными для евро-американских нефилармонических жанров средствами и претворялось в жесткий электрический джаз-рок с общим настроением конца света.

Широкого музыкального движения не запустилось и на этот раз. Однако теперь, главным образом у многоумных рок-исполнителей, любящих надолго запирается в студии и создавать многоплановые звуковые полотна, все чаще можно было услышать то японское кото, то что-нибудь вроде песен из индийских кинофильмов. Почву для будущего расцвета ММ создают восьмидесятые годы. Широко распространяется идея «эры Водолея», «ню-эйджа» — грядущей эпохи, где кончится противостояние стран, народов, людей, перестанут есть мясо и убивать животных, всем всего хватит, прилетят пришельцы, воздух очистится, планету окутает эдакая овощная благодать, а в полях заскачут голые нимфы. Возникает и соответствующая музыка — не всегда безынтересная. Собственно, уже в музыку ню-эйджа так и просится что-нибудь этническое. Ждать остается недолго. Пол Саймон отправляется в Африку и выступает по всему миру с южноафриканскими неграми. Певица Лайза Герард из группы «Dead Can Dance» начинает петь в манере, стилизующей арабское пение, — и делает эту манеру популярной. Плюс пикообразно выросшие студийные возможности. Плюс постоянно совершенствующиеся синтезаторы. На рубеже девяностых рок-звезда Питер Гэбриэл сочиняет весьма яркую музыку для идиотического американского блокбастера «Последнее искушение Христа» — тяжелые, угрожающие египетские барабаны, взвизгивающие дудки, мрачный электронный органный пункт и ближневосточные вокальные фиоритуры, высокий женский голос (музыка из фильма перевесила сам фильм на сто пудов). А затем организует великолепно оснащенную, и по сей день одну из лучших в мире, студию и звукозаписывающую компанию «Realworld», вокруг которой собираются исполнители, желающие тоже работать в подобном синкретическом духе, — среди них много собственно «носителей» традиционного начала, выходцев из разных неосевых для нефилармонической музыки стран.

Вот теперь новое и модное веяние распространяется по миру с поистине реактивной скоростью. Если на ранних этапах музыканты обращались главным образом к элементам развитых неевропейских музыкальных систем от Индии и далее на восток, то в девяностые сформировался устойчивый спрос почему-то в основном на семитическую традиционную музыку (арабскую и вообще ближневосточную), а также на любую «настоящую» этнику — и чем дремучей, тем лучше. Особенный восторг у производителей и потребителей музыки отныне вызывают всяческого рода индейцы. Даже сосредоточенные ребята из бразильской металлической группы «Sepultura» забацали альбом с ритуальным индейским пением.

ММ усиленно подается как жанр альтернативный, экспериментальный, некоммерческий — и с большими культурными задачами: ее посредством уже не Америка с Европой должны просветить остальной мир, а наоборот. Как ничто другое, ММ иллюстрирует современное положение вещей: определение «некоммерческий» является лучшим коммерческим ярлыком, беспроигрышным рекламным слоганом. И если по MTV видеоклипы с индейцами показывают пока еще реже, чем видеоклипы Мадонны, это лишь укрепляет позиции ММ на другом сегменте рынка, где отоваривается покупатель, которому MTV и Мадонна уже поперек горла. На сегодняшний день ММ оттянула на себя значительную часть и слушателей, интересующихся джазом, и любителей умного рока, и поклонников мягкой электроники, эмбиента. Другое дело, что, поскольку огромное число всяческих элементов всяческих традиционных музыкальных систем можно в разных сочетаниях подмешивать буквально ко всему, что имеет место на сегодняшнем срезе нефилармонической музыки, да еще и в ретро-перспективе, — стилистический спектр ММ получается невероятно велик; собственно, каждый исполнитель — отдельный стиль. Здесь на одном полюсе нечто среднее между музыкой ню-эйджа и современным поп-джазом, мягкие многослойные полиритмические «пироги», выполненные вживую или на синтезаторах, разукрашены дудками, барабанами и пением все тех же семитов, или индейцев, либо африканских негров — это наиболее тира-

жируемо и лучше всего продается (кстати, введение в широкий, вплоть до поп-эстрады, обиход довольно-таки утонченных ритмических конструкций, в составе которых угадываются пусть самые элементарные метроритмические фигуры, заимствованные из традиционных систем, — несомненно очень важный и весомый вклад такого рода музыки в общую нефилармоническую «копилку»). На полюсе противоположном — часто весьма радикально звучащие проекты, разрабатывающие экстремальные традиционные пласты, особенно в моде шаманство и камлания. Естественно, долгим, монотонным и непонятым шаманским ревам на массовый успех рассчитывать не приходится. Но и такие исполнители отнюдь не прозябают в ярангах или подпольях, а разъезжают по всему миру с фестиваля на фестиваль альтернативной музыки, которой подобные коллективы составляют одну из существеннейших частей наряду с электронщиками, не пробившимися в филармонические верха минималистами и всяческими перформерами. Контекст позволяет при случае подавать под ярлыком ММ и чистую, аутентичную, без каких-либо осовремениваний традиционную музыку и даже современные сочинения, если они выполнены в каноне, — например, большим успехом пользуются альбомы японских исполнителей с очень красивыми произведениями для сякухати и кото в канонах исторических японских школ.

Понятно, что ММ по самой своей идее есть классический случай профанации. Стыдно переводить бумагу, повторяя общеизвестное: что в культурах, музыкальное достояние которых по преимуществу и стало объектом интереса создателей ММ, музыка не является (или по крайней мере не являлась) ни способом коллективного проведения досуга, ни какой-то зачаточной формой концертирования с чисто эстетическими целями. На той культурной стадии, на уровне той первозданности, которая столь ценится исполнителями ММ, это, в сущности, вообще не музыка, если подходить с европейской меркой. Это часть ритуала, а ритуал воссоздает мироздание, удерживает его в бытии. Это своего рода правильно масштабирующий инструмент, позволяющий человеку соотнести себя с космосом. Или метод прохождения через катарсис — даже если нет в этнической песне прямой связи с мистериальным действием и ритуалом. Читать же «традиционной» обычную, например арабскую, эстраду, какой очень много звучит по всей Европе, как-то смешно. Этническая, традиционная музыка совершенно теряет смысл, если оборваны связи со всем остальным, что составляет бытие народа, который ее создает. Не получится даже просто исполнить аутентичную этнику с концертной сцены — будет исполняться уже что-то совсем иное. Ну а когда приходит бойкий продюсер, готовый вырезать из чего угодно — будь то знаменый распев, индейская свадебная песня или маком — две-три понравившиеся фигуры, свернуть в петлю и наложить на смачные «кислотные» басово-барабанные линии...

То есть получилась бы в результате просто хорошая развлекательная музыка — так и ладно, с нее и спроса никакого. Дело осложняется тем, что продюсер, занятый ММ, — он как правило еще и интеллектуал (во всяком случае, по сравнению с большинством других продюсеров) и для своей деятельности ищет прямо-таки философских обоснований. В итоге ММ получила собственную идеологию, в которой смешались модные (из простеньких) дискурсы нашей эпохи: конец истории, гибель Европы, свет из-за бугра, антипрогрессизм, постиндустриальное общество, единый мир, мультикультуризм, возвращение к онтически укорененному искусству — и далее по списку, что делает ММ идеальной музыкой эпохи политкорректности и нового мифологического сознания. Философическая байда такого рода радостно преподносится жаждущей знаний и руководства публике в качестве небывалого эстетического и мировоззренческого откровения. Главное — все тут сразу понятно и удобно согласуется с комплексом твердых верований среднего современного евро-американского интеллектуала. Критику-музыковеду, описывающему ММ в данных понятиях, гарантированы участие в международных семинарах, гранты и интересные путешествия по миру. Идеология-то и не дает упростить ситуацию и позабыть, что традиционная музыка, исполняемая в ММ, первоначально отсылала к неким большим значениям, воспринимать ее просто как приятные или необычные звуки — нет, тут требуется всячески муссировать сакральность, «почвенность»... В книге «Записи и выписки» М. Гаспарова я нашел хорошее определение пошлости: истина не на своем месте.

В плане пошлости, таким образом, у ММ ситуация не выигрышная. Вызывает удивление безоглядная готовность самих традиционных исполнителей разных стран на подобную профанацию — видно, всякое чувство собственного достоинства перевешивается возможностью кунуть край у каравая шоу-бизнеса, и тут только пальцем поманить. Однако ММ к пошлости не то чтобы приговорена. Просят по крайней мере два творческих метода, способных дать здесь что-то эстетически, интеллектуально и экзистенциально значимое. Первый — как уже говорилось — использование элементов традиционной музыки в качестве элементов музыкального языка, равноправных с другими, в осознанном отвлечении от всей их прежней «нагруженности» (с тем, чтобы в стилистических или знаковых целях, когда нужно, тот или иной момент «вспомнить» и подчеркнуть) — вполне постмодернистская техника. Но этот подход, конечно же европейский по происхождению и совершенно логичный в контексте современной опус-музыки, противоречит идеологии ММ, и соответственно работают в нем не многие, зато всякая вещь заметна, к тому же сюда стали подключаться и именитые филармонические композиторы — отметился, например, в подобном жанре с нашумевшим сочинением «Ночь в Галиции» Владимир Мартынов. Другую возможность труднее обозначить, поскольку тут нет четкого решения и каждому исполнителю приходится проделать некую очень индивидуальную духовную работу. Речь о том, чтобы музыке, имеющей традиционные корни, но изъятой из естественной для традиционной музыки среды, погруженной в современность, вынесенной на концертную эстраду и в звукозаписывающую студию, найти новые убедительные основания для существования, суметь наполнить ее новыми смыслами. То есть музыканту, использующему элементы традиции, надлежит нащупать узкий путь и пройти между Сциллой иллюзорной аутентичности и Харибдой приятных звучаний легкого жанра. Подлинная задача ММ — так преобразовать традиционную музыку, чтобы та вышла из архива или музея и стала пригодна для глубокого актуального высказывания. Не знаю, удалось ли это кому в полной мере. Пожалуй, более других — мрачноватым скандинавам. Не так уж плохо выглядят здесь и музыканты с постсоветского пространства.

Собственно, ММ — единственная область нефилармонической музыки, в которой наши нынешние или недавние соотечественники сумели о себе довольно ярко заявить если не на мировом, то, во всяком случае, на европейском уровне. И в которой, более того, они были приняты и было признано их право занимать место — ни в одном другом нефилармоническом жанре этого так и не произошло. Армянский исполнитель на дудуке Дживан Гаспарян, еще с шестидесятых годов много гастролировавший по миру, в конце восьмидесятых был замечен и пригрет делателями разных музыкальных новаций — им, к примеру, восхищался и помогал ему издавать на Западе пластинки Брайан Ино. Ныне Гаспарян, пожалуй, вообще самый востребованный нефилармонический музыкант среди выходцев из России и бывших советских республик — он участвует во множестве проектов звезд ММ, и даже его собственные альбомы с аутентичной традиционной музыкой расходятся массовыми тиражами. Лет десять назад разгорелась «тувинская лихорадка», вяло продолжающаяся и по сей пору: сегодня певицу Саинхо Намчылак или ансамбль «Хун-Хур-Ту» куда проще встретить в Швейцарии или в Германии, чем в Москве, не говоря о Туве; а уж фестивалю, где бы они не выступили, в мире, наверное, не осталось. В тувинской музыке есть любопытный момент. О чем поет модернистка Саинхо, мне неизвестно, а вот традиционалисты «Хун-Хур-Ту» окормляют политкорректную европейскую публику песнями про трактора, начальников и колхозы, ибо знаменитое тувинское «расщепленное» мужское пение до советской власти имело культовый характер, а потом совкультработники приспособили его к целям специфического советского фольклора, из глубины народной души одобрявшего линию партии, — только в таком виде это пение и сохранилось¹. Европейцам, понятное дело, все равно, тувинцы просто застолбили в их сознании определенный звуковой участок. И так крепко застолбили, что, например, не менее интересные и

¹ Насчет этого обстоятельства меня просветил музыковед Дмитрий Ухов.

своеобразные якутские музыканты уже выглядят как бы вторичными — хотя ни в коей мере таковыми не являются, но кому охота разбираться. К сожалению, и славянское пение в ММ уже репрезентировано — и опять, конечно, не русскими, тут нас обскакали болгары и всяческие балканцы.

История молдавского ансамбля «Тригон» прослеживается с 1994 года — так датируется их первая заметная запись, которая являла собой оджазированной (в данном случае очень условный термин) версию традиционной музыки, звучащей на молдавских свадьбах. После такого дебюта можно было ожидать, что «Тригон», сразу же отмеченный за «свадебную» программу Гран-при французской Академии имени Шарля Кло, будет и впредь держаться как можно ближе к фольклору. Однако другая программа, записанная практически одновременно с первой, продемонстрировала, что музыканты не собираются ограничивать себя сколько-нибудь тесными рамками.

За рубежом «Тригон» приглашают в основном на фестивали, ориентированные в сторону ММ и традиционной музыки. В России трио становится участником, как правило, джазовых мероприятий. В Молдавии они, по-моему, вообще неизвестны и не выступают — зато их привечают в Румынии, и альбом 2001 года издан там. «Тригон» играет импровизационную музыку, базирующуюся на молдавской музыкальной традиции, и это не так предсказуемо, как кажется: порой похоже на кантри, порой на Бартока, порой вообще ни на что не похоже. Поскольку стилистические границы джаза за последние тридцать лет размылись до полной неразличимости, музыка «Тригона» — это и джаз тоже, во всяком случае, сами музыканты от такого определения не отрешиваются. Этническое начало у «Тригона» проявляется не только в характерных мелосе и звучании, но и в самом импровизационном методе: в противоположность устоявшимся и более-менее по сю пору выполняемым джазовым моделям здесь импровизация строится путем многократного повторения и постепенного «разукрашивания» той или иной фигуры — это действительно довольно «первозданный» способ разворачивания музыки, свойственный многим (может быть, всем — я не специалист) культурам. И для этого способа перенос с деревенской площади или лесной полянки на концертную площадку, пожалуй, наиболее критичен. Вот «Тригону», несомненно, удалось. Во-первых, благодаря очень удачному инструментальному составу: альт (имеется в виду струнный альт, а не альт-саксофон) практически в естественном звучании, не подкрашенный электроникой; электрический бас, причем в руках музыканта, явно внимательно слушавшего таких грандов этого инструмента, как Жако Пасториус или Мирослав Витош, и разнообразная перкуссия (без ударной установки), применяемая очень тактично. Такой состав позволяет в звуке как бы сразу и находиться внутри традиции (поскольку скрипка — и альт, виола — в молдавской музыке играют существенную роль), и оставаться от нее отвлеченным, трактовать ее извне (ибо альт не есть инструмент исключительно молдавский, а принадлежит всей европоцентричной культурной ойкумене). Во-вторых, альтист и лидер «Тригона» Анатол Штефанец — настоящий потомственный молдавский лаутар и как молдавская музыка существует вне концертного зала, как она сопрягается с праздником и с бытом знает не по фольклористским экспедициям. Но «Тригон» не пытается ничего воспроизводить и повторять — музыканты просто уверены, что такой музыкальный язык пригоден для живой современной речи. Их «нутряная» уверенность сообщает и музыке качество неслучайности, достоверности. Наконец, «Тригон» — пример редкостной открытости. Музыканты рады примерить свое видение музыки, свое ощущение традиции, свои импровизационные методы к самому разнообразному материалу: могут «гонять собаку» с атональщиками-авангардистами, участвовать в хеппенингах, могут включить в программу длиннющие версии общеизвестных джазовых стандартов вроде «Каравана» или «Бердлэнд». Впрочем, такого нет в альбоме, который стал поводом для моих рассуждений, — его продюсировал Румынский фонд культуры, где, конечно, были куда более заинтересованы в отчетливости традиционного начала, а не в проникновении на джазовые территории (и все же один блюз на пластинке присутствует).

Я познакомился с музыкантами из «Тригона» в аэропорту «Шереметьево-1». Я ждал отложенного на неопределенный срок рейса в Якутск; у них оставалось часа

три до самолета в Новосибирск — летели на джазовый фестиваль. Попав по ошибке в дорожущее кафе и зажав в руке по единственной бутылке пива, которую смогли себе по здешним ценам позволить, мы коротали время: я ругал «мировую музыку», они защищали, жаловались на джазоведа Баташева, который джазом «Тригон» не признает, рассказывали о последних — новозеландских — гастролях. И как-то совсем между делом я узнал, что Анатол Штефанец уже в двенадцать лет был лаутаром-профессионалом и вместе с отцом играл на свадьбах, где музыка сопровождала буквально каждое движение, — тяжелейший труд, выматывающий даже взрослых мужчин. Сейчас Анатолю лет сорок, стало быть, происходило это в семидесятые, и молдавские лаутары тогда без работы не сидели. И я все пытался его спровоцировать на объяснение самого себя: ведь лаутаров-то было много, а на джазовые фестивали с деревенской свадьбы перебрался он один — то есть в какой момент и благодаря чему он перешел в другой культурный ярус и его судьба как музыканта приобрела новую траекторию? Благодаря тому, что так же, с молодых ногтей, и учился, получил более-менее полноценное музыкальное образование? Но ответа я так и не добился — может, ему не хотелось отвечать, может, он просто задумывался... Их самолет благополучно вылетел по расписанию. На мой объявили регистрацию, просветили вещи, а потом отложили еще на час, и еще, и еще. В аэропорту никого уже не осталось, кроме озлобленных пассажиров с нашего несчастливого рейса. Вокруг плакали якутские дети. Потом дети уснули. Потом, в три часа ночи, объявили, что самолет не вылетит до двенадцати дня. Я махнул рукой, отметил билет и пошел искать машину до дома. Ночная поездка из аэропорта обошлась мне в четверть стоимости билета в Якутск бизнес-классом; о несоответствии масштабов я мог размышлять более-менее спокойно, поскольку платил казенными деньгами. Я был возбужден, зол, спать не хотелось. Дома я свинтил голову коньячной фляжке, которая должна была отправиться со мной в путешествие, а теперь оказалась в телеологическом провале, и запустил в плейер диск, только что подаренный мне музыкантами. И получил удовольствие.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА ВИЗЕЛЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ

В этом номере мы решили слегка нарушить сложившийся порядок и поместить в WWW-обзоре статью Михаила Визеля.

Литературная игра как часть писательского тренажа — вещь замечательная и необходимая. Вопрос только о месте, на которое она претендует. Сошлюсь на старое присловье: «Чтобы приготовить утку с яблоками, необходимы яблоки. Я уж не говорю про утку». То есть говорить всерьез о литературных играх имеет смысл только при наличии собственно литературы. Потому как писательская техника — это техника. Не больше. (Но, разумеется, и не меньше.)

Неофитская эйфория от словосочетаний «сетевая литература», «сетература» и проч., похоже, проходит. Агрессивное противопоставление литературных экспериментов с гипертекстами и образчиками сетевой литературы традиционным формам бытования литературы выглядят уже анахронизмом. Чем дальше, тем очевидней, что свои внутренние законы ради нового информационного пространства литература, похоже, менять не собирается. И слава богу, скажу как консерватор.

А вот что касается литературных игр, то, возможно, как раз литературный Интернет и является для них идеальной средой. Специфика Интернета еще и в более близких, со-творческих взаимоотношениях читателя и писателя. И соответственно литературная жизнь в Интернете может восполнить сегодня утраченные нами традиционные формы литературного общения. А они утрачиваются — экзотикой, например, становятся публичные творческие дискуссии. Уходит литературная жизнь из газет (за исключением немногих специальных изданий), их страницы, отведенные для искусства,

заполняются чем угодно — музыкальные и театральные премьеры, антикварные аукционы, моды и т. д., — но только не разговором о литературе. Литература там присутствует главным образом в виде полуаннотационных заметок и премиально-банкетных сюжетов, то есть ровно в той степени, в какой она является частью светской жизни. И так получилось, что творческие литературные проблемы обсуждаются сейчас по преимуществу в Интернете — на сайтах сетевых конкурсов, на форумах и в гостевых книгах литературных сайтов. Ну а для такой формы творческого литературного общения, каковой, по сути, являются литературные игры, Интернет, возможно, единственное место. Проблема лишь в том, чтобы отдавать себе отчет, что к чему прилагается — литературная игра к литературе или литература к игре.

Сергей Костырко.

Похвала графоману. Страсть к сочинительству, именуемая по-другому графоманией, заявила о себе непосредственно после возникновения письменности. Сразу оговорюсь, что ничего уничижительного в слово «графоман» я не вкладываю: это просто человек, получающий удовольствие от процесса писания, и граф Толстой ничем не отличается в этом смысле от графа Хвостова. Отличаются только результаты их деятельности, но это уже другой вопрос.

Даже Джеймс Джойс, который, говорят, мог сутками мучиться над одной фразой, испытывал, когда фраза оказывалась найденной, наслаждение, не доступное никакому наркоману и ни одному Казанове.

Литературные игры от Ромула до наших дней. Но такие тяжелые формы графомании, как писание «Войны и мира» или «Улисса», встречаются, конечно, не часто. Обычно для ее удовлетворения бывает достаточно участия в литературных играх, не случайно появившихся одновременно с самим возникновением светской, то есть не сакральной, литературы. Более того: порою именно они и становились литературным мейнстримом.

Так, в книге современника Цезаря поэта Катуллы четверть стихотворений посвящена, как известно, несчастной любви к жестокосердной красавице Клодии. Но больше половины книги составляют дружеские перебранки, вольные шутки и застольные экспромты, принятые в кружке молодых знатных римлян — тогдашней золотой молодежи.

Почти тысячелетием позже в Японии появился и расцвел жанр под названием «рэнга» — цепочки из чередующихся двух- и трехстиший, сочинявшихся «по кругу» собравшимися вместе поэтами, — и тоже, я полагаю, не без употребления разнообразных напитков...

А в это время в Европе монахи-грамотеи изощрялись в самых невероятных фокусах на своей схоластической латыни: писали длиннейшие акrostихи и нагромождали аллитерации, компоновали трактаты и поэмы, где все слова начинались на одну букву или, наоборот, где какая-то буква избегалась.

Новый толчок литературным играм в Европе дало повсеместное распространение рифмы: «Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков; побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие — любить размеренность, ответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились *virelai*, баллада, рондо, сонет¹ и проч.», — писал Пушкин. В Новое время рифма породила самую, наверно, известную литературную игру — *les bouts rimés*, буриме, сочинение забавных стишков на заданные рифмы, которому предавались дамы и кавалеры (не отсюда ли пошли названия «мужская» и «женская» рифма?) во французских салонах XVII века.

В большой моде был там и жанр *bon mot* — отрывочных острых высказываний, которые герцог Ларошфуко и другие даже издавали отдельными книгами, то есть опять-таки рассматривали их как самую настоящую литературу.

¹ Не совсем так: сонет появился в начале XIII века у поэтов «сицилийской школы» при дворе Фридриха Великого Гогенштауфена.

У забора наутро. Литературные игры в XX веке. В начале XX века литературные игры приобрели новые качества. Сюрреалисты и дадаисты, возведшие случайность, бессвязность, абсурд в творческий принцип², полностью устранили границу между игрой и «серьезным» и начали выставлять и печатать результаты своих игр в «чепуху» (кто-то пишет на бумажке слово или начало фразы, закрывает ее и передает следующему) в качестве законченных произведений. Это получило название «изысканных трупов» — по однажды оказавшимся вместе словам, приведшим в восторг всю честную компанию.

С другой стороны, само развитие модернизма, искусства, заведомо замкнутого и отгороженного, привело к возникновению забав, возможных не в салоне, а только в профессиональной литературной среде. Такова придуманная О. Мандельштамом «жора», где задача состояла в том, чтобы написать стихотворение, в каждой строке которого содержалось бы это сочетание букв³. Попробуйте написать «жору», и вы убедитесь, что это требует немалой сноровки.

Упомянулось об играх такого типа, забравших еще круче. Например, «борананут». М. Л. Гаспаров, говоря об этой игре, признается, что ему не удалось ни разыскать, ни сочинить ни одного «боранauta»⁴. Честно говоря, у меня тоже ничего, кроме написанного в подзаголовке обрывка фразы, не вышло. Может быть, и эту игру пора перенести в Интернет?

Я надеюсь, что после этого небольшого экскурса в прошлое нам будет легче понять, откуда пошли суть нынешние литературные игры в Сети: как видите, практически у каждой из них имеется аналог или предшественник со столетней, а то и двухтысячелетней историей.

Известно, что любое творчество невозможно без игры, а в любой игре всегда присутствует момент творчества. Все дело в их соотношении.

Попробуем же теперь «пройтись» по литературным играм Рунета по мере убывания в них игрового, «технического» начала и возрастания в них начала творческого.

Мастерская фантастики: вечные дети капитана Гранта. Отправной точкой моей классификации будет сайт «Интерактивная фантастика» (<http://if.gp.ru/indx.htm>), на котором всем желающим предлагается писать по главам романы в следующих жанрах: фэнтези, киберпанк-триллер, боевик, мистический триллер, эксперименты на людях, «Сказки закончились совсем не так...», космическая охота.

«Отправная точка» значит также «нулевая точка». Во-первых, строго говоря, интерактивным вопреки названию сайт не является, а представляет собой эдакую кистеперую рыбу — переходную форму от старых добрых почтовых конференций: авторы должны присылать свои продолжения к уже имеющимся историям (или начинать новые) по электронной почте, и потом они будут вывешены в Сеть, обрастая, впрочем, разветвлениями и узлами пересечения.

Во-вторых, и это важнее, литературой там (тоже, я думаю, вопреки скрытым чаяниям создателя сайта Вадима Федосеева), увы, и не пахнет. Вывешенные тексты — не более чем наивные подражания халтурным переводам поточных поделок. Написанные к тому же с каменной серьезностью.

Боюсь, правда, что не могу здесь быть объективным.

Как известно, Набокова трясло от детских книжек его времени, в изобилии тогда писавшихся дамами: он, как и его герой в «Подвиге», чувствовал «и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы наряжаться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе». Вот и я не могу читать книги вышеуказанных «фантастических» жанров, потому что почти всегда испытываю большую неловкость за взрослых и почему-то, как правило, усатых дядей (я говорю скорее о читателях, нежели об авторах), которым не хватает в жиз-

² Хотя первые эксперименты такого рода предпринимал под конец жизни еще Стефан Малларме (1842 — 1898).

³ Например, так: «Уж о Растрелли нету спора».

⁴ Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях. М., «Высшая школа», 1993. Но уже в книге «Записи и выписки» (2000) Гаспаров приводит присланные ему «боранauty».

ни решимости порвать со скучными конторами, где они работают, и которые вместо этого ушмыгивают в книжки, где они могут постоянно оставаться пятнадцатилетними капитанами.

Впрочем, кому нравится арбуз, а кому — свиной хрящик. В том-то и прелесть Интернета, что каждый может найти себе то, что отвечает именно *его* потребностям, не боясь услышать чье-нибудь «фи!».

Мой адрес — не дом и не улица. Игры ума Артемия Лебедева. Не вполне можно назвать сетевыми и игры, представленные в разделе «разное» на сайте классика отечественного веб-дизайна Артемия (Тёмы) Лебедева. Помимо всякого-разного там собраны (непосредственно и в виде ссылок) вполне связные и даже порой стихотворные тексты, написанные «русской латиницей» — то есть с использованием только тех 12 букв, начертание которых в двух алфавитах совпадает: А, В, О, З (цифра «три» = буква «З») и т. д. Некоторые авторы придерживаются этого правила строго, другие — позволяют себе вольности: Λ (прямой и обратный слэш) как буква «Л», {} (фигурные скобки и черта между ними) как буква «Ж» — и еще некоторые ухищрения.

Кроме того, здесь же собраны «Произведения, Писанные При Простом Правиле», то есть старые добрые «Четыре черненьких чумазеньких чертенка»: рассказы и стихи, все слова которых начинаются с одной буквы. Некоторые буквы еще «вакантны» — дерзайте!

Я пишу здесь об этих фокусах-покусах по двум причинам. Во-первых, я ими искренне восхищаюсь и завидую им, как восхищаюсь я и завидую цирковым жонглерам, акробатам и эквилибристам, расширяющим представление о возможностях человеческого тела.

Во-вторых, забавы эти имеют, как я уже отмечал, весьма почтенную родословную, и для первой из них даже придумано специальное название — липограмма⁵. Так без какого-то или каких-то звуков писались стихи и проза еще в Древней Греции и Древней Индии (в одном санскритском романе целая глава написана без губных звуков — будто бы потому, что у героя после любовной ночи болят губы). И ведь не случайно, я думаю, собираю подобными диковин, любимыми позднеантичными и средневековыми книжниками, годами не отрывавшими глаз от рукописей, занялся именно Артемий Лебедев, заявляющий о себе: «проживаю в Интернете».

Ну и, в-третьих, наконец, его сайт (снабженный подзаголовком «Мой дом — моя слабость») просто очень здорово и стильно сделан. Если вы там еще не были — зайдите (<http://www.tema.ru/rrr/>), не пожалеете.

РОМАН. Ученые забавы Романа Лейбова. Молодой человек влюбляется в девушку, решает наконец написать ей и, не доверяя почте, ночью самолично бросает письмо в ее почтовый ящик. Но тут, к ужасу своему, он замечает, как выше, на лестничной клетке, его Беатриче напропалую с кем-то целуется. Роман (так зовут молодого человека) безуспешно пытается выудить обратно свое письмо из ящика и, услышав, что парочка собирается наконец расставаться, тихонько уходит...

Как будет развиваться дальше эта душещипательная история? Да как вам угодно, потому что именно с этой сцены начинался первый (и пока что — последний) русский гиперроман (http://www.cs.ut.ee/~roman_1/hyperfiction/htroman.html), называющийся просто РОМАН⁶ и вывешенный в Сеть в октябре 1995 года с подачи одного из старожил и основателей гуманитарного Рунета, лектора отделения русской и славянской филологии Тартуского университета Романа Лейбова. Любое слово этой сцены — а также всех последующих сцен — предлагалось использовать как гиперссылку и повести от него свое собственное продолжение или предшествие истории. РОМАН, таким образом, становился: 1) нелинейным, то есть терял начало, конец и единую последовательность событий, 2) «фасеточным», то есть состоящим из множества небольших автономных фрагментов, 3) многоавторским и 4) по-настоящему интерактивным: присочиненный вами фрагмент тут же включается в общую цепь.

⁵ «Липо» по-гречески значит «оставляю (в стороне)».

⁶ Не сразу можно заметить, что название написано латиницей.

Два первых свойства и позволяют считать РОМАН настоящим гиперроманом — произведением *гипертекстуальной* литературы, а два последних — считать его образцом *сетевой* литературы — сетературы. Что вопреки расхожему представлению не одно и то же.

От «интерактивной фантастики» его выгодно отличает также изрядная доля юмора, с которой велась эта игра. Все понимали, что это, в сущности, лабораторный филологический опыт, и относились к нему соответственно.

Опыт, надо сказать, вызвал большой интерес и за пределами Интернета. Я помню, как один известный критик, специалист по Горькому и яростный борец за реализм, настойчиво просил меня разузнать поподробнее, что это за РОМАН такой.

РОМАН оказался удобным полигоном для накопления эмпирического опыта и обкатки теорий литературного гипертекста⁷. Но на сегодняшний день проект, как признает и сам его создатель, можно считать завершенным. Погубили его, на мой взгляд, два обстоятельства: во-первых, транскрипция (*russkie slova latinskimi bukvami*), читать которую противно, а привыкать унизительно (попытки русифицировать РОМАН успехом не увенчались), а во-вторых — все-таки роман (даже гипер-) невозможно писать просто в качестве забавы. Форма оказалась неподъемно тяжелой для развлекающихся после работы компьютерных людей и, когда прошло первое любопытство, раздавила участников.

В настоящее время Роман Лейбов, оставаясь лектором Тартуского университета, является редактором раздела «Net-культура» сетевого «Русского Журнала» (www.russ.ru) и продолжает генерировать высококачественные филологическо-сетевые проекты.

Впрочем, Лейбов признает, что «вживую», в узком академическом кругу, эти игры идут лучше, чем виртуально. Можете попробовать к ним присоединиться, только если чувствуете в себе силы плавно перейти от литературных игр ко вполне нешуточному литературоведению.

Не идиоты и не поэты. Д. Манин и его аРИФМетические игры

- Вы сочинили много сонетов?
- Десять или двенадцать, которые мне нравятся, и две или три тысячи, которые я, по правде говоря, и не перечитывал.

Казанова, «История моей жизни».

Первым настоящим (хотя и маленьким) шагом от игры к «чистому творчеству», не отягощенному научным анализом, можно считать рифменные проекты Дмитрия Манина — «Сонетник» и «Буриме».

«До двадцати лет стихи сочиняют все. После двадцати — только поэты и идиоты», — утверждал итальянский философ Бенедетто Кроче. А как быть тем несчастным, которые, не будучи ни теми, ни другими, однако же, перевалив за двадцатилетний рубеж, не могут избавиться от этой потребности насовсем?

Текут стихи, не воплощаясь, —
По слову в день, по строчке в ночь.

Кто знает, что это такое, поймет, как страшны и беспощадны эти строчки поэтессы Юлии Морозовой.

Появившийся в октябре 1995 года и кириллизированный в апреле 1997-го «Сонетник» (<http://kulichki-koi.rambler.ru/centrolit/cgi/sonnet.cgi>) как раз и дает возможность «выпускать пар» таким людям. В нем писать одному человеку более чем по одной строчке подряд просто запрещено правилами. Сами завсегдагаи этого места прекрасно понимают, что, с одной стороны, настоящие поэты здесь надолго не задержатся, а с другой — все участники игры, увы, и сообщая не напишут настоящего произведения. Но им это и не важно.

⁷ См, напр.: Манин Д. Как писать РОМАН. Заметки к теории литературного гипертекста (<http://kulichki-koi.rambler.ru/centrolit/manin/how-to-html>).

«„Сонетник” для меня — это в первую очередь место общения, где я могу встретить людей, с которыми стоит и хочется общаться. А то, что поводом и предметом этого общения являются стихи, делает его еще более ценным, хотя какие там у нас пишут стихи — это меня интересует только во вторую очередь», — признается страстный сонетоман Юстас-младший (http://kulichki.rambler.ru/centrolit/son_essay.html).

Как мореход на острый риф, мы,
Поэты, лезем все на рифмы.

М. П. Чехов, «Вокруг Чехова».

«Сонетник» отличается довольно сложной, тщательно разработанной структурой и весьма жесткими правилами. Впрочем, не удивительно: ведь это в первую очередь среда общения, а такую среду нужно строго организовать, чтобы общение не превратилось в гвалт.

Но если вы чувствуете в себе бóльшую пиитическую силу (и соответственно меньшую любовь к дисциплине), начните лучше играть в «Буриме» (<http://kulichki-koi.rambler.ru/centrolit/cgi/br.cgi>). Правила его со времен Людовика XIV, в общем-то, не изменились: даются две пары случайным образом подобранных рифм, и на них нужно написать стишок. При этом нелепость и случайность рифм иногда высекают искру. А иногда не высекают. Единственное усовершенствование, внесенное «компьютерным веком» в лице Д. Манина, — прежде чем писать на чужие рифмы, нужно в обязательном порядке внести в «банк рифм» свою собственную.

В «Буриме» предоставляется большая, по сравнению с «Сонетником», свобода самовыражения, и ее плоды оказываются порой приемлемыми и для постороннего взгляда. То есть, попросту говоря, получаемые тексты часто бывает приятно почитать и не вовлеченному в игру посетителю. В них среди обычных шуток-прибауток (пусть порою острых и неожиданных) нет-нет да и вспыхнет что-то похожее на поэзию:

За синь себя не выдавая
И не пуская пыль в глаза,
Заголубела бытовая
Простого неба бирюза.

(№ 3546)

Но все-таки мне кажется, главная ценность «Буриме» — версификационная. Еще Делакура говорил, что «художник должен постоянно совершенствовать свою технику, чтобы не думать о ней в момент творчества». Русская литература — последняя из современных больших литератур, где рифмованные стихи не оттеснены верлибром далеко на периферию⁸. Мы до сих пор способны воспринимать рифмованные стихи не только как считалочку или «стишок на случай», а как поэзию. Игра в буриме позволяет отточить стихотворную технику. Сам Манин однажды «для подначки» внес в банк совершенно чудовищную составную гипердактилическую рифму: «как раб, хлебаю ши, мяса / выкарабкивающимися». Но одному из игроков удалось ее «укротить»:

На передовой

В сыром окопе я, как раб, хлебаю ши, мяса
В капусту каждого врага, что не женат.
И вижу прочих выкарабкивающимися,
Чтоб к женам драпать под разрывами гранат.

(№ 2538)

Не знаю, как на кого, а на меня подобные шуточки производят впечатление запряженного в карету бронтозавра. Со всей сопутствующей этому остротой ощущений.

⁸ Подтверждением этого может служить чхлое существование английской версии «Буриме».

По этой ли причине или по каким-то другим, но появившееся едва ли не первым в Рунете (в начале 1995 года, кириллизировано постепенно к началу 1998-го) «Буриме» пользуется устойчивой популярностью, и к моменту написания этой статьи (последние дни 2001 года) число текстов (причем не только четверостиший) в архиве перевалило за 32 тысячи.

На себя посмотри! ОктОпус

I'd like to be under the sea
In an octopus' garden in the shade.

The Beatles.

Еще большая свобода предоставляется посетителям относительно нового — открылся в апреле 1999 года — сайта «ОктОпус» (<http://octopus.imagineis.com/servlet/html>). Суть этой игры состоит в написании стихов с обязательным использованием восьми случайно заданных слов. Так же, как и в «Буриме», заданные слова можно «прятать внутрь», то есть вместо слова «кот» написать «*скотина*», но в отличие от него эти слова не обязательно должны стоять на рифмах, а просто быть произвольно разбросаны по всему тексту стихотворения.

Хотя сам создатель сайта Серж Вильвовский полагает, что, в отличие от буриме, где одним из критериев является внешнее изящество, главное в «ОктОпусе» — его литературные достоинства и что написать «Опус» сложнее, потому что «вставить в опус восемь слов — задача не из легких», мне ценность этой игры видится совсем в другом.

Ненавязчивая форма и большая, чем в манинских играх, «мягкость» внешних условий делает «ОктОпус» просто незаменимым в психоаналитических целях. Если у вас как-то смурно на душе и вы не можете понять, в чем дело, попробуйте написать — просто в шутку — осьминожий текст, а потом сами проанализируйте, каким образом расположило заданные слова ваше подсознание и что из них выстроило. Наверняка можно будет сделать некоторые выводы. (Так даже сочиненный мной пример явно показывает нелюбовь к котам.)

«ОктОпус» хорошо дополняет «Буриме». Если оно — полезное версификационное упражнение, развивающее внешнюю, техническую сторону стихотворства, то «ОктОпус» позволяет лучше понять его (стихотворства) внутренние пружины и научиться управлять ими по своему усмотрению.

Мы — графоманы! Барышня Вика. Поднаторев в версификации, можно пойти еще дальше по пути от игры к творчеству и попробовать принять участие в «Графомании» барышни Вики (<http://www.graphomania.msk.ru/>), перекочевавшей в Сеть из одноименной конференции Гласнега в ноябре 1998 года. Надеюсь, после моей вступительной «похвалы графоману» никого не смутит такое название.

Смысл игры состоит в том, что Вика вывешивает на сайте две строчки какого-нибудь стихотворения (извлеченного обычно из старого альманаха «День поэзии») и предлагает дополнить их по своему усмотрению — от четверостишия хоть до целой поэмы. Потом полученные варианты (а среди них — и исходный оригинальный) выставляются на всеобщее обозрение и игрокам предлагается отобрать «любимые» (не больше 10 процентов от общего числа имеющихся) и попытаться определить настоящей авторский. Чем больше людей признали тот или иной вариант любимым, тем больше очков начисляется его создателю; если вариант был принят за авторский, очков начисляется еще больше. Начисляются также очки тем, кто опознал или угадал подлинного автора.

В «Графомании», таким образом, в отличие от прочих игр, много туров, как в футбольном чемпионате, и так же неровен класс участников. Так, например, кто-то счел авторским присланное мной «продолжение» (правда, написанное вполне «серьезно») классического стихотворения Мандельштама... Право, даже не знаю, гордиться или досадовать.

Сад расходящихся хокку. Опыт показывает, что и в «Буриме», и особенно в «Графомании» наибольший эффект достигается тогда, когда последние строчки

«опрокидывают» предыдущие, дают совершенно новый поворот мысли. Именно так, как правило, бывает устроена знаменитейшая японская стихотворная форма, хайку, или хокку, — стихотворение из 17 слогов, сгруппированных по трем строчкам: 5+7+5 слогов.

Возможно, подобное наблюдение и навело все того же Р. Лейбова на идею «Сада расходящихся хокку» (<http://www.litera.ru/slova/hokku/>), который был «разбит» в сентябре 1997 года и к настоящему времени «разросся» больше чем до 27 тысяч хокку.

«Сад» этот представляет собой вереницу хокку, присылаемых читателями. Строится она по принципу домино: необходимо использовать или последнюю строку уже существующего хокку в качестве первой, или первую — в качестве последней строки своего, причем «подсоединиться» можно не только к хвосту, но и к любому месту цепочки, поэтому она разделяется, ветвится, закольцовывается... Программа, поддерживающая «Сад», не только предлагает каждому входящему в него случайно выбранное из уже существующих хокку «для затравки», но и позволяет искать их по номерам и датам, по авторам, темам и ключевым словам: например, если вы расположены сочинить микроэлегию про осень, идите в раздел «Времена года» или просто введите слово «осень» в поисковое окошко, и вам будут подобраны все хокку, где оно встретилось. Если же в порыве вдохновения вас ненароком вынесет из принятых в учтивом японском «Саду» норм, программа сама заменит обценную лексику отточиями.

Другое важнейшее правило «Сада» нарушить просто невозможно: строгое соблюдение канонического японского размера — 5+7+5 слогов — проверяет все та же хитрая программа, написанная кудесником-скриптописцем Д. Маниным. Понравившийся хокку можно прокомментировать, написав-опустив свой взнос в «Книгу двух су».

На мой взгляд, «Сад расходящихся хокку» — наиболее удачная из всех существующих сетевых литературных игр. В ней игра и творчество достигли точки равновесия.

С одной стороны, подсчитывать слоги и укладывать свои мысли в это ложе, выглядящее поначалу прокрустовым, оказывается необыкновенно увлекательным и прилипчивым занятием, как семечки лузгать. Если вы увидите где-нибудь в самом неожиданном месте человека, загибающего с поднятыми к потолку глазами пальцы то на одной, то на обеих руках, можете не сомневаться — он сочиняет хокку.

С другой стороны, сама малость формы «держит» даже совсем нечутких к слову людей, не позволяет им расплываться в маловразумительную словесную кашу. «Сад» заставляет задуматься о ценности каждого слова и о том, что слова могут обозначать не только то, что они значат, но еще и что-то другое, большее. Ведь даже такое вот:

Проверяя скрипт,
На минуту отвлекся
Комара убить, —

значит все-таки больше, чем те же слова, записанные в одну строчку без пробелов.

Сам «Сад» — растущий во все стороны многомерный лабиринт, по которому можно бродить часами, — придает новое, неожиданное качество даже нелепым и избитым строчкам, не говоря о строках удачных. Точнее, сами строчки делаются уже не важны, важен становится процесс перелистывания.

Ощущение такое, что чудо перехода текста в поэзию, сравнимое разве что с чудом пресуществления вина в кровь, проступает на наших глазах и под нашими пальцами.

Справедливости ради надо сказать, что «Сад хокку» жестоко критиковали — за слишком легкомысленное отношении к тысячелетней японской поэтической традиции и несоблюдение системы «рэнга» — не чередование 3+2+3+2..., а однообразное 3+3+3+3..., за подмену тонкой внутренней ассоциативной переключки, свойственной японской поэзии, грубым внешним приемом «строка для затравки», за смехотворное соблюдение правила 5+7+5, имеющего смысл, по мнению этих критиков, лишь в японском иероглифическом письме.

Претензии эти отчасти уместны; но высказывающие их не замечают, что критикуют с литературной, поэтической точки зрения невинную словесную игру.

Как я уже сказал, «Сад расходящихся хокку» — это момент равновесия между игрой и творчеством. Дальше творчество начинает все больше и больше перевешивать.

Квак! Алексей Андреев-сан. Однажды зимою я ни с того ни с сего снял с полки том Бунина и начал читать «Тень птицы» — дорожные заметки о путешествии Бунина на Ближний Восток. Вечером того же дня, неожиданно попав в компанию арабистов, я совершенно этому не удивился, а счел эхом прочитанной книги.

Другой раз, гуляя с приятелем по Москве, я вдруг вспомнил и стал рассказывать о том, как недавно на юбилее у родственницы впервые попробовал заливного поросенка. Подняв глаза на табличку с номером дома, я громко расхохотался: мы шли по улице генерала Хрюкина...

Если вы чувствуете вкус к подобным совпадениям, или, если угодно, «рифмам жизни», вам явно стоит присоединиться к настоящей рэнге, открытой у себя в «Лягушатнике»⁹ энтузиастом и знатоком японской поэзии, одним из самых неугомонных деятелей русской Сети Алексеем Андреевым (<http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm>).

Здесь весьма не приветствуется пустое зубоскальство, столь любезное обычным посетителям гостевых книг, но зато очень ценится тонкость и неожиданность перехода от звена к звену цепочки.

В этот серый холодный день —
В рукаве несу апельсин
Леха¹⁰ — Mon Jan 19 15:58:18 1998

Надвое рассеченный
Перед носом твоим —
Лучший будильник
Фаина К. — Mon Jan 19 16:55:55 1998

солнечный луч из-за гардин,
твоя нога из-под пледа
stepnoy — Mon Jan 19 17:15:12 1998

ловко пинает.
В недоумении уходишь,
завтрак готовить на четверых.
ЕТИ — Mon Jan 19 17:26:45 1998

А вот другой пример:

Костлявые руки коряги
Торчат из воды
Kadi — Wed Apr 21 17:54:34 1999

не удержать им
присевшую на мгновение
синюю стрекозу
toad — Wed Apr 21 18:35:53 1999

Сняв брошь одну,
другую примеряет
onna — Wed Apr 21 18:57:26 1999

Правило 5+7+5 (+7+7), как видите, в Рэнге.Ру не соблюдается. Поэтому я весьма рекомендую, прежде чем включаться в нее, хотя бы немного поупражняться-

⁹ Странный на наше ухо выбор названия для сайта, посвященного поэзии, объясняется тем, что для японца «кванканье лягушки» — такой же устойчивый романтический образ, как для нас — пение соловья.

¹⁰ Так обычно подписывается сам Андреев.

ся в «Саду хокку» — чтобы приучиться ценить каждый слог и выражать свои мысли и эмоции как можно более лаконично.

Важнейшим недостатком Рэнги.Ру оказалась ее безразмерность: в древней Японии рэнги сочинялись ограниченным числом людей, собравшихся в определенном месте и обычно по определенному поводу, то есть объединенных общей темой и настроением; они имели Мастера, определявшего начало и, главное, конец. А Рэнга.Ру все тянется и тянется, как мочало, складываясь постепенно в архивах. В ней уже полмиллиона звеньев. Охватить ее *всю* совершенно невозможно, и игрокам поневоле приходится ориентироваться не на всю цепочку, а только на несколько ближайших звеньев — то есть впадать именно в тот грех, за который ругают «Сад хокку».

Кроме того, в Рэнге.Ру пока что не реализована возможность разветвлять цепочку — мощнейший инструмент, сделавший бы ее подлинно многомерной и бесконечной, как описанная Борхесом «Книга песка» — фолиант, не имеющий ни первой, ни последней страницы...

Вечно бегущий от рутины, Алексей Андреев не стал развивать свою Рэнгу.Ру, занявшись новыми проектами (в том числе — Хайку.Ру, www.haiku.ru), Рэнга.Ру продолжается в другом месте — <http://www.wowwi.org.ru/renga/> Кроме того, сам Андреев рекомендует посетить другое «отпочкование» от своей Рэнги — «Рэнгу с пристрастием» (<http://www.imxo.narod.ru/closenow.htm>). Она ближе к классической японской рэнге: все варианты продолжения присылаются Мастеру, который выбирает лучший. Игра ведется более медленно, но зато результат оказывается осмысленнее.

Сновидение — путь к пробуждению? «Онейрократия» Мирзы Бабаева

Can death be sleep, when life is but a dream?

John Keats.

В самом начале я говорил, что литературные игры возникли одновременно с появлением светской, не-священной литературы. Рэнга.Ру, пройдя путь от забавы к поэзии, возвращает литературу к Игре — в самом высоком и древнем смысле этого прекрасного слова. Но создатель сайта «Онейрократия» (по-гречески — «власть сна») (<http://www.zhurnal.ru/oneirocratia/index.html>), таинственный Мирза Бабаев, идет еще дальше вглубь веков и возвращает искусство написания текстов прямо к ритуальному действию — когда воины или жрецы собирались кругом, чтобы поведать об увиденных ими снах...

Короче говоря, в «Онейрократии» собираются и автоматически вывешиваются, а также комментируются присылаемые сны. Некоторые — короткие и скучные, свидетельствующие о заурядности сновидца и скудости его фантазии, некоторые — насквозь «фрейдистские» (а порою даже и не фрейдистские — ничего толковать не надо, все «прямым текстом»), но зато некоторые — очень необычные по содержанию и безукоризненные по форме, настоящие сюрреалистические миниатюры, написанные творческой и весьма умелой рукой. Например, такой сон, названный «Греческие всадники» и подписанный «Клим Сам Гин»:

«Маленькие древнегреческие всадники — размером с моль — летают по воздуху и нападают на граждан. Главного всадника зовут Пентесилей. Я — единственный, кто может их видеть и замечать наносимый ими вред, посеми и борюсь с ними с помощью хлопания ладонями. Граждане меня не понимают и упрекают в ненужном прыгании».

Мораль сновидения, — добавлено в специальном поле «Авторский комментарий», — *одиночество ясновидца, прозревающего корень событий и не понятого слепой публикой.*

Когда я попробовал личным письмом выяснить у Клим Сам Гина, с чего он, собственно, взял, что главного всадника зовут именно так, он отвечал мне, что это было совершенно ясно в процессе сновидения, откуда же взялось такое имя, ему самому непонятно, он помнит только, что... у Клейста есть пьеса «Пентесилей».

Я читал, что MTV пробовало скупать сны, чтобы снимать по ним клипы. Господа музтэвэшники, где вы?! Даю бесплатную наводку. Разве можно сравнить

стандартные, как ножи Буша, сны американских обывателей с нашей дремучей вольницей?

На крылатом египтаре. «...стишия» Александра Левина. Наконец, последним и завершающим пунктом моей классификации будет раздел «Стишия» на сайте поэта и барда Александра Левина — знакомого многим «виртуального александра» из почившей в бозе мостовщицкой «Столицы» (<http://levin.rinet.ru/STISH/index.htm>).

Передаю слово самому Александру, лучше, чем он, все равно не скажешь:

«Определение. Стишием называется стихотворение из N строк, где N мало, преимущественно прикольного содержания, не принадлежащее ни к одному известному поэтическому жанру или стандартной поэтической форме.

Следствие 1. Ни хокку, ни триолеты, ни рубаи, ни басни, ни эпиграммы, ни „вишневские“ одностишия, ни гарики <...> стишиями не являются. Зато, например, „не вишневские“ одностишия — являются.

Следствие 1'. А может, некоторые гарики и являются...

Следствие 2. Неотъемлемым свойством стишия является предельная энергичность и экспрессивность. Хотя не исключается и некоторая меланхолия...

Следствие 3. Любое авторское или анонимное невесть что печатного, устного, письменного или настенного происхождения, умышленного, а также неумышленного вида подлежит присылке и немедленному опубликованию на этой странице.

Следствие 4. Присланное стишие не подлежит немедленному опубликованию на этой странице, если оно не соответствует Определению, то есть не является достаточно прикольным, принадлежит к одному из фиксированных жанров и форм, состоит из более чем N строк, где N мало. :-).

Следствие 5. По мере поступления стиший компетентное Жюри в составе меня будет подводить итоги, публиковать шорт-листы и объявлять победителей с вручением сертификата международного образца.

Следствие 1' из Следствия 5. Если какой-то текст или группа текстов, не вполне соответствующие Определению, сильно понравятся компетентному Жюри, оно оставляет за собой право вопреки элементарной логике и простой порядочности опубликовать этот текст или группу текстов.

Следствие 2' из Следствия 5. Меня, основоположника и родоначальника, Жюри решило исключить из конкурса, по-видимому, не надеясь на мою объективность. А зря. Я очень объективный. Вся история человечества тому свидетельством...»

Здесь мы добираемся до конечной точки нашего пути «из варяг в греки»: игровая составляющая практически полностью сходит на нет, вытесняясь литературной.

Конечно, игровое начало здесь присутствует, да еще как, но это уже другая игра: не литературы с Интернетом, а внутри самой литературы.

Что дальше?

Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

Экклезиаст, 1: 8.

Дело в том, что само соотношение литературы и игры к наступлению XXI века совершенно изменилось. Поэты и писатели и раньше могли забавляться в салоне маркизы Рамбуйе или в «Бродячей собаке» играми в буриме и в «жору», но при этом они четко разделяли свои игры и «настоящие» произведения, построенные по строгим правилам классицизма или символизма, никакой игры не допускавших. При чтении же многих современных авторов, будь то Д. А. Пригов, Т. Кириков, В. Сорокин или тот же А. Левин (строчку из «серьезного» стихотворения которого, опубликованного в журнале «Знамя», я привел в подзаголовке предыдущего раздела), у самого искушенного читателя нет-нет да и возникает вопрос: автор — что? Играет? Или, может, издевается? И если издевается, то над кем?

Изречение Экклезиаста, казавшееся аксиомой, увы, устарело или стареет на глазах. Око пресыщено многоканальным спутниковым зрением, ухо переполнено

разночастотным слушанием. Все уже было, все уже известно, ничем невозможно удивить. Нам остается только по-разному переставлять готовые элементы и обращать внимание на возникающие при этом неожиданные наложения и переходы.

Каменно-серьезная, насупленно-седоборода *литература* — удел немногих избранных учителей — заменяется текучей, проникающей в каждую пору бытия *текстуальностью*. В первую очередь это относится к бытию виртуальному (ведь даже самая натуралистическая картинка все равно построена из кодов и программ, то есть из *текстов*), и виртуозная перебранка где-нибудь в гостевой книге оказывается в новом контексте интереснее и содержательнее выложенного в Сеть большого романа.

Поэтому многоавторские интерактивные литературные игры как нельзя лучше соответствуют самой природе Сети. Как они будут развиваться? Так ли, как описывает в своем романе «Паутина» прекрасная Мэри Шелли? (Являющаяся «виртуальным alter ego» одного из уже упоминавшихся в этой статье людей.)

«Комната окрасилась в ровный белый цвет, и прямо передо мной в этой бело-снежной пустоте возник черный иероглиф <...>

Иероглиф Судзуки был выполнен со всем изяществом „искусства возвращения к образу“. Половинка знака „ворота“ выглядела как приоткрытая дверь в коридор. В нижней части другая группа штрихов складывалась в фигурку зверька, изогнувшегося в прыжке. И хотя каллиграфия изменила иероглиф, я без труда прочел его — современное японское „новоселье“, или „новый дом“.

Но знак был объемным! Заглянув справа, я увидел, что иероглиф трансформируется с этой стороны в короткую фразу на иврите: „Нет вещей“. Я встал с кресла и взглянул на иероглиф слева. В этой проекции штрихи тоже образовывали что-то новое... да это же русский! В сплетении линий читалось слово „эхо“. Продолжая движение, я уперся в стену — черт, забыл, что это голограмма. <...>

Вернувшись в кресло, я продолжал любоваться знаком... и понял, что здесь изображено. Котенок, играющий с собственным хвостом! В пустую новую квартиру, где нет еще никаких вещей и мебели, но зато есть эхо от голых стен, первым пустился игривого котенка, и он в этой пустоте ловит свой хвост — такой образ мгновенно составил у меня в голове из всех замеченных деталей.

Но это еще и программа! В некоторых штрихах я узнавал команды того языка, который разрабатывали мы с Бин. Вот этот кончик хвоста, например, — явно что-то математическое... Я вызвал второй файл и запустил трансляцию.

Так и есть: кончик хвоста стал вращающейся спиральной галактикой. Под ней возникла известная формула Эйнштейна, только теперь она была переписана иначе <...> Зазвучала музыка — импровизация, в которой я узнал фрагмент из „Cats“ Веббера и еще пару известных мелодий. А иероглиф продолжал разворачиваться в хоровод образов, словно трехмерная страница виртуальной энциклопедии или алхимическая диаграмма. Так вот оно что! Судзуки добавил в наш язык Игры еще и сетевые ссылки; и наверное, его программа сама отыскивает эти ассоциативные связи! Рядом с эйнштейновской формулой всплыла иллюстрация из очень старого английского издания „Алисы в Стране чудес“: пожилой мужчина рассказывает что-то девочке, у которой на коленях сидит кошка...» (<http://www.fuga.ru/shelley/pautina/p9.htm>).

Звучит заманчиво, но когда и как это будет воплощено? И все ли захотят идти таким путем?

Я не утверждаю, что подобные игры — единственный путь развития литературы. Надеюсь, что не единственный. Но, отрицая его вовсе, мы рискуем попасть в положение заседавших на закате эпохи эллинизма в Александрийской библиотеке ученых поэтов-книжечеев, что не желали замечать жонглеров, распевających на площади куцые рифмованные стишки — те самые, из которых вырастет потом вся поэзия Нового времени.



Х Р О Н И К А

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



«МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ» КУПРИНА И «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» БУНИНА КАК ПРОТОТИПЫ «ЧЕТВЕРТОГО СНА» ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ И «ПОХОРОН КУЗНЕЧИКА» НИКОЛАЯ КОНОНОВА

В обществе, из которого все мы вышли, сложно было с эротикой. С эстетикой было попроще. Что же касается соотношения эротики и эстетики, то тут наступали и вовсе кафкианские сюжеты. Набоков признавался: «Мне трудно представить себе режим, либеральный или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы „Лолиту“». Во всяком случае, когда в 60-е годы была сделана попытка нелегальным путем провезти в СССР «Тропик Рака» в переводе Джорджа Егорова, все изъятые книги были тут же сожжены.

Тем более было бы интересно взглянуть на прорывы эротики в советское насквозь процензуренное пространство. Я буду говорить о «Морской болезни» и «Солнечном ударе». «Солнечный удар» писался Буниным в явной и очевидной полемике с рассказом Куприна. Полемика настолько очевидна, что она (по-моему) и не замечалась никем. Я — не об этом. Я о восприятии двух этих рассказов во взорванной ныне эстетике. Сначала мне казался забавным тот факт, что многие и многие из нынешних литературных сексуальных революционеров вспоминают свои первые эротико-эстетические впечатления от подстойной порнографии, «Луки Мудищева», «Морской болезни», но никто ни разу не вспомнил ни (вообще) «Темные аллеи», ни (в частности) «Солнечный удар». Ни то, ни другое не воспринималось — эротически.

Отчего так? Уж Бунин ли не эротичен? Нет, в нашем эстетическом пространстве он таковым не воспринимался. «Морская болезнь» — другое дело. Секс здесь мрачен, бессолнечен, тошнотворен. «То, что вы сделали, — хуже, чем убийство», — говорит изнасилованная интеллектуалка изнасиловавшему ее жлобу — и получает «допуск» в нашу эстетику. Эротика, секс воспринимаются в этом пространстве как «хуже, чем убийство». Хуже! Плотская половая любовь в этой эстетике — только изнасилование, нечто враждебное, неодолимое и потому подлежащее изъятию, запрещению, наказанию.

Два счастливых человека — мужчина и женщина — после соития? Ни в коем случае! *Post coitum omnia creatur oppressus est!* Это — по-нашему. Униженная, плачущая, содрогающаяся от омерзения женщина и мужчина, воровато, как после преступления, выскальзывающий за дверь, — это в самый раз.

Но — и это «но» самое интересное, самое то «но», что связывает «Морскую болезнь» с «Похороном кузнечика» и лирику Павловой с «Солнечным ударом».

«Морская болезнь» — подросткова. Общество, в котором она воспринимается как эротическое, чувственное произведение изящной словесности, есть общество подростков. Юнга, заглядывающий в каюту помощника капитана после того, как женщина побеждена, раздета, распластана, и есть гипотетический читатель «Мор-

Мы печатаем два выступления в рамках Третьих чтений имени Аполлона Григорьева, проведенных Академией Русской Современной Словесности в октябре 2001 года (Москва, Государственный литературный музей). Тема чтений — *эротика и эстетика* — связана с творчеством Веры Павловой и Николая Кононова, которые стали по итогам 2000 года лауреатами премии имени Аполлона Григорьева, учрежденной АРС'С и Росбанком.

ской болезни». И — читатель благодарный. И то сказать, кому из прыщавых, вонючих подростков не хотелось бы, чтобы вон та красавица, презрительно скользнувшая по нему взглядом, не залепетала бы, покуда бы он умелым жестом «раскрывал на ней кофточку»: «Что вы делаете? Ко мне никто не смел прикасаться так!»

Куприн тщательно подчеркивает недосыгаемую высоту женщины. Она и умнее, и образованнее, и порядочнее, да и красивее насильника, но чем тщательнее подчеркивает все это Куприн, тем больше подросток идентифицирует себя с насильником, тем больше ему хочется оказаться на месте насильника. Разумеется, стыд за это липкое, омерзительное желание входит составной частью в восприятие «Морской болезни». И стыд этот Куприн умудрился описать в том же рассказе. Тошнотворное состояние женщины, интеллектуалки после того, как ее изнасиловал жлоб, — это ощущение все того же прыщавого подростка, воспитанного в эстетических традициях, напрочь отвергающего эротику, после того, как он прочел «Морскую болезнь» и *захотел* оказаться или на месте помощника капитана, или на месте юнга. Уточним прежде данное определение: «Морская болезнь» онанистична в той же степени, в какой она подросткова.

Перед нами все то же российское различие явления и сущности, когда сущность не манифестируется явлением, а скрывается, маскируется им. На поверхности «Морская болезнь» — проклятие насильнику и изнасилованию; на поверхности — жалость к такой умной, такой красивой, такой интеллигентной женщине, с которой так нехорошо обошлись.

В сущности же, «Морская болезнь» едва ли не гимн изнасилованию как единственно возможной форме половой любви; в сущности — у читателя не жалость рождается к изнасилованной народолюбивой интеллектуалке, а стыдное желание оказаться на месте насильника.

На поверхности «Солнечный удар» — гимн плотской половой любви, оправдание случайных половых связей. На деле «Солнечный удар» — печальный рассказ о недостижимости счастья. Вполне, надо признаться, метафизический рассказ.

В «Морской болезни» победитель — мужчина, в «Солнечном ударе» — женщина. Здесь кроется еще одно объяснение того, почему «Морская болезнь» вошла в состав эстетической крови наших сексуальных революционеров, а «Солнечный удар» остался невостребованным.

«Морская болезнь» — некий эстетический реванш за житейское, чтобы не сказать — бытийное поражение мужчин в советском послевоенном обществе. В силу многих причин мужчину здесь с детства окружало невероятное количество женщин, которые властвовали над ним. В детском саду, в школе — это воспитательницы и учительницы; во взрослой жизни — это представительницы мелкой и средней чиновничьей иерархии, которая сплошь из женщин. В высших эшелонах власти женщин — мало, но низшее и среднее звено мощно феминизировано. Меня все сворачивает на литературу: представьте себе, на сколько градусов подвинулся бы умом бедняга Раскольников, если бы еще и дело его вела... женщина. Порфирия Петровна. «Морская болезнь», прочитанная в таком окружении, оказывается позорной, онанистической компенсацией за власть над тобой женщин в реальности, в действительности. «Солнечный удар» такого реванша не предоставляет. Опять, как в прошлый раз в ЖЭКе, проиграл... — с тоской думает неудавшийся мачо.

Можете считать это затянувшейся преамбулой, но вы уже поняли, какую я хочу протянуть параллель. Да, именно так: «Похороны кузнечика» Николая Кононова происходят от купринской «Морской болезни», отсюда активное грозное неприятие плотского мира, неприятие даже запаха плоти: «В мои ноздри проникает какой-то чуточку соленый, будто морской, запах творожистой смегмы... Нет, я не должен так пахнуть. Я не согласен... Мне хочется пахнуть кузнечиком — то есть совсем ничем, тихой летней погодой, полуденной прокаленной пустотой, дневным белым цветом, прозрачной безвкусной сукровицей, блескучей слюдой. Так, как благоухало вчера весь день на нашей дачке на берегу Гуселки, откуда меня привезли домой. В худшем случае — бензином. Мне ведь так нравится его нюхать». Недаром все, что связано с миром плотской любви в «Похороны кузнечика», оказывается в лучшем случае смешно и нелепо: «...вот эта одетая в казенное платье... тихая парочка немолодых „ходячих” сластолюбцев, наверное, из кардиологического

отделения... Они не спеша едят, перемежая еду и выпивку поцелуями. Потом она стелет на землю газеты, встает на четвереньки, а он так же тихо и аккуратно задирает ей подол и наползает на нее сзади. Они как будто играют в паровозик, едва-едва шатаются, тихо пыхтя, — небольшие норные зверьки или полусонные ночные букашки. Тетка жалуется: „Только вы не сильно, пожалуйста, ладно...” Я хочу накапать им по пятнадцать капель корвалола, если бы у меня был с собой пузырек...»; в худшем — отвратительно и страшно: «„А, падла, все, все, все! Хватит!” — в полуметре, не видя меня, ноя, хрипит Королихин квартирант, почему-то голый. Это он так стонет! Я вижу его дергающееся, ходящее ходуном волосатое мощное восточное тело. Королиха стоит перед ним, как богомолка перед алтарем, — колена преклоненно. Он держит ее голову за пучок волос, прижимает к самому низу своего плоского живота. Что такое они творят?.. Я ничего не понимаю... Зачем все это... какое это имеет отношение к людям...» Плотская любовь, сама плоть расположена в непосредственной близости от смерти, гниения, от (по сути дела) нечеловеческого в человеке. «Телесное» отвратительно лирическому герою «Похорон кузнечика». Кононов пишет: «Мне еще предстоит разлюбить свое замечательное тело. Возненавидеть свое дыхание». Вот так он описывает первую (шоковую) встречу героя с собственным телом в детстве: «Там-то, в тихой выгородке, в чистом закутке приемного покоя... я и узрел себя самого, в смысле — свое чуточку приоткрытое нутро, когда мне две врачихи обрабатывали и сшивали рваную рану маленькой кривой, как рыболовный крючок, иголочкой... Я заглянул тогда сам в себя. Я проник зрением под алую, приподнятую пинцетом изнанку своего тела... и задохнулся от неожиданного ужаса и нахлынувшего следом омерзения... Прямо на идеально белую пустыню перевязочного стола и на страшный веер блестящих хирургических инструментов, разложенных тут же, я выблевал рыжее пахучее облако непереваренного обеденного месива». Мне кажется, что Кононов здесь иронически перефразирует Тютчева: если бы души могли увидеть с высоты ими брошенное тело, их бы стошнило, — вот эмоциональная идея «Похорон кузнечика». В том-то и отгадка-загадка «Похорон кузнечика», что прекрасное голое женское тело, которое разглядывает на старой фотографии Ганимед (главный герой романа), — не тело, но душа, зримый образ души, к которой (к которому) по определению и не может быть физического влечения: все ж таки на фотографии — молодая бабушка Ганимеда, умирание которой в старости Ганимед наблюдал воочию. Кононов и фотографию-то описывает, как описывают произведение искусства, античную какую-то статую: «Ее скрещенные голени, тесно сжатые, как у мраморной статуи, бедра скрывают пах, будто его в этом плотном молодом теле и нет вовсе. Словно она русалка». Здесь — очень важный мотив, благодаря которому мы вернемся к названной в преамбуле «Морской болезни». Душа Ганимеда, его Психея — бабушка, приучившая его к брезгливости, к отвращению от плоти. Описывая свое детское посещение больницы, той самой, где Ганимеду зашивали рану, Кононов замечает: «Хорошо, что бабушки не было с нами рядом. Она еще раз упала бы в обморок. Или просто превратилась в облако». Но Ганимедова бабушка как раз родом из того времени, когда пол стал казаться неодолимой, необходимой, но отвратительной и враждебной человеческому в человеке силой, для Ганимедовой бабушки органично и естественно купринское отношение к полу в «Морской болезни» и странно, нелепо, неприлично отношение к полу Бунина в «Солнечном ударе». Все равно, как клистир поставить в буфет рядом с хрустальными бокалами и фарфоровыми тарелками, — вот что такое «Солнечный удар» для Ганимедовой бабушки, да и для самого Ганимеда.

«И увидел Бог, / что это хорошо. / И увидел Адам, / что это отлично. / И увидела Ева, / что это / удовлетворительно». Вера Павлова — сексуальная контрреволюционерка, по собственному определению. Ее лирика — отчаянная попытка реабилитации плоти в российском эстетическом пространстве — от «Солнечного удара» Бунина. Иной вопрос, насколько ей эта попытка удалась. Здесь дело не только вкуса, здесь дело в тонкости той традиции, на которую пытается опереться Вера Павлова. Она и сама ощущает эту тонкость, эту ни-на-что-не-опираемость эротики в российской эстетике. Поэтому с такой охотой она подчеркивает свою детскость, не жестокую подростковость, но нежный инфантилизм. Тот, кто пыта-

ется говорить о поле не как о враге человеческого в человеке, но как о проявлении человеческого в человеке, вынужден лепетать по-детски, почти по-младенчески — вот в чем смысл подчеркнуто детских, наивных стихов Веры Павловой: «Я, Павлова Верка, / сексуальная контрреволюционерка, / ужоу в половое подполье, / иде же буду, вольно же и невольно, / пересказывать Песнь Песней / для детей. / И выйдем Муха-Цокотуха. / Позолочено твое брюхо, / возлюбленный мой!» Набоков ведь недаром не мог представить себе российский режим, разрешающий печатать «Лолиту». Нашему эстетическому сознанию ближе эротика «Луки Мудищева», «Морской болезни», «Похорон кузнечика», в которых плотская любовь представлена, как у Кафки в «Beschreibung eines Kampfes», описанием одной схватки, чем эротика «Солнечного удара», в котором плотская любовь описана вершиной человеческого счастья, сравнимой разве что с творчеством: «...оба так иступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот, ни другая». Иные стихи Веры Павловой кажутся прямыми возражениями тем или иным мрачным, вычурным, каким-то викторианским фразам Кононова. Помните отвращение Ганимеда от запаха собственной плоти, его желание пахнуть так, как пахнет кузнечик или мотоцикл? Вот возражение Павловой: «Подмышки пахнут липой, / чернилами — сирень. / Когда бы мы могли бы / любиться целый день / подробно и упруго / и к вечеру раз пять / друг друга друг на друга, / как пленных, обменять!..» Помните омерзение Ганимеда от изнанки собственного тела? Сравните с гимном плоти, пропетым Верой Павловой: «Плоть прозрачна, как мармелад, / если смотреть на свет. / Плоть прозрачна, но вязнет взгляд, / встречая плоть на пути. / То ли ни света, ни плоти нет, / то ли — свет во плоти».

С.-Петербург

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ



СЛУЖИТЕЛИ РУССКОГО ЭРОСА, ИЛИ МОЙ СПОР С НИКИТОЙ ЕЛИСЕЕВЫМ

Услышав тему наших чтений, я грешным делом вспомнил Ал. Н. Толстого: «Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно наконец покончить с этим проклятым вопросом» (роман «Хождение по мукам», 1920 — 1921, впоследствии «Сестры»). И его же неоконченный роман «Егор Абозов» (1915): в богемном кабаке «Подземная клюква» выступает «профессор — бордатый толстяк, с поднятыми плечами, красный от напряжения...»

— Надо понять символ. Мы чувственники. Мы служители русского эроса! У нас раздуваются ноздри! Эрос! А вы знаете, как случают лошадей?

Он густо захохотал и стал багровый. Со многих столиков поспешно поднялись дамы и мужчины во фраках, двинулись к выходу...

— Вы не хотите слушать? Вам стыдно? А я говорю — зверь просыпается! Так встретим же ликованием его великолепный зевок! На праздник! За светлого зверя! На, терзай мою грудь!

Он действительно захватил на груди рубашку и рванул, полетели запонки, а галстук съехал. Под крики: „Браво, брависсимо!“ — профессор сошел с кафедры и, вытираясь, сел между двух зрелых дам, которые замахали на него руками, раскачиваясь от смеха и удовлетворения». Так как «Егор Абозов» — роман карикатур, одна из которых — на Бунина (в романе Волгин) — стала основанием для отказа в печатании в Товариществе издательства писателей в Москве, можно предполо-

жить, что прототипом полнокровного профессора послужил А. Яценко (Сандро), приятель Толстого 10-х — начала 20-х годов.

При временной удаленности, при полной несхожести как обстановки, так и толстовского профессора с нашим Никитой Елисеевым общим все же остался чисто русский, вероятно, ход разговора: что откуда произошло, кто кого породил и чем дело кончилось. Тон задал докладчик, выведя наших прошлогодних лауреатов Веру Павлову и Николая Кононова соответственно из Бунина и Куприна и взяв для примера «Солнечный удар» и «Морскую болезнь». Не имея текста доклада перед глазами, по прошествии времени могу несколько сбиться, но суть помню: если «Солнечный удар» и вообще эротика у Бунина проистекают из почти религиозного отношения к половому акту как истинно человеческому в человеке и Вера Павлова следует тому же, то автор «Похорон кузнечика» со страхом и омерзением относится к плоти и плотским проявлениям, в частности к половым, напоминая об отвращении к половому акту персонажей «Морской болезни» — равно изнасилованной пассажирки и насильника-моряка.

А я не верю в искренность восхищения половым актом, декларируемую в «Темных аллеях». Не высота, а, я бы сказал, неизбежность секса куда убедительнее в сознании героев, а точнее, героя, а еще точнее — полуреального-полувоображаемого «я» Ивана Бунина. Более всего чувствуются и переживаются два момента: грубое вождение и — момент обрыва, когда писатель настойчиво, если не сказать — навязчиво, варьирует один и тот же вполне физиологический мотив освобождения и благодарности героя женщине за это освобождение. Похоть героя яростна: «так пронзило воспоминание о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги» («Зойка и Валерия»); «у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела...» («Гая Гаганская»); «изнемогая от неистовой любви к ним», то есть коленям («Натали»), «он с помутившейся головой кинул ее»; «смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле» («Руся»). «Не владея собой» от «жесточкого телесного возбуждения» («Дурочка»), «он жадно взглянул на ее голые пятки, похожие на белую репу», «уже совсем шалея от величины и белизны этого голого тела...» («Барышня Клара»).

Утонченно-сладострастные описания тел, поз, физиологии вплоть до сообщения героинь герою о месячных («Лиза», «Генрих», «Натали»), явная тяга к беременным («Мордовский сарафан», «Ахмат»), того пуше — к несовершеннолетним: «ей было всего 14 лет» («Зойка и Валерия»); «ей шел семнадцатый год», «теплые детские слезы на детском горячем лице» («Таня»), вождение к юной дочери приятеля («Гая Гаганская») — «полудетский голос», «казалась совсем девочкой», «милая жалкая девчонка»; «мне на крещение уж шестнадцатый пошел» («Степа»), «во всей свежести своих шестнадцати лет» («Генрих»). Но и там, где речь идет о взрослых женщинах, особое сладострастие герой испытывает от «личика», от того, когда женщина не по возрасту инфантильна: «дрогнула жалость... а вместе с жалостью — нежность и сладострастное желание», «мучительно пронзила невинность всего этого», «маленькие груди с озявшими сморщившимися коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью» («Визитные карточки»). Как тут, простите, не вспомнить старый анекдот, в котором ловелас, делясь впечатлениями, в раже восклицал: «И так мне было ее жалко, так жалко, что е... и плачу!»

Если сексуальное поведение женщин нередко сопряжено с жалостью и уж давно подмечена синонимичность в языке русских баб понятий «любить» и «жалеть», то у мужчин «жалость» носит совершенно иную природу, не имеющую ничего общего не только с духовностью, но и с телесным здоровьем. Подобным наклонностям гостей издавна потрафляли в известных заведениях, обряжая проституток в гимназические платья, о чем невольно вспоминаешь при описании коротких юбочек в соединении с толстыми ляжками в «Зойке и Валерии», «Мести» и других рассказах. И после этого доверять итоговой риторике вроде того, как, насладившись «крайним бесстыдством», «он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается в сердце на всю жизнь...»? Самый слог и словарь великого стилиста становятся нестерпимо фальшивыми, когда начинаются эти самые *post coitum*:

«она дала мне лучшие минуты жизни» («Темные аллеи»); «Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле» («Поздний час»).

Для примеров места не хватит, и все ведь — из «Темных аллей» или из непонятно почему туда не включенных «Мордовского сарафана», «Солнечного удара», «Иды» и т. д. Хотя эти вещи 20-х годов, конечно, мощнее и чище «Темных аллей», но и там Бунин срывается со своей высоты, как и в «Митиной любви», про которую почти справедливо заметил М. Горький: «Бунин переписывает „Крейцерову сонату“ под титулом „Митина любовь“» (справедливее было бы назвать не «Крейцерову...», а «Дьявола»).

Куда более впечатляют и убеждают в любовной прозе позднего Бунина вопросы: «Связать, погубить себя навеки?» («Таня»), которые предполагают грядущее и скорое охлаждение к предмету половой страсти: «А там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу!» («Кума»), — чем скорописные уверения читателя в неиссякаемости «высокой» страсти: «И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше». По поводу финала «Чистого понедельника» я уже позволил себе однажды заметить, что все «Темные аллеи» (кроме парашютов, вагонов, ресторанов, дождей, цветов, комаров, молний, закатов) произошли из рассказа «Шампанское» Антона Павловича Чехова, также не самого первого из великих русских писателей в лабиринтах любовной страсти (зато такого убедительного во всем, что говорит о ее отсутствии). Именно поэтому так часто Бунин и подключает для развязки, выражаясь языком «Тысячи и одной ночи», «Разрушительницу наслаждений и Разрушительницу собраний».

Все любовные сцены (а по существу, одна и та же) «Темных аллей» не стоят беспощадных сексуальных эпизодов повестей «При дороге» или «Игнат». Впрочем, у Бунина есть книга о любви, в которую веришь, а весь секрет, вероятно, в том, что «Жизнь Арсеньева» — non fiction.

У Веры же Павловой, которую наш коллега пристегнул к бунинской эстетике сексуального, к эстетике «солнечного удара», нет вообще ничего похожего на солнечные удары, вспышки, мгновения и прочие заместители любви. Ее стихотворная летопись есть бесконечный, никогда не приедающийся акт любви. Думаю, не столько откровенность Павловой поразила и привлекла читателей, сколько эта непрерывно свершаемая новизна творимого. Ведь плотская любовь так часто и прежде, а уж в наш век почти непременно приедается, она делается в лучшем случае неизбежным развлечением, в худшем — рутинной обязанностью, и даже очень молодые люди с пренебрежением относятся к «мясной терке».

К сожалению, у меня нет «Четвертой книги», процитирую «Второй язык»: «отделяю тебя от себя / чтобы сделать тебя собой / отделяю себя от тебя / чтобы сделать себя тобой»; «Тебе нужно было отдать все. / Но всего у меня тогда уже не было. / У меня не было прошлого — оно прошло. / У меня не было будущего — оно прошло бы»; / «Вечные поиски / признаков жизни. / Вечные происки / признаков жизни. / Признаков признак — / дыханье зрачка. / Признаков признак — / шестая строка». Новизна творимого может быть не только поисками «признаков жизни», но этими самыми признаками, явленными в признаниях от трогательных и нежных: «только кормившей грудью / видна красота уха, / только вскормленному грудью / видна красота ключиц» — вплоть до вполне неприличных бытовых проявлений этих самых признаков: «Сегодня был такой кошмар! / В метро. Трусы врезались в писк — / и такой оргазм! Аж слезы брызнули». И даже смерть у Павловой — «профессионал в любовном деле». Жизнь, любовь и смерть не пугают, она не прячется от них, она готова ко всему и исполняет и жизнь, и любовь, как исполняя женские обязанности по дому. Она и ребенка родит, сперва вдоволь насмеявшись над собственным уродливым отражением в зеркале. Какой тут Бунин, откуда он явился? У Павловой — хоть бы намека на эстетизацию, прихорашивание секса и плоти, плоть разнообразна, жестока, безобразна и красива, она постоянно живая — Бунин же в поздних рассказах способен лишь *вообразить* плоть, именно даже не вспоминать, а вообразить ее, помня более всего вождение. Я понимаю, что рискую, но все же назову поздние любовные рассказы Бунина она-

нистичными. Стихи Веры Павловой — столь же грубо выражаясь — постельны, они теплы, как двое в постели. Они — всегда *сейчас*.

Теперь о втором (по Елисееву) предтече наших *новых сексуалистов* — Александре Ивановиче Куприне, а точнее, рассказе «Морская болезнь» как предтече «Похорон кузнечика». Докладчик взвалил на «Морскую болезнь» тяжкий грех — воспитание в поколениях юных читателей отношения к плотской любви как делу грязному, греховному и насильственному. И в самом деле, поколение за поколением школьники (мальчики — И. Б. Роднянская вспомнила, что девочки читали под партой «Суламифь») передавали друг другу информацию о некоем рассказе, в котором описывается *это*. Но сам рассказ мало повинен в роли сексуального пособия для советских детей. Кто-то когда-то ославил его как похабный, а поскольку действительно похабных книг и журналов не было, их роль взяла на себя «Морская болезнь». В советском литературоведении, как помним, общим местом было, характеризуя *позорное десятилетие*, иллюстрировать его отходом писателей-реалистов, группировавшихся вокруг Горького, от принципов демократии и реализма; тут называлась «Морская болезнь» со словами Горького же: «И даже Куприн, не желая отставать от товарищей-писателей, предал социал-демократку на изнасилование паровой прислуге, а мужа ее, эсдека, изобразил пошляком». Меж тем Горького возмутило не то, что — изнасилование, а то, что героиня и муж ее — партийные люди, социал-демократы. Да и для тогдашних читателей никакой особой похабелы рассказ не содержал — понадобились десятилетия советского монастыря, чтобы ее там уметь видеть.

В текстах самого Горького той же поры вдесятеро больше «секса», чем в пресловутой «Морской болезни»: «Лето», «Исповедь», а уж «Городок Окуров»! Горький был куда более внимателен к «проблемам пола», чем Куприн, и его произведения насыщены не только собственно сексуальными сценами, в том числе и насилия, но и особым, жадным интересом персонажей к тому, что называется физической любовью. Будь наши школьники 40 — 60-х годов повнимательнее, они, разумеется, не гонялись бы за «Морской болезнью», а взяли в любой библиотеке собрание сочинений Горького.

Что же до собственно сексуальной сцены в «Морской болезни», то, в отличие от «Темных аллей», здесь похоть как она есть, без красивых приамбасов Бунина и при этом, на мой взгляд, куда вещественнее.

Встреча героини на борту судна с будущими ее разоблачителями — помощником капитана, синешеким восточным мужчиной и его напарником — юнгой, похожим на обезьянку. Героиня пытается поставить «победоносного брюнета» на место, напоминая, что он для нее всего лишь прислуга. Но его горячие пальцы как бы в пандан уже начинающейся от качки морской болезни делают свое дело, «собственное тело» вдруг показалось героине «необыкновенно легким». И, повторно отпугивая его после повторной попытки ухаживания, она все более слабеет, чтобы согласиться в третий раз — разумеется, не на сближение, но на каюту. Шаг за шагом неотвратимо приближается надвигающееся на героиню событие, его неотвратимость проигрывается прямо-таки музыкально — набросками темы.

Давно не перечитывая Куприна, но постоянно читая Бунина, я никогда не сомневался в безусловном превосходстве Ивана Алексеевича над Александром Ивановичем. Конечно, превосходство осталось — выверенности фразы, пластики языка, шеголеватой завершенности рассказов-статуэток. Но по большому, как говорили в советское время, счету Куприн в «Морской болезни» предстает куда значительнее Бунина в «Солнечном ударе».

Подверстанный Елисеевым к «Морской болезни» роман Николая Кононова «Похороны кузнечика» имеет с рассказом Куприна не более общего, чем стихи Веры Павловой с рассказом Бунина. Притом если в первой аналогии хотя бы можно, не идя вглубь, заявить о владеющей героями-партнерами ослепительной страсти — по ситуативным, так сказать, признакам, — то уж зачарованная сосредоточенность героя-повествователя «Похорон...» на ужасах превращений, самого функционирования, чуть ли не самого существования тела, вплоть или, напротив, начиная с себя, когда на первой же странице заявлены два «страшных слова» — «отвращение» и «брезгливость», ну ничегошеньки не имеет общего с «Морской бо-

лезню» и ее персонажами. Да, героине Куприна после безобразной ночи мнится, что «какое-то высшее, всемогущее, злобное и насмешливое существо вдруг нелепо взяло и опоганило ее тело, осквернило ее мысли, сломало ее гордость и навеки лишило ее спокойной, доверчивой радости жизни». (Ну еще бы она и радовалась изнасилованию!) На следующий день, после объяснения с немужественным мужем, она уезжает из дому, сообщив оставляемому супругу: «Еду к Васютинскому, и ты, конечно, поймешь, *что* я буду делать во всю мою остальную жизнь». Под «*что*» понимается не «*это*», но революционная работа. Однако — об руку с Васютинским.

Я не хочу сказать, что герой Кононова, в отличие от героини Куприна, нездоров, просто он весь в познании, а Елене, знающей жизнь, добавочное и нелучшее знание о ней не открыло бездн, зато окончательно открыло глаза на мужа. (Кстати, на чтениях коллега из «Учительской газеты» напомнил Елисееву как более уместную аналогию рассказ Куприна же, «Мясо», написанный о том, о чем и «Похороны кузнечика», — об ужасе юной души перед фактом смерти не как исчезновения из жизни, а о тлетворности самой жизни как умирания, о том, что жизнь, плоть — это и есть умирание, — но Елисеев ответил, что «Мяса» не читал.)

Саратов.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИМЯ БОЖИЕ КАК ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Глубокоуважаемый Андрей Витальевич!

Не так давно в «Новом мире» (2001, № 5) была опубликована интересная, но спорная статья доктора филологических наук, председателя Орфографической комиссии РАН Владимира Владимировича Лопатина «Русская орфография: задачи корректировки», в редакционном примечании к которой говорилось, что «редакция намерена вернуться к освещенной в этой статье проблеме». Это замечание (а также появившийся уже в Вашем журнале отклик¹) и побудило меня обратиться к Вам с письмом.

Как профессиональный корректор, я не без некоторых опасений ожидаю предстоящую реформу правописания, хотя сознаю необходимость изучить новые правила и руководствоваться ими в своей работе. Но некоторые положения раздела «Названия, связанные с религией» вызывают столь сильное недоумение, что, как православная христианка, я сочла своим долгом поделиться своими соображениями по этому поводу.

Можно лишь порадоваться тому, что, в соответствии с новыми правилами, о которых пишет в своей статье В. Лопатин (далее страницы везде указываю по новомирской публикации), восстанавливается наконец-то написание с заглавной буквы слов *Бог, Господь, Богородица*, причем с совершенно логичной мотивировкой: в монотеистических религиях это — «индивидуальные названия, являющиеся фактически собственными именами» (стр. 144). Но при этом поражает следующая оговорка: «Однако вводятся существенные уточнения: о написании со строчной буквы слов *бог* и *господь* в выражениях междометного и оценочного характера, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией (например, *ей-богу, бог знает что, не бог весть что, не слава богу* — «неблагополучно», междометия *боже мой, господи*)...» (стр. 143 — 144).

Не приходится спорить, что в нашей повседневной речи утвердилось, к сожалению, бездумное и безответственное употребление выражений, включающих имя Божие, как если бы они действительно не были «связаны с религией». Но это — позор для нашей речи и для нашего народа. Имя Божие есть великая сила и великая святость. Благоговейным призыванием имени Божия совершались великие чудеса, описанные в Ветхом и в Новом Завете, а кощунственное обращение со святостью всегда неизбежно влекло за собой справедливое воздаяние. Именно поэтому одна из десяти заповедей, данных Богом на Синае, гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20: 7; Втор. 5: 11). Заметим: эта заповедь в Десятословии — *третья*, в то время как «не убивай» — шестая, «не кради» — восьмая (Исх. 20: 7, 13, 15; Втор. 5: 11, 17, 19). Поэтому всякое употребление имени Божия *всуе* (славянский перевод заповеди), в *суе*, есть прямое нарушение Божественного установления.

Может возникнуть вопрос: а при чем тут прописная буква? Сама я не имею филологического образования, но мне думается, что именно филологи, как никто другой, должны сознавать и то, какое колоссальное влияние оказывает графическое начертание слова на восприятие смысла этого слова читателем, и то, какая глубинная связь существует между языком и психологией народа, его менталитетом. Если читатель всякий раз, встречая в печатном тексте выражения типа «не

¹ Кронгауз М. Жить по «правилам», или Право на старописание. — «Новый мир», 2001, № 8.

дай Бог» или «Бог знает что», будет видеть в них заглавную букву, то в его сознании (и подсознании) постепенно будет закрепляться понимание того, что это — не пустые сочетания звуков («бозначто»), а вполне значимые выражения, напоминающие нам о том, что *Бог знает* (все), что только Бог может *не дать* нам испить чашу бедствий и что именно к Нему мы из глубины сердца зываем: «Боже, сохрани!» Тогда, быть может, человек поостережется от бессмысленного употребления этих словосочетаний просто «для связки слов» и начнет, хотя бы понемногу, привыкать к языковой самодисциплине, тождественной в данном случае самодисциплине нравственной. Если же в подобных выражениях будет писаться строчная буква, то в сознании и подсознании читателя, напротив, будет утверждаться небрежное отношение к имени Божию, которое многими употребляется едва ли не как замена ругательству. «Ну и Бог с ним!» — произносит человек с такой интонацией, с какой в другой раз он употребил бы в этой конструкции нецензурное слово или помянул бы нечистую силу (а здесь он еще и гордится собой, что выразился «эвфемистично»). «О Боже!» — восклицает он, вкладывая в эти слова максимум презрения к тому лицу, действиями которого возмущается (и уж, конечно, вовсе не думая о Боге). Это уже нельзя расценить иначе как богохульство. И именно такое неосознанно кощунственное (или по меньшей мере безответственное) словоупотребление (а вместе с ним — мировоззрение) Орфографическая комиссия РАН предлагает узаконить в качестве общеобязательного норматива.

Особое внимание хочется обратить на выражение «ей-Богу». Славянское слово «ей», которым, согласно толкованию Лопухинской Библии на рассказ Евангелиста Матфея об исцелении Спасителем двух слепых (Мф. 9: 28), передается греческое «ὅχι», означает «да, точно, конечно». Таким образом, «ей-Богу» — это клятва Богу или клятва именем Божиим, и всякий человек, произносящий ее попусту, в сомнительных случаях (а тем более подтверждающий ею заведомую ложь), становится не только богохульником, но и клятвopепреступником. («Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь» /Лев. 19: 12/. «А Я говорю вам: не клянись вовсе...» /Мф. 5: 34/.) Но о каком клятвopепреступлении и о какой ответственности за него может идти речь, если слово «Бог» в данном контексте является всего лишь междометием?

Вдумчивое отношение к слову, тем более к слову сакральному, должно быть присуще всякому человеку, не только верующему, хотя последнему — в особенности. И здесь мне хочется сослаться на положительный опыт одной еврейской семьи, хорошо мне знакомой. Молодые муж и жена, выросшие, как и мы все, в атеистической стране, окончившие советские школы и вуз, после осознанного прихода к вере (ортодоксальному иудаизму) смогли коренным образом изменить стилистику своей речи. Они не только избегают употребления имени Божия всуе, но и тогда, когда речь действительно идет о Боге, говорят: «Всевышний». И это очень дисциплинирует как говорящего, так и слушающего, который вольно или невольно (хорошо, если вольно) воспринимает ту серьезность, которая только и требуется в разговорах на подобные темы. Рискну предположить, что именно эта традиция отразилась в знаменитом стихотворении Мандельштама:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вьлетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

Я не литературовед и не возьму на себя смелость анализировать это стихотворение, но обращает на себя внимание то, что для поэта, семейно причастного к традициям иудаизма, восклицание «Господи!» было отнюдь не междометием, а Божиим именем, нечаянное произнесение которого вслух указывает на сильнейшее смятение, потрясение, потерю контроля над собой. К сожалению, этот аспект

ускользает от современного читателя, воспитанного на секуляризованной, светской литературе (в том числе и русской), а в повседневной речи привыкшего к той разболтанности, которая, повторю, составляет наш позор.

Между тем православная церковная традиция, так же как и ветхозаветная, не только предписывает благоговение в отношении священных имен, но и отчетливо сознает связь между знаком и означаемым. В церковно-славянском языке имена «Бѣ̄тъ» и «Гдѣ̄тъ», как и другие сакральные слова, писались сокращенно, с титлом над ними, что служило указанием на необходимость особого отношения к ним, в то время как слова «Богъ» применительно к языческим кумирам и «Господь» в значении «господин» писались полностью². Я понимаю, что грамматика современного русского языка не может вернуться к правилам грамматики церковно-славянской, принципиально отличной, но извлечь из этих правил уроки, по-моему, следует.

При этом нельзя не отметить, что в некоторых случаях, по справедливому наблюдению О. В. Гаркавенко, кощунственным является именно написание слова «Бог» с заглавной буквы. Например, когда в газетной заметке об исполнительнице ролей в эротических фильмах с пафосом утверждается, что «ее Бог — любовь» (автор, видимо, не знаком с высказыванием Апостола Павла о подобных лицах, что «их бог — чрево, и слава их — в сраме» /Фил. 3: 19; ср. 2 Кор. 4: 4/). Или когда высокообразованный специалист Кирилл Кобрин в своей статье о футболе дает название «О природе толстокожего Бога: заметки историка»³. Автор статьи тоже цитирует Мандельштама, строки которого вынесены в эпиграф: «Обезображен, обесславлен / Футбола толстокожий бог». Верный текстологической точности, Кобрин сохраняет орфографию Осипа Эмильевича в цитате, но уверенно поправляет его в собственном заголовке...

Думается, все эти наблюдения подводят нас к мысли о том, что выбор прописной или строчной буквы в слове «Бог» и в производных от него словах («Божий», в иных случаях — «Божественный») связан не с тем, какими частями речи или членами предложения они формально являются и являются ли вообще членами предложения в определенных словосочетаниях, а с тем, к кому (или к Кому) они относятся (или по крайней мере должны относиться).

Хочется упомянуть еще об одном аспекте обсуждаемой темы, который не был затронут в статье В. В. Лопатина, — о правописании местоимений, связанных со священными именами. «До революции 1917 года» (стр. 144) все местоимения, относящиеся к каждому из Лиц Пресвятой Троицы и к Божией Матери, писались с заглавной буквы — как личные, так и притяжательные. (Это не распространяется на местоимения, относящиеся к Ангелам или святым.) Думается, и сегодня это не должно было бы смущать атеистов: ведь никого не смущает то, что когда мы в частном письме или в официальной бумаге обращаемся к человеку на «Вы», то пишем это слово с большой буквы (с маленькой — только при обращении сразу к нескольким лицам). Было бы в высшей степени комично варьировать употребление большой или маленькой буквы в этом слове в зависимости от масштаба нашего почтения к адресату письма. Но если применительно к человеку это не вызывает возражений, то не логично ли было бы отнести то же к Богу? В противном же случае мы (помимо главного) лишаем себя возможности правильного понимания многих литературных текстов. Прежде всего это касается текстов Священного Писания (например, псалма, где говорится об Иосифе: «Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его» /Пс. 104: 18 — 19/). Понимание Библии и так сильно пострадало в результате орфографической реформы 1917 года, о которой столь сочувственно отзывается В. В. Лопатин. Удаление из алфавита букв, обозначавших «те же звуки, что и другие буквы» (стр. 139), привело к тому, что слова, бывшие ранее лишь омофонами, стали омонимами, и вместо трудностей чисто технических, связанных с запоминанием правил письма, возникли гораздо более серьезные, связанные с уяснением подлинного смысла текстов. Со-

² См., напр.: Али п и й (Га ма н о в и ч), иеромон. Грамматика церковно-славянского языка. М., «Паломник», 1991, стр. 21.

³ «Волга», 2000, № 2-3, стр. 148.

временному русскому читателю Нового Завета трудно без комментария понять слова Христа, смысл которых проясняет старая орфография: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14: 27); «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16: 33). (К упомянутым двум омонимам добавляется в косвенных падежах еще и третий — от слова «мир», писавшегося ранее через ижицу.) Подобные трудности понимания отчетливо сознает «такой консервативный по своей внутренней сути институт, как Русская Православная Церковь» (стр. 140). Но Церковь вынуждена считаться с уровнем грамотности своих чад, и потому в наши дни она действительно пользуется «в подавляющем большинстве случаев новой орфографией» (стр. 140). Вместе с тем при написании местоимений с заглавной или строчной буквы Церковь руководствуется правилами орфографии традиционной. Отсутствие соответствующих правил в грамматике «светской» неизбежно ставит новые вопросы: как быть человеку, цитирующему Библию в статье для светского журнала, газеты? (Да и не цитирующему прямо, но и в собственном тексте не желающему отрекаться — пусть даже косвенно — от веры?) Как быть, наконец, с переизданиями русских классиков? В этом последнем вопросе, как ни парадоксально, даже советская цензура проявляла иногда неожиданный либерализм. Мне запомнилось простое («для широкого читателя») издание «Войны и мира», выпущенное ОГИЗом в 1948 году, в котором было сохранено авторское употребление заглавной буквы во всех случаях, предписываемых старой орфографией (в том числе и в местоимениях). Хотелось надеяться, что современные реформаторы правописания не пойдут в антиклерикализме дальше Льва Толстого и советских цензоров.

Впрочем, обсуждаемая проблема действительно связана с сомнениями этического свойства, о которых говорит в своей реплике к статье В. В. Лопатина И. Б. Роднянская: «Меня, например, никакими запретами не заставишь в восклицании „Боже мой” писать первое слово со строчной буквы — ведь я помню, к Кому обращаюсь. И, с другой стороны, откуда я имею прикосновенность к редактированию, не стану понуждать атеиста к букве прописной: ведь для него *бог* монотеизма — такой же мифологический персонаж, как *боги* Перун или Гермес. Не следует ли в такой щекотливой области допустить свободный выбор вариантов?» (стр. 144). Осмелюсь от себя высказать предположение: может быть, в вопросах собственно *литературной правки*, когда редактор или корректор имеет дело с человеком абсолютно грамотным, но придерживающимся последовательных атеистических принципов и не желающим поступаться ими ни при каких обстоятельствах (в особенности же, когда речь идет о посмертных публикациях), следует сохранять авторскую орфографию (как и в том случае, когда автор, будучи верующим, не хочет изъяслять ложное почтение к священным понятиям чуждых ему религий — в том числе и христианства). Но в случаях *обучения* правилам грамматики людей, еще не знакомых с этими правилами (как и тогда, когда автор не возражает против соответствующей правки своего текста), следует руководствоваться нормативами.

И последнее замечание. До сих пор шла речь в основном о тех случаях, когда надо было бы «поднять» заглавную букву, но в иных случаях ее следует и «сбить». Так, в соответствии с новыми правилами вводится написание с большой буквы названий «народных праздников, связанных с церковным праздничным циклом, — таких, как *Святки, Масленица...*» (стр. 144). Слово «масленица», по правилам старой орфографии, никогда с заглавной буквы не писалось; не пишется оно так и теперь в изданиях Русской Православной Церкви (достаточно заглянуть в любой церковный календарь, изданный Московской Патриархией). Употребление «прописных букв... в названиях религиозных праздников (*Пасха, Рождество, Крещение*)», восстанавливаемое новыми правилами (стр. 143), связано с тем, что праздники эти установлены в честь событий земной жизни не обычного человека, но Богочеловека Иисуса Христа, и полное их название — «Пасха Христова», «Рождество Христово», «Крещение Господне», а еще точнее — «Рождество (или Крещение, или Сретение, или Преображение) Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», «Светлое Христово Воскресение». То же относится и к праздникам в честь Пресвятой Богородицы Приснодевы Марии — Ее Рождеству, Благовещению, Успению... Словом, ко всем двенадцатым и великим праздникам. Часто пишутся

с большой буквы и Святки — дни, являющиеся святыми именно потому, что они расположены между праздниками Рождества Христова и Богоявления и включают праздник Обрезания Господня. Но масленица — праздник чисто фольклорный, в истоке своем языческий, допущенный Церковью лишь вследствие утраты им первоначального языческого наполнения, и уравнивать его в достоинстве с христианскими торжествами — по меньшей мере странно. И тут снова вспоминаешь о неразрывной связи между орфографией и менталитетом. Если еще совсем недавно атеистическая идеология стремилась утвердить свое превосходство за счет грубого унижения (в том числе и чисто графического) всех понятий, связанных с религией, то теперь вокруг нас разлилось безбрежное море оккультизма и разнообразных суеверий, так что ежедневно со всех сторон мы слышим призывы «вернуться к обычаям предков», «обратиться к народной мудрости», «найти общий язык с природой», «услышать голос земли» и проч., и проч. (разумеется, ни о какой рефлексии по поводу «мудрых обычаев» речь просто не идет: сама их древность является главным аксиологическим критерием их оценки). Безусловно, я никоим образом не склонна приписывать подобные настроения членам Орфографической комиссии РАН, но мне хочется надеяться, что профессиональные лингвисты не могут безучастно относиться к тому, популяризации *каких* взглядов они невольно содействуют, «возвышая» масленицу и вообще так легко сблизив понятия «церковный» и «народный».

Таковы соображения, которыми я сочла необходимым поделиться в связи с новомирской статьей о предстоящей реформе орфографии. Я долго колебалась, следует ли писать это письмо, предполагая, что подобные суждения будут высказаны в печати кем-то другим — более компетентным в данной области человеком. Но поскольку на сегодняшний день я не знаю ни одного такого отклика, то я решила — впервые за 31 год своей жизни — написать редактору журнала. Может быть, что-то из этих размышлений покажется Вам созвучным.

С самыми искренними чувствами

Наталья Герасимова.

Саратов.

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН МАСТЕРУ

Библиотека-музей поселка Овсянка приглашает всех почитателей таланта **Виктора Петровича Астафьева** принять участие во *Всероссийской заочной читательской конференции «Наш последний поклон»*, которая будет проходить в течение 2002 года.

Свои впечатления, размышления, а также воспоминания о личных встречах с Мастером просим присылать по адресу:
663080, Красноярский край, поселок Овсянка, Библиотека-музей.

Наиболее интересные письма будут публиковаться на страницах *«Литературной газеты»*, газет *«Литературная Россия»* и *«Красноярский рабочий»*, литературно-художественных журналов *«Знамя»*, *«День и ночь»*.

Телефоны для справок: Овсянка (через заказ), 2-79-30, 2-77-87.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Юрек Бекер. Яков-лжец. Перевод с немецкого Евгении Фрадкиной. Предисловие Людмилы Улицкой. М., «Дружба народов», «Текст», 2001, 223 стр., 4000 экз.

Роман, написанный в 1969 году немецким писателем, выходцем из Польши, о переезде автором в детстве — о жизни в еврейском гетто в годы Второй мировой войны.

Вардван Варжапетян. Тот, кто построил ковчег. Повесть. М., «НОЙ», ООО «Редакция журнала „Новое время“», 2001, 96 стр.

«...запомни: будь ты дитя пахаря или короля, султана или водоноса, торговца или поэта, будь ты любого цвета кожи, островитянин или обитатель джунглей, житель пустыни или заоблачных гор... — все мы потомки Ноя. Капелька его крови в каждом из нас течет, а значит, все люди — родня...» — повествователь, «сын Вардгеса, внук Наапета, правнук Григора...», рассказывает младшему брату историю Ноя и Ковчега. Посвящение: «В светлый год 1700-летия принятия Арменией христианства приношу эту книгу народу моему».

Игорь Вишневецкий. Воздушная почта. Стихи 1996 — 2001 годов. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 93 стр.

Третья книга стихов русского поэта, живущего в США. Вышла в серии «Премия Андрея Белого», предисловие Ильи Кукулина.

Григорий Дашевский. Дума иван-чая. Стихи 1983 — 1999. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 88 стр.

Новая книга московского поэта, вышедшая в серии «Премия Андрея Белого» с предисловием Елены Фанайловой. «Дашевский устраняет литературного переводчика, стоящего между ситуацией и стихом. ...Поэзии Дашевского необходимо каждый раз рождаться заново, иначе она не сможет сохранить то, ради чего и существует: внезапность, сиюминутность» (из отзыва М. Айзенберга).

В. М. Дорошевич. На смех. Составление, подготовка текстов, вступительная статья и примечания Д. Николаева. М., «Лаком», 2001, 384 стр., 2500 экз.

Циклы рассказов Дорошевича 1907 и 1912 годов.

Аркан Карив. Переводчик. **Юрий Карабчиевский.** Жизнь Александра Зильбера. Предисловие Леонида Бахнова. М., «Мосты культуры» — Иерусалим, «Гешарим», 2001, 368 стр., 2000 экз.

Роман «Жизнь Александра Зильбера», писавшийся в начале семидесятых «в стол» и для гамиздата, — это художественное осмысление судеб русского еврейства в послевоенном СССР. Его своеобразным и закономерным продолжением стал роман, написанный сыном автора «Зильбера» Арканом Каривом (до эмиграции — Аркадием Карабчиевским), — о превращении русского еврея в израильтянина. Герою своего романа Карив дал то же имя — Зильбер. Объединенные под одной обложкой тексты двух очень близких людей и разных писателей образуют и свой собственный сюжет: если перед отцом еще стоял выбор — ассимиляция или исход, то, похоже, для его сына этого вопроса не осталось. Разные и по-разному написанные — «медленная с великим множеством подробностей и нюансов, насыщенная бесконечной рефлексией манера Карабчиевского. И артистичная, стремительная, исполненная иронии, бравады и чуть (в рамках допустимого) приправленная цинизмом манера Карива» (Леонид Бахнов), — оба романа повествуют об одном; сын предложил свое завершение начатого отцом сюжета — и в жизни, и в литературе.

Николай Кононов. Пароль. Зимний сборник. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 107 стр.

Новая книга петербургского поэта в серии «Премия Андрея Белого» с предисловием Вячеслава Курицына. «Кононов — чемпион России по длине поэтической строки. ...Кононовская протяженность выстреливает по всем векторам». Впоследствии «строка резко сжимается, образ уплотняется, обстоятельно повествовательное высказывание превращается в сентенцию и эссенцию».

Сергей Ландо. Записки на ходу. СПб., «Северо-Запад», 2001, 80 стр.

Сборник рассказов петербургского прозаика, впервые обратившего на себя внимание публикациями в журнале «Постскриптум» (см. «Новый мир», 1997, № 1).

Виктор Пивоваров. Влюбленный агент. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 288 стр.

«Лирико-культурологическая» автобиографическая проза художника, отдушиной для которого в 70-е годы было издательство «Детская литература» — оформление детских книг давало художнику в те годы определенную творческую свободу, и книжная графика Пивоварова — одно из самых интересных явлений изобразительного искусства того десятилетия. С 1982 года он — житель Праги, живописец, график, начавший свою «Вторую жизнь» (так называется вторая часть книги, посвященная пражскому периоду), заговоривший «по-западному», но «с чудовищным акцентом», и, как показала эта книга, — писатель.

Д. А. Пригов. Исчисления и установления. Стратификационные и конвертационные тексты. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 320 стр.

«...набор текстов, отличных от стихов и прозы этого автора... автор делает упор на такие привычные человеку слабости или, если угодно, страсти, как подсчитывание никому не нужных вещей и переводение одного в другое...» (из аннотации). «Если достоинства русской литературы обозначить через 1, то китайская потянет на 0,99. Немецкая — на 0,89. Английская — на 0,87. Французская — на 0,785... Я потяну на 0,31» (из текста).

Гертруда Стайн. Автобиография Элис Б. Токлас. Пикассо. Лекции в Америке. Составление и послесловие Е. Петровской. М., «Б.Г.С.-Пресс», 2001, 607 стр., 5000 экз.

С преступным для нашей литературы опозданием входят в культурный обиход тексты одного из самых интересных и значительных стилистов (практиков и теоретиков) в прозе XX века. Вслед за уже известным нам переводом И. Ниновой «Автобиографии Алисы Б. Токлас» («ИНАПРЕСС», 2000; см. рецензию Е. Свитневой в «Новом мире», 2001, № 7) в нынешнем издании эта вещь дана в переводе В. Михайлина; также в издании вошли книга о Пикассо (перевод Н. Малыхиной) и программный цикл лекций о литературе и о писательской технике.

Михаил Сухотин. Центоны и маргиналии. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 146 стр.

Собрание центонных стихотворений, вышедших в книжной серии «Премия Андрея Белого» («Так провожают пароходы, / Совсем не так, как поезда... / Сидим у моря, ждем погоды... / С звездой прощается звезда...» и т. д.). Послесловие Всеволода Некрасова, в котором он обращается к новой современной поэзии («Кибиров — Пригов»), чтобы заявить: «...и г... же вы, ребята. И не надейтесь — не вместе вы оно самое, как раньше, а вот именно то лично. Каждый из вас по отдельности, персонально. Но. Все-таки не все» («не все» здесь — это Сухотин и Некрасов). Открывает книгу вступительная статья автора, в которой он отмечает высказанное в критике мнение, что в его стихах «личное начало уходит не только из интонации, но и из стиля», заявляя, что его стихи «составляют не цитаты или парафразы, а собственно авторская речь».

Улов. Современная русская литература в Интернете. Выпуск 3 (весна-2001). М., «АРГО-РИСК»; Тверь, «Колонна», 2001, 236 стр.

Сборник составлен по итогам весеннего, 2001 года, конкурса сетевой литературы «Улов» (<http://rating.rinet.ru/images/ulov.gif>). Победителями этого конкурса стали: в поэзии — Вадим Месяц, «Несколько мифов о Хельвиге»; Наталья Горбаневская, «Из книги 2000 года»; Дмитрий Воденников, «Как надо жить»; Сергей Завьялов, «Диалоги в царстве теней»; Дарья Суховой, «Элегии эпохи Путина»; в прозе — Лев Усыскин, «В городе N»; Леонид Костюков, «Великая страна»; Ольга Шамборант, «Эссе». А также в сборник включены получившие высокую оценку членов жюри стихи Григория Данского, Василия Чепелева, Кати Капович, Владимира Кучерявина, Дмитрия Строевцева, Олега Ершова, Голи Монголина, Андрея Полонского, Нины Виноградовой и проза Николая Байтова, Аркадия Бартова, Ирины Шостаковской, Сергея Крюкова, Сергея Денисова, Ростислава Клубкова, Ирины Дубровской, Александра Железцова. Отзыв о текстах см. в «WWW-обзрении» («Новый мир», 2001, № 9).

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Записные книжки. Перевод с английского, составление, вступительная статья А. Зверева. М., «Вагриус», 2001, 112 стр., 2500 экз.

В отличие от записных книжек Марка Твена, Альбера Камю и некоторых других писателей. изданных «Вагриусом» в составивших уже небольшую библиотеку серии

«Записные книжки», записи Фицджеральда вполне функциональны, это отнюдь не образец определенного литературного жанра. Художественная составляющая этого издания — помещенные в книге эссе «Отзвуки века Джаза» и «Крушение».

Ингер Эдельфельдт. Удивительный хамелеон. Рассказы. Перевод со шведского М. Людковской. М., «Текст», 2001, 267 стр., 2000 экз.

Впервые на русском языке одна из самых известных современных шведских писательниц; «...зрелый мастер стиля, удивительное соединение Астрид Линдгрэн и Франца Кафки» (Йоран Хэгг).



Город и деревня в Европейской России. Сто лет перемен. Монографический сборник. Редакторы-составители Т. Нефедова, П. Полян, А. Трейвиш. М., О.Г.И., 2001, 560 стр., 2000 экз.

Вдохновителем идеи этой книги является В. П. Семенов-Тянь-Шанский как автор классического труда «Город и деревня в Европейской России» (СПб., 1910). Авторский коллектив нынешнего монографического сборника продолжает начатую почти сто лет назад работу уже на материале XX столетия, приведя в соответствие с новым материалом и задачами «концептуальный и методический арсенал исследования»; «...в книге рассматриваются основные демографические итоги уходящего столетия, стадии расселения, урбанизации и индустриализации, стабильные черты рисунка расселения, основные предпосылки и результаты экономического развития городов, преемственность и изменения в сельской местности, проникновение горожан в деревню и сохранение сельских черт городами, политическая и религиозная специфика города и деревни. Многочисленные карты, таблицы и статистические приложения позволяют провести сравнительный анализ состояния городов и деревни в начале и конце XX века» (из издательской аннотации).

Владимир Пропп. Морфология волшебной сказки. М., «Лабиринт», 2001, 144 стр., 2000 экз.

Научное переиздание классической работы Проппа. Текст выверен по прижизненному изданию 1928 года. Научная редакция и текстологический комментарий И. В. Пешкова.

Д. Сарабьянов. Модерн. История стиля. М., «Галарт», 2001, 344 стр., 5000 экз.

Монография одного из ведущих отечественных искусствоведов. «Здесь все предпосылки и истоки модерна, все его национальные разновидности и художественные вариации, иконография, принципы формообразования и двойственная природа. Каждая глава книги — это, по сути, мини-монография на отдельную тему. На цветных иллюстрациях — малоизвестные в России работы и программные памятники модерна» (М. Саврасов — «Книжное обозрение»).

Бенедикт Сарнов. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., «Материк», 2002, 600 стр., 5000 экз.

Остроумно, с публицистическим напором написанное социолингвистическое исследование.

Умберто Эко. Как написать дипломную работу. Перевод с итальянского Елены Костюкович. М., Книжный дом «Университет», 2001, 240 стр., 5000 экз.

Неожиданная для нас книга Эко — методическое пособие, написанное для студентов, где автор систематизирует еще и свой собственный опыт преподавателя и ученого; сугубо деловой, функциональный текст: как выбирать тему, как работать с литературой, как строить свой рабочий план, как оформлять работу и т. д. и, наконец, как написать полноценную научную работу, имея ограниченный доступ к литературе, — все это в конце концов читается как сочинение, пронизанное поэзией научного труда. Книга полезна не только студенту или научному работнику, но и любому пишущему.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«*Время MN*», «*Время новостей*», «*Гуманитарный экологический журнал*», «*Демократический выбор*», «*День литературы*», «*Ex libris НГ*», «*Завтра*», «*Звезда*», «*Знание — сила*», «*Иерусалимский журнал*», «*Известия*», «*Иностранная литература*», «*Интеллектуальный Форум*», «*Искусство кино*», «*Континент*», «*Лебедь*», «*Литературная газета*», «*Литературная Россия*», «*Москва*», «*Московский церковный вестник*», «*Народ Книги в мире книг*», «*НГ-Религии*», «*Независимая газета*», «*Независимое военное обозрение*», «*Неприкосновенный запас*», «*Общая газета*», «*Огонек*», «*Петрополь*», «*Полис*», «*Посев*», «*Правое дело*», «*Русская мысль*», «*Русский Журнал*», «*Труд*», «*Урал*»

Сергей Аверинцев. В защиту тепла человеческого дыхания. — «Общая газета», 2001, № 49, 6 декабря <<http://www.og.ru>>

«Я нахожу чрезвычайно достойным и по-человечески честным то обстоятельство, что сам Булат Шалвович никогда не отрекался от Игоря Северянина как своего предшественника». Сокращенный вариант выступления на Второй международной научной конференции «Булат Окуджава: его круг, его век».

«...мною владеет тревога, — продолжает **Сергей Аверинцев**, — тревога традиционалиста, перед зрелищем повсеместного вытеснения из мировой литературы самых основ отношения к поэзии как к устному, звучащему искусству. <...> Современный верлибр все чаще ориентирован на существование и самоосуществление в пространстве письменных знаков, которые должны быть считаны глазом примерно так, как компьютер сканирует написанный текст. Не остается места для шевелящихся губ, для человеческого дыхания. Верлибр перестает быть свободным ритмом, соотносимым с ритмами традиционной метрики, и превращается в простое отсутствие ритма. Я думаю, мы переживаем момент, когда традиция, восходящая к незапамятным временам выговариваемого слова, стоит перед вызовом, которого не знала никогда...»

Ср.: «Читающий свои стихи поэт — поэт на сцене — представляет не те несколько стихотворений, с которыми он познакомил публику. В его интонации, даже мимике общается некое *целое* его речи», — утверждает поэт **Михаил Айзенберг** («Стихи для сегодняшнего дня» — «Время новостей», 2001, № 196, 24 октября <<http://www.vremya.ru>>).

Архимандрит Августин (Никитин). Христианя или Исламия? — «Посев». Общественно-политический журнал. 2001, № 12 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

Статья с замечательным эпиграфом: «Уже, говорят, во Францию большая часть народа признает веру Магомета (Н. В. Гоголь, „Записки сумасшедшего“»).

Виктор Астафьев. Вкус правды. Записала Валентина Голанд. — «Литературная Россия», 2001, № 49, 7 декабря <<http://www.litrossia.ru>>

Большая беседа 1989 года. «Мы написали письмо, которое было опубликовано в „Правде“. Очень мудрый человек Сергей Павлович Залыгин сказал мне: „Витя, не лезь ты в эту свару, сиди и спокойно работай. Сколько тебе годов осталось?“ Да, сейчас у нас самый умный человек в литературе, конечно, Залыгин. Хорошо, что в его руках журнал сложный, большой, а годов действительно мало осталось, и разбрасываться ими — непозволительная роскошь».

«В основном читаю журналы „Новый мир“ и „Знамя“. Читаю и книжки — все, что успеваю. А так — сижу за столом. Когда я сижу за столом — я счастлив! Как вылезает (а я человек нервный!) — тяжело», — рассказывал **Виктор Астафьев** в одном из последних интервью — «Независимая газета», 2001, № 237, 21 декабря <<http://www.ng.ru>>

«Трудно найти еще такого же пламенного реакционера, защищающего вечные консервативные ценности от современной цивилизации», — пишет **Владимир Бондаренко** («Последний поклон Астафьеву» — «День литературы», 2001, № 13, декабрь).

См. также: **Валентин Курбатов**, «Завещание» — «Литературная Россия», 2001, № 52, 28 декабря.

Юрий Афанасьев. «Соответствующий порядок» как пролог грядущей беды. — «Общая газета», 2001, № 52/1, 27 декабря.

«[России], кажется, не хватает собственной глубинной архаики, требуется еще подключение к регрессивной стратегии глобального социального развития, воплощаемой

США. <...> Наше присоединение к цивилизованному миру оборачивается соединением самых темных, непроявленных факторов российской жизни — в целом по преимуществу „теневой” — с не менее темными, закрытыми от демократического контроля факторами политической жизни Запада».

Дмитрий Бавильский (www.grani.ru). Чего хочет женщина — того хочет Букер. — «Демократический выбор». Еженедельная либеральная газета. 2001, № 50, 14 — 20 декабря <<http://www.demyyb.ru>>

«Сложилась странная ситуация: наконец появился рынок романного чтения, а вот сами романы — нормальные, чтобы для чтения, а не для изучения, — стали большой редкостью. В этом смысле и книга Людмилы Улицкой [„Казус Кукоцкого”], и ее [буковская] победа — дело хорошее и методологически продвинутое».

«Если говорить о победителе, я сожалею, что Людмила Улицкая не автор нашего журнала [„Знамя”]. Когда мы печатаем экспериментальную прозу, всегда задаемся вопросом: а как насчет почитать? Это именно тот случай. И, может быть, хорошо, что именно она получила Букера. Ведь раз за разом премия отмечала авторов, круг читателей которых достаточно узок, а премиальный роман интересен самим собратям литераторам. В романе Улицкой есть момент семейной саги, в которой можно жить. Это очень качественная беллетристика, и я понимаю ее успех на Западе. Люди могут идентифицироваться с этим опытом», — говорит член Букеровского жюри **Наталья Иванова** («Независимая газета», 2001, № 235, 19 декабря).

«Мне чрезвычайно важна реакция „нравится — не нравится”, которая для профессионального разговора не годится», — говорит **Людмила Улицкая** («Ex libris НГ», 2001, № 46, 20 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>).

Биология, термояд и цифровая вечность. Академик Евгений Велихов о наиболее значимых научных достижениях XX века. Беседу вел Сергей Шаповал. — «Независимая газета», 2001, № 244, 30 декабря <<http://www.ng.ru>>

«В 90-е годы <...> было получено то, что физики обещали: достигнута точка, в которой вложенная мощность равна выделяемой. Мы получили плазму, в которой термоядерная реакция идет и выдерживаются ее основные параметры. Компьютеры в этом деле нам мало помогли, все было сделано на эмпирическом уровне на крупных установках, — говорит **Евгений Велихов**. — С XIX века нам известен атом, в начале XX века появилась теория строения атома, затем было открыто ядро и объяснено его устройство. Сегодня открыта так называемая кварк-глюонная плазма. <...> С моей точки зрения, это кардинальный момент, потому что мы начинаем изучение нового состояния вещества — субъядерное».

Юрий Бобылов. Расовый отбор в НКВД. Рассекреченные документы проливают свет на формирование тайной государственной идеологии в СССР. — «Независимое военное обозрение», 2001, № 46, 14 — 21 декабря <<http://nvo.ng.ru>>

Документы НКВД 1938 — 1939 годов позволяют, по мнению Ю. Бобылова, по-новому взглянуть на мировоззрение «такой неординарной личности, как Берия». Не менее примечательны рассуждения автора о том, как важен «расовый фактор» для формирования перспективной военно-политической стратегии России в XXI веке: «Так, именно расовая теория вносит существенные поправки в идеологию российской государственности, особенно в свете существенных расовых отличий русских как преимущественно нордического народа арийского расового типа от украинцев, имеющих ярко выраженную восточную тюркскую окраску. Украинцы, несмотря на их близкую славянскую языковую культуру, представляют собой смешанную средиземноморскую расу с сильной примесью тюрков. <...> Другой аспект расовой идеологии и развития в современном обществе евгенических антропотехнологий (включая исторически неизбежное и экономически эффективное клонирование сильных и одаренных людей) обусловлен обостряющимися отношениями светских и церковных духовных традиций. Как православной, так и исламской религией веками какие-либо опыты над людьми запрещались. Между тем грядущие генетические и иные социальные антропотехнологии по улучшению качества конкретной расы, в сущности, „богоугодны”, ибо имеют своей целью быстрое и эффективное (? — А. В.) приближение (?? — А. В.) человека к Богу (??? — А. В.)...»

В. Е. Борейко. Морально-религиозные основы защиты дикой природы. — «Гуманитарный экологический журнал». Издатели: Киевский эколого-культурный центр, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (WCPA/IUCN). Журнал издан при поддержке Фонда МакАртуров. Главный редактор В. Е. Борейко.

ко. Тираж 500 экз. Киев, 2001, том 3, выпуск 2. Электронная версия: <http://www.in.com.ua/~kekz/human.htm>

Дикая природа — попираемое меньшинство и обладает моральными правами на свободу и существование. Дикая природа — это независимое государство. Дикая природа есть Совершенно Иное. Дикая природа является священным пространством. Дикая природа создана Богом. Не только люди, но и дикая природа подлежит Спасению. См. также: **В. Е. Борейко**, «Современная идея дикой природы» («Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2001, том 3, спецвыпуск «Дискуссия по идеологии охраны дикой природы»).

Николай Боровко. Портретная галерея «Чевенгура». — «Континент», № 109 (2001, № 3) <<http://magazines.russ.ru/continent>>

«Прямые параллели Чевенгур — Кремль многочисленны, прозрачны (? — А. В.) и весьма красноречивы».

Иосиф Бродский. Речь на стадионе [перед выпускниками Мичиганского университета в 1988 году]. Перевела с английского Елена Касаткина. — «Петрополь». Литературная панорама. Главный редактор и издатель Николай Якимчук. Выпуск 9 (Санкт-Петербург, 2000).

«Старайтесь не выделяться, старайтесь быть скромными. <...> старайтесь носить серое. Мимикрия есть защита индивидуальности, а не отказ от нее. Я посоветовал бы вам также говорить потише, но боюсь, вы сочтете, что я зашел слишком далеко».

Алина Витухновская. Я не люблю Европу. Стихи. — «День литературы», 2001, № 13, декабрь <<http://www.zavtra.ru>>

«Любить Аврору и Рейхстаг, / Топор и бритву в кокаине, / И свастику, и красный флаг, / И Гитлера, и Муссолини...»

Выступление архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия на съезде Православной молодежи Урала. — «Московский церковный вестник», 2001, № 20, ноябрь.

«Нарастающее [нео]язычество — это не только интеллектуальная мода, это еще и реальная [окультная] практика».

«Выразить бескоенность намерением увековечить в 2002 году в Москве в скульптурной композиции демонические силы, представленные в романе М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“, а также представить в карикатурном виде образ Христа Спасителя...» (из Итогового документа I съезда православной молодежи Уральского федерального округа).

Татьяна Геворкян. «Несколько холодных великолепий о Москве». Марина Цветаева и Осип Мандельштам. — «Континент», № 109 (2001, № 3).

Он о ней. Она о нем.

М. Д. Голубовский. Геном человека и соблазны детерминизма. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Среди прочего — о *роковой необратимости* опытов по выпуску в природу трансгенных живых организмов: «Нельзя вернуть биологическое время, когда новой формы жизни не было, нельзя вернуть ее „взад“ из биоценоза...»

Грозит ли нам новый застой? Беседу вела Людмила Лунина. — «Огонек», 2001, № 50, декабрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

Говорит издатель **Александр Иванов** («Ad marginem»): «Российские же философы и — шире — гуманитарии 1990-е годы про<...>ли. На наших глазах произошла революция, а мы в это время занимались перевариванием каких-то экстравагантных западных идей».

Владимир Денисов. Незвестная война ФБР. Дело Тимоти Маквея стало одним из эпизодов оперативной игры американских спецслужб с международным терроризмом. — «Независимое военное обозрение», 2001, № 45, 7 — 14 декабря.

«Среди независимых экспертов в США преобладает мнение, что трагедия в Оклахоме [19 апреля 1995 года] — результат взрыва не одного, а нескольких, точнее, пяти боезарядов, что зафиксировано в просочившемся в печать секретном докладе Пентагона. <...> Сейсмостанции зарегистрировали два импульса с разрывом более четырех секунд. Бомба, по версии ФБР, находившаяся в грузовике, не могла вызвать поврежденный здания, наблюдавшихся после взрыва. Версию нескольких взрывов подтверждают также экспертиза, проведенная на авиабазе ВВС Эглин во Флориде, и расчеты, которые подготовил бригадный генерал Бентон Партин, бывший начальник лаборатории технологий вооружений ВВС США. Некоторые специалисты указывают на признаки

использования „барометрических”, или вакуумных, бомб, боеприпасов объемного взрыва. По словам Лестера Мартца, директора регионального отделения БАТФ в Далласе, штат Техас, сказанным им вскоре после взрыва, тогда действительно проводилась обманная тайная операция. На вопрос, был ли [Тимоти] Маквей в нее вовлечен, Мартц ответил: „Этого я не могу ни подтвердить, ни отрицать”. <...> „Имеется достаточно информации для утверждения, что взрыв в Оклахоме был сорвавшейся контртеррористической провокацией, — считает, в частности, генерал Партин. — Если вы планируете такие операции и определенная их часть проваливается, тем более преднамеренно, то вы скрываете все, что сделали”...»

Томаш Зарыцкий. «Как долго можно жить при такой наглой лжи?» Из письма русскому другу о поездке в Китай в июле 2001 г. — «Посев», 2001, № 12.

«Как мне кажется, там, [в КНР], строится политическая система, соединяющая большинство недостатков коммунизма и капитализма. С одной стороны, дикий капитализм XIX века и постепенный отказ от социальных гарантий <...> а с другой стороны, отсутствие политических прав».

Игорь Зотов. Пепел *high* класса. — «Ex libris НГ», 2001, № 47, 27 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>

«В либеральное издательство „Ад маргинем” позвонил некий писатель из Израйля и с испугом спросил: правда ли, что у вас выходит Проханов? Ему ответили: правда. А он: ну все равно, я высылаю вам свой новый роман».

«На литературном пространстве России давно уже, на мой взгляд, воцарилось время Проханова», — говорил **Владимир Бондаренко** на обсуждении романа Александра Проханова «Господин Гексоген» в ЦДЛ («Завтра», 2001, № 52, 25 декабря <<http://www.zavtra.ru>>).

См. также: **Александр Проханов**, «Дух дышит, где хочет...» («Завтра», 2001, № 49, 4 декабря) — *очерки московской свалки*; **Александр Проханов**, «Меж люлькой и гробом» («Завтра», 2001, № 42, 16 октября) — *очерки московского крематория*.

Георгий Иванов. «Арзамас». Подготовка текста и послесловие А. Г. Меца. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 11.

Очерк, непосредственно примыкающий к мемуарным циклам «Китайские тени» и «Петербургские зимы» и напечатанный в парижских «Последних новостях» 31 октября 1926 года.

«...Искусство было и есть любовь и подвижничество». Из архивных материалов. Предисловие Н. И. Дикушиной. — «Литературная газета», 2001, № 52, 26 — 31 декабря <<http://www.lgz.ru>>

К 100-летию со дня рождения А. А. Фадеева. Его письма — в Комиссию партийного контроля, к Ангелине Степановой, Михаилу Исаковскому, Николаю Тихонову. Письма к нему — от Николая Заболоцкого, Василия Гроссмана, Ивана Макарьева. Тут же — воспоминания **Эсфири Шуб** «Последняя встреча». См. также: **Андрей Немзер**, «Разгромленный Генеральный» — «Время новостей», 2001, № 235, 24 декабря <<http://www.vremya.ru>>

«Скоро будет 100-летний юбилей со дня рождения А. А. Фадеева, и поэтому я хотел бы напомнить вам его творчество, особенно роман „Молодая гвардия”, в качестве неоклассического-совершенного примера изображения уникальной советской богооставленности. С каким неподдельным и исторически аутентичным бесстрашием идут юные молодогвардейцы на смерть! <...> Ведь его бесстрашные герои настолько уверовали в непоколебимость и бессмертие своего антихристианского мира, что для них уже напрочь исчезает всякий страх и сама перспектива личной, собственной смерти. Они просто знают о своей вечной жизни на этой земле — по образу и подобию мавзолея. По образу и подобию любого надгробия и камня. Но моя метафизическая интерпретация ни в коей мере не отменяет и обычный, можно сказать, классический героизм молодогвардейцев — достаточно вспомнить сцены их пыток! И тем не менее, по существу, они погибли без экзистенциального ужаса, как потом и сам А. А. Фадеев», — читаем в статье **Петра Калитина** «Дьявол в русской литературе» («День литературы», 2001, № 13, декабрь).

Юрий Каграманов. За что они ненавидят Америку? — «Посев», 2001, № 12.

«Но коль скоро ущербная [западная] цивилизация сталкивается с варварством разрушителей, она приобретает безусловную ценность, и ее надо защищать всеми доступными средствами: разрушения ничего не могут поправить...» См. также статью **Ю. Каграманова** «Ислам, Россия и Запад» — «Новый мир», 2001, № 7.

Ср.: «Америка стала объектом удара не потому, что она дьявол, и не потому, что она ангел, а потому, что она — самое сильное государство мира» (**Максим Соколов** — «Известия», 2001, № 173, 20 сентября <<http://www.izvestia.ru>>).

«Мы живем в мире, в котором абсолютно все может использоваться как средство совершения теракта, — пишет **Андрей Новиков** („День литературы”, 2001, № 13). — Так что технических способов предотвращения терроризма не существует: обществу следует задать себе вопрос, почему вообще кому-либо приходит мысль совершать это».

Арнольд Каштанов. Страна сия не есть место покоя. *БЕРЕШИТ* (Книга Бытия) как литературное произведение. Опыт прочтения. — «Иерусалимский журнал». Ежеквартальный журнал современной израильской литературы на русском языке. Главный редактор Игорь Бяльский. Иерусалим, 2001, № 7 <<http://www.antho.net/L>>

«*БЕРЕШИТ* все еще остается бестселлером...» Неортодоксальное эссе Арнольда Каштанова об Иосифе и его братьях сопровождается принадлежащим **Пинхасу Полонскому** недельным комментарием к Горе, в котором отражена традиционная для ортодоксального иудаизма интерпретация описываемых событий. «История про Иосифа и его братьев является одной из самых известных историй Торы — и в то же время одной из самых непонятных» (П. Полонский).

См. также рецензию **Михаила Горелика** на один из номеров «Иерусалимского журнала» — «Новый мир», 2000, № 8.

Руслан Киреев. Я видел их. — «Труд-7», № 239, 27 декабря 2001 — 3 января 2002 <<http://www.trud.ru>>

Николай Рубцов. Борис Примеров. Георгий Семенов. Сергей Довлатов. Сергей Наровчатов. Дмитрий Голубков. Юрий Коваль. Варлам Шаламов. Олег Волков.

Анатолий Королев. Гений и злодейство. — «Искусство кино», 2001, № 11 <<http://www.kinoart.ru>>

«Смею предположить, что автором диплома [рогоносца] был сам Пушкин».

Александр Кривоногов. Распровавшись с колымской тайгой. Из воспоминаний. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 12 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

1936 — 1947 годы. «Я стоял вместе с сотнями молящихся, слушал священные песнопения и плакал, глядя на ухоженные могилы под белоствольными березками, вспоминая о тех, кто закопан в мерзлую землю, в траншеи без креста и последнего „прости” <...>. Вечная память тебе, многострадальный русский человек. Мы, оставшиеся в живых, поклонимся за всех вас распятию Христа».

Владимир Крупин. «Мысль — дитя сомнений и одиночества». Беседу вела Марина Ларина. — «Литературная газета», 2001, № 50-51, 12 — 18 декабря.

«Царь ниневитян оделся в нищенское рубище, сел на дорогу и посыпал себе голову пеплом. И помилована была Ниневия. Вот наш путь».

М. Л.: *Как-то не очень представляется Путин в лохмотьях, сидящий на Красной площади и кающийся.*

Прижмет, и сядет».

Милан Кундера. Ненужное наследие Сервантеса. Перевод с французского Натальи Санниковой. Вступительная статья Льва Закса. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 12.

Эссе из книги «Искусство романа» (1986). «Тоталитарная Истина исключает относительность, сомнение, поиск и, следовательно, никогда не сможет смириться с тем, что я назвал бы *духом романа*. Но разве в коммунистической России не пользовались большим успехом сотни и тысячи романов, опубликованных огромными тиражами? Да, только эти романы больше не продолжают освоение бытия. Они не открывают ни одной новой частицы существования; они только подтверждают то, что уже было сказано; более того: в этом подтверждении того, что сказано (того, что нужно сказать), для них и заключается смысл существования, слава, польза обществу, их обществу. Ничего не открывая, они больше не участвуют в *премственности открытий*, которую я называю историей романа; они находятся *вне* этой истории. Другими словами: это *романы после истории романа*. <...> И теперь мы знаем, как умирает роман: он не исчезает; он выпадает из своей истории. Его смерть протекает спокойно, незаметно и никого не возмущает».

Симона Ландау. На краю круга девятого. Страницы семейной хроники. Из воспоминаний «Мост в тумане. Семейная хроника XX века». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 12.

Репрессии и реабилитации. Начало см.: «Звезда», 1999, № 8.

Легенды и факты. [Письмо в редакцию]. — «Литературная газета», 2001, № 50-51, 12 — 18 декабря.

В. Твардовская, М. Хитров, С. Лакшина — против **Станислава Куняева** (см. его интервью: «Литературная газета», 2001, № 46, 14 — 20 ноября). Цитата: «„Приватизируя”

в качестве исконных авторов своего журнала [„Наш современник”] таких писателей, как С. Залыгин, В. Белов, В. Шукшин, В. Астафьев, Е. Носов, Ф. Абрамов, Б. Можаяев, С. Куняев противопоставляет их поздние произведения „Новому миру” 60-х гг., умалчивая о датах их выхода в свет и не упоминая о самой тесной связи авторов с журналом Твардовского». В заголовке использовано название известной новомирской статьи В. Кардина 1966 года.

«По моему разумению, отец не был в оппозиции к власти в том, опошленном смысле, в каком слово используется сегодня. Он находился в более значительном, глубоко противостоянии. Не столько в политическом, сколько нравственном, и осознавал это как борьбу за демократию, которая для него была наполнена социальным содержанием», — говорит **Валентина Твардовская** («Мы слышим друг друга. О Твардовском вспоминает его старшая дочь Валентина, доктор исторических наук». Беседу вела Элла Максимова. — «Известия», 2001, № 232, 18 декабря).

Либеральное послание. Разработано креативным советом СПС (Л. Гозман, Д. Дондурей, Д. Драгунский, А. Колесников). — «Правое дело». [Партийная газета «Союза правых сил»]. 2001, № 16, 7 — 13 декабря <<http://www.sps.ru>>

«...4. Я смогу прожить без своей страны, как бы тяжело мне ни пришлось на чужбине. Моя страна не сможет прожить без меня, потому что без меня и мне подобных свободных людей она превратится в дикое поле...»

«Родиной для либерала является весь мир, и события 11 сентября это доказали как нельзя лучше. Родина — это не некое отгороженное пространство, а единое человечество», — убежден **Сергей Юшенков** («Мы аутентичные либералы» — «Независимая газета», 2001, № 237, 21 декабря). Этот человек является не только сопредседателем «Либеральной России» <<http://www.liberussia.ru>>, но и заместителем председателя думского комитета по безопасности.

Анатолий Либерман. «В пустыне чахлой и скупой...». Юрий Дружников под градом послушливых стрел. — «Лебедь». Независимый бостонский альманах. Бостон, 2001, № 250, 16 декабря <<http://www.lebed.com>>

«Отчего так заботит критиков адрес Ю. Дружникова?..» В защиту американского профессора от его отечественных оппонентов — Ю. Нечипоренко, Е. Щегловой, А. Шитова.

Дэвид Лодж. Разные жизни Грэма Грина. Перевод с английского О. Макаровой. — «Иностранная литература», 2001, № 12 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«Согласившись сотрудничать с британской разведывательной службой, Грин откликнулся на зов судьбы, которого дожидался всю жизнь».

Игорь Манцов. Тайнство исповеди — 2. — «Искусство кино», 2001, № 11.

«Иные пытливые дамы завершают свой духовный поиск вопросом: а почему это женщине нельзя в алтарь? Нельзя. Потому что. Замолчи...» Статью первую см.: «Искусство кино», 2001, № 1.

См. также кинообозрения **Игоря Манцова** — «Новый мир», 2002, № 2, 4.

Константин Михайлюк. Клонировали человека. И этим, с точки зрения верующих, серьезно нарушили его права. — «НГ-Религии», 2001, № 23, 14 декабря <<http://religion.ng.ru>>

«По мнению Ватикана [и Русской Православной Церкви], использование эмбриональных клеток для клонирования является преступлением независимо от конечной цели».

Евгений Мороз (СПб.). Русско-еврейские отношения по версии Александра Исаевича Солженицына. — «Народ Книги в мире книг». Издание ассоциации еврейских библиотек. Издается с августа 1995 года. Главный редактор Александр Френкель. Тираж 500 экз. 2001, № 35, октябрь. E-mail: frenk@lea.spb.su

«Простодушная уверенность Солженицына в своей исчерпывающей осведомленности могла бы показаться даже трогательной. <...> Солженицын ведь не просто писатель. Он — пророк, а стало быть, невольный обманщик».

См. также: **Александр Казинцев**, «Евреи, русские и Солженицын» — «Наш современник», 2001, № 12.

Андрей Немзер. Право голода. Апология застеленной кровати. — «Время новостей», 2001, № 233, 20 декабря <<http://www.vremya.ru>>

«Ох, не любит Агеев, когда кто-то знает, „как надо”. Только увидит „перст указующий” — сразу грозит. Чем? Да тем же перстом. Только „либеральным”...» Об очень интересной книге Александра Агеева «Газета, глянец, Интернет. Литератор в трех средах» (М., «Новое литературное обозрение») см. рецензию **И. Роднянской** в ближайших номерах «Нового мира».

Андрей Немзер. Русская литература в 2001 году. — «Время новостей», 2001, № 239, 28 декабря.

«В уходящем году русская литература жила нормально». См. также: **Андрей Немзер**, «Своим чередом» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Ср.: «Ибо с точки зрения великой русской минувший год — был швах...» (**Игорь Зотов** — «Независимая газета», 2001, № 244, 30 декабря).

Ср.: «С литературой все нормально. А Лимонова надо освободить» (**Сергей Шаргунов** — «Независимая газета», 2001, № 243, 29 декабря).

Валентин Непомнящий. «Мы ехали на шее классиков...». Беседовала Мария Галина. — «Литературная газета», 2001, № 52, 26 — 31 декабря.

«Леонид Хейфиц недавно сказал жестко и прекрасно: высокую культуру надо навязывать! Мне скажут: а как же свобода? А я отвечу: когда твой ребенок упрямо идет на красный свет — тащи его за шиворот, и никакой свободы! Свобода — положительная ценность только тогда, когда она в системе других ценностей. А когда свобода подменяет собой все другие ценности, когда остается одна, она истребляет все вокруг — и себя тоже».

Ревель Нетц (*The New York of Books* <<http://www.nybooks.com>>). Колочая проволока: начало и концы. Перевод Г. Маркова. — «Интеллектуальный Форум». Международный журнал. Выходит один раз в три месяца. Издатель — Глеб Павловский. Главные редакторы — Елена Пенская (Россия), Марк Печерский (Германия). 2001, № 7, ноябрь <<http://if.russ.ru>>

«К 1874 году [в США] были зарегистрированы шесть патентов на колочую проволоку...» Скот. Война. Заключение. Впервые в военном деле и для огораживания концентрационных лагерей колочую проволоку использовали британцы во время англо-бурской войны.

Майя Никулина. Место, Мастер. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 1. Бажовский сказ, уральский миф.

О сумасшедшем Циолковском, несчастном Гагарине и многом, многом другом... Беседа вел Александр Никонов. — «Огонек», 2001, № 50, декабрь.

Беседа со старшим научным сотрудником Института истории естествознания и техники РАН **Гелием Салахутдиновым**: «И оказалось, что вся наша отечественная история космонавтики сфальсифицирована... <...> А дальше я занялся Циолковским. Циолковский также целиком сфальсифицирован».

Глеб Павловский. «Обломы бывают у всех, кто работает в Кремле». Беседу вел Александр Никонов. — «Огонек», 2001, № 50, декабрь.

«Не знаю, что плохого в Законе Божьем и почему о нем нельзя сообщить ребенку, а можно сообщить о противозачаточных средствах? А о Законе Божьем он где должен узнать? На улице?»

См. также обстоятельную беседу **Глеба Павловского** с ответственным редактором газеты «НГ-Религии» **Михаилом Шевченко** («НГ-Религии», 2001, № 24, 26 декабря <<http://religion.ng.ru>>). Среди прочего: «Мы многокультурная и полиэтническая страна. Если мы опять попытаемся строить „многонациональное государство“, то окажемся массой мелких этнократий, воюющих друг с другом. Наша нация — это русская цивилизация. Российское просвещение не может строиться ни на чем другом, кроме как на восточном христианстве. Мы Европа именно в этом качестве, в другом мы не Европа» (Г. Павловский).

Александр Палей. Идеиное наследие Даниила Андреева (*pro et contra*): постановка проблемы. — «Континент», № 109 (2001, № 3).

«Поэтому к теологическим, теософским — в широком смысле слова — и философским построениям его следует относиться соответствующим образом, то есть — критически». См. также: **Вольфганг Казак**, «Даниил Андреев и смерть» — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224.

Юрий Поляков. «Птица-тройка летит в будущее». Беседу вел Александр Невров. — «Труд-7», № 239, 27 декабря 2001 — 3 января 2002.

«Однажды, еще до объединения Германии, я разговаривал с немецким писателем, и он сказал мне: „Да, я принимаю раздел Германии как историческую данность, но я с этим не согласен!“ В отношении сегодняшнего геополитического положения России я придерживаюсь точно такой же точки зрения — принимаю как данность, но не согласен».

После Аушвица в Европе больше нет поэзии. Образы и метафоры идут только из Восточной Европы, считает поэт Алексей Парщиков. Беседу вел Игорь Шевелев. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

Говорит **Алексей Парщиков**, живущий ныне в Кёльне: «Западные стихи более сухие. Они такими, может, и были, но после войны еще более это все усушили. Когда Адорно (не только он, но он был одним из) объявил, что после Аушвица метафора и образ доказали свою опасность и должны быть отброшены. Они не контролируются разумом, что приводит к сильному пропагандистскому эффекту. Они явились бродилом методов пропаганды, которые привели к европейской катастрофе времен Второй мировой войны. Европейцы исключили метафористику, образность, аффекты, о которых нельзя рассуждать, но которыми можно только восхищаться — или им ужасаться. Они ввели обязательный анализ и обязательное понимание этой поэтической речи как условие для последующей оценки. И, сделав это, они освободили многих художников от необходимости чувствовать нечто в себе исключительное, метафорическое, образное.

И. Ш.: *Ты знаешь, я в первый раз это слышу от тебя. Я всегда удивлялся странной форме нынешней европейской поэзии. И слова Адорно, конечно, знал, что поэзии после Освенцима не может быть, потому что сами страдания эти выше всякого осмысления.*

Нет, имеется в виду методология: образ подвергается обсуждению демократическими процедурами. Только когда об образе можно говорить, анализировать, встраивать куда-то, курировать его, только тогда он включен в общеевропейскую конвенцию, в культурный договор. А какие-то неконтролируемые, сумасшедшие художники — это исчадие романтизма, который тоже привел к Катастрофе, в том числе — к каким-то неясным культам, используемым нацистской пропагандой. Тень того времени, когда разумом вдруг овладела безумная стихия, — эта тень до сих пор формирует европейское отношение к образу. В немецкоязычном мире, во всяком случае».

Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II участникам богословской конференции Русской Православной Церкви «Учение Церкви о человеке», [Москва, 5 ноября]. — «Московский церковный вестник», 2001, № 20, ноябрь.

«Но нам следует со смирением признать, что учение Церкви о человеке не всегда внятно и доступно миру. Поэтому сегодня Церковь Христова призвана к убедительно-му свидетельству, к активному диалогу с обществом».

«Мне кажется, что современный мир нуждается в напоминании о том, *что* в эпоху святых отцов казалось очевидным, а сейчас совершенно забыто. О том, что человек в его земном бытии является человеком падшим. Он не может рассматриваться как основной критерий устройства социума», — пишет игумен **Иларион (Алфеев)** в этом же номере «МЦВ».

Процесс гальванизации. «Все живое в музыке сегодня вытеснено в андерграунд», — утверждает композитор Владимир Мартынов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture/song>>

«Прежде всего необходимо констатировать глобальное событие: в XX веке наступила смерть опус-музыки, то есть музыки композиторской, существовавшей с XII по XX век, — говорит **Владимир Мартынов**. — Произошло это в конце 60-х — начале 70-х годов».

«Это не значит, что музыка исчезает. Искусство музыки — явление довольно молодое, в таком виде, каким мы его знаем (сцена, публика, концерты и проч.), оно существует около трехсот лет».

«В 90-е произошло еще одно важное событие — практически исчезла композиторская партитура. <...> До конца 60-х годов XX века чтение партитуры было главным каналом знакомства с музыкой. Настоящая опус-музыка — это не только то, что слышишь, но и то, что видишь. Вы никогда не услышите то, что можно увидеть, например, в партитуре Веберна. <...> Нотопись находится вне звучания музыки, но она создает оперативное пространство, позволяющее творить чудеса со звучанием. Сейчас эти возможности закрылись, ими никто не умеет пользоваться».

«Старая модель сломана, однако люди по инерции ходят, платят деньги и маются на концертах и оперных спектаклях. Я думаю, это исчезнет, появятся новые, более удобные формы бытования музыки. За этим стоят глобальные перемены мира, он больше не будет таким, каким мы его знали. Музыка будет существовать в виде терапии или ритуала...»

Евгений Рейн. [Стихи]. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 11.
Хорошие стихи.

Михаил Ремизов. Опыт злопамятства. Заметки по следам года. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Теракт 11-го числа по праву останется в истории *абсолютным*: не только в смысле масштаба, но и в смысле полного отсутствия узкополитических, характерно шантажистских подтекстов, которые всегда сохраняют на заднем плане возможность „договориться“. „Зачем?“ — спрашивал обыватель [универсального] Вавилона, с единственной целью: остаться без ответа. Потому что ответить на этот вопрос — значило бы увидеть всю необходимость, с которой *глобальный теракт* предполагает уже наличным *глобальный суверенитет*, заявивший о себе в рамках „миротворчества“ на Балканах. Все видят, как приходят „новые эпохи“, но не все видят, как вместе с ними остаются старые. Пожалуй, это свежо: уподобить историю матрешке. „*Мир после 11-го сентября*“ — просто еще одна расписная куколка внутри „*мира после Косово*“...»

Михаил Ремизов. «Фундаментализм» против «провинциализма». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Итак, останется ли хоть что-нибудь после того, как „вычесть из России Европу, Азию и Евразию“? Если останется, то, вероятно, лишь некая *воля к России*. Но на мой вкус экзистенциалиста, большего и не надо».

Давид Самойлов. Разное-всякое. Публикация и предисловие Галины Медведевой. — «Петрополь». Литературная панорама. Выпуск 9 (Санкт-Петербург, 2000 г.).

«Верблюды на улицах Берлина в мае 1945 года. Вот что было страшно: пришла Азия. Верблюды шли невозмутимо, поплеывая на окружающее» (запись 1981 года). *Страшно — кому? Немцам в 1945 году? Самойлову в 1945 году? Самойлову в 1981 году?*

В этом же выпуске находим еще одну публикацию **Давида Самойлова**: некоторые записи 1936 — 1986 годов, разбитые по темам (публикация и вступительная статья Елены Наливайко).

Обе *жанрово-тождественные* подборки разнесены по разным «краям» альманаха — чтобы не сталкивать публикаторов?

Владимир Семенко. Видимость конкретности. — «НГ-Религии», 2001, № 24, 26 декабря.

«Поэтому не „Всемирный Русский Народный Собор“ надо созывать (ибо непонятно, какие задачи он решает, кроме пресловутого „пиара“), а каноничный Поместный Собор, предусмотренный собственным уставом Р[усской] П[равославной] Ц[еркви]. Автор — член исполкома Союза православных граждан».

Ольга Семякина. Элементы солидаризма в исторических трудах С. Г. Пушкирева. — «Посев», 2001, № 12.

«Основное понятие либерализма, понятие *свободы*, Пушкирев рассматривал через призму *долженствования* и *солидарности*». См. также: С. Г. Пушкирев, «Россия 1801 — 1917: власть и общество»; М., «Посев», 2001, 672 стр.

Борис Слуцкий. Мемуарная проза из архива поэта. Публикация, вступительная заметка и примечания Петра Горелика. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 12.

См. также статью **Никиты Елисеева** «Полный вдох свободы» — «Новый мир», 2000, № 3: о военных записках Бориса Слуцкого.

И. П. Смирнов. Микрореволюция, или Трактат о неформальных коллективах. Почти воспоминания. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 11.

Среди прочего: с исчезновением советской власти пьяницы стали *просто* пьяницами, утратив субкультурную ауру и уступив место наркотическим тусовкам.

Игорь Сухих. Сказание о тритоне. (1958 — 1968. «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 12.

См. в журнале «Звезда» другие статьи **Игоря Сухих** из цикла «Книги XX века»: «Русская любовь в темных аллеях. „Темные аллеи“ И. Бунина» (2001, № 1); «Живаго жизнь: стихи и стихии. „Доктор Живаго“ Б. Пастернака» (2001, № 4); «Жить после Колымы. „Колымские рассказы“ В. Шаламова» (2001, № 6); «Душа болит. „Характеры“ В. Шукшина» (2001, № 10).

О сборнике статей Игоря Сухих «Книги XX века. Русский канон» см. в обзорной рецензии **Дмитрия Дмитриева** — «Новый мир», 2001, № 9.

Ольга Тимофеева. Неукрошенный строптивец. — «Время MN», 2001, № 221, 5 декабря <<http://www.vremyamn.ru>>

«Конечно, [в эмиграции] утрачиваешь чувство живого языка. Я не знаю многих словечек, иногда удачных, иногда отвратительных. Но на этот счет — может, для самоутешения — у меня есть теория. Есть такой термин в научной гигиене: „самоочищение

рек". Язык — та же река, с течением времени тоже самоочищается. Вспомните 20-е годы. Писатели того времени очень ценили возможность писать так, как говорят во круг. Сейчас их читать невозможно. Преклонение перед языком народа — это общее место. Пушкин призывал учиться у просвирен, но сам этому совету не следовал», — говорит живущий в Мюнхене писатель **Борис Хазанов**.

Михаил Тульский. О вечных человеческих типах. — «Независимая газета», 2001, № 243, 29 декабря.

Лауреат независимой литературной премии «Дебют» прозаик **Сергей Шаргунов** пишет повесть о *положительном правильном герое*: «Надо найти эстетику и авангардизм в консерватизме».

Владимир Успенский. Материалы для классификации цивилизаций. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2001, № 4 (18) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

«Мы убеждены, что свободное и открытое обсуждение проблемы сортиров (уборных, туалетов, нужников, отхожих мест) могло бы принести российскому обществу ощутимую пользу».

Борис Филиппов, [преподаватель истории в Православном Свято-Тихоновском богословском институте]. Положительный образ Родины формируется в школе. — «Известия», 2001, № 235, 21 декабря <<http://www.izvestia.ru>>

«Содержание предмета „история“ осталось таким, как будто в стране ничего не произошло. В переосмыслении нуждается сама концепция отечественной истории, которая сложилась к концу XIX века».

«Дать положительную версию национальной истории последних ста лет как *столетия поисков, национальной трагедии, личного мужества и любви к Родине* — это значит публично вернуть право на самоуважение не сталинизму, а десяткам миллионов людей, снять эмоциональное напряжение. <...> Следует объяснить новому поколению российских граждан, почему значительная часть общества поддержала советскую власть, как и то, что десятки миллионов граждан страны находились к ней в оппозиции (пассивной и активной)».

См. в настоящем номере «Нового мира» отклики **Андрея Василевского** на книги **Сергея Кара-Мурзы** «Советская цивилизация» и **Валерия Шамбарова** «Государство и революция» (обе — М., «Алгоритм», 2001).

Сергей Хоружий. Мытарства идентичности. — «Искусство кино», 2001, № 10.

«Мы уже это слышали, только подано было неудачно, с русским раздрызгом: „Цицерону отрезается язык, Шекспир побивается камнями...“ Дать шигалевщине импозантное имя политической корректности (это выражение можно перевести с английского и как „политическая правильность“. — *А. В.*) — такой отличной идее от души позащиводил бы Петр Верховенский».

Вадим Цымбурский. Апокалипсис сегодня. О Царстве Зверя и старом добром универсальном Вавилоне. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Для Иоанна Богослова и многих поколений его читателей слово „апокалипсис“ не означало ни „страшной бездны“, ни „катастрофы“. <...> Один английский теолог в XIX веке очень хорошо перевел название „Апокалипсиса“ — «*The Things Revealed*» („разоблаченные вещи“). Книга Иоанна лишь в ограниченной мере — Книга Конца. <...> Она прежде всего — Книга Раскрытия тех смыслов, которые должны проступить из мировой истории за время существования христианства на земле».

«Еще два месяца тому назад (то есть до 11 сентября. — *А. В.*) у нас было собственное Будущее, которое мы могли строить сами. Мы утратили это Будущее в надежде усесться „с краю стола сильных и богатых“...» — пишет ведущий научный сотрудник Института философии РАН **Вадим Цымбурский** в статье «Это твой последний геополитический выбор, Россия?». Эту и другие его статьи см. на сайте журнала «Полис» <<http://www.politstudies.ru>>.

См. также: **Вадим Цымбурский**, «Центры мировых сил» — Независимый бостонский альманах «Лебедь», 2001, № 251, 23 декабря <<http://www.lebed.com>>

Михаил Швыдкой. «Высшего общества у нас нет». Беседу вела Екатерина Барабаш. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«Я скажу сейчас, может быть, страшную вещь. Я прекрасно понимал, что нужно было что-то делать с МХАТом. Я долго готовил себя и подготовил к очень сложному разговору с Олегом Николаевичем Ефремовым. Но как более благородный человек он избавил меня от этого разговора таким вот страшным способом. Он был великий человек, великий режиссер, но из-за его болезни в театре творилось Бог знает что. Понимаете, нельзя быть министром агонизирующей культуры».

Ольга Шевченко. Кроссворд. Лекарство от скуки из девяти букв. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2001, № 4 (18).

«Так что резкий всплеск популярности этого жанра в конце 90-х (а именно начиная с 1997 года начали массово выпускаться специализированные сборники кроссвордов, то есть произошло оформление побочного жанра в отдельную индустрию) может рассматриваться как культурологический феномен, появившийся в совершенно определенном период и в определенном социальном контексте».

Андрей Юрганов. «Все это ушло далеко в вечность». Дневник и жизнь С. Б. Веселовского. — «Интеллектуальный Форум». Международный журнал. 2001, № 7, ноябрь.

«20 января 1944 года. <...> К чему мы пришли после сумасшествия и мерзостей семнадцатого года? Немецкий и коричневый фашизм — против красного...» — из последней записи в тайном дневнике историка **Степана Борисовича Веселовского** (1876 — 1952). Его дневники 1915 — 1923 и 1944 годов см.: «Вопросы истории» (2000, № 2, 3, 6, 8 — 12; 2001, № 2). Сокращенный вариант статьи **А. Юрганова** см.: «Знание — сила», 2001, № 11 <<http://www.znanie-sila.ru>>

Составитель **Андрей Василевский** (seva@seva.mailgate.ru).

«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Знамя», «Наше наследие», «Неприкосновенный запас», «Октябрь»

Алексей Алехин. Резиновая душа. — «Арион», 2001, № 4 <<http://magazines.russ.ru/arion>> <<http://www.arion.ru>>

Известный верлибрист и редактор справедливо тревожится о размывании грани между поэзией профессиональной и любительской. «Беда в том, что пишущих себе в удовольствие, для друзей, знакомых <...> становится исчезающе мало. Зато полагающих себя вправе разместиться со своими опусами на книжных полках ни в чем не провинившихся посторонних людей — пугающе много». Мифы: про якобы поголовную «серость» официальной подцензурной печати и «гениальность» самиздатского «андеграунда». Проблема, конечно, есть. И Алехин рассказывает о ней вполне по-сократовски, подступая с разных сторон. Но глобальной угрозы, по-моему, все же нет: кто-то давно заметил, что тенденции тенденциями, а прогресса/регресса в искусстве не бывает. Впрочем, уберечься бы еще от соблазна подсчетов...

Максим Амелин. «Счастливейший поэт времен Екатерины». (Апология Василия Петрова). — «Вопросы литературы», 2001, № 6, ноябрь — декабрь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

В подробном рассказе о полузабытом (но, по мнению автора, блистательном) одописце В. Петрове (1736 — 1799) дотошный читатель, по-моему, обнаружит фрагменты поэтического *credo* самого Максима Амелина. «Жаль, что со стихами его в полном объеме мне довелось познакомиться довольно поздно — лишь пару лет назад. Попадись они мне лет в семнадцать (курсив мой. — П. К.), возможно, что-то написалось бы по-другому».

Алексей Варламов. Гений пола. «Борьба за любовь» в дневниках Михаила Пришвина. — «Вопросы литературы», 2001, ноябрь — декабрь.

«Любовный голод или ядовитая пища любви? Мне досталось пережить голод». Это позднейшая дневниковая запись писателя. Кажется, мы имеем дело с первым в истории литературы (и очень деликатным!) исследованием самой трагичной и закрытой стороны жизни и творчества Пришвина.

Марина Вишневецкая. Из книги «Опыты». — «Знамя», 2001, № 12 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Их четыре: опыт демонстрации траура, опыт неучастия, опыт возвращения и опыт сада. Первый и последний — от лица женщины.

Евгений Ермолин. Свист тьмы. — «Дружба народов», 2001, № 12 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Три новых западных книги о России. Три мифа: безумия, утраты и злодейства.

«...Останется ли русская душа средоточием противоречий, интригующих человека Запада? Где ее край — и где ее гавань покоя?»

Евгений Ефимов. «Большая ответственность: не создавать легенд». К. И. Чуковский и Л. К. Чуковская о книге Е. Добина «Поэзия Анны Ахматовой». — «Вопросы литературы», 2001, № 6, ноябрь — декабрь.

Эта публикация (включающая подробнейшее письмо-разбор Л. К. Чуковской) может показаться своеобразным мини-приложением к знаменитым «Запискам об Анне Ахматовой», дополняя многое в «портрете» книги и автора. «Что касается меня, — пишет Л. К. Чуковская, — то я никогда не напишу ни одной строки воспоминаний об А<нне> А<ндреевне>, п<отому> ч<то> я, как и она, не выношу ничего *приблизительного*. У меня есть Дневник, записки — каждый раз, как я видела А. А., я записывала, расставшись с ней, каждое ее слово. В этих записях тоже возможны ошибки (что-то перепуталось, пока я дошла до стола), но уж они — минимальны».

Бахыт Кенжеев. «Я навеки прикован к русскому языку...». Письма, полученные по электронной почте, и рассуждения получателя. Получил, прочитал и прокомментировал А. Касымов. — «Вопросы литературы», 2001, № 6, ноябрь — декабрь.

По-моему, в отличие от концептуальных *проектов* (вроде переписки А. Паршикова и В. Курицына), этот эпистолярный сюжет — по-домашнему искренен и прямодушен. Интересно, что уфимский критик и друг поэта попросил разрешения на публикацию, когда основной корпус текста был уже готов. Между прочим, не происходит ли утверждение нового литературного жанра? «Учи — в стихах я на порядок умнее, чем в жизни <...> Характерно, что полетел я за свои денежки в Москву на церемонию (премии Антибукера. — П. К.) <...> а вечер-то и перенесли, уехал несолоно хлебавши. И правильно! — подумал я. И поделом! На хрена тебе, Бахытик, щеки-то надувать».

Кирилл Кобрин. Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо шестое и последнее. — «Октябрь», 2001, № 12 <<http://magazines.russ.ru/october>>

Разделить радость автора от творений Шиша Брянского я не могу потому, что устал от кашешек в литературе («...поливает читателя из своего рода фекальной машины с ручным приводом...» — пишет Кобрин) и не научился понимать *концептуальное* сквернословие и похабство в стихах. После поэтического сборника «Плотность ожиданий» («Дебют-2000») — особенно. Вообще — скучно и противно. А вот портрет поэта Григория Кружкова, встреченного автором на Роттердамском фестивале, и оценка его стихов — чудесны. «Тонкость, выдержанность, благородство — все это надо скармливать современному русскому поэту, как витамины анемичному пермскому ребенку: методично и последовательно. „Черепуха” (один из первых стихотворных сборников Кружкова. — П. К.) я бы сейчас переиздал большим тиражом и бесплатно раздал каждому нынешнему стихотворцу...» Ну, может быть, не каждому. Но в целом — согласен.

Илья Кочергин. Алтайские рассказы. — «Знамя», 2001, № 12.

В аннотации сказано и о том, что первая публикация И. Кочергина была в нашем журнале, в 2000 году.

Михаил Кураев. Свидетели неизбежного. Блокада как художественная реальность. — «Знамя», 2001, № 12.

Размышления на полях блокадного дневника малограмотной медсестры Елизаветы Турнас. «Правильно судить о происходящем здесь я не могу. Для меня ужасным кажется только смерть моего сына, это самое большое несчастье и горе, и с этой точки строится все мое мировоззрение». Замечу, что декабрьские «Знамя» и «Октябрь» (в нем отрывок из романа Фаины Благодаровой «Ах, эти черные глаза...») не забыли о 60-летию блокады. Не забыли.

Марцелиус Мартинайтис. Не заперто. Перевод с литовского Георгия Ефремова. — «Дружба народов», 2001, № 12.

Из стихотворения «Поэт с черным нимбом»: «Поэт понимает больше других / или не понимает / того, что ясно любому».

Марина Москвина. Как стать детским писателем. — «Вопросы литературы», 2001, № 6, ноябрь — декабрь.

«Проза должна быть вот какой, — ответил он (Юрий Коваль. — П. К.). — Она должна быть такой, что ты готов поцеловать каждую написанную строчку».

Неизвестный Леонов. — «Наше наследие», 2001, № 58.

«Оказалось, что археологические раскопки могут быть увлекательны и в собственном доме...» — из предисловия к публикации дочери писателя. Публикуются: один из самых первых леоновских рассказов — «Деяния Азлазивона» (1921), с авторским живописным и шрифтовым оформлением; маленькие эссе-впечатления о рассказе — **Валентина Распутина**, **Владимира Бибихина**, игумена **Андроника (Трубочева)**; статья **В. П. Поляковской** «Так спаслись ли покаявшиеся»; фрагменты из записных книжек Леонида

Лсонова 50 — 60-х годов. Нарушая волю отца (в 1943 году он вложил в папку записку, запрещающую когда-либо публикацию «Деяний...»), Н. Л. Леонова сделала неоценимый подарок историкам литературы и остаткам дотошных читателей: «Неизвестный Леонов» — это событие, едва ли не сенсация. Похоже, что именно из этого сказа в конце концов выросла «Пирамида» (1994) с «самовозгоранием человечины». «Трудно было лишь сперва, пока не надломили хребет личного достоинства, — дальше все пошло гораздо легче...» (из записных книжек).

Новая книга Солженицына. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 4 (18)
<http://magazines.russ.ru/nz>

Блок текстов в «НЗ» рекомендую как неряшливую имитацию объективности. Расположено так. *Сначала* — статья историка-гебраиста **Й. Петровского-Штерна** (он считает книгу Солженицына «шедевром русской антисемитики» и настольным пособием для «завтрашних пуришкевичей»). *Потом* — естественно, уважительный очерк **М. Чудаковой** (предполагаю, не знавшей, за кем идет). *Наконец* — размышления профессора МГУ **Сергея А. Иванова** о... «самообмане» писателя, пытавшегося усидеть на всех стульях сразу, запутавшегося в собственных комплексах, полусознанных фобиях, и в результате тема для Солженицына оказалась — цитирую последнее слово текста — «невподым». Мариэтте Омаровне попавшей в «окружение», сочувствую, а господину Йоханану Петровскому-Штерну все-таки напоминаю о статье «за разжигание»...

Р. С. Кто у них, интересно, рисунки кропает: этих монстриков, эти надломленные небоскребы с венчиками взрывов?

Новые имена. — «Октябрь», 2001, № 12.

Большой корпус текстов, отобранных редакцией: из текущей почты, выборки по результатам работы октябрьского (2001) Форума молодых писателей в подмосковных «Липках» и конкурса «Дебют». «Десять серий о войне» москвича Аркадия Бабченко — на мой взгляд, лучшее. Тема — чеченские события. Искусная, энергичная проза без грана экзальтации. См. также: **Аркадий Бабченко**, «Алхан-Юрт» — «Новый мир», 2002, № 2.

Опознан, но не востребован... (Стихи Аркадия Кутилова). Публикация и предисловие Геннадия Великосельского. — «Арион», 2001, № 4.

Редкая публикация стихов самобытнейшего омского поэта, погибшего в 1985 году. «Я луч звезды разбил на звенья, / открыл породу новых рыб. / В пределах музыки и пенья / я изобрел тележный скрип...»

Вадим Перельмутер. Бедная рифма... — «Арион», 2001, № 4.

Нечастые рассуждения о *смысле* рифмы.

Валерий Попов. «Я свои гротески из пальца не высасывал». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2001, № 6, ноябрь — декабрь.

«Для меня не сделать в рассказе радость через ужас — невозможно. Чем тогда еще заниматься в прозе?» Внутри беседы публикуются неожиданные и обаятельные стихи Попова «из прошлой жизни». Замечательны рассуждения об *арматурности* в прозе. Тут «досталось» и Толстому, и Достоевскому.

Станислав Рассадин. Отщепенец Р., или Гамлет, который выжил. — «Знамя», 2001, № 12.

«Рецептер рано начал топорщиться. Взбрыкивать».

Александр Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. Подготовка текста О. А. Твардовской. Примечания В. А. Твардовской. — «Знамя», 2001, № 12.

«Главное, чтобы не было так, будто С<олженицы>н — знамя, будто без него немислим нынешний день советской литературы. Но мы вовсе не требуем...» (это из наставлений тов. Сулова в 1965-м). «Ужасный разговор по телефону с Поликарповым. Одно это „надо лечиться“ никогда не забуду...» (интересно, что с зав. отделом культуры ЦК КПСС (в течение 20-ти лет!), Д. А. Поликарповым, А. Т. был на «ты». Начало публикации см.: 2000, № 6, 7, 9, 11, 12.

Ольга Трифонова. Единственная. Роман-версия. — «Дружба народов», 2001, № 12.

Надежда Аллилуева и Иосиф Сталин. Чудовищная история семьи Аллилуевых. Вдова Юрия Трифонова ничего не забыла: в том числе — новых, прорвавшихся в печать версий этого брака (и ту, что Н. А. была, возможно, *дочерью* Сталина). В конце романа — благодарности частным лицам, архивистам, литераторам, «а также всем, кто поделился воспоминаниями о давних временах и просто терпеливо беседовал со мной». К глянцево-«серийной» литературной продукции отношения не имеет (тогда и называлось бы, скажем, «Иосиф и Надежда»). Крепкая беллетристика, с неизбежно честными публицистическими вкраплениями. Десять — двенадцать лет назад «Единственная»

была бы супербестселлером (это я не в укор: в романе проглядывает давность замысла). Кстате, писательница, по-моему, очень привязана к своей героине.

Илья Фаликов. Повседневность. — «Арион», 2001, № 4.

Лев Лосев, Бахыт Кенжеев, Вера Павлова, Борис Рыжий (включая маленький мемуар о нем). О выживаемости поэтов в экстремальных условиях «без потери поэтической сущности».

Сергей Фаустов. Голос из Вологды. — «Октябрь», 2001, № 12.

Яркий вологодский критик, работающий *без оглядки* на центр, в одном из трех публикующихся эссе («Эксперимент на симметрию») проводит почти неправдоподобные параллели между Н. Рубцовым и И. Бродским. «Авторско-лирические» — вызывают улыбку, «фактически-текстовые» — едва ли не ужас. «Дальнейшее повествование приведет к тому, что вы перестанете отличать Бродского от Рубцова. И на этом мне придется закончить...»

Ревекка Фрумкина. Извините за выражение... — «Неприкосновенный запас», 2001, № 4 (18).

Выражение — «интеллигенция». Замечателен портрет современной ученой молодежи. «Как и мы когда-то, они много работают <...> Если эти молодые люди дают уроки или занимаются другими видами „частной практики“, то богатых учат и лечат за деньги, прочих — за очень скромные суммы или и вовсе бесплатно, не видя в этом темы для обсуждения...» Это не идиллические сказки, в моем кругу таких — немало.

Составитель Павел Крючков.



ЛИКБЕЗ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 6 (19) апреля исполняется 100 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (1902 — 1989).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

10 лет назад — в № 4 за 1992 год напечатана статья Александра Солженицына «Наши плюралисты».

15 лет назад — в № 4, 5 за 1987 год напечатан роман Владимира Тендрякова «Покушение на миражи».

35 лет назад — в № 4, 5, 6 за 1967 год напечатан роман Сергея Залыгина «Соленая Падь».

70 лет назад — в № 4 за 1932 год напечатаны стихотворения О. Мандельштама «Довольно кукситься, бумаги в стол засунем...» и «О, как мы любим лицемерить...».

SUMMARY



Number 4 offers the «Saboteur», a novel by Anatoly Azolsky (the ending). Also — «A Mansion with Two Domes» — a story by Vladimir Lorchenkov, as well as two short stories by Dmitry Shevarov. New poems by Dmitry Bobyshev, Yelena Pudovkina, Svetlana Kekova and Grigory Korin make up the poetry section.

«The Time and Morals» section highlights the situation in contemporary education in Russia. The two articles it contains, «Will the Education in Russia Last till 2004?» by Valery Senderov and «There Was a Crisis, Wasn't There?» by Maksim Krongauz, are polemic with respect to each other.

The personality of Sir Isaiah Berlin as depicted by Anatoly Naiman in his «The Sir» novel is the topic of «A Short Truce in the Course of an Eternal War», an essay by Igor Yefimov that is published in «Philosophy. History. Politics» section.

Aleksey Plutser-Sarno publishes his political notes «Here Is None of the Mausoleum to Linger Around...» in «Essais» section.

Literary critics is presented by Victor Myasnikov's essay «Historical Fiction, Demand and Supply». The permanent heading «As the Text Goes» features an article by Maria Remizova «Vaginitics, or Female Passions after Grants» dedicated to the theoretical studies of a Russian feminist.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, [А. А. Носов],
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.12.2001 г. Подписано к печати 04.03.2002 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 10 500 экз. Зак. 2105. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

**В 2002 году исполняется 75 лет со дня рождения
и 20 лет со дня смерти замечательного прозаика
Юрия Павловича Казакова.**

**Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года
автору, живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Премия за 2000 год была присуждена ИГОРЮ КЛЕХУ,
за 2001 год — ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ (посмертно).**

**Правом выдвижения произведений на премию
обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Жюри формируется из сотрудников «Нового мира»
и независимых экспертов.**

**Состав жюри 2002 года и денежное содержание премии
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в начале 2003 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: newworld@newtimes.ru, new_world@mail.cnt.ru